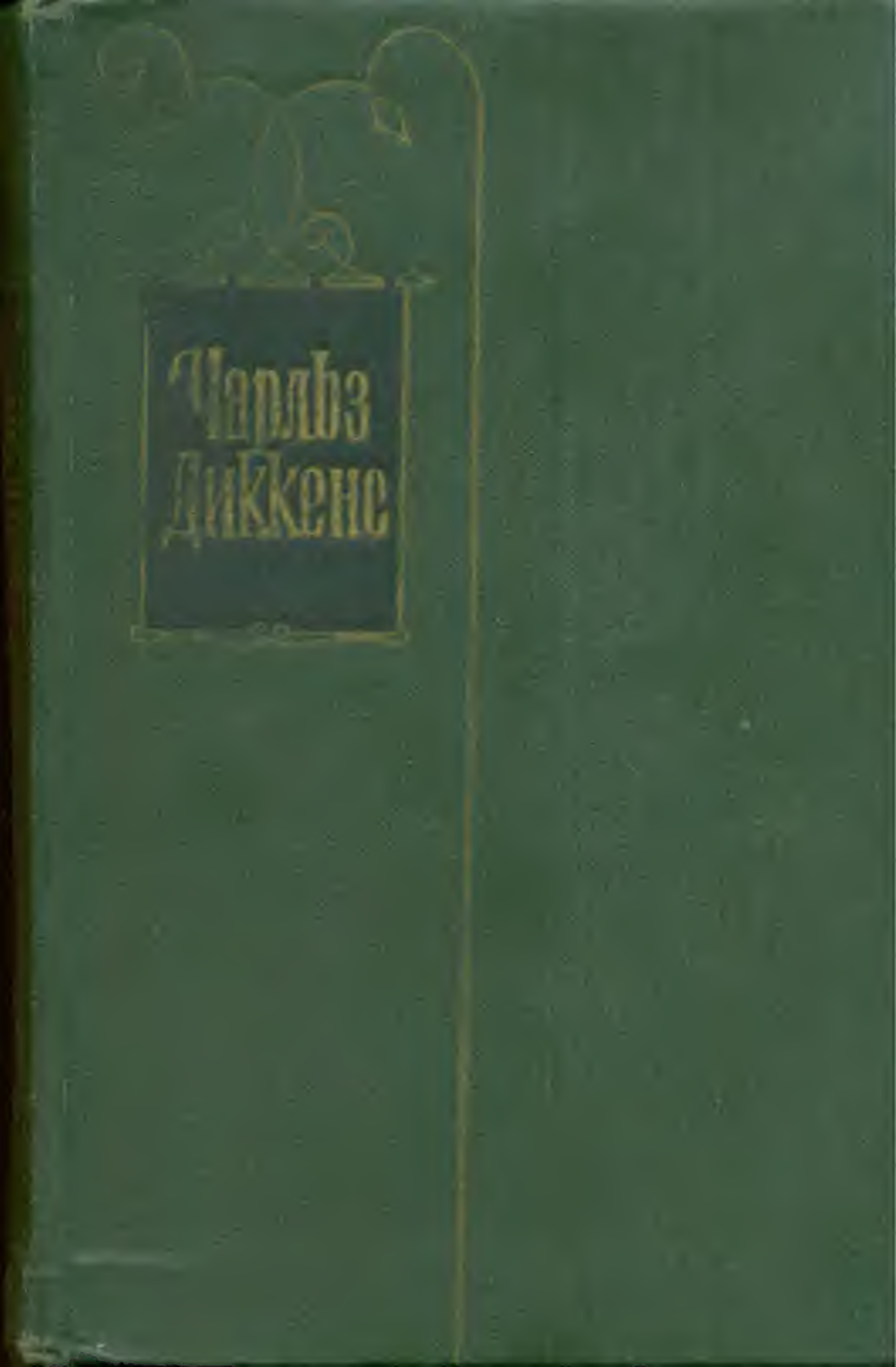

Чарльз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1959

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ОДИННАДЦАТЫЙ

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРТИНА ЧЕЗЛВИТА

Роман

(Главы XXVII—LIV)

Перевод с английского

Н. ДАРУЗЕС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

CHARLES DICKENS

THE LIFE AND ADVENTURES OF MARTIN CHUZZLEWIT

Ch. XX VII—LIV

1844

Иллюстрации
«ФИЗА» (Х. Н. БРАУНА)

Третье, пересмотренное издание перевода

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРТИНА ЧЕЗЛВИТА

ГЛАВА XXVII

показывает, что старые друзья могут являться не только в новом обличье, но и под чужой личиной, и что люди склонны ловить других на удочку, и при этом иногда ловятся сами

Мистер Бейли-младший — ибо этот любитель спорта, бывший мальчик на побегушках в пансионе миссис Тоджерс, теперь окончательно присвоил себе это имя, не позаботившись получить разрешение в форме частного билля *, проведение которого, совершенно неизвестно почему, обходится несравненно дороже всякого другого парламентского билля,— мистер Бейли-младший, выросший как раз настолько, что его мог заметить любознательный наблюдатель, разъезжал взад и вперед по Пэлл-Мэллу * около полудня, дожидаясь своего хозяина и лениво поглядывая на публику из-за фартука коляски. Конь благородного происхождения, родной брат Каприфолия и дядя Козерога, показывая, что он вполне достоин своих знатных родственников, грыз удила так, что вся грудь у него была в пене, и становился на дыбы, уподобляясь геральдическому коню; лакированная упряжь с серебряным набором сверкала на солнце; пешеходы восхищались; но мистер Бейли поглядывал на них благосклонно и невозмутимо. Он, казалось, говорил: «Телега, добрые люди, простая телега! Разве так мы могли бы

блеснуть, если б захотели!» — и величественно проезжал мимо, растопырив коротенькие зеленые ручки над фартуком, словно пристегнутым у него под мышками.

Мистер Бейли был наилучшего мнения о дяде Козерога и высоко ценил его способности. Однако он никогда ему этого не говорил. Напротив, у него была привычка адресоваться к этому животному с самыми непочтительными выражениями, если не прямо с бранью, как, например: «А, опять за свое!», «Ишь что выдумал!», «Куда лезешь?», «Ну нет, мой милый, погоди!», а также и с другими отрывочными замечаниями. Так как они обычно сопровождались подергиванием вожжей и щелканьем кнута, то это нередко приводило к состязаниям в силе и к спорам о том, кто кого одолеет, — спорам, которые частенько заканчивались в посудной лавке и других малоподходящих местах, как мистер Бейли уже намекал своему другу Полю Свидлпайпу.

В данном случае мистер Бейли, будучи не в духе, особенно придирался к своему питомцу, вследствие чего этому пылкому животному приходилось показывать свою прыть почти исключительно на задних ногах и в таких позициях относительно кабриолета, что прохожие только дивились. Но мистер Бейли нисколько этим не смущался и по-прежнему осыпал целым градом шуток всякого, кто загораживал ему дорогу, — например, крича великовозрастному детине, застрявшему с подводой угля посреди мостовой: «Эй, малыш, кто это доверил тебе подводу?», осведомляясь у старушек, которые, собравшись перейти улицу, в испуге повертывали обратно: «Почему бы вам не зайти в работный дом * за разрешением на похороны?», дружески приглашая мальчишек прицепиться сзади, а потом сгоняя их и перемежая эти юмористические выходки бешеной скачкой вокруг Сент-Джеймс-сквера, после чего он въезжал на Пэлл-Мэлл с противоположного конца так степенно, словно все это время еле тащился шагом.

Когда все эти упражнения были повторены по нескольку раз и лоток с яблоками на углу, только чудом избежавший катастрофы, уже казался неуязвимым, мистеру Бейли подали знак с подъезда одного дома на Пэлл-Мэлле, и он, повинуясь зову, круто осадил и соско-

чил на тротуар. Однако ему пришлось держать лошадь под уздцы еще несколько минут (в течение которых он валился с ног всякий раз, как дядя Козерога вздергивал голову или шевелил ноздрями), прежде чем в экипаж сели два джентльмена, один из которых взял вожжи и сразу тронул с места. Мистеру Бейли пришлось пробежать за ними сотни три ярдов, пока он, наконец, ухитрился попасть коротенькой ногой на подножку, а потом стать обеими ногами на запятки. Вот теперь на него действительно стоило посмотреть: с головы до пят настоящий жокей из Нью-Маркета *, он становился то на одну ногу, то на другую, выглядывал то с одной стороны, то с другой, или же пытался смотреть поверх кабриолета, мчавшегося стрелой между подвод и экипажей.

Наружность хозяина мистера Бейли, правившего кабриолетом, полностью оправдывала описание, сделанное этим восторженным юношей изумленному Свидлпайпу. Масса черных как смоль волос курчавилась у него на голове, на щеках, на подбородке, над верхней губой. Костюм, сшитый по последней моде и из самой дорогой материи, сидел на нем как вылитый. Его жилет был усеян цветочками — золотистыми с синим и зелеными с ярко-красным; драгоценные цепочки с брелоками блистали на его груди; пальцы, отягощенные сверкающими перстнями, шевелились с трудом, будто летние мухи, только что вытащенные из горшка с медом. Дневной свет отражался в его блестящей шляпе и сапогах, как в зеркале. И все же, несмотря на то, что изменилось его имя, изменилась и самая внешность,— это был Тигг. Вывернутый наизнанку и поставленный на голову, что, как известно, случается иногда с великими людьми, он был уже не Монтегю Тиггом, но Тиггом Монтегю,— и все же это был Тигг, все тот же демонический, галантный Тигг с повадками отставного военного. Грязь поскребли, покрыли лаком, придали ей новую форму,— и тем не менее это была все та же грязь — подлинный материал, из которого лепят Тиггов.

Рядом с ним сидел улыбающийся джентльмен, более скромно одетый, по всему видно — делец, которого Тигг называл Дэвидом. Неужели тот самый Дэвид из — как бы это выразиться? — из триумвирата золотых шаров?

Неужели Дэвид, оценщик из ссудной кассы? Да, он самый!

— Жалованья секретарю, Дэвид,— говорил мистер Монтегю,— поскольку контора уже открыта, полагается восемьсот фунтов в год, квартира, уголь и свечи бесплатно. Свои двадцать пять акций он получает, разумеется. Довольно этого?

Дэвид улыбнулся, кивнул и кашлянул, прячась за маленький портфель с таким выражением, которое ясно говорило, что он и есть тот секретарь, о котором идет речь.

— Если довольно,— сказал Монтегю,— то я, как председатель, сегодня же поставлю этот вопрос на обсуждение.

Секретарь опять улыбнулся, даже рассмеялся на этот раз, и сказал, лукаво почесывая нос уголком портфеля:

— Превосходная была идея, не правда ли?

— Что именно вы считаете превосходной идеей, Дэвид? — осведомился мистер Монтегю.

— Англо-Бенгальскую,— сквозь смех ответил секретарь.

— Англо-Бенгальская компания беспроцентных ссуд и страхования жизни действительно превосходное учреждение, Дэвид,— сказал Монтегю.

— В самом деле превосходное,— воскликнул секретарь, опять рассмеявшись,— но только в известном смысле!

— В единственно важном, Дэвид! — заметил председатель.

— А каков будет,— спросил секретарь, снова разражаясь смехом,— каков будет основной капитал согласно последнему проспекту?

— Цифра два со столькими нулями, сколько наборщик может уместить на одной строчке,— ответил его друг.— Ха-ха-ха!

Тут оба они расхохотались, секретарь — так неудержимо, что, брыкая ногами, сорвал фартук и чуть не загнал брата Каприфолия в устричный погребок; не говоря уж о том, что мистер Бейли, получив неожиданный толчок, целую минуту парил в воздухе наподобие юной Славы, держась на одном ремне.

— Ну и молодчина же вы! — восхищенно сказал Дэвид, когда эта маленькая тревога улеглась.

— Скажите — гений, Дэвид, гений!

— Честное слово! Ну конечно вы гений! — сказал Дэвид.— Я и раньше знал, что вы бойки на язык, но все-таки и понятия не имел, на что вы способны. Да и откуда же мне было знать?

— Я всегда на высоте положения. Это само по себе — черта гениальная,— сказал Тигг.— Если бы вы проиграли мне сию минуту пари в сто фунтов, Дэвид, и заплатили деньги (что совершенно невероятно), я бы и тут не растерялся и оказался бы на высоте положения.

Следует отдать должное мистеру Тиггу: начав присваивать чужие деньги в более обширных размерах, он и в самом деле поднялся на высоту и стал важным лицом.

— Ха-ха! — засмеялся секретарь, фамильярно похлопывая председателя по плечу.— Как погляжу на вас и вспомню про ваши владения в Бенгалии... Ха-ха-ха!

Эта незаконченная мысль показалась мистеру Тиггу такой же смешной, как и его приятелю, и он тоже расхохотался.

— ...что они,— продолжал Дэвид,— что ваши владения в Бенгалии служат обеспечением для всех возможных претензий к обществу! Как погляжу на вас да вспомню про это, такой смех разбирает, что меня просто пальцем свалить можно. Честное слово, можно!

— Прекрасное имение, черт возьми,— ответил Тигг Монтегю,— для того чтобы удовлетворить всех, имеющих претензии. Один тигровый заповедник составит целый капитал.

Дэвид мог отвечать только в промежутках между взрывами смеха: «Ну и молодчина же вы!» — и довольно долго не говорил ничего другого, а только хохотал, держась за бока и утирая слезы.

— Так превосходная идея? — спросил Тигг, опять возвращаясь к первому замечанию своего спутника.— Еще бы не превосходная! Ведь это была моя идея.

— Нет, нет, это была моя идея,— сказал Дэвид.— Оставьте же и мне хоть какую-нибудь заслугу, черт возьми! Разве я не говорил вам, что у меня скоплено несколько фунтов...

— Вы говорили! А разве я не говорил вам,— прервал его Тигг,— что мне удалось сорвать в одном месте несколько фунтов?

— Конечно, говорили,— отозвался Дэвид,— но это же не то. А кто сказал, что, если б нам сложиться, мы могли бы обставить контору и пустить публике пыль в глаза?

— А кто сказал,— возразил мистер Тигг,— что если поставить дело на широкую ногу, то можно бы завести контору и пустить пыль в глаза даже и без денег? Будьте рассудительны и справедливы, успокойтесь и скажите мне, чья это была идея?

— Ну, да,— принужден был сознаться Дэвид,— в этом вы меня превзошли. Да ведь я и не ставлю себя на одну доску с вами, мне хочется только, чтобы и мои заслуги были признаны.

— Все ваши заслуги признаны, сколько их есть,— ответил Тигг.— Все, что попроще, Дэвид,— подсчеты, книги, циркуляры, объявления, перья, чернила и бумага, сургуч и облатки — все это вы отлично наладили. Прислуживаться вы мастер, я с этим не спорю. Но часть поэтическая, Дэвид, где требуется выдумка, полет воображенья...

— Всецело предоставляется вам,— сказал его приятель,— о чем тут толковать. Но при таком щегольском выезде, при всей той роскоши, какой вы себя окружили, и при вашем образе жизни,— мне кажется, что это довольно-таки завидная часть.

— Однако цель этим достигнута? Англо-Бенгальская компания учреждена? — спросил Тигг.

— Да,— ответил Дэвид.

— Вы бы могли вести ее сами? — настаивал Тигг.

— Нет,— ответил Дэвид.

— Ха-ха! — засмеялся Тигг.— Тогда будьте довольны вашим положением и вашими прибылями, любезный мой Дэвид, и благословляйте тот день, когда мы с вами познакомились через прилавок нашего общего дядюшки, потому что для вас это был счастливый день!

Из разговора двух почтенных джентльменов можно вывести заключение, что они затеяли предприятие довольно широкого размаха и обращались к публике с неуязвимой позиции: они ничего не теряли, зато многое

могли выиграть, и дела их, основанные на этом великом принципе, шли как нельзя лучше.

Англо-Бенгальская компания беспроцентных ссуд и страхования жизни возникла из небытия в одно прекрасное утро не желторотой фирмой, но вполне солидным предприятием на полном ходу, заключавшим сделки направо и налево, с «отделением» в Вест-Энде — во втором этаже, над мастерской портного,— и главной конторой на одной из новых улиц Сити — в верхнем этаже поместительного дома, блиставшем зеркальными стеклами и лепными украшениями, с проволочными сетками на всех окнах и узорной надписью «Англо-Бенгальская» на каждой из них. На дверном косяке опять-таки красовалось крупными буквами: «Контора Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни», а на дверях была большая медная доска с той же надписью; всегда ярко начищенная, она поневоле бросалась в глаза, вводя в соблазн весь город — после занятий в будние дни и с утра до вечера по воскресеньям,— и казалась надежнее Английского банка *. Внутри контора была заново оштукатурена, заново окрашена, оклеена новыми обоями, устлана новыми коврами, обставлена новыми столами и новыми стульями — вообще во всех смыслах оборудована заново самыми солидными и дорогими вещами, рассчитанными (так же как и компания) на долгие годы. Деловитость! Взгляните на зеленые конторские книги с красными корешками, похожие на расплюснутые крикетные шары, на адрес-календари, справочники, журналы, на просто календари, почтовые ящики, весы для писем, ряды пожарных ведер, готовых затушить первую искру пожара и спасти огромные богатства в ценных бумагах, принадлежащие Компании; взгляните на денежные сундуки, на часы, на конторскую печать — таких размеров, что она одна сама по себе может гарантировать что угодно. Солидность! Взгляните на массивные глыбы мрамора, украшающие камины, на великолепный парапет на крыше дома. Реклама! Даже на угольных ящиках красуется надпись: «Англо-Бенгальская компания беспроцентных ссуд и страхования жизни». Она повторяется на каждом шагу, так что начинает рябить в глазах и кружиться голова. Она отштампована на каждом

бланке для письма, вьется лентой вокруг печати, блестит на пуговицах швейцара и повторяется по двадцати раз в каждом циркуляре и извещении, где некий Дэвид Кримпл, эсквайр, управляющий делами и секретарь, позволяет себе обратить внимание публики на преимущества, предлагаемые Англо-Бенгальской компанией беспроцентных ссуд и страхования жизни, и убедительно доказывает, что, завязав дела с этой фирмой, вы будете круглый год получать нечто вроде рождественских подарков и непрерывно растущие дивиденды, причем такая сделка не представляет риска ни для кого, кроме самой компании, которая, по своей беспримерной щедрости, наверняка останется в убытке. Последнее же, как почтительно указывает вам Дэвид Кримпл, эсквайр (и, вероятно, вы ему поверите), есть лучшая гарантия надежности и солидности компании, какую может вам предложить правление.

Фамилия этого джентльмена, кстати сказать, была раньше Кримп, что значит «вербовщик», но так как она могла быть дурно понята и подать повод к неудобным толкованиям, то он изменил ее на Кримпл.

Чтобы ни у кого не возникло подозрений насчет Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни, вопреки всем этим утверждениям и увещаниям; чтобы никто не усомнился в тиграх, экипаже и личности самого Тигга Монтегю, эсквайра (адрес: Пэлл-Мэлл и Бенгалия), или еще в ком-нибудь из мнимого списка директоров, у компании имелся швейцар, удивительное существо в необъятном красном жилете и кургузой темно-серой ливрее, которое вселяло больше уверенности в умы скептиков, чем все остальное вместе взятое. Между ним и правлением не замечалось никакой короткости; никто не знал, где он служил прежде; он не предъявил никаких рекомендаций и справок,— да их и не требовали. Ни та, ни другая сторона ни о чем не спрашивала. Это загадочное существо, полагаясь единственно на свою представительность, пришло наниматься на должность швейцара и было принято на предложенных им условиях. Цена была высокая, но он отлично знал, что ни у кого другого не может быть такого необъятного жилета, и понимал, что для такого учреждения его услуги совершенно незаменимы. Когда он сидел на табурете,

воздвигнутом для него в углу конторы, и лакированная шляпа висела на гвозде у него над головой, невозможно было сомневаться в солидности и респектабельности предприятия. С каждым квадратным дюймом жилета его респектабельность все умножалась и умножалась, так что итог в конце концов получался колоссальный, как в известной задаче о гвоздях в конской подкове *. Бывали случаи, когда люди приходили застраховать свою жизнь в одну тысячу фунтов, но, посмотрев на швейцара, просили, прежде чем бланк был заполнен, увеличить эту сумму до двух тысяч. А ведь это был вовсе не великан. И ливрея у него была скорее узковата, чем широка. Вся сила заключалась в его жилете. Респектабельность, солидность, владения в Бенгалии и в других местах, готовность Компании нести ответственность в размерах какой угодно суммы — все выражалось в этом одном одеянии.

Конкуренты пытались переманить его; сама Ломберд-стрит * делала ему авансы; богатые компании нашептывали: «Идите к нам!», но он по-прежнему оставался верен Англо-Бенгальской. Трудно было разобрать, что он такое — хитрый плут или величественный простофиля, но, по-видимому, он веровал в Англо-Бенгальскую компанию. Он держался важно, обремененный воображаемыми служебными заботами, и хотя дела у него не было решительно никакого, а забот и того меньше, смотрел так серьезно и глубокомысленно, словно его удручали многочисленные обязанности и страх за сокровища, хранившиеся в денежных сундуках Компании.

Как только кабриолет подкатил к дверям, это должностное лицо сошло на тротуар с непокрытой головой, громко взывая: «Дорогу председателю, дорогу председателю, прошу вас!» — к немалому восторгу прохожих, внимание которых таким образом было привлечено к Англо-Бенгальской компании. Мистер Тигг грациозно выпрыгнул из экипажа, сопровождаемый управляющим делами (который теперь держался очень почтительно), и поднялся по лестнице, предшествуемый швейцаром, который выкликал на ходу: «Позвольте, господа, позвольте! Председатель правления, джентль-мены!» Таким же образом, только крича еще более зычно, он провел председателя

через контору, где несколько скромных клиентов наводили справки, в величественный чертог под названием «зал совещаний», причем дверь этого святилища немедленно затворилась, сокрыв великого капиталиста от глаз непосвященной черни.

В зале совещаний был турецкий ковер, сервант и портрет Тигга Монтегю, эсквайра, в роли председателя, весьма внушительное председательское кресло с молотком слоновой кости и ручным колокольчиком и, кроме того, длинный стол с бумагой, чистыми перьями и чернильницами на равном расстоянии одна от другой. Председатель весьма торжественно занял свое место, секретарь сел по правую руку от него, а швейцар стал навытяжку позади них, образуя своим жилетом весьма колоритный задний план. Это и было правление, а все прочее представляло собой лишь забавную выдумку.

— Буллами! — произнес мистер Тигг.

— Сэр? — отозвался швейцар.

— Передайте медицинскому советнику, с поклоном от меня, что я желаю его видеть.

Буллами откашлялся и побежал в контору, выкрикивая:

— Председатель правления желает видеть медицинского советника! Позвольте, господа! Позвольте, позвольте!

Вскоре он возвратился с этим джентльменом, и оба раза, когда отворялась дверь в зал совещаний, пропуская швейцара туда и обратно, клиенты попроще становились на цыпочки и вытягивали шеи, стремясь хотя бы мельком, хоть одним глазком заглянуть в эту таинственную комнату.

— Джоблинг, дорогой мой,— сказал мистер Тигг,— как вы поживаете? Буллами, постойте за дверью. Кримпл, не оставляйте нас. Джоблинг, мой любезный друг, я очень рад вас видеть.

— А как поживаете вы, мистер Монтегю? — спросил медицинский советник, с наслаждением растянувшись в кресле (в зале совещаний были только кресла) и доставая из кармана черного атласного жилета красивую золотую табакерку.— Как ваше здоровье? Немножко утомлены делами, гм? В таком случае отдохните. Немножко

возбуждены вином, а? В таком случае пейте воду. Ничего такого не чувствуете и вполне здоровы? Тогда позавтракайте. Весьма полезно в это время дня усилить выделение желудочного сока приемом пищи, мистер Монтегю.

Медицинский советник (это был тот самый медицинский советник, который провожал старика Энтони Чезлвита до могилы и навещал пациента миссис Гэмп в гостинице «Бык») улыбнулся, говоря это, и как бы невзначай прибавил, стряхивая нюхательный табак со своего жабо:

— Я и сам всегда завтракаю в это время.

— Буллами! — позвал председатель, звоня в колокольчик.

— Сэр?

— Подайте завтрак!

— Не для меня, надеюсь? — сказал доктор.— Вы очень любезны, благодарю вас. Мне просто совестно. Ха-ха! Если бы я был корыстным врачом, я и этот свой совет поставил бы в счет; можете быть уверены, уважаемый, что если вы не будете регулярно завтракать, то очень скоро попадете ко мне в руки. Позвольте привести пример. В ноге мистера Кримпла...

Управляющий делами невольно вздрогнул, ибо доктор для пущей наглядности схватил его ногу и положил ее себе на колени, словно собираясь тут же отнять ее.

— В ноге мистера Кримпла, как вы можете заметить,— продолжал доктор, засучив рукава и тиская ногу обеими руками в коленном суставе,— вот здесь, то есть между костью и коленной чашечкой,— содержится некоторое количество животной смазки.

— Зачем вам именно моя нога? — спросил мистер Кримпл, глядя на свою ногу с заметным беспокойством.— Ведь и у всех других то же самое, не так ли?

— Не все ли вам равно, уважаемый,— возразил доктор,— то же ли самое у всех других, или не то же самое?

— Нет, мне не все равно,— сказал Дэвид.

— Я беру частный случай, мистер Монтегю,— ответил доктор,— в пояснение моей мысли, как вы можете заметить. В этом суставе мистера Кримпла, сэр, содер-

жится некоторое количество животной смазки. В каждом из суставов мистера Кримпла, сэр, она содержится в большем или меньшем количестве. Очень хорошо. Представьте, что мистер Кримпл ест не вовремя или отдыхает меньше, чем следует, тогда эта смазка убывает и даже совсем истощается. Каковы же последствия? Кости мистера Кримпла глубже входят в суставы, сэр, и мистер Кримпл сохнет, становится слабым и хилым субъектом!

Доктор вдруг отбросил ногу мистера Кримпла, словно тот уже достиг такого приятного состояния, опять отвернул обшлага и торжествующе взглянул на председателя.

— Людям нашей профессии известны кое-какие тайны природы, сэр,— продолжал доктор,— вот именно, известны. Для этого мы учимся, для этого поступаем в колледж, этому мы обязаны нашим положением в обществе. Удивительно, до чего мало у нас знают об этих вещах. Как вы полагаете,— тут доктор, улыбаясь, прищурил один глаз, откинулся на спинку кресла и сложил руки треугольником, основанием которого были оба больших пальца,— как вы полагаете, где находится желудок у мистера Кримпла?

Мистер Кримпл, забеспокоившись еще пуще, хлопнул себя рукой чуть пониже жилета.

— Отнюдь нет,— воскликнул доктор,— отнюдь нет. Весьма распространенная ошибка! Уважаемый, вы решительно заблуждаетесь.

— Когда желудок у меня не в порядке, я чувствую здесь боль, вот и все, что я знаю,— сказал Кримпл.

— Вам так кажется,— ответил доктор,— но наука судит иначе. У меня был когда-то пациент (дотрагиваясь до одного из множества траурных колец на пальцах и слегка склоняя голову), джентльмен, который сделал мне честь упомянуть меня в своем завещании, и весьма щедро; как он выразился: «В воздаяние за неослабное усердие, талант и внимание моего друга и домашнего врача Джона Джоблинга, эсквайра, Ч. К. М. О. *,— так вот, он был потрясен тем, что всю жизнь заблуждался насчет местонахождения этого важного органа, и когда я поручился моей профессиональной репутацией, что он



ошибается, он залился слезами, протянул мне руку и сказал: «Спасибо, Джоблинг!» Сразу же после этого у него отнялся язык, а впоследствии его похоронили в Брикстоне *).

— Позвольте, господа, позвольте,— взывал Буллами за дверью,— позвольте! Завтрак для правления!

— Ага! — жизнерадостно произнес доктор, потирая руки и придвигая кресло поближе к столу.— Вот истинное страхование жизни, мистер Монтегю! Вот лучший страховой полис на свете, уважаемый! Нам следует беречь себя — и есть и пить, когда только можно. А, мистер Кримпл?

Управляющий делами согласился с ним довольно мрачно, словно предстоявшее ему удовольствие уменьшилось оттого, что желудок находится вовсе не там, где полагал мистер Кримпл. Однако появление швейцара и его подручного с подносом, накрытым белоснежной салфеткой, под которой оказались две жареные курицы, обставленные с флангов разными соленьями и паштетами, быстро вернуло ему хорошее настроение. Оно стало еще лучше, когда появилась бутылка превосходной мадеры и другая бутылка — с шампанским, так что мистер Кримпл приступил к завтраку с аппетитом, почти не уступавшим аппетиту медицинского советника.

Завтрак был подан богато, сервировка изобиловала серебром, хрусталем, тонким фарфором — обстоятельство, с очевидностью указывавшее на то, что есть и пить на широкую ногу составляло довольно важную статью для правления Англо-Бенгальской компании. Медицинский советник становился все веселее и веселее, и его лицо краснело все больше и больше; казалось, с каждым съеденным куском и с каждым глотком вина его глаза блестели ярче, а нос и лоб пылали сильней.

В некоторых кварталах Сити и по соседству с ним мистер Джоблинг пользовался, как мы уже видели, большой популярностью. У него был необыкновенно внушительный подбородок, зычный голос с жирной хрипотцой на низких нотах, доходивший прямо до сердца, словно луч света, пронизывающий темно-красную влагу старого бургундского. Его шейный платок и жабо всегда были отменной белизны; платье самого черного цвета, с

отменным лоском; отменно тяжелая золотая цепочка, с отменно крупными печатками. Сапоги, всегда начищенные до самого яркого блеска, скрипели на ходу. Он умел потирать руки, покачивать головой и греться перед огнем внушительнее кого бы то ни было, умел как-то особенно причмокивать губами и приговаривать: «А!», в то время как пациент перечислял ему свои симптомы, что внушало глубокое доверие. Он, казалось, говорил: «Я лучше вашего знаю все, что вы мне скажете, но продолжайте, продолжайте». Так как он отличался неудержимой разговорчивостью, независимо от того, было ему что сказать или нет, то все единодушно находили, что «у него огромный опыт», а его практика и доход с нее — по той же причине — считались превосходящими всякое описание. Пациентки не могли им нахвалиться, и даже самые сдержанные его поклонники всегда говорили о нем друзьям: «Не знаю, какой он врач, этот Джоблинг (хотя репутация его говорит сама за себя, отрицать не приходится), но это самый приятный человек, с каким я только встречался».

По многим причинам, далеко не последней из которых была его обширная практика среди купцов и их семейных, Джоблинг был именно таким человеком, какой требовался Англо-Бенгальской компании в качестве медицинского советника. Но Джоблинг был слишком дальновиден, чтобы сойтись с Компанией ближе, чем полагается должностному лицу на жалованье (и на очень хорошем жалованье), или допустить, чтобы его отношения с Компанией были истолкованы превратно. Поэтому любопытствующим пациентам он всегда разъяснял положение таким образом:

— Видите ли, уважаемый, относительно Англо-Бенгальской компании мои сведения очень ограниченны, очень ограниченны. Я их медицинский советник, на определенном помесячном жалованье. Достоин работник платы своей — «Bis dat qui cito dat» [1] («Знает классиков, этот Джоблинг,— думает пациент,— образованный человек!»),— и я регулярно ее получаю. Вот почему я обя-

[1] Дважды дает тот, кто скоро дает (*лат.*).

зап, в пределах того, что мне известно, отзываться хорошо об этом учреждении. («В высшей степени порядочно с его стороны»,— думает пациент, который сам только что заплатил ему по счету.) Если бы вы спросили у меня, уважаемый друг,— говорит доктор,— что-либо относительно капитала или надежности Компании, я бы затруднился вам ответить; в цифрах я разбираюсь плохо и, не будучи акционером, считаю не совсем удобным любопытствовать на этот счет. Врач должен отличаться тактом, в чем, без сомнения, согласится со мною и ваша любезная супруга. («Можно ли быть тоньше и благовоспитаннее Джоблинга»,— думает пациент.) Так вот, уважаемый, каким образом обстоит дело. Вы не знакомы с мистером Монтегю? Очень жаль. Весьма представительный мужчина и джентльмен в полном смысле слова. Поместья в Индии, как говорят. Дом и все обзаведение у него выше всякой похвалы. Все убранство и мебель самые роскошные. А картины — даже с анатомической точки зрения — просто совер-шенство! В случае, если вы надумаете за чем-нибудь обратиться к Компании, за мной задержки не будет, можете быть уверены. Я могу по чистой совести дать заключение, что вы человек здоровый. Если я разбираюсь в чьем-нибудь организме, то именно в вашем; а это маленькое нездоровье принесло ему больше пользы, сударыня,— говорит доктор, обращаясь к жене пациента,— чем если бы он проглотил половину дурацких лекарств из моей аптеки. Все эти лекарства сущая чепуха; сказать по правде, половина из них сущие пустяки сравнительно с таким здоровьем, как у него! («Джоблинг милейший человек, первый раз вижу такого,— размышляет пациент,— и, честное слово, об этом деле стоит подумать».)

— Вам нынче следуют комиссионные, доктор, за четыре новых полиса и одну ссуду, да? — спросил Кримпл после завтрака, проглядывая бумаги, принесенные швейцаром.— Хорошо поработали!

— Джоблинг, мой любезный друг,— сказал Тигг,— желаю вам долго здравствовать!

— Нет, нет, пустяки. Какое же я имею право получать комиссионные,— отнекивался доктор,— решительно никакого. Это значило бы обирать вас. Я же никого сюда

не рекомендую. Говорю только то, что знаю. Пациенты спрашивают меня, а я говорю им, что знаю,— больше ничего. Осторожность всегда была моей слабой стороной, это правда. Всегда, с раннего детства: то есть,— пояснил доктор, наливая себе вина,— осторожность в интересах других. Доверился ли бы я сам Компании, если бы вот уже много лет не вносил деньги в другое учреждение,— это совершенно иной вопрос.

Он постарался придать своему голосу самые задушевные интонации, но, почувствовав, что это у него выходит не совсем удачно, переменил тему и стал хвалить вино.

— Кстати, о вине,— сказал доктор,— оно мне напомнило, какой замечательный старый портвейн я пил однажды, дело было на похоронах. Вы еще не видели этого... этого господина, мистер Монтегю? — спросил он, передавая ему карточку.

— Его не похоронили, надеюсь? — сказал Тигг, взглянув на нее.— Если похоронили, то нам его общество неинтересно.

— Ха-ха! — засмеялся доктор.— Нет, еще не совсем. Хотя он имеет самое близкое и благородное касательство к упомянутому мною случаю.

— Да, я припоминаю,— сказал Тигг, поглаживая усы.— Нет, здесь он еще не был.

Он не успел произнести этих слов, как вошел швейцар и подал медицинскому советнику визитную карточку.

— Стоит только помянуть нечистого...— заметил доктор, вставая.

— И он уже тут как тут, а? — сказал Тигг.

— Да нет же, мистер Монтегю, нет,— возразил доктор.— К нему это не подходит, наш посетитель нисколько на него не похож.

— Тем лучше,— ответил Тигг,— тем приятнее для Англо-Бенгальской компании. Буллами, уберите со стола и вынесите посуду другим ходом. Мистер Кримпл, к делу!

— Представить его вам? — спросил Джоблинг.

— Буду бесконечно рад,— отвечал Тигг с обворожительной улыбкой, посылая ему воздушный поцелуй.

Доктор вышел в контору и немедленно возвратился с Джонасом Чезлвитом.

— Мистер Монтегю,— сказал Джоблинг,— позвольте мне. Мой друг мистер Чезлвит! Дорогой друг — наш председатель! Вот вам,— прибавил он, очень ловко спохватываясь и обводя всех взглядом,— поистине оригинальное действие силы примера. Вот поистине замечательное действие силы примера. Я говорю — «наш председатель». Но почему я говорю «наш председатель»? Ведь он же не мой председатель. Я не имею никакого отношения к Компании, кроме того, что даю им — за известный гонорар — мое скромное заключение в качестве медицинского советника, совершенно так же, как даю его каждый день Джеку Ноксу или Тому Стайлсу. Так почему же я говорю «наш председатель»? Да просто потому, что все вокруг меня постоянно повторяют эти слова. Таково подражательное свойство ума у этого в высшей степени несамостоятельного двуногого — человека. Мистер Кримпл, вы, кажется, не нюхаете табак? Напрасно. Вам следовало бы.

Пока доктор высказывал все это, угостившись в заключение весьма продолжительной и звучной понюшкой, Джонас присел к столу — такой неуклюжий и растерянный, каким мы еще никогда его не видели. Всем нам, а в особенности мелким душам, свойственно испытывать благоговейный трепет перед хорошим платьем и хорошей обстановкой. Они и на Джонаса оказали подавляющее действие.

— Я знаю, вам обоим надо поговорить о деле,— сказал доктор,— и вы дорожите временем. Я тоже: в соседней комнате меня дожидаются несколько человек страхующихся, а затем мне еще нужно обойти своих пациентов. Я уже имел удовольствие представить вас друг другу и теперь могу уйти по своим делам. Всего хорошего! Однако позвольте мне, мистер Монтегю, прежде чем я уйду, сказать следующее о моем друге, которого вы видите перед собой: этот джентльмен больше всякого другого человека, сэр,— произнес он, торжественно постукивая пальцами по табакерке,— живого или мертвого — способствовал тому, чтобы примирить меня с человечеством. До свидания!

С этими словами Джоблинг вышел из комнаты и направился к себе в кабинет внушать страхующимся, как добросовестно он выполняет свои обязанности и как трудно застраховаться в Англо-Бенгальской компании. Он щупал им пульс, заставлял показывать язык, прикладывал ухо к ребрам, постукивал по груди и так далее; хотя, если бы он не знал заранее, что в Англо-Бенгальской компании никому нет отказа и что здесь меньше всего интересуются здоровьем клиентов, он был бы не тем Джоблингом, каким его знали друзья, не подлинным Джоблингом, а всего лишь жалкой подделкой.

Мистер Кримпл также отправился заниматься текущими делами, и Джонас Чезлвит с Тиггом остались одни.

— Я слышал от нашего друга,— сказал Тигг, придвигая свое кресло к Джонасу с пленительной непринужденностью,— что вы подумываете...

— Вот, ей-богу! Какое же он имеет право так говорить? — прервал его Джонас.— Я ему не рассказывал, о чем думаю. Если он забрал себе в голову, будто я сюда пришел с определенной целью, это уж его дело. Меня это ни к чему не обязывает.

Джонас сказал это довольно грубо, потому что, кроме обычной недоверчивости, в нем действовало свойственное его натуре желание выместить на другом то смущение, в которое его приводили хорошо сшитое платье и хорошая обстановка; чем меньше Джонас мог противиться этому влиянию, тем больше он злобствовал и негодовал.

— Если я пришел сюда задать вопрос-другой и взять один-два проспекта для просмотра, то это меня еще ни к чему не обязывает. Давайте договоримся на этот счет.

— Дорогой мой! — воскликнул Тигг, хлопая его по плечу.— Мне нравится ваша искренность. Если такие люди, как мы с вами, с самого начала выскажутся напрямик, то никаких недоразумений в дальнейшем быть не может. Для чего я стану скрывать от вас то, что вам хорошо известно, а непосвященным и не снилось? Все компании одинаковы, все мы хищные птицы — просто хищные птицы! Вопрос только в том, можем ли мы, соблюдая свои интересы, соблюсти и ваши; устилая свое

гнездо пухом — устлать ваше хотя бы пером. О, вы разгадали нашу тайну, вы проникли за кулисы. Что ж, мы готовы вести с вами дело начистоту, если уж иначе никак нельзя.

Когда мистер Джонас был впервые представлен читателю, мы высказали мысль, что существует простодушие хитрецов, так же как и простодушие людей наивных, и что во всех случаях, где надо было поверить в плутовство, он был самым легковерным человеком. Если бы мистер Тигг притязал на звание честного дельца, Джонас заподозрил бы его во лжи, хотя бы тот был образцом благородства; но так как он высказывал обо всем и обо всех точно те же мысли, что и сам Джонас, то Джонас начал думать, что это приятный человек, с которым можно разговаривать не стесняясь.

Он переменил позу на более развязную, если не менее неуклюжую, и, улыбаясь в своей жалкой самонадеянности, ответил:

— Вы неплохой делец, мистер Монтегю. Могу сказать, вы знаете, с какого конца надо браться за дело.

— Ну, ну,— сказал Тигг, с видом заговорщика кивая головой и показывая белые зубы,— ведь мы с вами не дети, мистер Чезлвит, мы взрослые люди.

Джонас согласился с ним и после недолгого молчания, вытянув сначала ноги и уперев руку в бок, в доказательство того, что он нисколько не стесняется, начал:

— Сказать правду...

— Не говорите правды,— прервал его Тигг, опять осклабившись,— она очень похожа на обман.

Совершенно очарованный, Джонас начал снова:

— Короче говоря, суть в том...

— Лучше,— пробормотал Тигг,— много лучше!

— ...что две или три старые компании, когда я имел с ними дело, то есть я хочу сказать — раньше имел, доставили мне много неприятностей. Они выдумывали всякие возражения, для чего не было оснований, и задавали вопросы, каких не вправе были задавать, и вообще слишком важничали, на мой взгляд.

Делая это замечание, он опустил глаза и с любопытством посмотрел на ковер. Мистер Тигг с любопытством

посмотрел на него. Он так долго молчал, что Монтегю пришел ему на выручку и сказал самым любезным своим тоном:

— Выпейте стакан вина.

— Нет, нет,— возразил Джонас, хитро покачивая головой,— ни в коем случае, спасибо. Ни капли вина за делом. Для вас это очень хорошо, а для меня не годится.

— Какой вы опытный человек, мистер Чезлвит! — сказал Тигг, откинувшись на спинку кресла и поглядывая на него полузакрытыми глазами.

Джонас опять покачал головой, словно говоря: «Ваша правда», и продолжал игриво:

— Не такой уж опытный все-таки, потому что взял да и женился. Вы скажете, что тут я дал маху. Может быть! Тем более что она совсем молодая. Но ведь никогда не знаешь, что может случиться с этими женщинами, вот я и подумываю, не застраховать ли ее жизнь. Это, знаете ли, просто справедливо, чтобы человек запасся утешением на случай такой потери.

— Если только что-нибудь может утешить в таких печальных обстоятельствах,— пробормотал Тигг, все так же полузакрыв глаза.

— Совершенно верно,— ответил Джонас,— если только что-нибудь может утешить. Так вот, предположим, что я это сделаю у вас,— так, чтобы было недорого и без хлопот и чтобы не беспокоить ее; мне бы этого очень не хотелось, а то у женщин есть такое обыкновение: только заговори с ней на этот счет, она сейчас вообразит, что тут же ей и помереть.

— Вот именно,— отозвался Тигг, целуя кончики пальцев в честь женского пола.— Вы совершенно правы. Милые, непостоянные, невинные простушки!

— Ну вот, поэтому, знаете ли,— продолжал Джонас,— и потому что меня обидели в других местах, я был бы не прочь поддержать вашу Компанию. Но я хочу знать, какое обеспечение вы можете предоставить. Говоря по...

— Только не по правде! — воскликнул Тигг, поднимая блистающую перстнями руку.— Не употребляйте таких выражений, прошу вас, они хороши для воскресной школы!

— Короче говоря,— поправился Джонас,— короче говоря, какое имеется обеспечение?

— Основной капитал, уважаемый,— ответил Тигг, листая бумаги на столе,— в настоящее время составляет...

— Ну, по части основного капитала я, знаете ли, собаку съел,— прервал его Джонас.

— Вот как? — сказал Тигг, вдруг останавливаясь.

— Ну еще бы.

Тигг отложил бумаги в сторону и, придвинувшись поближе к Джонасу, сказал ему на ухо:

— Я знаю, все знаю. Взгляните на меня!

Не в привычках Джонаса было глядеть прямо на кого бы то ни было, но, исполняя эту просьбу, он постарался вглядеться как следует в черты председателя. Председатель отодвинулся немного назад, чтобы Джонасу было удобнее его разглядывать.

— Узнаете? — спросил Тигг, поднимая брови.— Припоминаете? Вы видели меня прежде?

— Как же, мне показалось, когда я вошел, будто я помню ваше лицо,— сказал Джонас, пристально глядя на него,— только вот не могу сообразить, где я вас видел. Нет, даже и теперь не могу. Не на улице?

— Не в гостиной ли у Пекснифа? — сказал Тигг.

— В гостиной у Пекснифа! — эхом откликнулся Джонас, с трудом переводя дыхание.— Уж не тогда ли...

— Вот именно,— подтвердил Тигг,— когда там было такое прелестное и очаровательное семейное собрание, на котором присутствовали и вы с вашим уважаемым батюшкой.

— Ну, его вы оставьте,— сказал Джонас.— Он умер, и дело с концом.

— Умер, неужели? — воскликнул Тигг.— Почтенный старик! Так он умер? Вы очень на него похожи.

Джонас принял этот комплимент отнюдь не благосклонно; быть может оттого, что был далеко не лестного мнения о наружности своего покойного родителя; быть может оттого, что не находил причины радоваться, узнав о тождестве Монтегю и Тигга. Монтегю это заметил и, фамильярно похлопав его по рукаву, подозвал к окну. С этой минуты жизнерадостность и веселость мистера Монтегю стали поистине замечательными.

— Как вы находите, переменился я сколько-нибудь с тех пор? — спросил он.— Скажите откровенно.

Джонас посмотрел пристально на его жилет и перстни и ответил:

— Порядком, знаете ли!

— Ходил я тогда в отрепьях? — спросил Монтегю.

— И еще в каких! — ответил Джонас.

Мистер Монтегю указал на улицу, где Бейли дожидался его с кабриолетом.

— Богатый выезд, можно сказать шикарный. А знаете вы, чей он?

— Нет.

— Мой. Нравится вам эта обстановка?

— Она, должно быть, стоила уйму денег,— заметил Джонас.

— Вы правы. Тоже моя. Почему бы вам,— он прошептал это, слегка подтолкнув его локтем,— почему бы вам не получать страховые взносы, вместо того чтобы платить их? Такому человеку, как вы, это было бы в самый раз. Идите к нам!

Джонас воззрился на него в изумлении.

— Правда, людная улица? — спросил Монтегю, обращая его внимание на уличную толпу.

— Очень,— сказал Джонас, бросив на нее быстрый взгляд и снова воззрившись на Тигга.

— Существует печатная статистика,— продолжал его собеседник,— которая скажет вам совершенно точно, сколько людей проходит за день по этой улице. А я могу вам сказать, сколько из них зайдет сюда только потому, что контора случайно попалась им на глаза, хотя они знают о ней ровно столько же, сколько о египетских пирамидах. Ха-ха! Идите к нам. Мы с вас недорого возьмем.

Джонас смотрел на него все пристальнее и пристальнее.

— Я могу вам сказать,— шепнул Тигг ему на ухо,— сколько из них купят пожизненную ренту, сколько застрахуются, понесут нам свои деньги, на сотни ладов будут навязывать их нам, верить нам, как Монетному двору, зная о нас не больше, чем вы знаете о метельщике на углу,— даже и того меньше. Ха-ха!

Лицо Джонаса медленно расплылось в улыбку.

— Да,— сказал Монтегю, игриво толкнув его в грудь,— нам вас не провести, хитрец вы этакий, иначе я не стал бы вам ничего говорить. Приходите завтра обедать ко мне на Пэлл-Мэлл!

— Ну что ж,— сказал Джонас.

— Отлично! — воскликнул Монтегю.— Погодите минутку. Возьмите с собой эти бумаги и просмотрите их. Вот видите,— продолжал он, захватывая со стола какието печатные бланки,— господин Б., мелкий торговец, конторщик, пастор, актер, литератор — что хотите, словом, самая заурядная личность.

— Да,— сказал Джонас, жадно заглядывая ему через плечо.— Ну?

— Б. ищет занять, скажем, пятьдесят или сто фунтов, может быть больше — неважно. Б. предлагает двух поручителей. Б. дают в долг. Поручители подписывают обязательство. Б. страхует свою жизнь на сумму вдвое большую, чем сумма его долга, и приводит страховаться двух приятелей — в виде благодарности обществу. Ха-ха-ха! Ведь неплохая мысль?

— Ей-богу, превосходная! — отозвался Джонас.— А он так и сделает, это верно?

— Сделает! — повторил председатель.— Б. приходится туго, любезный, он сделает все что угодно. Как же вы не видите? Это и есть моя мысль.

— Она оказывает вам честь; провалиться мне, если не так! — сказал Джонас.

— Я тоже так думаю,— отвечал председатель,— и горжусь тем, что вы это находите. Б. платит самый высокий процент, какой полагается по закону...

— Ну, это немного,— прервал его Джонас.

— Верно, совершенно верно! — ответил Тигг.— И со стороны закона адски жестоко прижимать нас, когда сама казна берет такой хороший процент со своих клиентов. Но закон не про них писан, а с нас они взыскивают. Ну и, поскольку закон нас прижимает, мы тоже не очень мирволим этому несчастному Б.; кроме того, что мы берем с него обычные проценты, мы еще получаем с Б. страховые взносы, и с его приятелей тоже, и, дадим мы ему ссуду или нет, берем с него за «справки» (для спра-

вок мы взяли специального человека, платим ему фунт в неделю), берем с Б. немножко и за услуги секретаря; словом, дорогой мой, мы сдираем с этого Б. семь шкур и наживаем на нем хорошенький капиталец. Ха-ха-ха! В сущности говоря, я *на нем* выезжаю,— сказал Тигг, указывая на кабриолет,— и он отлично везет. Ха-ха-ха!

Джонасу очень понравилась эта шутка. Она была совершенно в его вкусе.

— Потом,— продолжал Тигг Монтегю,— мы предлагаем клиентам пожизненную ренту на самых выгодных условиях, какие только существуют на денежном рынке, и провинциальные старушки и старички покупают ее. Ха-ха-ха! И мы ее, может быть, и выплатим. Может быть! Ха-ха-ха!

— Но за это придется отвечать,— сказал Джонас, глядя на него с сомнением.

— Всю ответственность я беру на себя,— сказал Тигг Монтегю.— Здесь я отвечаю за все; я единственное ответственное лицо во всей компании! Ха-ха-ха! Потом у нас есть страхование жизни без займов — обыкновенные полисы. Очень выгодно, очень удобно. Деньги вносятся наличными, знаете ли, и так из года в год; презабавная штука!

— Но как же быть, когда наступит срок уплаты,— заметил Джонас.— Все это очень хорошо, пока общество только начинает работать; но как быть, когда придется платить по полисам,— вот о чем я думаю.

— Чтобы показать вам, насколько вы правильно судите, я приведу пример,— ответил Монтегю.— У нас было вначале два несчастных случая, которые довели нас до — пианино.

— До чего довели? — переспросил Джонас.

— Даю вам самое честное слово,— сказал Тигг Монтегю,— что все прочее имущество я обратил в деньги, и на руках у меня осталось только пианино. Пусть бы еще рояль, а то пианино, так что даже сидеть на нем было нельзя. Но, дорогой мой, мы справились и с этим. На той же неделе мы выдали много новых полисов,— кстати сказать, мы выплачиваем довольно крупные комиссионные нашим агентам,— и быстро с этим справились. А если придется уж очень много платить, что, как

вы изволили справедливо заметить, в один прекрасный день может случиться, что же — тогда надо...— он закончил фразу так тихо, что можно было разобрать всего одно слово, и то с трудом. Но оно было похоже на «удирать».

— Ну, совести у вас ни на грош! — сказал Джонас в совершенном восхищении.

— Для чего же человеку этот грош, любезнейший, если его можно обменять на золото! — воскликнул председатель, весь трясясь от смеха.— Придете ко мне завтра обедать?

— В какое время? — спросил Джонас.

— В семь часов. Вот моя карточка. Возьмите же бумаги. Я вижу, мы столкуемся.

— Этого я пока не знаю,— сказал Джонас.— Сначала надо еще посмотреть.

— Смотрите сколько угодно и на что угодно,— отвечал Монтегю, хлопая его по спине.— Но мы столкуемся, я убежден. Мы созданы друг для друга. Буллами!

Жилет явился по зову хозяина и настольного колокольчика. Получив приказ проводить Джонаса, он пошел вперед, между тем как голос, исходивший из недр жилета, по-прежнему бойко выкрикивал:

— Позвольте, господа, позвольте! Дайте пройти джентльмену из зала совещаний!

Мистер Монтегю, оставшись один, погрузился в минутное размышление, а потом спросил, повысив голос:

— Неджет в конторе?

— Он здесь, сэр.— И Неджет быстро вошел, закрыв за собою дверь так тщательно, словно речь между ними должна была пойти по меньшей мере об убийстве.

Это был тот самый человек, который наводил справки, получая за свои услуги фунт в неделю. Не было ничего удивительного или же похвального со стороны Неджета в том, что он держал дела Англо-Бенгальской компании в строжайшем секрете и вел их в глубочайшей тайне, ибо таинственность от самого рождения была его стихией. Это был коротенький, высохший, сморщенный старичок, который, казалось, даже кровь свою хранил в секрете, ибо никак нельзя было поверить, чтобы во всем его теле набралось ее хоть шесть унций. Как он живет — было тай-

ной, где он живет — было тайной, и даже что он такое — оставалось тайной. В его ветхом бумажнике хранились самые противоречивые визитные карточки: в одной он называл себя поставщиком угля, в другой — виноторговцем, в третьей — комиссионером, в четвертой — инспектором, как будто тайна его профессии была неясна ему самому. Он вечно назначал кому-то свидания в Сити — человеку, который, по-видимому, никогда не держал слова. Он просиживал часами на бирже, разглядывая всех входящих и выходящих, а также у Гарравея * и в других кофейнях биржевиков, где иногда можно было видеть, как он сушит перед огнем насквозь мокрый носовой платок, поглядывая через плечо — не пришел ли тот человек. Весь он словно заплесневел, износился, истерся; спина и панталоны у него были всегда в пуху, а белье он держал в таком секрете, застегиваясь доверху и старательно запахиваясь, что его как будто и совсем не было,— а может быть, и действительно не было. Он всегда носил с собой одну запачканную пуховую перчатку, держа ее за указательный палец, но где была пара к ней — оставалось тайной. Одни говорили, что он банкрот; другие — что он с младенчества замешан в тяжбу о наследстве, которая до сих пор еще не решена судом лорд-канцлера *,— но все это оставалось тайной. Он носил с собой в кармане кусочки сургуча и старую медную печатку с какими-то иероглифами и нередко сочинял таинственные письма, уединившись в укромном углу в одном из этих мест свидания, но так и не отправлял их никому, а прятал в потайной карман сюртука и спустя несколько недель извлекал их оттуда, к великому своему удивлению, совершенно пожелтевшими. Это был человек такого рода, что если б он умер, оставив миллион, или умер, оставив два с половиной пенса, то все знавшие его нисколько не удивились бы и сказали бы, что ожидали именно этого. А между тем он был представителем целой человеческой разновидности, совершенно особой породы людей, встречающихся только в Сити, которые являются такой же неразрешимой тайной друг для друга, как и для всего остального человечества.

— Мистер Неджет,— сказал Монтегю, списывая на бумажку адрес Джонаса Чезлвита с визитной карточки,

все еще валявшейся на столе,— я буду рад всяким сведениям относительно этого имени. Безразлично, каковы бы они ни были. Приносите мне все, что удастся собрать. Приносите лично мне, мистер Неджет.

Неджет надел очки и внимательно прочел фамилию, потом взглянул на председателя поверх очков и поклонился, потом снял их и положил в футляр, потом убрал футляр в карман. Проделав это, он посмотрел, уже без очков, на лежавшую перед ним бумажку, в то же время доставая бумажник откуда-то из-за спины. Несмотря на то, что он был битком набит всякими бумагами, Неджет нашел в нем место и для этой записки и, старательно застегнув его, торжественно проделал тот же фокус, отправив бумажник на прежнее место.

Он повернулся, не говоря ни слова, отвесил еще поклон, приотворил дверь ровно настолько, чтобы едва можно было пролезть, и тщательно закрыл ее за собой. Председатель употребил остаток утра на скрепление своей собственноручной подписью новых страховых полисов и пожизненных рент. Дела общества шли все лучше и лучше, и от клиентов просто отбоя не было.

ГЛАВА XXVIII

Мистер Монтегю у себя дома. И мистер Джонас Чезлвит у себя дома

Много было весьма основательных причин для того, чтобы Джонас Чезлвит расположился в пользу плана, так смело развернутого его великим инициатором, но три причины перевешивали все остальное. Во-первых, ему представлялась возможность нажить большие деньги. Во-вторых, эти деньги были особенно соблазнительны тем, что их выманивали хитростью у других людей. В-третьих, на этом поприще его ждали уважение и почет, поскольку совет Англо-Бенгальской компании был в своем роде важное учреждение, а его директор — влиятельное лицо. «Получать громадную прибыль, командовать целой армией подчиненных и попасть в хорошее

общество — и все это разом и без всякого труда — будет совсем неплохо»,— думал Джонас. Последние соображения уступали только его алчности; ибо, сознавая, что ни его личность, ни поведение, ни характер, ни таланты не могли внушить к себе никакого уважения, Джонас тянулся к власти и в душе был таким же деспотом, как любой увенчанный лаврами победитель, известный нам из истории.

Однако он решил держаться настороже и хорошенько присмотреться к частной жизни высокоаристократического мистера Монтегю. Мелкому плуту не приходило в голову, что Монтегю только этого и ждет, иначе он вряд ли пригласил бы Джонаса, пока тот ни на что еще не решился, и мысль, что этот гений, Монтегю, способен перехитрить его, Джонаса, не могла прошибить броню его самонадеянности. Монтегю сказал еще в самом начале, что Джонас для него слишком хитер; и Джонас, который был достаточно хитер для того, чтобы не доверять ему во всем остальном, невзирая на торжественные клятвы,— в этом поверил ему сразу.

Робеющей рукой, однако не без попытки напустить на себя дурацкую важность, постучался он в дверь своего нового друга на Пэлл-Мэлле, когда настал назначенный час. Мистер Бейли живо явился на стук. Он ничуть не возгордился и готов был оказать внимание Джонасу, но тот его не узнал.

— Мистер Монтегю дома?

— Еще бы он был не дома, когда собирается обедать,— ответил Бейли с развязностью старого знакомого.— Шляпу возьмете с собой или тут оставите?

Мистер Джонас предпочел оставить ее тут.

— Фамилия все та же, я полагаю? — ухмыляясь, спросил Бейли.

Джонас воззрился на него в немом негодовании.

— Что ж вы, не помните разве пансион мамаши Тоджерс? — сказал мистер Бейли, по своей любимой привычке стукая коленкой о коленку.— Не помните разве, как я докладывал о вас барышням, когда вы приходили с ними любезничать? Вот уж где все мохом заросло, верно? Теперь нас рукой не достанешь! Слушайте, а вы здорово выросли!

Не дожидаясь ответа на свой комплимент, он проводил гостя наверх, доложил о нем и, подмигнув ему исподтишка, удалился.

Нижний этаж дома занимал богатый торговец, но у мистера Монтегю оставался весь верх — и великолепная это была квартира! Комната, в которой он принял Джонаса, была просторная и изящная, убранная с необычайной роскошью,— ее украшали картины, гипсовые и мраморные копии с антиков, китайские вазы, высокие зеркала, малиновые занавеси тяжелого шелка, резьба и позолота, мягчайшие диваны, сверкающие хрусталем шкафчики с инкрустацией из драгоценного дерева, дорогие безделушки, небрежно разбросанные повсюду. Единственными гостями, кроме Джонаса, были доктор, управляющий делами и еще два джентльмена, которых Монтегю представил по всем правилам этикета.

— Дорогой друг, я счастлив вас видеть. С Джоблингом вы знакомы, кажется?

— Я полагаю,— любезно ответил доктор, выступая из круга, чтобы пожать руку Джонасу.— Думаю, что удостоился этой чести. Надеюсь — что да. Уважаемый, вы здоровы? Вполне здоровы? Отлично!

— Мистер Вольф,— сказал Монтегю, как только доктор дал ему возможность представить двух других,— мистер Чезлвит. Мистер Пип, мистер Чезлвит.

Оба джентльмена были чрезвычайно рады такой чести — познакомиться с мистером Чезлвитом. Доктор отвел Джонаса в сторону и шепнул ему, прикрыв рот ладонью:

— Светские люди, уважаемый, светские люди! Гм! Мистер Вольф — деятель литературы, только говорить об этом не надо,— замечательно интересная еженедельная газета! О, замечательно интересная! Мистер Пип — деятель театра, превосходный собеседник — о, превосходный!

— Ну,— сказал Вольф, скрестив руки и продолжая разговор, прерванный появлением Джонаса,— так что же сказал на это лорд Нобли?

— Да просто не знал что сказать,— ответил Пип, загнув крепкое словцо.— Черт возьми, сэр, так и молчал, как пень. Но вы же знаете, какой отличный малый этот Нобли!

— Лучше и быть не может! — отозвался Вольф.— Не дальше как на прошлой неделе Нобли мне сказал: «Ей-богу, Вольф, если б у меня был в распоряжении богатый приход да если б еще вы воспитывались в университете — лопни глаза мои, я бы сделал вас пастором!»

— На него похоже,— сказал Пип и опять загнул словцо.— И сделал бы!

— Нечего и сомневаться,— сказал Вольф.— Но вы хотели рассказать нам...

— Ах, да! — воскликнул Пип.— Верно, хотел. Сначала он совсем онемел, лишился языка, ну просто обмер, а потом говорит герцогу: «Здесь Пип. Спросите Пипа. Пип наш общий друг. Он знает».— «Черт возьми! — говорит герцог.— В таком случае я обращаюсь к Пипу. Ну, Пип, кривоногая она или нет? Скажите нам!» — «Кривоногая, ваша светлость, клянусь князем тьмы!» — говорю я. «Ха-ха! — смеется герцог.— Конечно, кривоногая. Браво, Пип! Хорошо сказали, Пип. Вы молодчина, Пип, провалиться мне, коли не так! Если у вас будет собираться светское общество, рассчитывайте на меня, когда я в городе». И с тех пор я постоянно его приглашаю.

Конец анекдота доставил всем огромное удовольствие, которое отнюдь не уменьшилось от доклада, что обед подан. Джонас отправился в столовую вместе с хозяином и занял место между ним и своим приятелем доктором. Остальные разместились за столом, как люди, давно освоившиеся в доме, и все одинаково отдали честь обеду.

Обед был отличный, самый лучший, какой только можно достать за деньги или в кредит (что в сущности все равно). Блюда, вина и фрукты были самые отборные. Сервировка отличалась элегантностью. Серебро было великолепное. Мистер Джонас занялся подсчетом, во что может обойтись одна эта статья, когда хозяин потревожил его:

— Стакан вина?

— О! — сказал Джонас, который уже выпил несколько стаканов.— Этого сколько вам угодно. Слишком оно хорошо, чтобы отказываться.

— Прекрасно сказано, мистер Чезлвит! — крикнул Вольф.

— Ловко, честное слово! — сказал Пип.

— Положительно, знаете ли, это... ха-ха-ха,— заметил доктор, кладя вилку с ножом на стол, а потом снова принимаясь за еду,— это положительно эпиграмма, ну совершенно!

— Вы не скучаете, я надеюсь? — спросил Тигг Джонаса, наклонившись к нему.

— О, вы напрасно беспокоитесь на мой счет,— ответил тот.— Мне отлично!

— Я подумал, что лучше обойтись без званого обеда,— сказал Тигг.— Вы обратили внимание?

— Ну, а как же это, по-вашему, называется? — возразил Джонас.— Не хотите же вы сказать, что у вас так бывает каждый день?

— Дорогой мой,— сказал Тигг, пожимая плечами,— решительно каждый день, когда я обедаю дома. У меня так уж принято. Не стоило затевать для вас что-нибудь необыкновенное,— вы бы это сразу заметили. «Будете устраивать званый обед?» — спрашивает Кримпл. «Нет, не буду,— говорю я,— мы его примем запросто».

— А получилось роскошно, ей-богу,— сказал Джонас, оглядывая стол.— Ведь это стоит недешево.

— И очень даже, если говорить прямо,— отвечал Тигг.— Это моя страсть. Вот на что уходят мои деньги.

Джонас прищурил один глаз и сказал.

— Ой ли?

— А разве вы не будете тратить на то же свою долю прибылей, когда присоединитесь к нам? — спросил Тигг.

— Ну, уж нет,— отрезал Джонас.

— Что ж, вы правы,— сказал Тигг с дружеской прямотой.— Вам и не нужно. В этом нет необходимости. Кто-нибудь один должен этим заниматься, чтоб не растерять клиентов, но пускай уж это будет по моей части, раз доставляет мне удовольствие. Вы, я думаю, не откажетесь хорошо пообедать на чужой счет?

— Нет, конечно,— сказал Джонас.

— Так, я надеюсь, вы будете часто обедать у меня?

— Не откажусь,— сказал Джонас.— Напротив.

— И клянусь вам, я никогда не буду говорить с вами

о делах за стаканом вина,— сказал Тигг.— О, это было очень, очень, очень хитро с вашей стороны нынче утром. Надо им рассказать. Они как раз такой народ, что могут это оценить. Пип, любезный, я должен вам рассказать замечательную штуку про моего приятеля Чезлвита... Это величайший хитрец, какого я знаю. Даю вам самое священное честное слово, Пип, что другого такого хитреца я не знаю!

Пип ответил, что он в этом уверен, прибавив особенно крепкое словцо, и рассказанный анекдот был встречен громкими рукоплесканиями, как бесспорное доказательство хитрости мистера Джонаса. Пип, движимый естественным стремлением превзойти его, сообщил коекакие примеры собственной хитрости, а Вольф, чтобы не остаться в долгу, выбрал и прочел самую соль из двухтрех очень остроумных статеек, подготовленных им для печати. Эти словоизлияния, по его словам «весьма хлесткие», встретили горячее одобрение, и все общество согласилось, что они бьют не в бровь, а прямо в глаз.

— Светские люди, уважаемый! — шепнул Джоблинг на ухо Джонасу.— Настоящие светские люди! Для человека моей профессии просто освежительно побывать в таком обществе. Не только приятно — хотя ничего не может быть приятнее,— но полезно в философическом отношении. Ведь это оригиналы, уважаемый, оригиналы!

Очень приятно знать, что истинные заслуги ценятся на любой ступени общественной лестницы, и дружескому слиянию всех собравшихся немало содействовало то обстоятельство, что оба светских льва пользовались, как выяснилось, большим уважением в высших классах общества и у доблестных защитников отечества — представителей армии и флота, особенно армии. В каждом самом коротеньком анекдоте фигурировал по меньшей мере один полковник; лорды встречались не реже, чем крепкие словца; и даже царственная кровь струилась в мутной воде их личных воспоминаний.

— Боюсь, что мистер Чезлвит с ним не знаком,— сказал Вольф об одном лице высокого происхождения, о котором только что вспоминали.

— Нет,— сказал Тигг.— Но мы должны его познакомить с этими людьми.

— Он большой поклонник литературы,— заметил Вольф.

— Неужели? — сказал Тигг.

— Ну как же; он из года в год подписывается на мою газету. А знаете, ему случалось иногда говорить очень остроумные вещи. Как-то он спросил одного виконта, моего приятеля,— вот Пип его знает: «Как же фамилия этого журналиста, как его фамилия?» — «Вольф».— «Вольф? То есть волк? Зубастый зверь, волк! Как говорится: не пускайте волка в овчарню». Очень удачно. И лестно к тому же, так что я это напечатал.

— А этот виконт молодчина! — воскликнул Пип.— Он придумал новое бранное словцо и теперь начинает с него каждую реплику. Право, молодчина! Заходит он однажды к нам в театр, чтобы проводить свою пассию домой, немножко навеселе, но не очень,— и говорит: «Где Пип? Я желаю видеть Пипа. Подайте его сюда!» — «Что за шум, милорд?» — «Ваш Шекспир просто чепуха, Пип! Что в нем хорошего, в Шекспире? Я его никогда не читаю. Какого черта он там нагородил, Пип? У него в стихах все стопы, а ног ни в одной шекспировской пьесе не показывают. Верно, Пип? Джульетта, Дездемона, леди Макбет и все прочие, как их там зовут, могут быть и совсем безногие, насколько публике известно, Пип. Для публики они все равно что безногая мисс Биффин *. Я вам скажу, в чем тут суть. То, что называется драматической поэзией, есть просто собрание проповедей. А разве я затем хожу в театр, чтобы слушать проповеди? Нет, Пип. На это есть церковь. Что должна изображать драма, Пип? Человеческую натуру. А что такое ноги? Человеческая натура. Так почаще показывайте нам ноги, мой милый, и я вас поддержу!» И я горжусь тем,— прибавил Пип,— что он действительно меня поддержал, и очень щедро!

Так как разговор стал общим, то спросили мнение мистера Джонаса; и поскольку он вполне согласился с мистером Пипом, этот джентльмен был чрезвычайно польщен. В самом деле, и у него и у Вольфа оказалось так много общего с Джонасом, что они совсем подружились, и под воздействием их дружеского обращения и винных паров Джонас стал разговорчивее.

Не следует думать, что чем разговорчивее становится такой человек, тем он делается приятнее. Напротив, его достоинства, быть может, всего виднее, когда он молчит. Не имея, как он думал, других средств сравняться с остальными, кроме той самой хитрости и колкости, за какие его только что хвалили, Джонас старался проявить эти свойства во всем объеме и так хитрил и острил, что совсем запутался в собственных хитростях и переколол себе все пальцы собственными колкостями.

И таковы уж были особенности и свойства его характера, что он выставлял себя в выгодном свете, прохаживаясь насчет хозяина. Запивая искрящимся вином его роскошное угощение, он высмеивал расточительность, которая поставила перед ним эти дорогие яства. Даже за таким вольным столом, в такой более чем сомнительной компании это могло бы привести к не совсем приятным результатам, если бы Тигг с Кримплом, желая изучить хорошенько свою жертву, не потакали ему решительно во всем, зная, что чем больше он себе позволит, тем скорее они достигнут цели. И пока этот запутавшийся мошенник (простофиля, несмотря на всю свою хитрость) воображал, будто он свернулся, как еж, ощетинившись навстречу им всеми своими колючками, они смотрели в оба и успели разглядеть все его слабые места.

Хозяин ли задавал тон обоим джентльменам, столь приумножившим философические познания доктора (кстати сказать, доктор потихоньку скрылся, выпив свою обычную бутылку вина), или же они руководствовались тем, что видели и слышали, но оба они очень хорошо сыграли свою роль. Они просили у Джонаса разрешения продолжать с ним знакомство, выражали надежду, что будут иметь удовольствие ввести его в тот высший свет, где он должен блистать, имея для этого все данные, и заверяли его, в самом дружеском тоне, что рады служить ему чем только могут, каждый в своей области. Словом, они говорили: «Будьте одним из нас!» А Джонас отвечал, что он им чрезвычайно обязан и не преминет воспользоваться их любезностью; про себя же думал, что ежели они «выставят угощение», то он ничего больше и не просит.

После кофе, поданного в гостиную, беседа, которую вели главным образом Пип и Вольф, перешла на весьма пикантные и в некотором роде скабрезные темы. Когда эта материя истощилась, разговор поддержал Джонас; он с большим юмором оценивал мебель в комнате и спрашивал, заплачено ли за такой-то предмет, какая ему настоящая цена и тому подобное. Словом, он явно решил доконать беднягу Монтегю и удивить все общество своим блестящим остроумием.

Пунш из шампанского снова внес некоторое оживление, хотя и ненадолго. Поднялся шум, в котором ничего нельзя было разобрать, после чего оба светских джентльмена неверной походкой отправились восвояси, а мистер Джонас уснул на одном из диванов.

Так как ему решительно нельзя было втолковать, где он находится, то мистеру Бейли приказано было нанять карету и отвезти его домой, для чего этому молодому человеку пришлось около трех часов утра прервать свой беспокойный сон в прихожей.

— Попался на удочку, как вы думаете? — шепнул Кримпл своему компаньону, глядя вместе с ним на спящего Джонаса с другого конца гостиной.

— Да! — также шепотом ответил Тигг.— И, кажется, уж не сорвется. Неджет был здесь сегодня?

— Да, я выходил к нему. Узнав, что у вас гости, он ушел.

— Почему же?

— Он сказал, что зайдет пораньше утром, прежде чем вы встанете.

— Распорядитесь, чтоб его непременно впустили ко мне в спальню. Тише! Вот и мальчик! Ну, мистер Бейли, везите этого джентльмена домой, да смотрите, доставьте в целости. Эй, послушайте! Чезлвит, проснитесь!

Они не без труда подняли его на ноги, свели вниз, нахлобучили ему шляпу на голову и впихнули в карету. Мистер Бейли, захлопнув за ним дверцы, уселся на козлы рядом с кучером и закурил сигару с особенным удовольствием, ибо дело, которое ему поручили, носило характер развлечения, что было ему вполне по вкусу.

Подъехав в положенное время к дому в Сити, мистер Бейли соскочил с козел и проявил живость своей натуры

таким стуком в дверь, какого здесь не слыхивали со времени большого лондонского пожара *. Выйдя на дорогу полюбоваться эффектом этого подвига, он заметил, что тусклый свет, видневшийся раньше в окне верхнего этажа, передвинулся и спускается в нижний этаж. Чтоб узнать, кто несет свечу, мистер Бейли подбежал к двери и заглянул в замочную скважину.

Это была она сама, веселая. Но совсем, совсем не та! Такая озабоченная и угнетенная, такая неуверенная в себе и боязливая, такая унылая, смирившаяся и убитая, что менее поразительно было бы видеть ее лежащей в гробу.

Она поставила свечу на кронштейн в прихожей и приложила руку к сердцу, к глазам, к пылающей голове. Потом пошла к двери, но такой неровной торопливой походкой, что мистер Бейли совсем растерялся и, даже после того как она отперла дверь, продолжал глядеть туда, где надлежало быть замочной скважине.

— Ага! — сказал, наконец, мистер Бейли, сделав над собой усилие.— Вот вы где, да? Что такое с вами? Болеете, что ли?

Она удивилась, узнав его, наконец, в другом платье, и на лице ее появилась улыбка, настолько похожая на прежнюю, что Бейли обрадовался. Но в следующую минуту он опять огорчился, увидев слезы на ее потускневших глазах.

— Не пугайтесь,— сказал Бейли.— Ничего такого не случилось. Я привез мистера Чезлвита домой. Он не болен. Только подвыпил немножко, знаете ли.— Мистер Бейли зашатался, изображая пьяного.

— Вы приехали от миссис Тоджерс? — спросила Мерри, вся дрожа.

— От миссис Тоджерс, господь с вами! Что вы! — воскликнул мистер Бейли.— Я ничего общего с миссис Тоджерс не имею. Давно с ней развязался. Это он обедал у моего хозяина в Вест-Энде. Вы разве не знали, что он к нам поехал?

— Нет,— сказала она слабым голосом.

— Ну, как же. Мы ведь сливки общества, я вам говорю. Не выходите на холод, а то еще простудитесь. Я сам его разбужу! — И мистер Бейли, выражая всей своей повадкой полную уверенность в том, что он, если

понадобится, свободно донесет мистера Джонаса, отворил дверцу, спустил подножку и, встряхнув Джонаса, крикнул:

— Домой приехали, мой цветочек! Вылезайте!

Джонас настолько пришел в себя, что в состоянии был отозваться, и вывалился, как мешок, из кареты, не без опасности для жизни мистера Бейли. Когда он очутился на тротуаре, мистер Бейли сперва боднул его головой спереди, потом ловко подпихнул сзади и, приведя таким образом в равновесие, помог ему войти в дом.

— Ступайте вперед со светом,— сказал Бейли миссис Джонас,— а мы за вами. Не дрожите так. Он вас не тронет. Я сам, когда выпью лишнее, бываю добрый-предобрый.

Мерри пошла вперед, а ее супруг и мистер Бейли, толкая и пихая друг друга, добрались в конце концов до комнаты наверху, где Джонас повалился в кресло.

— Ну вот! — сказал мистер Бейли.— Теперь он в порядке. И о чем тут плакать, господь с вами! Он же здоров, как бык!

Отвратительный скот, в измятом платье, с тупым лицом и растрепанными волосами, долго сидел съежившись, клюя носом и бессмысленно вращая глазами; но, наконец, мало-помалу придя в сознание, он узнал жену и погрозил ей кулаком.

— Ага! — воскликнул мистер Бейли, вдруг заволновавшись и расправляя плечи.— Как, вы еще злитесь? Это еще что? Вы это лучше оставьте!

— Пожалуйста, уйдите! — сказала Мерри.— Бейли, хороший мой мальчик, идите домой. Джонас! — начала она робко, положив руку ему на плечо и наклонившись к нему.— Джонас!

— Полюбуйтесь на нее! — крикнул Джонас, отталкивая жену.— Полюбуйтесь! Полюбуйтесь на нее! Вот сокровище для мужа!

— Милый Джонас!

— Милый дьявол! — ответил он злобно, замахнувшись.— Навязали такую обузу человеку на всю жизнь: только и знай хнычет, плакса! Убирайся с глаз моих долой!

— Я знаю, ты этого не думаешь, Джонас. Трезвый ты не сказал бы этого.

С притворной веселостью она дала Бейли монету и опять попросила его уйти. Она умоляла так настойчиво, что у мальчика не хватило духа остаться. Но, сойдя с лестницы, он остановился и прислушался.

— Трезвый я бы этого не сказал? — возразил Джонас.— Кому и знать, как не тебе. Разве я не говорил того же и трезвый?

— Да, очень часто! — ответила она сквозь слезы.

— Слушай, ты! — крикнул Джонас, топнув ногой.— Было время, ты заставляла меня терпеть твои причуды, а теперь, ей-богу, я тебя заставлю терпеть мои. Я себе дал слово, что заставлю. Для того я и женился на тебе. Узнаешь, кто тут хозяин, а кто слуга!

— Бог видит, я и так слушаюсь! — рыдая, ответила бедняжка.— Я никогда не думала, что мне придется так слушаться!

Джонас, торжествуя, захохотал пьяным смехом.

— Что? Начинаешь понимать наконец? Потерпи, со временем поймешь как следует! У страшилищ бывают когти, милая. За каждую обиду, которую ты мне нанесла, за каждую шутку, которую ты со мной сыграла, за каждую твою дерзость я тебе отплачу сторицей! А то для чего ж я на тебе женился? Эх, ты! — сказал он грубо и презрительно.

Он смягчился бы, право смягчился бы, если б услышал, как она напевает песенку, которая ему когда-то нравилась, от всего сердца стараясь вернуть его любовь.

— Ого! — сказал он.— Оглохла ты, что ли? Не слышишь, а? Тем лучше. Терпеть тебя не могу. И себя ненавижу за то, что был дураком, взвалил себе на спину такую обузу ради удовольствия втоптать ее в грязь, когда вздумается! А теперь дела у меня пошли так, что я мог бы жениться на ком угодно. И то не хочу, лучше быть холостяком. Мне бы и надо остаться холостяком, и приятели у меня такие! А вместо того я прикован к тебе, как к колоде. Ну! Чего ты суешься со своей постной рожей, когда я прихожу домой? Неужто мне и забыть про тебя нельзя?

— Как поздно! — сказала она веселым тоном, отворяя ставни после некоторого молчания.— Белый день на дворе, Джонас!

— Белый день или черная ночь, какое мне дело? — был любезный ответ.

— И как эта ночь прошла быстро! Я вовсе не устала дожидаться, ничуть.

— Попробуй еще раз меня дожидаться, посмей только! — проворчал Джонас.

— Я читала всю ночь,— продолжала она.— Начала, когда ты ушел, и читала, пока ты не вернулся. Очень странная история, Джонас! И правдивая, так говорится в книге. Я расскажу тебе завтра.

— Правдивая, да? — злобно сказал Джонас.

— Так говорится в книге.

— А было там что-нибудь про человека, который решил укротить свою жену, сокрушить ее дух, обуздать ее нрав, раздавить все ее капризы, как орехи... может, и убить, почем я знаю? — допытывался Джонас.

— Нет, ни слова,— быстро ответила она.

— Ага! — возразил он.— Вот это так будет правдивая история, и очень скоро, хоть в книге ничего на этот счет не говорится! Врет твоя книга, я вижу. Подходящая книга для такой лгуньи. Но ты ведь глуха. Я и забыл.

Опять наступило молчание, и мальчик стал уже уходить, крадучись, когда услышал ее шаги наверху и остановился. Она подошла к Джонасу, заговорила с ним ласково, сказала, что полагается на него во всем, будет всегда спрашивать его и делать, как он захочет, и что они еще могли бы быть очень счастливы, если б только он был с ней поласковее. Он ответил проклятием и...

Неужели ударом? Да. Пусть суровая правда свидетельствует против подлого негодяя — ударом!

Ни сердитых криков, ни громких упреков. Даже ее плач и рыдания звучали приглушенно, так как она прижалась к нему. Она только твердила в сердечной муке — как он мог, как он... мог! — а остальное заглушили слезы.

О женщина, возлюбленная дщерь господня! Лучшим из нас следует быть снисходительным к твоим ошибкам, хотя бы ради той пытки, какую придется тебе терпеть, свидетельствуя против нас в день Страшного суда!

ГЛАВА XXIX,

в которой одни держат себя развязно, другие деловито, третьи загадочно — каждый на свой собственный лад

Быть может, тревожное воспоминание о виденном и слышанном, а быть может, не слишком глубокомысленное открытие, что ему решительно нечего делать, заставило мистера Бейли на следующий день почувствовать особенное тяготение к приятному обществу и побудило его нанести визит своему приятелю Полю Свидлпайпу.

Как только маленький колокольчик шумно возвестил о прибытии гостя (ибо мистер Бейли при входе сильно толкнул дверь, стараясь извлечь из колокольчика возможно больше звона), Поль Свидлпайп оторвался от созерцания любимой совы и сердечно приветствовал своего молодого приятеля.

— Ну, днем ты выглядишь еще нарядней, чем при свечах! — заметил Поль.— Первый раз вижу такого франта и ловкача.

— Вот именно, Полли. Как поживает наша прелестная Сара?

— Да ничего себе,— сказал Поль.— Она дома.

— А ведь и сейчас видать, что была недурна,— заметил мистер Бейли небрежным тоном светского человека.

«Ого! — подумал Поль.— Да он старик! Дряхлый старик, совсем дряхлый».

— Уж очень расползлась, знаешь ли,— продолжал Бейли,— очень жиру много. Но в ее годы бывает и хуже.

«Даже сова и та глаза вытаращила! — подумал про себя Поль.— И не удивительно, это птица серьезная».

Он как раз правил бритвы, которые были разложены в ряд, а со стены свешивался гигантский ремень. Глядя на эти приготовления, мистер Бейли погладил подбородок и, как видно, придумал что-то новенькое.

— Полли,— сказал он,— у меня на щеках как будто не совсем чисто. Раз я все равно здесь, не мешало бы побриться, так сказать, навести красоту.

Брадобрей разинул рот, но мистер Бейли, сняв шейный платок, уже уселся в кресло для клиентов с величайшим достоинством и самоуверенностью, перед которыми невозможно было устоять. Что бы ни казалось на глаз и на ощупь, это не шло в счет. Подбородок у Бейли был гладкий, как свежеснесенное яичко или скобленый голландский сыр, однако Поль Свидлпайп даже под присягой не рискнул бы отрицать, что он бородат, как еврейский раввин.

— Пройдись хорошенько по всей физиономии, Полли, только не против волоса,— сказал мистер Бейли, зажмурившись в ожидании мыльной пены.— С бакенбардами делай что хочешь, мне на них наплевать!

Кроткий маленький брадобрей в комичной нерешительности застыл на месте с тазиком и кисточкой в руках, без конца взбивая мыло, словно околдованный, не в состоянии приступить к делу. Наконец он мазнул кистью по щеке мистера Бейли. Потом снова застыл на месте, словно призрак бороды исчез при этом прикосновении; однако, выслушав ласковое поощрение мистера Бейли в форме афоризма: «Валяй, не стесняйся», щедро его намылил. Мистер Бейли, очень довольный, улыбался сквозь мыльную пену.

— Полегче на поворотах, Полли. Там, где угри, пройдись на цыпочках.

Поль Свидлпайп повиновался и с особенным старанием соскреб пену. Мистер Бейли, скосясь, следил за каждым новым клочком пены, ложившимся на салфетку на левом его плече; по-видимому, он, словно под микроскопом, различил в мыле два-три волоска, так как повторил несколько раз: «Гораздо рыжей, чем хотелось бы, Полли». Закончив операцию, Поль отступил немного назад и опять воззрился на мистера Бейли, а тот заметил, вытирая лицо общим полотенцем, что «после бессонной ночи ничто так не освежает мужчину, как бритье».

Он как раз завязывал галстук, стоя без фрака перед зеркалом, а Поль только что вытер бритву и стал готовиться к приходу следующего клиента, когда миссис Гэмп, спускавшаяся вниз, заглянула в дверь цирюльни, чтобы по-соседски поздороваться с брадобреем. Сочувствуя печальному положению миссис Гэмп, возымевшей


SHAVING
CASSAR

к нему симпатию, но, естественно, будучи не в состоянии ответить ей взаимностью, мистер Бейли поспешил утешить ее ласковыми словами.

— Здоро́во, Сара! — сказал он.— Нечего и спрашивать, как вы поживаете, потому что вы прямо цветете. Цветет, растет, красуется! Верно, Полли?

— Ах ты, прах тебя побери, до чего нахальный мальчишка! — воскликнула миссис Гэмп, впрочем нисколько не сердясь.— Этакий бесстыжий воробей! Не хотела бы я быть его мамашей даже и за пятьдесят фунтов!

Мистер Бейли истолковал эти слова как деликатное признание в нежной страсти и намек на то, что никакие деньги не вознаградят ее за это безнадежное чувство. Он был польщен. Бескорыстная привязанность всегда кажется лестной.

— О господи! — простонала миссис Гэмп, падая в кресло для клиентов.— Этот самый «Бык», мистер Свидлпайп, просто на все идет, чтобы уморить меня. Много я видала капризных больных в нашей юдоли, а этот всех переплюнет.

В обычае миссис Гэмп и ее товарок по профессии было отзываться так о самых покладистых больных, потому что этим они отваживали своих конкуренток, зарившихся на то же место, а заодно и объясняли, почему сиделкам так необходим хороший стол.

— Вот и толкуйте насчет здоровья,— продолжала миссис Гэмп.— Просто надо быть железной, чтобы все это вынести. Миссис Гаррис верно мне говорила, вот только что, на днях: «Ах, Сара Гэмп, говорит, и как только вы это можете!» — «Миссис Гаррис,— говорю я ей,— сударыня, мы сами на себя нисколько не надеемся, а все больше на бога; это и есть наша вера, она нам и помогает».— «Да, Сара,— говорит миссис Гаррис,— жизнь наша такая. Как ни верти, а все идет к одному, и никуда от этого не денешься».

Брадобрей издал сочувственное мычанье, как бы говоря, что слова миссис Гаррис, хотя, быть может, и не столь вразумительные, сколь следовало ожидать от такого авторитета, делают, однако, большую честь ее уму и сердцу.

— А тут,— продолжала миссис Гэмп,— а тут при-

ходится мне тащиться такую даль, за целых двадцать миль, да и больной-то уж очень ненадежный; думаю, вряд ли кому приходилось ухаживать за таким помесячно. Вот миссис Гаррис мне и говорит — ведь она женщина и мать, так что чувствовать тоже может,— вот она и говорит мне: «Вы не поедете, Сара, господь с вами!» — «Почему же, говорю, мне не ехать, миссис Гаррис? Миссис Гилл, говорю, с шестерыми ни разу не промахнулась, так может ли быть, сударыня,— спрашиваю у вас как у матери,— чтобы она теперь нас подвела? Сколько раз я от него слыхала,— говорю я миссис Гаррис,— то есть, от мистера Гилла, что насчет дня и часа он своей жене больше верит, чем календарю Мура *, и готов даже поставить девять пенсов с фартингом. Так может ли быть, сударыня,— говорю я,— чтобы она на этот раз проштрафилась?» — «Нет,— говорит миссис Гаррис,— нет, сударыня, это уж будет против естества. Только,— говорит, а у самой слезы на глазах,— вы и сами лучше моего знаете, с вашим-то опытом, какие пустяки нас могут подвести. Какой-нибудь там полушинель, говорит, или трубочист, или сенбернар, или пьяный выскочит из-за угла, вот вам и готово». Все может быть, мистер Свидлпайп, слов нет,— продолжала миссис Гэмп,— я ничего не говорю, и хоть по моей записной книжке я еще целую неделю свободна, а все-таки сердце у меня не на месте, могу вас уверить, сударь.

— Уж очень вы стараетесь, знаете ли! — сказал Поль.— Убиваетесь уж очень.

— Убиваюсь! — воскликнула миссис Гэмп, воздевая руки кверху и закатывая глаза.— Вот уж ваша правда, сударь, лучше не скажешь, хоть говори до второго пришествия. Я за других болею пуще, чем за себя самое, хотя никто этого, может, и не видит. Кабы истинные заслуги ценились, не мешало бы меня помянуть добрым словом; сколько я младенцев на своем веку приняла — и за неделю не окрестить в соборе святого Павла! *

— Куда этот ваш больной едет? — спросил Свидлпайп.

— В Хартфордшир, там у него родные места. Только ему уж ничего не поможет,— заметила миссис Гэмп,— ни родные, ни чужие.

— Неужто ему так плохо? — полюбопытствовал брадобрей.

Миссис Гэмп загадочно покачала головой и поджала губы.

— Бывает и в мозгах воспаление,— сказала она,— все равно как в легких. Сколько ни пей противных микстур, от этого не вылечишься, хоть бы тебя всего расперло и на воздух подняло.

— Ах ты господи! — сказал брадобрей, округляя глаза и становясь похожим на ворона.— Боже мой!

— Да. Все равно хоть бы ты стал легче воздушного шара,— сказала миссис Гэмп.— А вот болтать во сне о некоторых вещах, когда в голове у тебя неладно, от этого никому не поздоровится.

— О каких же это некоторых вещах? — спросил Полли, от любопытства жадно грызя ногти.— О привидениях, что ли?

Миссис Гэмп, которая зашла, быть может, гораздо дальше, чем намеревалась, подстегиваемая настойчивым любопытством брадобрея, необыкновенно многозначительно фыркнула и сказала, что это совершенно не важно.

— Я уезжаю с моим пациентом в дилижансе нынче после обеда,— продолжала она,— пробуду с ним денек-другой, пока найдется для него деревенская сиделка (провалиться этим деревенским сиделкам, много такие растрепы смыслят в нашем деле!), а потом вернусь,— вот из-за этого я и беспокоюсь, мистер Свидлпайп. Думаю все-таки, что без меня ничего особенного не случится, а уж там, как говорит миссис Гаррис, миссис Гилл может выбрать какое угодно время; мне совершенно все равно,— что днем, что ночью.

Пока длился этот монолог, который миссис Гэмп адресовала исключительно брадобрею, мистер Бейли завязывал галстук, надевал фрак и корчил самому себе рожи, глядясь в зеркало. Но теперь миссис Гэмп обратилась к нему, что заставило его повернуться и принять участие в разговоре.

— Я думаю, вы не были в Сити, сударь, то есть у мистера Чезлвита,— спросила миссис Гэмп,— после того как мы с вами там повстречались?

— Как же, был, Сара. Нынче ночью.

— Нынче ночью! — воскликнул брадобрей.

— Да, Полли, вот именно. Можешь даже сказать — нынче утром, если тебе охота придираться к слову. Он у нас обедал.

— У кого это «у нас», озорник? — спросила миссис Гэмп, весьма сердито напирая на эти слова.

— У нас с хозяином, Сара. Он обедал у нас в доме. Подвыпили мы здорово, Сара. До того даже, что пришлось мне везти его домой в наемной карете в три часа утра.— Язык у Бейли чесался рассказать все, что за этим последовало, но, зная, что это легко могло дойти до ушей его хозяина, а также памятуя неоднократные наказы мистера Кримпла «не болтать», он воздержался, прибавив только: — Она так и не ложилась, все ждала его.

— А ведь ежели сообразить как следует,— сердито заметила миссис Гэмп,— так она должна бы знать, что ей ничего подобного делать нельзя, к чему же она себя переутомляет? Ну как они, милый, ласковы друг с другом?

— Да ничего,— ответил Бейли,— довольно-таки ласковы.

— Приятно слышать,— сказала миссис Гэмп, опять многозначительно фыркая.

— Они еще не так давно женаты,— заметил Поль, потирая руки,— с чего же им не быть ласковыми пока что.

— Само собой,— произнесла миссис Гэмп, в третий раз подавая многозначительный сигнал.

— Особенно,— продолжал брадобрей,— ежели у джентльмена такой характер, как вы говорите, миссис Гэмп.

— Я говорю, что вижу, мистер Свидлпайп,— сказала миссис Гэмп.— Боже сохрани, чтобы оно было иначе! Только ведь чужая душа потемки; кабы там были стеклянные окна, пришлось бы некоторым из нас держать ставни закрытыми, смею вас уверить!

— Но ведь вы не хотите сказать...— начал Поль Свидлпайп.

— Нет, не хочу,— резко оборвала его миссис Гэмп.— И не думаю даже. И никакая инквизиция. никакие там испанские сапоги * не заставят меня сознаться, будто я

думала. Я только одно скажу,— прибавила добрая женщина, вставая и закутываясь в шаль,— что в «Быке» меня ждут, так нечего терять драгоценное время.

Маленький брадобрей, в своем неудержимом любопытстве возымевший сильное желание увидеть пациента миссис Гэмп, предложил мистеру Бейли проводить ее до гостиницы и дождаться там отправления дилижанса. Молодой джентльмен выразил на это свое согласие, и они отправились все вместе.

Дойдя до гостиницы, миссис Гэмп, которая была облачена для дороги в последнее по счету траурное платье, предоставила своим друзьям развлекаться во дворе, а сама поднялась в комнату больного, где ее товарка по профессии, миссис Приг, уже одевала пациента.

Он был так истощен, что, казалось, стоит только ему двинуться с места, и кости загремят друг о дружку. Щеки у него ввалились, глаза были неестественно велики. Он лежал, откинувшись на спинку кресла, больше похожий на мертвеца, чем на живого человека, и при появлении миссис Гэмп обратил к двери свои томные глаза с таким усилием, как будто одно это движение стоило ему невероятного труда.

— Ну, как мы себя нынче чувствуем? — спросила миссис Гэмп.— Выглядим-то мы просто чудесно.

— Выглядим чудесно, а чувствуем себя неважно,— отвечала миссис Приг довольно сердито.— Встали, должно быть, с левой ноги, вот теперь и злимся на всех. Первый раз такого больного вижу. И умываться-то не стал бы ни за что, будь его воля.

— Она мне мыла в рот напихала,— сказал несчастный пациент слабым голосом.

— А вы чего ж не закрываете рот? — отвечала миссис Приг.— Кто же это станет вам умывать сначала одно, потом другое? Охота была глаза себе портить, возиться со всякой мелочью за полкроны в день! Хотите, чтоб с вами нянчились, так платили бы как следует.

— О боже мой! — простонал пациент.— Боже мой, боже мой!

— Ну вот,— сказала миссис Приг,— вот так он себя и ведет все время, с тех пор как я его подняла с постели, можете мне поверить.

— Это вместо благодарности за все наши заботы,— отозвалась миссис Гэмп.— Постыдились бы, сударь, право, постыдились бы!

Тут миссис Приг схватила пациента за подбородок и принялась драть щеткой его злополучную голову.

— Небось вам и это не понравится! — заметила миссис Приг, останавливаясь, чтобы поглядеть на больного.

Очень возможно, что ему это действительно не понравилось, потому что щетка была так жестка, как только может быть жестко произведение современной техники, и даже веки у больного покраснели от трения. Миссис Приг была очень довольна, что ее предположение оправдалось, и заметила, что она «так и думала».

Причесав волосы так, чтобы они по возможности больше лезли больному в глаза, миссис Приг и миссис Гэмп надели ему шейный платок, пристроив воротнички таким образом, чтобы накрахмаленные углы тоже лезли в глаза, угрожая им воспалением. После этого на пациента надели жилет и сюртук, и так как пуговицы были застегнуты не на те петли, а башмаки надеты не на ту ногу, он, в общем, производил довольно грустное впечатление.

— По-моему, что-то не ладно,— сказал несчастный, совсем обессилев.— Я чувствую себя так, словно на мне чужое платье. Меня скривило на сторону, и одна нога как будто короче другой. А в кармане у меня бутылка. Зачем вы посадили меня на бутылку?

— Черт бы его взял! — воскликнула миссис Гэмп, вытаскивая бутылку.— Бутылка-то моя ведь оказалась у него. Я себе устроила вроде как бы шкафчик из его сюртука, когда он висел за дверью, да и позабыла совсем. Бетси, в другом кармане у него вы найдете пару луковиц, чай и сахар. Будьте так добры, выньте все оттуда.

Бетси достала вышеупомянутую собственность и еще кое-что из бакалеи, и миссис Гэмп переложила все это к себе в карман, представлявший собою нечто вроде нанковой сумки для провизии. Тут им принесли подкрепление в виде отбивных котлет и крепкого эля для дам и чашки мясного бульона для пациента, и не успели они управиться с едой, как явился Джон Уэстлок.

— Вы уже встали и оделись! — воскликнул Джон, садясь рядом с больным.— Вот это молодцом! Как вы себя чувствуете?

— Гораздо лучше. Но еще очень слаб.

— Оно и не удивительно. Вам пришлось выдержать чрезвычайно тяжелый приступ болезни. Деревенский воздух и перемена места,— сказал Джон,— сделают вас совсем другим человеком. Ну, миссис Гэмп,— с улыбкой прибавил он, заботливо поправляя костюм больного,— странные же у вас понятия о том, как одеваются джентльмены.

— Мистер Льюсом не такой джентльмен, чтобы его было легко одеть, сударь,— с достоинством ответила миссис Гэмп,— это мы с Бетси Приг можем засвидетельствовать хоть перед лорд-мэром и перед всем светом, ежели понадобится!

В эту минуту Джон, подойдя к больному, старался избавить его от вышеописанной пытки воротничками, и, воспользовавшись этим, тот произнес шепотом:

— Мистер Уэстлок! Я не хочу, чтобы меня подслушали. Мне нужно сказать вам нечто очень важное, что немало вас поразит; то, что лежало страшной тяжестью на моей душе всю эту долгую болезнь!

Быстрый во всех своих движениях, Джон уже обернулся к сиделкам, чтобы попросить их выйти из комнаты, но тут больной удержал его за рукав:

— Не теперь. У меня не хватит сил. У меня не хватит мужества. Можно ли мне сказать это тогда, когда я окрепну? Можно ли написать вам? Для меня это удобнее и легче.

— Можно ли? — воскликнул Джон.— Да что же это такое, Льюсом?

— Не спрашивайте меня ни о чем. Это бесчеловечное, жестокое дело. Страшно думать о нем. Страшно говорить. Страшно о нем знать. Страшно вспоминать, что помогал ему. Дайте мне поцеловать вашу руку за всю вашу доброту ко мне. Будьте еще добрее и не спрашивайте ни о чем.

Сначала Джон только смотрел на больного в величайшем изумлении, но, вспомнив, как сильно тот ослабел и как совсем еще недавно голова у него горела огнем от

лихорадки, решил, что он находится во власти воображаемых страхов и болезненной фантазии. Чтобы разузнать об этом получше, он отвел миссис Гэмп в сторону, воспользовавшись удобным случаем, покуда Бетси Приг закутывала больного в плащи и шали, и спросил, вполне ли он в здравом уме.

— Господь с вами, нет! — отвечала миссис Гэмп.— И посейчас терпеть не может своих сиделок. Больные и всегда так, сэр. Это самая верная примета. Слышали бы вы, как он придирался к нам с Бетси всего полчаса тому назад, сами подивились бы, как это мы до сих пор еще живы.

Это почти подтвердило подозрения Джона; он не придал словам больного серьезного значения и, вернувшись к обычной своей жизнерадостности, с помощью миссис Гэмп и Бетси Приг повел больного вниз по лестнице к дилижансу, который был уже готов тронуться в путь.

Поль Свидлпайп стоял в дверях, крепко сжав скрещенные на груди руки и вытаращив глаза, и с большим интересом глядел на больного, который, еле двигаясь, садился в карету. Его исхудалые руки и изможденное лицо произвели сильное впечатление на Поля, и он сообщил мистеру Бейли, что ни за фунт стерлингов не пропустил бы этого зрелища. Мистер Бейли, будучи человеком совершенно иного темперамента, заметил, что и за пять шиллингов остался бы дома.

Пристроить багаж миссис Гэмп таким образом, чтобы она была довольна, оказалось весьма хлопотливым делом, ибо каждый узел, принадлежавший этой особе, обладал очень неприятным свойством, а именно: требовал, чтобы его укладывали в ящик отдельно от всякого другого багажа, иначе миссис Гэмп грозилась подать в суд и взыскать убытки с владельцев дилижанса. Особенно трудно было пристроить зонтик с круглой заплаткой, и его помятый медный наконечник не раз высовывался из разных углов и щелей, приводя в ужас всех остальных пассажиров. И в самом деле, миссис Гэмп за эти пять минут так часто перекладывала зонтик с одного места на другое, усиленно хлопоча найти для него уголок, что

казалось, будто это не один зонтик, а целых пятьдесят. В конце концов он потерялся, или ей так почудилось, и на целые пять минут она сцепилась с кучером, как тот ни увертывался, требуя, чтобы он «возместил ей убытки», а не то она и до палаты общин дойдет.

Наконец ее узел, ее деревянные башмаки, ее корзина и все прочее имущество были уложены, и она дружески простилась с Полем и мистером Бейли, присела Джону Уэстлоку, а с Бетси Приг рассталась, как с любимой сестрой по ремеслу.

— Желаю вам побольше болезней, дорогая вы моя,— говорила миссис Гэмп,— и хороших мест! Авось и оглянуться не успеем, как будем опять работать вместе; приятно было бы нам с вами встретиться в какой-нибудь большой семье, чтобы все заражались один от другого и болели по очереди, да не как-нибудь, а всерьез.

— Мне не к спеху, все равно когда это будет,— сказала миссис Приг,— и сколько протянется.

Миссис Гэмп, собираясь ответить ей в том же духе, пятилась к дилижансу, как вдруг наткнулась на джентльмена и леди, проходивших по тротуару.

— Осторожней, осторожней! — воскликнул джентльмен.— Здравствуйте! Душенька! Ведь это миссис Гэмп!

— Как, мистер Моулд! — воскликнула сиделка.— И миссис Моулд тоже! Кто бы мог подумать, что мы с вами здесь встретимся, вот уж, право!

— Уезжаете за город, миссис Гэмп? — спросил мистер Моулд.— Редкий случай, не правда ли?

— Редкий-то редкий, сэр,— сказала миссис Гэмп.— Да только всего на день, на два, не больше. Тот самый джентльмен, что я вам говорила,— шепнула она.

— Как, в этой карете?! — воскликнул Моулд.— Тот самый, которого вы хотели рекомендовать! Удивительное дело. Милая, это тебе будет интересно. Миссис Гэмп думала, что этот джентльмен подойдет для нас, вот он, сидит в карете, душа моя.

Миссис Моулд очень заинтересовалась.

— Да, дорогая моя. Можешь стать на эту ступеньку,— говорил Моулд,— и взглянуть на него. Ага! Вот

он. Где мои очки? Так! Все в порядке, нашел. Видишь ты его, милая?

— Как на ладони,— сказала миссис Моулд.

— Ну, знаешь ли, клянусь жизнью, это совсем особый случай,— говорил Моулд в полном восторге.— Это такого рода случай, душа моя, что я ни за что не хотел бы упустить его. Очень приятно. Очень интересно. Вроде как в театре, знаешь ли. Ага! Вот он. Ну да. Плохо выглядит, миссис Моулд, не правда ли?

Миссис Моулд согласилась с ним.

— А может, он еще от нас не уйдет в конце концов? — сказал Моулд.— Почем знать. Право, мне кажется, я должен оказать ему внимание. Он мне как будто не совсем чужой. Мне очень хочется снять шляпу, душа моя.

— Он смотрит в нашу сторону,— сказала миссис Моулд.

— Тогда я сниму! — воскликнул Моулд.— Как поживаете, сэр? Позвольте пожелать вам всего лучшего. Ага! Он тоже кланяется. Очень порядочный человек. Карточки у миссис Гэмп в кармане, наверное. Совсем особый случай, душа моя, и очень приятный. Я не суеверен, но, право, кажется, будто нам суждено оказать ему те грустные знаки внимания, какие полагается оказывать по нашей специальности. Не может быть никаких возражений, если ты пошлешь ему воздушный поцелуй, душа моя.

Миссис Моулд послала ему воздушный поцелуй.

— Ага! — сказал мистер Моулд.— Видно, что он доволен. Бедняга! Я очень рад, что ты это сделала, душенька. Прощайте, миссис Гэмп! — помахал он рукой.— Вон он покатил, вон покатил!

Он действительно покатил, так как дилижанс тронулся в эту минуту. Мистер и миссис Моулд в самом лучшем расположении духа продолжали свою прогулку. Мистер Бейли при первой возможности удалился вместе с Полем Свидлпайпом; однако ему не сразу удалось увести приятеля, благодаря сильному впечатлению, произведенному на брадобрея почтенной миссис Приг, которую он, в восторге от ее бороды, назвал бесподобной женщиной.

Когда легкое облачко суеты, окружавшее карету, постепенно рассеялось, в самом темном углу кофейни стал виден Неджет, задумчиво поглядывавший на часы, как будто человек, который никогда не держал слова, опять немного запаздывал.

ГЛАВА XXX

доказывает, что водить друг друга за нос принято в самых порядочных семействах и что мистер Пексниф был великий мастер играть в кошки-мышки

Как хирургу после операции надлежит первым делом позаботиться о том, чтобы соединить артерии, рассеченные острым скальпелем, так и этому повествованию, безжалостно отсекшему от древа Пекснифов его лучшую ветвь — Мерри, надлежит вернуться к родительскому стволу и посмотреть, как обходятся без нее остальные ветви этого древа.

Прежде всего следует сказать о мистере Пекснифе, что, подыскав своей младшей дочери неоценимое сокровище в лице снисходительного и любящего мужа и осуществив таким счастливым устройством ее жизни самое заветное желание родительского сердца, он возродился к юности, расправил крылья своей непорочной души и почувствовал, что способен лететь куда угодно. У отцов на театральных подмостках имеется обыкновение, выдав дочь за избранника ее сердца, поздравлять себя с тем, что им больше ничего не остается делать, как только поскорее умереть, хотя редко приходится видеть, чтобы они с этим спешили. Мистер Пексниф, будучи отцом более разумного и практического склада, наоборот, полагал, что ему надо пользоваться жизнью и, лишив себя одного утешения, заменить его другими.

Но как бы игриво и весело ни был настроен добродетельный Пексниф, как бы ни был он расположен играть, веселиться и, так сказать, резвиться, наподобие котенка, в садах архитектурной фантазии, он постоянно натыкался на одно препятствие. Кроткая Черри, глубоко

оскорбленная и уязвленная обидой, которая отнюдь не смягчилась и не забылась со временем, а наоборот, все пуще растравляла и терзала ей сердце,— кроткая Черри открыто восстала против мистера Пекснифа. Она вовсю воевала со своим милым папой и устроила ему то, что, за отсутствием лучшей метафоры, называется собачьей жизнью. Но ни одной собаке в конуре, на конюшне или в доме не жилось до такой степени скверно, как мистеру Пекснифу с его кроткой дщерью.

Отец с дочерью сидели за завтраком. Том Пинч уже ушел, и они остались вдвоем. Мистер Пексниф сначала все хмурился, но потом, разгладив морщины на лбу, украдкой покосился на дочь. Нос у нее сильно покраснел и вздернулся кверху в знак полной готовности к войне.

— Черри,— взмолился мистер Пексниф,— что такое произошло между нами? Дитя мое, для чего нам чуждаться друг друга?

Ответ мисс Пексниф отнюдь не вязался с таким чувствительным вопросом, потому что она сказала всего-навсего:

— Да отстаньте вы, папа!

— Отстаньте? — повторил мистер Пексниф с болью в голосе.

— Да, теперь уже поздно со мной так разговаривать,— равнодушно отвечала ему дочь.— Я знаю, что это значит и чего это стоит.

— Тяжело! — воскликнул мистер Пексниф, обращаясь к своей чайной чашке.— Это очень тяжело! Она — мое дитя. Я качал ее на руках, когда она еще носила мягкие вязаные башмачки, можно даже сказать рукавички, много лет тому назад!

— Нечего надо мной насмехаться,— отвечала Черри, глядя на него со злостью.— Я вовсе не настолько старше сестры, хотя она и успела выскочить замуж за вашего приятеля!

— Ах, человеческая натура, человеческая натура! Злосчастная человеческая натура! — произнес мистер Пексниф, укоризненно качая головой по адресу человечества, будто сам не имел к нему никакого отношения.— Подумать только, что все эти нелады начались по такому поводу! О боже мой, боже мой!

— Да, вот именно, по такому! — закричала Черри.— Скажите настоящую причину, папа, а не то я сама скажу! Смотрите, скажу!

Быть может, энергия, с какой она это произнесла, подействовала заразительно. Как бы то ни было, мистер Пексниф изменил тон разговора и выражение лица на гневное, если не прямо яростное, и ответил:

— Скажешь! Ты уже сказала. Не дальше как вчера. Да и каждый день то же самое. Ты не умеешь сдерживаться; ты не скрываешь своего дурного нрава; ты сотни раз выдавала себя перед мистером Чезлвитом!

— Себя! — воскликнула Черри, злобно усмехаясь.— Действительно! Мне-то какое дело!

— Ну, и меня тоже! — сказал мистер Пексниф.

Дочь ответила ему презрительным смехом.

— И если уж у нас дошло до объяснения, Чарити,— произнес мистер Пексниф, грозно качая головой,— разреши мне сказать, что я этого не допущу. Оставьте ваши капризы, сударыня! Я этого больше не позволю.

— Я буду делать что хочу,— ответила Чарити, раскачиваясь на стуле взад и вперед и повышая голос до пронзительного визга,— буду делать что хочу и что всегда делала. Я не потерплю, чтобы мной помыкали, можете быть уверены. Со мной так обращались, как никогда и ни с кем на свете,— тут она ударилась в слезы,— а от вас, пожалуй, дождешься обращения и похуже, я знаю. Только мне это все равно. Да, все равно!

Мистер Пексниф пришел в такую ярость от ее громкого крика, что, растерянно оглядевшись по сторонам в поисках какого-нибудь средства унять дочь, вскочил с места и начал трясти ее так, что декоративное сооружение из волос у нее на макушке заколыхалось, как страусовое перо. Она была настолько ошеломлена этим нападением, что сразу утихла, и желаемый результат был достигнут.

— Ты у меня дождешься! — восклицал мистер Пексниф, снова садясь на место и переводя дыхание.— Посмей только разговаривать громко! Кто это с тобой плохо обращается, что ты этим хочешь сказать? Если мистер Чезлвит предпочел тебе твою сестру, то кто же тут виноват, хотел бы я знать? Что я тут мог поделать?

— А разве я не была ширмой? Разве моими чувствами не играли? Разве он не за мной ухаживал сначала? — рыдала Черри, сжимая руки.— А теперь вот я дожила до того, что меня трясут. Господи, господи!

— И опять будут трясти,— пригрозил ее родитель,— если ты заставишь меня этим способом соблюдать приличия в моем скромном жилище. Но ты меня удивляешь. Мне странно, что у тебя оказалось так мало характера. Если мистер Джонас не питал к тебе никаких чувств, зачем он тебе понадобился?

— Он мне понадобился! — воскликнула Черри.— Он мне понадобился! Что вы, папа, в самом деле?

— Так из-за чего весь этот крик,— возразил отец,— если он тебе не нужен?

— Из-за того, что он вел себя двулично,— сказала Черри,— из-за того, что моя родная сестра и мой родной отец сговорились против меня. Я на нее не сержусь,— продолжала Черри, по-видимому рассердясь пуще прежнего.— Я ее жалею. Мне за нее больно. Я знаю, какая судьба ее ждет с этим негодяем.

— Ну, я думаю, мистер Джонас как-нибудь стерпит, что ты зовешь его негодяем,— сказал мистер Пексниф, возвращаясь к прежней кротости,— а впрочем, зови его как хочешь, только положи этому конец.

— Нет, не конец, папа,— отвечала Чарити.— Нет, не конец! Мы ведь не только в этом одном не согласны. Я ни за что не покорюсь. Так и знайте. Лучше вам наперед это знать. Нет, нет, нет, ни за что не покорюсь! Я не круглая дура и не слепая. Одно могу вам сказать: я не покорюсь, вот и все!

Что бы ни подразумевалось под этим, теперь дочь потрясла мистера Пекснифа, ибо, несмотря на все попытки казаться спокойным, вид у него был весьма плачевный. Гнев он сменил на кротость и заговорил мягким, заискивающим тоном.

— Душа моя,— сказал он,— если, выйдя из себя в сердитую минуту, я и прибегнул к непозволительному средству, чтобы подавить маленькую вспышку, которая была оскорбительна для тебя не меньше, чем для меня,— возможно, что я это сделал, вполне возможно,— то я прошу у тебя прощения. Отец просит прощения у своего

дитяти! — воскликнул мистер Пекснифф.— Я полагаю, такое зрелище может смягчить самое ожесточенное сердце.

Однако оно нисколько не смягчило мисс Пекснифф,— быть может потому, что ее сердце было недостаточно ожесточено. Наоборот, она стояла на своем и твердила без конца, что она не круглая дура, и не слепая, и не покорится ни за что!

— Это какое-то недоразумение, дитя мое,— сказал мистер Пекснифф,— но я не стану тебя спрашивать, в чем оно заключается; я не желаю этого знать. Нет, нет, прошу тебя! — добавил он, простирая руку вперед и краснея.— Не будем касаться этой темы, душа моя, какова бы она ни была!

— Так и надо, нам ее не стоит касаться,— отвечала Черри.— Только я желаю, чтобы она меня совершенно не касалась, а потому, прошу вас, найдите мне другой дом.

Мистер Пекснифф обвел глазами комнату и воскликнул:

— Другой дом, дитя мое?

— Да, другой дом, папа,— сказала Чарити с величием королевы.— Поместите меня у миссис Тоджерс или еще где-нибудь, чтобы я жила независимо, а здесь я ни за что не останусь, если уж до того дошло.

Возможно, что пансион миссис Тоджерс рисовался воображению Чарити толпой восторженных поклонников, стремящихся пасть к ее ногам. Возможно, что мистер Пекснифф, только что возвратившийся к юности, видел в том же заведении легчайшее средство свалить с себя обузу, неприятную как дурным характером, так и наклонностью вечно подсматривать. Бесспорно, однако, что в настороженных ушах мистера Пекснифа это предложение прозвучало отнюдь не похоронным звоном для всех его надежд.

Но это был человек мягкосердечный и чувствительный, а потому он прижал платок к глазам обеими руками, как всегда делают такие люди, особенно если за ними наблюдают.

— Одна из моих пташек,— произнес он,— оставила меня и приютилась на груди чужого, а другая хочет лететь к миссис Тоджерс! Да что я такое? Вот именно, я не знаю, что я такое! Ну и пусть!

Но даже и это замечание, хотя оно вышло еще чувствительнее, оттого что он всхлипнул на середине фразы, нисколько не подействовало на Чарити. Она оставалась по-прежнему сурова, мрачна и непреклонна.

— Однако я всегда,— продолжал мистер Пексниф,— жертвовал счастьем моих детей ради моего счастья, то есть наоборот: моим счастьем ради счастья моих детей,— и сейчас не изменю своим правилам. Если тебе будет лучше в доме миссис Тоджерс, чем в доме твоего отца, душа моя, поезжай к миссис Тоджерс! Не думай обо мне, моя девочка! — произнес мистер Пексниф с чувством.— Я, конечно, проживу как-нибудь и без тебя.

Мисс Чарити, которая знала, что он втайне радуется предполагаемой перемене, скрыла свою собственную радость и сразу же начала торговаться из-за условий. Сначала ее родитель был до такой степени далек от щедрости, что едва не возникло еще одно разногласие, возможно грозившее новой встряской; однако оба они все-таки столковались, хоть и не сразу, и гроза пронеслась мимо. И в самом деле, план мисс Чарити был так удобен для них обоих, что странно было не прийти к полюбовному соглашению. Отец и дочь довольно скоро уговорились испробовать этот план на практике, не откладывая в долгий ящик. Уговорились также, что Чарити по слабости здоровья нуждается в перемене обстановки и желает быть поближе к сестре,— эти доводы должны были послужить оправданием ее отъезда в глазах Мэри и мистера Чезлвита, которым она последнее время упорно жаловалась на нездоровье. Условившись на этот счет, мистер Пексниф преподал дочери свое благословение со всем достоинством человеколюбца, который только что принес большую жертву и утешается мыслью, что добродетель заключает награду в самой себе. Таким образом, они примирились впервые после того злосчастного вечера, когда мистер Джонас отверг старшую сестру, признавшись, что питает страсть к младшей, а мистер Пексниф содействовал ему из высоконравственных побуждений.

Но, во имя всех семи чудес света, как же это случилось, каковы бы они ни были и в чем бы ни заключались, и во имя этого нового прибавления к их семей-

ству,— как же случилось, что мистер Пексниф и его старшая дочь решились расстаться? Как же случилось, что их взаимные отношения изменились до такой степени? Зачем понадобилось мисс Пексниф объяснять с таким криком, что она не слепая и не дура и что она этого не потерпит? Быть того не может, чтобы мистер Пексниф задумал жениться снова и чтобы дочь разгадала его тайные намерения со всей проницательностью старой девы.

Давайте посмотрим, в чем дело.

Мистер Пексниф, как человек незапятнанной репутации, с которого дыхание клеветы сходило бесследно, как обыкновенное дыхание сходит с зеркала, мог позволить себе то, чего простые смертные себе позволить не могут. Он знал чистоту собственных побуждений, и поэтому, если у него являлось какое-нибудь намерение, он добивался своей цели настойчиво, как это может делать только самый добродетельный (или самый безнравственный) человек. Имелись ли у него какие-нибудь основательные и солидные побуждения взять вторую жену? Да, имелись, и не одно или два, а целый ворох всяких побуждений.

Со старым Мартином Чезлвитом постепенно произошла значительная перемена. Еще в тот вечер, когда он так не вовремя явился в дом мистера Пекснифа, он держал себя сравнительно покорно и уступчиво. Мистер Пексниф приписал тогда эту перемену влиянию, которое оказала на старика смерть брата. Но с того самого часа его характер, казалось, продолжал постепенно и непрерывно меняться, и с некоторых пор в нем стало заметно какое-то вялое равнодушие почти ко всем, кроме мистера Пекснифа. С виду старик был тот же, что и всегда, но духовно он изменился до неузнаваемости. Не то чтобы та или другая страсть в нем вспыхнула ярче или потускнела, но весь человек словно поблек. Исчезала одна какая-нибудь черта, но другая не являлась занять ее место. И чувства его тоже притупились. Он стал хуже видеть, по временам страдал глухотой, почти не замечал того, что происходит вокруг, а иногда погружался на целые дни в глубокое молчание. Перемена в нем происходила так незаметно, что совершилась прежде, чем на нее успели

обратить внимание. Однако мистер Пексниф подметил ее первым, и так как образ Энтони Чезлвита был еще свеж в его памяти, то и в брате его Мартине он видел то же старческое одряхление.

Джентльмену с чувствительностью мистера Пекснифа такое зрелище представлялось весьма печальным. Он не мог не предвидеть возможности, что его уважаемый родственник станет жертвой интриганов, а все его богатства попадут в недостойные руки. Ему это было до такой степени прискорбно, что он решил закрепить будущее наследство за собой, держать недостойных претендентов на почтительном расстоянии и не подпускать к старику никого, оставив его, так сказать, для собственного употребления. Понемножку он стал нащупывать, есть ли какая-нибудь возможность сделать мистера Чезлвита своим послушным орудием, и, обнаружив, что такая возможность имеется и что его ловкие руки действительно могут лепить из старика все что угодно, он — добрая душа! — поставил себе целью упрочить свою власть над ним; а так как каждая небольшая проверка по этой части сопровождалась успехом превыше ожиданий, то мистеру Пекснифу начинало уже казаться, что денежки старика Мартина позвякивают в его собственных добродетельных карманах.

Но всякий раз, как мистер Пексниф размышлял об этом предмете (а размышлял он, по своему усердию, довольно часто) и вспоминал, умиляясь сердцем, о том стечении обстоятельств, которое выдало старика ему в руки и привело к посрамлению порока и торжеству добродетели, он всегда чувствовал, что Мэри Грейм стоит ему поперек дороги. Что бы ни говорил старик, мистер Пексниф отлично видел, как сильно он к ней привязан. Он видел, что это чувство проявляется в тысяче пустяков, что старик не любит отпускать от себя Мэри и беспокоится, если она уходит надолго. Чтобы он действительно дал клятву не оставлять ей ничего по завещанию, в этом мистер Пексниф сильно сомневался. Даже если он и дал такую клятву, мистеру Пекснифу было известно, что много существует путей обойти это обстоятельство и успокоить свою совесть. Что непристроенность Мэри лежала тяжким бременем на душе старого Чезлвита, он

тоже знал, ибо тот, не скрываясь, говорил ему об этом. «А что, если б я на ней женился,— загадывал мистер Пексниф,— если бы,— повторял он, ероша волосы и поглядывая на свой бюст работы Спокера,— если бы, уверившись наперед, что он это одобряет,— ведь бедняга совсем выжил из ума,— я бы взял да и женился на ней!»

Мистер Пексниф весьма живо чувствовал красоту, особенно в женщинах. Его манера обращаться с прекрасным полом была замечательна своей вкрадчивостью. В другой главе этого романа рассказано, как он по малейшему поводу норовил обнять миссис Тоджерс; такая уж была у него привычка, она, конечно, составляла одну из сторон его мягкого и деликатного характера. Еще до того, как мысль о супружестве зародилась в его уме, он стал оказывать Мэри маленькие знаки платонического внимания. Их принимали с негодованием, но это его не смущало. Правда, едва только эта мысль укрепилась в нем, знаки внимания стали слишком пылкими, чтобы ускользнуть от зорких глаз Чарити, которая сразу разгадала замысел своего папаши, однако он и раньше не оставался равнодушен к очарованию Мэри. Так Выгода и Склонность, впрягшись парой в колесницу мистера Пекснифа, влекли его к намеченной цели.

Никто не мог заподозрить мистера Пекснифа в том, что он намерен отомстить молодому Мартину за его дерзкие слова при расставанье или отнять у него всякую надежду на примирение с дедом, ибо для этого мистер Пексниф был слишком мягок и незлопамятен. Что касается возможного отказа со стороны Мэри, мистер Пексниф, зная ее положение, был вполне уверен, что ей не устоять, если они с мистером Чезлвитом примутся за нее вдвоем. Что же касается того, чтобы справиться наперед с ее сердечными склонностями, то в моральном кодексе мистера Пекснифа такой статьи вообще не значилось, ибо ему было известно, что он прекрасный человек и может осчастливить любую девушку. И так как теперь благодаря Чарити лед между отцом и дочерью был сломан и никаких тайн друг от друга у них больше не было, мистеру Пекснифу оставалось только добиваться своей цели, пустив в ход всю свою ловкость и хитрые приемы.

— Ну, дорогой мой сэр,— сказал мистер Пексниф, встретившись с Мартином в той аллее, которую старик облюбовал для своих прогулок,— как чувствует себя мой дорогой друг в это восхитительное утро?

— Вы это про меня? — спросил мистер Чезлвит.

— Ага! — заметил мистер Пексниф.— Нынче он опять плохо слышит, я вижу. Про кого же другого, дорогой мой сэр?

— Вы могли спросить про Мэри,— сказал старик.

— Да, действительно. Совершенно верно. Надеюсь, я мог бы спросить о ней, как о самом дорогом друге? — заметил мистер Пексниф.

— Надеюсь, что так,— отвечал старый Мартин.— Я думаю, она этого заслуживает.

— Думаете! — воскликнул Пексниф.— Думаете, мистер Чезлвит!

— Вы что-то говорите,— ответил Мартин,— но я не разбираю слов. Нельзя ли погромче!

— Становится глух, как пень,— сказал Пексниф.— Я говорил, мой дорогой сэр, что боюсь, как бы мне не пришлось расстаться с Черри.

— А что она такого сделала? — спросил старик.

— Спрашивает какие-то глупости,— пробормотал мистер Пексниф.— Совсем нынче впал в детство.— После чего он деликатно проревел: — Она ничего решительно не сделала, мой дорогой друг!

— Так зачем же вам с ней расставаться? — спросил Мартин.

— Здоровье у нее стало уже не то, совсем не то,— сказал мистер Пексниф.— Она скучает по сестре, мой дорогой сэр; ведь они с колыбели обожают друг друга. Вот я и хочу, чтобы она погостила в Лондоне для перемены обстановки. И подольше погостила, сэр, если ей захочется.

— Вы совершенно правы! — воскликнул Мартин.— Это весьма благоразумно.

— Я очень рад это слышать от вас. Надеюсь, вы составите мне компанию в нашем глухом углу, когда она уедет?

— Я пока не намерен уезжать отсюда,— был ответ Мартина.

— Тогда почему бы,— сказал мистер Пексниф, беря старика под руку и медленно прохаживаясь по аллее вместе с ним,— почему бы, мой дорогой сэр, вам не погостить у меня? Как ни скромна моя хижина, я уверен, что у меня вам будет гораздо удобнее, чем в сельской харчевне. И, простите меня, мистер Чезлвит, простите, если я скажу, что такое место, как «Дракон», едва ли годится для мисс Грейм, хотя оно и пользуется доброй славой (миссис Льюпин одна из достойнейших женщин в наших местах).

Мартин раздумывал с минуту, а потом сказал, пожав ему руку:

— Да. Вы совершенно правы, не годится.

— Один вид кеглей,— красноречиво продолжал мистер Пексниф,— может подействовать неблагоприятно на чувствительную душу.

— Это, разумеется, забава черни,— сказал старый Мартин.

— Самой низкой черни,— отвечал мистер Пексниф.— Так почему же не перевезти мисс Грейм сюда, сэр? Чем это не дом для вас? И я в нем один, потому что Томаса Пинча я не считаю за человека. Наш прелестный друг займет спальню моей дочери, вы сами выберете для себя комнату; мы с вами не поссоримся, надеюсь!

— Вряд ли возможно, чтобы мы поссорились,— сказал Мартин.

Мистер Пексниф сжал его руку.

— Я вижу, мы понимаем друг друга, дорогой мой сэр!

«Я его вокруг пальца могу обвести!» — подумал он торжествующе.

— Вопрос о вознаграждении вы, конечно, предоставите мне? — спросил старик, помолчав с минуту.

— Ах, не будем говорить о вознаграждении! — воскликнул Пексниф.

— Слушайте,— повторил Мартин, с проблеском прежнего упрямства,— предоставьте вопрос о вознаграждении мне. Согласны?

— Если вы этого желаете, мой дорогой сэр.

— Я всегда этого желаю,— сказал старик.— Вы знаете, что я всегда этого желаю. Я желаю платить наличными, даже если покупаю у вас. И все же я ваш дол-

жник, Пексниф,— настанет день, и вы получите все сполна.

Архитектор был так взволнован, что не мог говорить. Он попытался уронить слезу на руку своего покровителя, но не мог выжать ни единой капли из пересохшего источника.

— Пусть этот день придет как можно позже! — благочестиво воскликнул он.— Ах, сэр! Не могу выразить, как глубоко я сочувствую вам и всем вашим! Я намекаю на нашего прелестного юного друга.

— Это верно,— отвечал старик.— Это верно. Она нуждается в сочувствии. Я неправильно ее воспитывал и этим принес ей вред. Хотя она и сирота, она могла бы найти себе защитника, которого и полюбила бы. Когда она была девочкой, я льстил себя мыслью, что, потворствуя своему капризу и ставя Мэри между собой и вероломными плутами, делаю ей добро. Теперь, когда она выросла, у меня нет такого утешения. Ей не на кого надеяться, кроме себя самой. Я поставил ее в такие отношения с миром, что любая собака может лаять на нее или ластиться к ней, если вздумает. Она действительно нуждается в добром отношении. Да, действительно нуждается.

— Нельзя ли изменить ее положение на более определенное? — намекнул мистер Пексниф.

— Как же это устроить? Не сделать же мне из нее швею или гувернантку!

— Боже сохрани! — сказал мистер Пексниф.— Дорогой мой сэр, имеются другие пути. Да, имеются. Но я сейчас очень взволнован и смущен, мне не хотелось бы продолжать этот разговор. Я сам не знаю, что говорю. Позвольте мне возобновить его как-нибудь в другой раз.

— Вы не заболели? — встревожился Мартин.

— Нет, нет! — воскликнул Пексниф.— Я совершенно здоров. Позвольте мне возобновить этот разговор как-нибудь в другой раз. Я пройдусь немножко. Благослови вас господь!

Старый Мартин тоже благословил его в ответ и пожал ему руку. Когда он повернулся и медленно побрел к дому, мистер Пексниф долго глядел ему вслед, совершенно оправившись от недавнего волнения, которое во всяком

другом человеке можно было бы принять за притворное, за хитрость, пущенную в ход для того, чтобы нащупать почву. Происшедшая в старике перемена так мало отразилась на его осанке, что мистер Пексниф, глядя ему вслед, не мог не сказать себе:

«И мне ничего не стоит обвести его вокруг пальца! Подумать только!»

Тут Мартин как раз оглянулся и ласково кивнул ему головой. Мистер Пексниф ответил тем же.

«А ведь было время,— продолжал мистер Пексниф,— и совсем еще недавно, что он и смотреть на меня не хотел! Утешительная перемена. Такова нежнейшая ткань человеческого сердца, таким весьма сложным путем оно смягчается! По внешности он кажется все таким же, а я могу обвести его вокруг пальца. Подумать только!»

И в самом деле, не было, по-видимому, ничего такого, на что мистер Пексниф не мог бы отважиться с Мартином Чезлвитом, ибо, что бы ни сделал и ни сказал мистер Пексниф, он всегда оказывался правым, и что бы он ни посоветовал, его всегда слушались. Мартин столько раз избегал ловушек, расставленных охотниками до чужих денег, и столько лет прятался в скорлупу недоверия и подозрительности — лишь для того, чтобы стать орудием и игрушкой в руках добродетельного Пексннфа. Вполне убежденный в этом, с сияющим от счастья лицом, архитектор отправился на утреннюю прогулку.

Лето царило в природе точно так же, как и в груди мистера Пекснифа. По тенистым аллеям, где ветви зеленым сводом сходились над головой, открывая в перспективе солнечные прогалины, через заросли росистых папоротников, откуда выскакивали испуганные зайцы и мчались прочь при его приближении, мимо затянутых ряской прудов и поваленных деревьев, спускаясь в овраги, шурша прошлогодней листвой, аромат которой будил воспоминания о былом,— шествовал кротчайший Пексниф. Мимо лугов и живых изгородей, источавших аромат шиповника, мимо крытых соломою хижин, обитатели которых смиренно кланялись ему как добродетельному и мудрому человеку,— спокойно размышляя, шествовал почтенный Пексниф. Пчела пролетела мимо, жужжа о предстоящих ей трудах; праздные мошки толклись столбом, то сужая,

то расширяя круг, но неизменно сопутствуя мистеру Пекснифу и весело выплясывая перед ним; высокая трава то отсвечивала на солнце, то темнела, когда на нее ложилась легкая тень облаков, плывущих в высоте; птицы, безгрешные, как совесть мистера Пекснифа, весело распевали на каждой ветке,— точно так же и мистер Пексниф оказывал честь летнему дню, обдумывая во время прогулки свои планы.

Споткнувшись в рассеянности о торчащий корень старого дерева, он поднял благочестивый взор, обозревая окрестности, и встрепенулся, ибо совсем недалеко впереди себя завидел предмет своих размышлений. Мэри, сама Мэри! И совсем одна.

Сначала мистер Пексниф остановился, как будто намереваясь уклониться от встречи с ней; однако тут же передумал и быстрым шагом двинулся вперед, напевая на ходу так безмятежно и с такой невинностью души, что ему не хватало только перьев и крыльев, чтобы сделаться пташкой.

Заслышав позади себя звуки, исходившие отнюдь не от лесных певцов, Мэри оглянулась. Мистер Пексниф послал ей воздушный поцелуй и немедленно нагнал ее.

— Общаетесь с природой? — сказал он.— Я тоже.

Утро было такое прекрасное, ответила Мэри, что она зашла гораздо дальше, чем хотела, и теперь намерена вернуться. Мистер Пексниф сказал, что и с ним произошло совершенно то же самое, и потому он вернется вместе с ней.

— Обопритесь на мою руку, милая девушка,— сказал мистер Пексниф.

Мэри отклонила это предложение и пошла так быстро, что он запротестовал.

— Вы шли медленно, когда я нагнал вас,— сказал мистер Пексниф.— Зачем же такая жестокость, зачем так торопиться? Ведь вы же не избегаете меня, правда?

— Да, избегаю,— ответила она и обернулась к нему, пылая негодующим румянцем,— и вы это знаете. Оставьте меня, мистер Пексниф. Ваше прикосновение мне неприятно.

Его прикосновение. Патриархальное, целомудренное прикосновение, которое миссис Тоджерс — такая добро-

детельная дама — терпела не только без жалоб, но даже с видимым удовольствием! Это решительно какое-то недоразумение. Мистеру Пекснифу было очень прискорбно это слышать.

— Если вы не заметили, что это так,— сказала Мэри,— пожалуйста, поверьте моим словам и, если вы джентльмен, перестаньте оскорблять меня.

— Так, так! — сказал мистер Пексниф кротко.— Пожалуй, я бы счел такие слова весьма уместными со стороны своей родной дочери, так с какой стати мне возражать, когда я слышу их от такой красавицы! Это очень тяжело. Это меня обижает до глубины души,— сказал мистер Пексниф,— но я не могу с вами ссориться, Мэри.

Она хотела сказать, что ей очень грустно это слышать, но не могла, и расплакалась. Тогда мистер Пексниф повторил ту же комедию, что и с миссис Тоджерс, но уже под флагом утешения: обстоятельно, не торопясь и, по-видимому, намереваясь протянуть комедию подольше, он захватил свободной рукой руку Мэри и, перебирая ее пальцы в своих и время от времени целуя их, продолжал разговаривать в таком духе:

— Я рад, что мы с вами встретились. Я очень, очень рад. Теперь я могу облегчить душу, поговорив с вами откровенно. Мэри! — лепетал мистер Пексниф самым нежным голосом, до того нежным, что он звучал почти как писк.— Душа моя! Я люблю вас!

Невероятно, до чего доходит девическое жеманство! Мэри как будто вздрогнула.

— Я люблю вас,— говорил мистер Пексниф,— я люблю вас, жизнь моя, я к вам привязан так сильно, что даже сам этому удивляюсь. Я полагал, что это чувство похоронено в безгласной могиле той, которая уступала одной только вам по душевным и телесным достоинствам, но оказалось, что я ошибался.

Она попробовала вырвать руку, но с таким же успехом она могла бы вырваться из объятий влюбленного удава, если только позволительно сравнивать мистера Пекснифа с такой мерзкой тварью.

— Хоть я и вдовец,— говорил мистер Пексниф, разглядывая кольца на ее руках и проводя толстым большим пальцем вдоль нежной голубой жилки на запястье,—

вдовец с двумя дочерьми, однако могу считать себя бездетным, душа моя. Одна дочь, как вам известно, замужем. Другая, по собственному почину, но также, имея в виду,— должен сознаться, а почему бы и нет! — имея в виду мое желание переменить образ жизни, собирается покинуть отцовский дом. Моя репутация вам известна, я надеюсь. Людям доставляет удовольствие отзываться обо мне хорошо. По внешности и манерам я не совсем урод, смею думать. Ах, проказница ручка! — воскликнул мистер Пексниф, обращаясь к сопротивляющейся добыче,— зачем ты взяла меня в плен? Вот тебе, вот!

Он слегка шлепнул ручку, чтобы наказать ее, но потом смягчился и приголубил снова, засунув себе за жилет.

— Мы будем счастливы друг с другом в обществе нашего почтенного родственника, душа моя,— говорил мистер Пексниф,— мы будем жить счастливо. Когда он вознесется на небеса и упокоится в тихой обители, мы будем утешать друг друга. Что вы скажете на это, моя прелестная фиалка?

— Возможно, я должна чувствовать благодарность к вам за ваше доверие,— отвечала Мэри торопливо.— Не могу сказать, чтобы я ее чувствовала, но я готова согласиться, что вы заслужили мою благодарность. Примите же ее и оставьте меня, мистер Пексниф, прошу вас.

Добрый Пексниф улыбнулся елейной улыбкой и привлек Мэри ближе к себе.

— Мистер Пексниф, оставьте меня, пожалуйста. Я не могу вас слушать. Я не могу принять ваше предложение. Многие, вероятно, были бы рады принять его, но только не я. Хотя бы из сострадания, хотя бы из жалости — оставьте меня!

Мистер Пексниф шествовал дальше, обняв Мэри за талию и держа ее за руку с таким довольным видом, как будто они были всем друг для друга и их соединяли узы самой нежной любви.

— Хоть вы и заставили меня силой,— говорила Мэри, которая, увидев, что добрым словом с ним ничего сделать нельзя, уже не старалась скрыть свое негодование,— хоть вы и заставили меня силой идти вместе с вами домой и выслушивать по дороге ваши дерзости, вы не

запретите мне говорить то, что я думаю. Вы мне глубоко ненавистны. Я знаю ваш истинный характер и презираю вас.

— Нет, нет! — кротко возразил мистер Пексниф.— Нет, нет, нет!

— Мне неизвестно, какой хитростью или по какой несчастной случайности вы приобрели влияние на мистера Чезлвита,— продолжала Мэри,— оно, быть может, достаточно сильно, чтобы оправдать даже теперешнее ваше поведение, но мистер Чезлвит узнает о нем, можете быть уверены, сэр.

Мистер Пексниф чуть приподнял свои тяжелые веки и потом снова опустил их, словно говоря с совершенным хладнокровием: «Вот как! В самом деле!»

— Мало того,— говорила Мэри,— что вы оказали самое дурное, самое пагубное влияние на его характер, воспользовались его предубеждениями для своих целей и ожесточили сердце, доброе от природы, скрывая от него правду и не допуская к нему ничего, кроме лжи; мало того, что это в вашей власти и что вы ею пользуетесь, неужели вам надо еще вести себя так грубо, так низко, так жестоко со мной?

Но мистер Пексниф по-прежнему спокойно вел ее вперед и глядел невинней барашка, пасущегося на лугу.

— Неужели вас ничто не трогает, сэр? — воскликнула Мэри.

— Душа моя,— заметил мистер Пексниф, преспокойно строя ей глазки,— привычка к самоанализу и постоянное упражнение... можно ли сказать в добродетели?..

— В лицемерии,— поправила она.

— Нет, нет, в добродетели,— продолжал мистер Пексниф, с укором поглаживая плененную ручку,— в добродетели... настолько приучили меня сдерживать свои порывы, что меня действительно трудно рассердить. Любопытный факт, но это, знаете ли, в самом деле трудно, кто бы за это ни взялся. Неужели она думала,— говорил мистер Пексниф, как бы в шутку все крепче сжимая руку Мэри,— что может меня рассердить? Плохо же она меня знает!

В самом деле плохо! У нее был такой странный характер, что она предпочла бы ласки жабы, ехидны или

змеи — нет, даже объятия медведя — заигрываниям мистера Пекснифа.

— Ну, ну,— сказал мистер Пексниф,— одно-два слова уладят это дело, и мы с вами отлично поймем друг друга. Я не сержусь, душа моя.

— *Вы* не сердитесь!

— Да, не сержусь,— сказал мистер Пексниф.— Я это утверждаю. И вы тоже не сердитесь.

Сердце, сильно бившееся под его рукой, говорило совсем другое.

— Я уверен, что вы не сердитесь,— повторил мистер Пексниф,— и сейчас скажу вам почему. Есть два Мартина Чезлвита, моя прелесть, и то, что вы расскажете в гневе одному, может — кто знает! — очень дурно отразиться на другом. А ведь вы не хотите повредить ему, не так ли?

Мэри сильно вздрогнула и посмотрела на него с таким горделивым презрением, что он отвел глаза в сторону — без сомнения, для того, чтобы не обидеться на нее, вопреки лучшим сторонам своей натуры.

— Не забывайте, моя прелесть, что простое несогласие может перейти в ссору. Было бы очень грустно еще больше испортить будущее молодого человека, когда оно и без того испорчено. Но как легко это сделать! Ах, как легко! Имею я влияние на нашего почтенного друга, как вы думаете? Что ж, пожалуй, имею. Пожалуй, имею.

Он заглянул ей в глаза и кивнул головой с очаровательной игривостью.

— Так-то,— продолжал он глубокомысленно.— В общем, моя прелесть, будь я на вашем месте, я бы не стал разглашать своих секретов. Я не уверен, отнюдь не уверен, что это хоть сколько-нибудь удивит нашего друга, потому что мы имели с ним беседу не дальше как нынче утром, и он весьма и весьма озабочен тем, чтобы устроить вас и дать вам более определенное положение. Однако удивится он или нет, разговор этот приведет только к одному: Мартин-младший может серьезно пострадать. Я бы, знаете ли, пожалел Мартина-младшего,— говорил мистер Пексниф, вкрадчиво улыбаясь.— Да, да. Он этого не заслуживает, но я его пожалел бы.

Она заплакала так горько, с таким отчаянием, что мистер Пексниф счел уже неудобным обнимать ее за талию и только держал за руку.

— Нет, что касается нашего с вами участия в этой маленькой тайне,— продолжал мистер Пексниф,— то мы никому ничего не скажем, а хорошенько обо всем потолкуем, и вы измените свое решение. Вы согласитесь, душа моя, вы согласитесь, я знаю. Что бы вы ни думали, вы согласитесь. Мне помнится, я слышал где-то, не знаю, право, от кого,— прибавил он с обворожительной прямотой,— что вы с Мартином-младшим в детстве питали привязанность друг к другу. Когда мы с вами поженимся, вам будет приятно думать, что это чувство оказалось недолговечным и не погубило его, а прошло... к его же пользе; мы тогда посмотрим с вами, нельзя ли будет немножко помочь чем-нибудь Мартину-младшему. Имею я какое-нибудь влияние на нашего почтенного друга? Что ж! Пожалуй, что да. Пожалуй, что имею.

Опушка леса, где происходила эта нежная сцена, находилась недалеко от дома мистера Пекснифа. Они подошли теперь так близко к дому, что мистер Пексниф остановился и, поднеся к губам мизинец Мэри, игриво пошутил на прощание:

— Не укусить ли мне этот пальчик?

Не получив ответа, он вместо этого поцеловал мизинчик, потом нагнулся и, приблизив к ее лицу свои отвислые щеки — у него были отвислые щеки, несмотря на все его добродетели,— дал ей свое благословение, которое, исходя из подобного источника, должно было облегчить ей жизненный путь и обеспечить благоденствие отныне и навеки,— после чего в конце концов позволил ей уйти.

Предполагается, что истинная галантность облагораживает и возвышает человека; известно, что любовь благотворно влияла на многих и многих. Однако мистер Пексниф — быть может потому, что для такой возвышенной натуры все это было слишком грубо,— решительно ничего не выиграл, судя по внешнему виду. Напротив, оставшись в одиночестве, он как будто весь съежился и усох; казалось, он рад был бы спрятаться, уйти в себя и, будучи не в силах это сделать, чувствовал себя весьма

неважно. Его башмаки казались слишком велики, рукава слишком длинны, волосы слишком прилизаны, шляпа слишком мала, черты лица слишком незначительны, обнаженная шея как будто просила веревки. Минуту или две он краснел, бледнел, злился, робел, прятался и, следовательно, совсем не походил на Пекснифа. Однако он скоро пришел в себя и вернулся домой с таким благожелательным видом, как будто чувствовал себя верховным жрецом благодатного лета.

— Я решила ехать завтра, папа,— сказала ему Чарити.

— Так скоро, дитя мое?

— Чем раньше, тем лучше в таких обстоятельствах,— ответила Чарити.— Я написала миссис Тоджерс письмо с предложением условий и попросила ее на всякий случай встретить меня у остановки дилижанса. Уж теперь-то вы будете сами себе господин, мистер Пинч!

Мистер Пексниф только что вышел из комнаты, а Том только что вошел.

— Сам себе господин? — повторил Том.

— Да, теперь вам никто препятствовать не будет,— сказала Чарити.— По крайней мере я так надеюсь. Гм! Все на свете меняется.

— Как! Вы тоже выходите замуж, мисс Пексниф? — спросил Том в величайшем изумлении.

— Не совсем,— смущенно пролепетала Черри.— Я еще не решила, выходить мне или нет. Но думаю, что выйду, коли захочу, мистер Пинч.

— Конечно выйдете! — сказал Том, и сказал вполне убежденно. Он верил этому от всего сердца.

— Нет,— сказала Черри.— Я еще не выхожу замуж. И никто не выходит, насколько мне известно. Гм! Но я расстаюсь с папой. У меня есть на то свои причины, пока не могу сказать какие. Я всегда буду к вам как нельзя более расположена, за то что вы так смело себя вели в тот вечер. Мы с вами, мистер Пинч, расстаемся самыми лучшими друзьями!

Том поблагодарил ее за доверие и дружбу, однако за этим доверием скрывалась тайна, перед которой он решительно становился в тупик. В своей чудаческой преданности всему семейству Пекснифов он чувствовал

утрату Мерри больше, чем остальные, как это ни странно показалось бы тому, кто не знал, что во всех унижениях, какие ему приходилось терпеть, Том винил только самого себя и собственные недостатки. Едва он успел примириться с этой потерей, как и Чарити собралась покинуть родительский дом. Она выросла на глазах у Тома, если можно так выразиться, и он не представлял обеих сестер отдельно от Пекснифа и от самого себя; они были неразрывно связаны с добродетелями Пекснифа и с преданностью Тома. Не в силах перенести эту потерю, он за всю ночь не спал и двух часов, ворочаясь с боку на бок и обдумывая эти сокрушительные перемены.

Когда забрезжило утро, он подумал, что ему, должно быть, только приснилась эта сомнительная новость; однако нет: сойдя вниз, он увидел, как там увязывают чемоданы и укладывают сундуки, снаряжая в дорогу мисс Чарити, что продолжалось весь день. Задолго до отправления вечернего дилижанса мисс Чарити торжественно положила на стол в гостиной свои ключи, милостиво распрощалась со всеми домочадцами и покинула родительский кров,— за что, по наблюдениям некоторых нечестивцев, служанка мистера Пекснифа в следующее воскресенье усиленно благодарила в церкви бога.

ГЛАВА XXXI

Мистера Пинча освобождают от его обязанностей, а мистер Пексниф выполняет свою обязанность перед обществом

Заключительные слова последней главы, естественно, ведут к началу этой, ее преемницы, ибо она тоже имеет отношение к церкви. К той самой церкви, которая нередко упоминалась на страницах нашего повествования и где Том Пинч безвозмездно играл на органе.

В один знойный день, спустя неделю после отъезда мисс Чарити в Лондон, мистеру Пекснифу, который прогуливался в одиночестве, случилось забрести на клад-

бище. Как раз в то время когда он прохаживался между надгробными плитами, подыскивая среди эпитафий какое-нибудь подходящее изречение — ибо он никогда не упускал возможности пополнить запас поучительных сентенций, с тем чтобы преподнести их кому-нибудь при случае,— Том Пинч начал играть на органе. Том забегал в церковь, как только находилось свободное время, ибо орган был маленький, несложного устройства, мехи его приводились в действие ногами органиста, и никаких помощников при этом не требовалось. Хотя, если бы понадобилось помогать Тому, ни один мужчина или мальчишка во всей деревне, включая и сторожа при шлагбауме, не отказался бы помочь и раздувал бы мехи до полного изнеможения.

Мистер Пексниф не возражал против музыки, не возражал ни в малейшей степени. Он ко всему относился терпимо и часто сам об этом говорил. Вообще же он считал музыку забавой для бездельников, как раз по плечу Тому. Но к игре Тома на церковном органе он относился в высшей степени снисходительно, прямо-таки покровительственно; ибо, когда Том играл на нем по воскресеньям, мистеру Пекснифу, по беспредельной его отзывчивости, чудилось, будто это он сам играет, оказывая благодеяние прихожанам. Так что если не предвиделось другой возможности выжать из Тома что-нибудь за его жалованье, мистер Пексниф милостиво разрешал ему поупражняться на органе. За такое внимание Том был ему очень благодарен.

День был необыкновенно жаркий, а мистер Пексниф совершил далекую прогулку. Он не обладал тем, что называется музыкальным слухом, однако знал, какая музыка успокоительно действует на его душу: именно такая, какую он слышал теперь, напоминавшая ему мелодичный храп. Он подошел к церкви и за косым переплетом окна при входе увидел Тома, игравшего на органе очень выразительно и с чувством.

Церковь показалась ему заманчиво прохладной. Приятно было глядеть на старый дубовый потолок с поперечными балками, на древние стены, на мемориальные доски и на растрескавшиеся плиты пола. Листья плюща легонько постукивали в окна на противоположной сто-

роне, и солнце заглядывало только в одно из них, оставляя всю церковь в соблазнительной тени. Но самым приятным местом во всем храме была скамья с красными занавесями и мягкими подушками, где сельские сановники (первым и главным из которых был мистер Пекснифф) восседали по воскресеньям. Место мистера Пекснифа было в уголке, замечательно удобном уголке, где лежал его большой молитвенник, величественно раскинувшись на пюпитре во всю ширину своего ин-кварто *. Мистер Пекснифф решил войти и отдохнуть.

Вошел он совсем тихо — отчасти потому, что это был храм, отчасти потому, что он и всегда ходил тихо, отчасти потому, что мистер Пинч играл торжественную мелодию, отчасти же потому, что он хотел появиться перед ним неожиданно, когда Том перестанет играть. Открыв дверцы почетной скамьи, окруженной высоким барьером, мистер Пекснифф проскользнул внутрь, запер их за собой, уселся на обычное место, протянул ноги на скамеечку и приготовился слушать.

Трудно объяснить, почему мистеру Пекснифу захотелось спать именно здесь, где одной силы ассоциаций, казалось, было достаточно, чтобы не дать ему уснуть; тем не менее он задремал. Он не пробыл и пяти минут в этом уютном уголке, как уже начал кивать головой. Потом очнулся, но не прошло и минуты, как голова его опять склонилась на грудь. Не успевал он сонно раскрыть глаза, как снова погружался в дремоту. Так он то засыпал, то снова просыпался, пока, наконец, не затих совсем и не сделался недвижим, как сама церковь.

Сквозь сон он долго еще слышал звуки органа, хотя скоро утратил всякое представление о том, что это орган, и не мог бы отличить его от мычания быка. Спустя некоторое время ему начали, также сквозь сон, слышаться какие-то голоса, и, почувствовав праздное любопытство к разговору, он открыл глаза.

Мистер Пекснифф был так скован дремотой, что, обведя взглядом подушки и скамью, собирался уже снова погрузиться в сон, как вдруг понял, что в церкви действительно звучат голоса, тихие голоса, оживленно беседующие где-то рядом, и эхо что-то шепчет им в ответ. Он встряхнулся и прислушался.

Не прошло и десяти секунд, как весь сон с него слетел и он сделался так бодр, как никогда в жизни. Широко открыв глаза и рот и наставив уши, он с величайшей осторожностью слегка подался вперед и, придерживая занавес рукой, выглянул наружу.

Том Пинч и Мэри! Ну, конечно. Он узнал их голоса и сразу понял, о чем они разговаривают. Высунув голову до подбородка, так что она напоминала голову гильотинированного, и готовый тотчас же спрятаться, если ктонибудь из них обернется, он стал прислушиваться. Он прислушивался с таким напряженным вниманием, что даже волосы и углы воротничка у него встопорщились, словно помогая ему.

— Нет,— восклицал Том.— Никаких писем я не получал, кроме одного, из Нью-Йорка. Но не тревожьтесь, очень возможно, что они уехали куда-нибудь далеко, откуда почта ходит редко и нерегулярно. Он писал в том же письме, что это вполне возможно даже и там, куда они собирались поехать,— в Эдеме, вы же знаете.

— На душе у меня так тяжело,— сказала Мэри.

— Не надо этому поддаваться,— утешал ее Том.— Есть верная пословица, что дурные вести доходят скорее всего, и если б что-нибудь случилось с Мартином, вы бы давно об этом услышали. Как часто мне хотелось сказать вам это,— продолжал Том в смущении, которое очень к нему шло,— только вы ни разу не дали мне возможности.

— Я иногда боялась,— сказала Мэри,— как бы вы не подумали, что я не решаюсь вам довериться, мистер Пинч.

— Нет,— запнулся Том,— я... кажется, эта мысль никогда не приходила мне в голову. И конечно, если бы пришла, я сейчас же отогнал бы ее, как несправедливую по отношению к вам. Я понимаю, насколько вам трудно, если вам приходится доверяться мне,— сказал Том,— но я не пожалел бы жизни, чтобы вы хоть один день прожили спокойно, право не пожалел бы!

Бедный Том!

— Я опасался иногда рассердить вас,— продолжал он,— тем, что иной раз брал на себя смелость предупреждать ваши желания. В другое время мне казалось, что

вы по своей доброте стараетесь держаться подальше от меня.

— Что вы!

— Думать так было очень глупо, очень самонадеянно и смешно,— продолжал Том,— но я боялся, вдруг вы предположите, будто я... будто я настолько восхищаюсь вами, что это угрожает моему спокойствию, и оттого не позволяете себе пользоваться даже самой незначительной помощью с моей стороны. Если такая мысль когда-нибудь возникнет у вас — пожалуйста, прогоните ее. Мне немного нужно для счастья, и я буду жить здесь, довольный своей судьбой, и после того, как вы с Мартином меня забудете. Я беден, робок, неловок, совсем не светский человек; думайте обо мне так, как вы стали бы думать о каком-нибудь старом монахе!

Если бы монахи обладали таким сердцем, как твое, Том, пускай бы множились на свете монахи, хотя такого правила нет в их суровой арифметике.

— Дорогой мистер Пинч! — ответила Мэри, протягивая ему руку.— Не могу сказать вам, как ваша доброта меня трогает. Я ни разу не оскорбила вас ни малейшим сомнением и ни на минуту не переставала чувствовать, что вы именно такой, каким рисовал вас Мартин, и даже много лучше. Без вашей молчаливой заботы и дружбы моя жизнь здесь была бы несчастливой. Но вы стали моим добрым ангелом и пробудили в моем сердце благодарность, надежду и мужество.

— Боюсь, что я так же мало похож на ангела,— возразил Том, качая головой,— как эти каменные херувимы на могильных плитах; не думаю, чтобы много нашлось ангелов такого образца. Но мне хотелось бы знать (если только это можно), почему вы так долго молчали о Мартине?

— Потому что боялась повредить вам,— сказала Мэри.

— Повредить мне! — воскликнул Том.

— Поссорить вас с вашим хозяином.

Джентльмен, о котором шла речь, нырнул за барьер.

— С Пекснифом? — удивился Том, преисполненный доверия.— Боже мой, да он никогда ничего дурного о нас не подумает! Это лучший из людей. Чем спокойней

вы будете, тем ему приятнее. Боже мой, вам нечего бояться Пекснифа. Он не какой-нибудь соглядатай.

Многие на месте Пекснифа, если б имели возможность провалиться сквозь пол почетной скамьи и вынырнуть где-нибудь в Калькутте или в какой-нибудь необитаемой стране на другой стороне земного шара, провалились бы немедленно. А мистер Пексниф присел на скамеечку и, насторожив уши пуще прежнего, улыбнулся.

Тем временем Мэри, по-видимому, выразила свое несогласие со словами Тома, так как он продолжал горячо и убежденно:

— Право, не знаю почему, но с кем бы я ни заговорил на эту тему, всегда оказывается, что мои собеседники все как один несправедливы к Пекснифу. Это самое удивительное совпадение, какое мне только известно, и все же это так. Вот хотя бы Джон Уэстлок, бывший его ученик, добрейший юноша, какой только есть на свете,— я уверен, что Джон, если бы мог, приказал бы отхлестать Пекснифа плетью. И Джон не единственный,— все ученики, которые перебывали тут за мое время, уходили от нас, возненавидев Пекснифа до глубины души. Вот и Марк Тэпли тоже, человек совсем другого звания,— продолжал Том,— как он подсмеивался над Пекснифом, когда служил в «Драконе», просто неловко вспомнить. Мартин тоже, Мартин даже больше других. Впрочем, что я говорю! Это он, конечно, научил вас не любить Пекснифа, мисс Грейм. Вы приехали с предубеждением против него, мисс Грейм, и не можете судить о нем беспристрастно.

Том радовался, сделав такое открытие, и удовлетворенно потирал руки.

— Мистер Пинч,— сказала Мэри,— вы заблуждаетесь.

— Нет, нет! — воскликнул Том.— Это вы заблуждаетесь. Но в чем же дело,— прибавил он совсем другим тоном,— мисс Грейм, в чем дело?

Мистер Пексниф постепенно приподнял над барьером сначала волосы, потом лоб, потом брови, потом глаза. Она сидела на скамейке у двери, закрыв лицо руками, а Том наклонился над ней.

— В чем дело? — восклицал Том.— Разве я сказал что-нибудь обидное для вас? Или кто-нибудь другой вас

обидел? Не плачьте. Скажите мне, пожалуйста, что случилось? Я не могу видеть вас в таком отчаянии. Господи помилуй, никогда в жизни я не был так удивлен и огорчен!

Мистер Пекснио глядел на них, не сводя глаз. Ничем, кроме шила или раскаленной докрасна проволоки, нельзя было бы заставить его отвести глаза.

— Я бы не стала говорить вам, мистер Пинч,— сказала Мэри,— если б было можно. Но я вижу, как велико ваше заблуждение, а нам надо остерегаться, чтобы не скомпрометировать вас. Вместе с тем вы должны знать, кто меня преследует,— вот почему мне не остается другого выхода, как все рассказать вам. Я пришла сюда нарочно для этого, но думаю, что у меня не хватило бы духу, если б вы сами не подвели меня к цели.

Том пристально смотрел на нее, как будто спрашивая: «Что же дальше», но не произнес ни слова.

— Этот человек, которого вы считаете лучшим из людей...— произнесла Мэри дрожащими губами, подняв на него сверкающие глаза.

— Господи помилуй! — едва выговорил Том, отшатнувшись от нее.— Погодите минуту. Этот человек, которого я считаю лучшим из людей! Вы имеете в виду, конечно, Пекснифа. Да, я вижу, что Пекснифа. Боже милостивый, не говорите так, если не имеете оснований! Что он сделал? Если он не лучший из людей, то кто же он?

— Худший из людей. Самый лживый, самый хитрый, самый низкий, самый жестокий, самый подлый, самый бесстыдный,— сказала девушка, вся дрожа от негодования.

Том сел на скамью и стиснул руки.

— Что же это за человек,— продолжала Мэри,— если, приняв меня в дом как гостью, гостью поневоле, зная мою историю, зная, как я беззащитна и одинока, он смеет на глазах у своих дочерей оскорблять меня так, что, будь у меня брат, хотя бы совсем мальчик, он невольно бросился бы защищать меня.

— Он негодяй! — воскликнул Том.— Кто бы он ни был, это негодяй!

Мистер Пексниф опять нырнул.

— Что же это за человек,— говорила Мэри,— тот, кто унижался перед моим единственным другом, любящим и добрым другом, и кого этот друг, когда был в полном разуме, разгадал и выгнал, как собаку, но, по своему христианскому смирению, простил ему все обиды,— а теперь, когда здоровье этого друга пошатнулось, вкрался к нему в доверие и пользуется завоеванным низостью влиянием для низких и презренных целей — среди них нет ни одной, ни одной благородной и доброй.

— Я говорю, что он негодяй! — ответил Том.

— Но что же он такое, мистер Пинч, что он такое, если, думая скорее добиться своей цели, когда я буду его женой, он преследует меня недостойными речами, обещая, что, если я выйду за него замуж, Мартин, которому я принесла столько несчастий, будет восстановлен в своих правах, а не выйду — упадет еще глубже в бездну погибели? Что он такое, если обращает даже мою верность человеку, которого я люблю всем сердцем, в мучение для меня и обиду для него, если он хочет превратить меня, как бы я ни противилась, в орудие пытки для того, кого я хотела бы осыпать благодеяниями? Что он такое, если, опутав меня предательскими сетями, он еще смеет лживым языком и с лживой улыбкой объяснять мне при свете дня, для чего они расставлены, если он смеет обнимать меня и подносить к губам вот эту руку,— продолжала взволнованная девушка, показывая руку,— которую я отрубила бы, если б этим избавилась от стыда и унижения?

— Я говорю,— воскликнул Том в сильном волнении,— что он негодяй, что он злодей! Кто бы он ни был, я говорю, что он закоренелый злодей, которого нельзя терпеть!

Опять закрыв руками лицо, словно горе и стыд пересилили негодование, которое поддерживало ее во время этой речи, Мэри дала волю слезам.

Всякое проявление печали, конечно, тронуло бы сердце Тома, но печаль Мэри в особенности. Ее слезы и рыдания раздирали ему сердце. Пытаясь утешить ее, он сел с нею рядом и заговорил о Мартине, вселяя в нее бодрость и надежду. Да, хотя он любил ее от всей души

такой самоотверженной любовью, какая редко достается на долю женщины, он говорил только о Мартине. Никакие сокровища обеих Индий не заставили бы Тома хоть раз покривить душой и не упомянуть имени ее возлюбленного.

Когда Мэри несколько успокоилась, она заставила Тома понять, что человек, о котором она говорила, и есть Пексниф в его истинном виде, и слово за словом и фраза за фразой передала ему, насколько помнила, все, что произошло между ними в лесу, и этим, без сомнения, доставила большое удовольствие самому мистеру Пекснифу, который, желая все видеть и боясь быть увиденным, то нырял за барьер, то выскакивал обратно, словно плутоватый хозяин Панча * из-за ширмы, старающийся увернуться от ударов дубинкой по голове. В заключение Мэри попросила Тома держаться от нее подальше и ничем себя не выдавать, после чего она поблагодарила его, и они простились, заслышав чьи-то шаги на кладбище. Том снова остался в церкви один.

Только теперь волнение и горе охватили Тома с полной силой. Звезда всей его жизни в одно мгновение превратилась в гнилой туман. Не в том было дело, что Пекснриф, его Пекснриф, перестал существовать, а в том, что его никогда и не было. Если бы Пекснриф умер, Том утешался бы, вспоминая, каким он был; после же этого открытия оставалась только жгучая боль воспоминаний о том, что Пекснриф никогда другим и не был. Ибо, если его слепота была полной и безусловной, то таким же было и вернувшееся к нему зрение. *Его* Пекснриф никогда не сделал бы той подлости, о которой он только что слышал, но всякий другой Пекснриф был на нее способен; а тот Пекснриф, который был способен на такую подлость, был способен на что угодно и, без сомнения, всю свою жизнь поступал как угодно, только не по справедливости. С недостижимой высоты, куда был вознесен кумир Тома, он свалился вниз головою, и вся королевская конница и вся королевская рать * не могли бы собрать мистера Пекснрифа воедино. Легион титанов не мог бы вытащить его из грязи, и туда ему и дорога! Но страдал от этого не он, страдал Томас Пинч. Компас его разбился, карта разорвана, часы остановились, мачты

рухнули за борт, а якорь унесло течением за много тысяч миль.

Мистер Пексниф наблюдал за Томом с живейшим интересом, так как угадывал направление его мыслей, и любопытствовал, как он будет вести себя дальше. Том бродил взад и вперед по церкви, словно помешанный, время от времени останавливаясь и облокачиваясь в раздумье на какую-нибудь скамью; он то заглядывался на старый памятник, украшенный орнаментом из черепов и перекрещенных костей, как будто это было выдающееся произведение искусства, хотя обычно вовсе не замечал его, то садился, то снова начинал ходить взад и вперед, и, наконец, побрел вверх на хоры и коснулся клавишей органа. Но их музыка звучала теперь иначе, гармония исчезла, и, взяв один долгий, печальный аккорд, Том опустил голову на руки и бросил играть.

— Я бы не оскорбился,— произнес Том Пинч, вставая с табурета и окидывая взглядом церковь, словно он был пастор,— я бы не оскорбился, что бы он ни сделал мне, потому что я часто испытывал его терпение, и жил у него из милости, и никогда не был ему таким помощником, каким следовало быть. Я бы не обиделся, Пексниф,— продолжал Том, нисколько не беспокоясь, слушают его или нет,— если бы вы сделали зло мне; этому я нашел бы оправдание, и хотя огорчился бы, все же уважал бы вас по-прежнему. Но зачем же вы так низко пали в моих глазах! О Пексниф, Пексниф! Я ничего не пожалел бы для того, чтобы вы были достойны моего уважения по-старому,— ничего!

Мистер Пексниф, сидя на низенькой скамеечке, поправлял воротнички, в то время как Том, взволнованный до глубины души, обращался к нему с этой речью. После наступившей затем паузы он услышал, что Том спускается по лестнице, позвякивая церковными ключами, и, опять выглянув из-за барьера, увидел, как он медленно вышел из церкви и запер за собой дверь.

Мистер Пексниф не смел покинуть место своего заключения, ибо в церковные окна видел, как Том переходил от могилы к могиле, иногда останавливаясь и облокачиваясь на памятник, словно оплакивая потерян-

ного друга. Даже после того как Том ушел с кладбища, мистер Пексниф все еще оставался взаперти, опасаясь, как бы растревоженный Том не забрел обратно в церковь. Наконец он отворил дверцу и с самым приятным выражением лица направился в ризницу, где, как он знал, окно было невысоко над землей, и ему стоило сделать один шаг, чтобы очутиться на свободе.

Мистер Пексниф находился в довольно странном настроении и нисколько не спешил уйти, скорее наоборот — был склонен оттягивать время, поэтому он открыл шкаф в ризнице и посмотрелся в маленькое зеркальце пастора, висевшее за дверью. Заметив, что волосы у него растрепались, он позволил себе воспользоваться пасторской щеткой и пригладил их. Он также позволил себе открыть другой шкаф, но быстро захлопнул его, неприятно пораженный видом двух стихарей, черного и белого, висевших рядом и очень похожих на двух викариев, повесившихся вместе. Вспомнив, что в первом шкафу он видел бутылку портвейна и печенье, мистер Пексниф опять заглянул туда и без церемонии налил себе вина, все время сохраняя вид человека, погруженного в какие-то глубокие и очень важные размышления и не думающего о том, что делает.

Однако вскоре он принял решение, если вообще находился в нерешимости, и, поставив на место бутылку и печенье, открыл окно. Выбравшись на кладбище без всякого труда, он притворил оконную раму и отправился прямо домой.

— Мистер Пинч вернулся? — спросил мистер Пексниф у своей служанки.

— Только что пришел, сэр.

— Только что пришел, да? — жизнерадостно повторил мистер Пексниф.— И, я думаю, поднялся наверх?

— Да, сэр. Поднялся наверх. Позвать его, сэр?

— Нет,— сказал мистер Пексниф,— нет. Не трудитесь звать его, Джейн. Благодарю вас, Джейн. Как поживают ваши родные, Джейн?

— Ничего, спасибо, сэр.

— Очень рад это слышать. Передайте им, что я о них справлялся, Джейн. Мистер Чезлвит где-нибудь здесь, Джейн?

— Да, сэр. Он в гостиной, читает.

— Ах вот как, он в гостиной, читает, Джейн? — сказал мистер Пекснифф.— Очень хорошо. Так я, пожалуй, пойду к нему, Джейн.

Никогда еще домашние не видели мистера Пекснифа в более приятном настроении.

Однако, войдя в гостиную, где старик читал, как и говорила Джейн, имея под руками чернила, перо и бумагу (ибо мистер Пексниф весьма заботился о том, чтобы письменные принадлежности были у него всегда в изобилии), он стал менее жизнерадостен. Его снедал не гнев, не мстительная ярость, не раздражение, не досада, но уныние, глубокое уныние. Когда он уселся рядом со стариком, две слезы — не те слезы, коими ангелы смывают записи со своих скрижалей, но иные, столь драгоценные, что небожители пишут ими вместо чернил,— скатились по достойным щекам мистера Пекснифа.

— Что случилось? — спросил старый Мартин.— Пексниф, что вас беспокоит, любезный?

— Я сожалею, что помешал вам, дорогой мой сэр, и еще более сожалею о причине этого. Мой добрый, мой почтенный друг, я обманут!

— Вы обмануты!

— Да! — скорбно воскликнул мистер Пексниф.— Обманут в нежнейших моих чувствах. Жестоко обманут тем, сэр, кому я оказывал самое безграничное доверие. Обманут Томасом Пинчем, мистер Чезлвит.

— Плохо, плохо, плохо! — сказал Мартин, кладя книгу на стол.— Очень плохо! Надеюсь, что это не так. Уверены ли вы?

— Уверен ли, уважаемый сэр! Свидетели тому мои глаза и уши. Иначе я бы не поверил. Я бы не поверил, мистер Чезлвит, если б огненный змий возвестил мне это с колокольни солсберийского собора! Я бы поклялся,— восклицал мистер Пексниф,— что змий лжет. Такова была моя вера в Томаса Пинча, что я упрекнул бы змия во лжи и прижал бы Томаса Пинча к моему сердцу. Но я не змий, к моему прискорбию, и у меня не остается больше никаких сомнений и надежд.

Мартин очень встревожился, увидев мистера Пекснифа в таком волнении и услышав такие неожиданные

новости. Он попросил его успокоиться и пожелал узнать, в чем именно состоит вероломство мистера Пинча.

— Вот это-то и хуже всего, сэр, что дело близко касается вас. О, мало того,— произнес мистер Пексниф, возводя глаза к небу,— что эти удары сыплются на меня, они еще поражают моих друзей!

— Вы пугаете меня! — воскликнул старик, меняясь в лице.— Силы у меня уже не прежние. Вы пугаете меня, Пексниф!

— Мужайтесь, мой благородный друг,— сказал мистер Пексниф, набираясь храбрости,— и мы с вами поступим, как должно. Вы узнаете все, сэр, и получите полное удовлетворение. Но прежде всего извините меня, сэр, извините меня. У меня есть обязанности перед обществом.

Он позвонил в колокольчик, и явилась Джейн.

— Пошлите сюда мистера Пинча, Джейн, будьте любезны!

Том пришел. Не зная, как себя держать, угнетенный и расстроенный и как нельзя более смущенный, он избегал смотреть в лицо Пекснифу.

Этот честный человек метнул в сторону мистера Чезлвита взгляд, как бы говоря: «Вы видите!» — и обратился к Тому со следующими словами:

— Мистер Пинч, я оставил окно ризницы незапертым. Сделайте одолжение, пойдите и заприте его, а потом принесите мне ключи от священного здания.

— Окно ризницы, сэр? — воскликнул Том.

— Вы, я думаю, меня понимаете, мистер Пинч,— возразил его патрон.— Да, мистер Пинч, окно ризницы. Должен, к сожалению, сказать, что, задремав на церковной скамье после утомительной прогулки, я невольно подслушал отрывки,— он подчеркнул это слово,— из разговора двух особ, и так как одна из них по уходе заперла за собой церковь, мне пришлось выйти через окно ризницы. Сделайте мне одолжение запереть это окно, мистер Пинч, а потом вернитесь сюда.

Ни один физиономист на свете не в силах был бы истолковать выражение лица Тома, после того как он услышал эти слова. И удивление было в нем, и мягкий

упрек, но уж конечно не раскаяние и не страх, хотя множество сильных чувств боролось в его душе. Он поклонился и, не сказав ни слова, худого или доброго, вышел из комнаты.

— Пекснпф,— воскликнул Мартин, весь дрожа,— что все это значит? Надеюсь, вы не совершите ничего такого, о чем будете потом жалеть?

— Нет, мой добрый сэр,— твердо сказал мистер Пексниф.— Нет. Но у меня есть долг перед обществом, который я обязан выполнить; и он будет выполнен, мой друг, любой ценой!

О, неоплаченный, часто забываемый, крикливый, хвастливый долг, который редко платят иной монетой, кроме наказания и гнева,— когда же человечество вспомнит о тебе! Когда же люди признают тебя в твоей заброшенной колыбели и в искалеченной юности, а не в греховной зрелости и жалкой старости! О судья в горностаевой мантии, чей долг перед обществом ныне состоит в том, чтобы осуждать бродягу в лохмотьях на кару и смерть, неужели ты не знал, что истинный твой долг — захлопнуть сотню открытых ворот, ведущих на скамью подсудимых, и распахнуть настежь врата, ведущие к достойной жизни! О прелат, прелат, чей долг перед обществом — оплакивать в скорбных речах печальный упадок своего времени, неужели ничего не было важнее твоего восшествия на почетное место, откуда ты теперь проповедуешь другим охотникам до почестей, которые, как и ты, меньше всего думают о своем долге перед обществом! О вы, деревенские власти, вы, добрые помещики и честные дворяне, неужели у вас не было долга перед обществом, пока не запылали скирды и не взбунтовалась чернь! Или он возник из земли во всеоружии, в виде конного отряда йоменов? *

Долг мистера Пекснифа перед обществом не мог быть выполнен до возвращения Тома Пинча. Тем временем мистер Пексниф усиленно совещался со своим другом, так что, когда Том вернулся, оба они были вполне готовы принять его. Мэри сидела в своей комнате наверху, где мистер Пексниф, как всегда осмотрительный, посоветовал ей, через старика Мартина, задержаться еще полчаса, дабы чувства ее не были оскорблены.

Когда Том вернулся, он застал старого Мартина сидящим у окна, а мистера Пекснифа — у стола, в величественной позе. С одной стороны подле него лежал носовой платок, а с другой — маленькая кучка (очень маленькая) золота и серебра и в придачу несколько медяков. Том с одного взгляда понял, что это его собственное жалованье за текущую четверть года.

— Заперли вы окно ризницы, мистер Пинч? — спросил Пексниф.

— Да, сэр.

— Благодарю вас. Положите, пожалуйста, ключи на стол, мистер Пинч.

Том положил. Он держал всю связку за ключ от органа, хотя этот ключ был один из самых маленьких, и пристально смотрел на него, кладя связку на стол. Это был старый, старый друг Тома, добрый товарищ многих и многих его дней!

— Мистер Пинч! — сказал Пексниф, качая головой.— О мистер Пинч! Я удивляюсь, как вы можете смотреть мне в глаза!

Однако Том смотрел ему в глаза; и хотя он обычно сутулился, сейчас он стоял и держался как нельзя более прямо.

— Мистер Пинч,— сказал Пексниф и схватился за платок, словно предчувствуя, что он ему скоро понадобится,— я не буду останавливаться на прошлом. Я избавлю вас и самого себя по крайней мере от этого.

Глаза у Тома были не очень живые, но они заблестели весьма выразительно в ту минуту, когда он взглянул на мистера Пекснифа и сказал:

— Благодарю вас, сэр. Я очень рад, что вы не будете касаться прошлого.

— Довольно и настоящего,— сказал мистер Пексниф, бросая на стол пенни,— и чем скорее мы с ним покончим, тем будет лучше. Мистер Пинч, я не уволю вас, не объяснившись. Хотя такое мое поведение было бы вполне оправдано при существующих обстоятельствах, но могло бы показаться, что я поторопился, а я этого не хочу, ибо я,— сказал мистер Пексниф, отшвырнув еще одну монетку,— действую вполне обдуманно. И потому я скажу вам то же, что уже говорил мистеру Чезлвиту.

Том взглянул на старого джентльмена, который время от времени кивал головой, словно одобряя слова и чувства мистера Пекснифа, но более никак не вмешивался в их беседу.

— Из отрывков разговора между вами и мисс Грейм, который я только что слышал в церкви, мистер Пинч,— сказал Пексниф,— я говорю «из отрывков», потому что я дремал в углу, довольно далеко от вас, когда меня разбудили ваши голоса,— а также из виденного мною я убедился (и много дал бы, чтобы разубедиться, мистер Пинч), что вы, забыв о долге и чести, сэр, пренебрегая священными законами гостеприимства, которыми вы связаны как обитатель этого дома, осмелились обратиться к мисс Грейм с непрошенными изъявлениями привязанности и объяснениями в любви.

Том пристально смотрел на него.

— Вы это отрицаете, сэр? — вопросил мистер Пексниф, рассыпая по столу один фунт два шиллинга и четыре пенса, а потом снова собирая их в кучку.

— Нет, сэр,— ответил Том.— Не отрицаю.

— Не отрицаете,— сказал мистер Пексниф, бросая взгляд на старого джентльмена.— Сделайте мне одолжение пересчитать эти деньги, мистер Пинч, и поставить ваше имя на расписке. Вы не отрицаете?

Нет, Том не отрицал. Он был выше этого. Он видел, что мистер Пексниф, подслушав разговор о своем позорном поведении, ничуть не боится упасть еще ниже в его глазах. Он видел, что мистер Пексниф воспользовался этой выдумкой, как наилучшим средством немедленно отделаться от своего помощника, и что этим непременно должно было кончиться. Он видел, что мистер Пексниф так и рассчитывал, что Том не будет этого отрицать, ибо всякие объяснения только еще больше восстановили бы старика против Мартина и против Мэри, а сам Пексниф оказался бы виновен лишь в неверной передаче «отрывков». Отрицать? Ни в коем случае!

— Вы находите сумму правильной, мистер Пинч? — спросил Пексниф.

— Совершенно правильной,— ответил Том.

— Человек дожидается на кухне,— сказал мистер Пексниф,— чтобы отнести ваш багаж, куда вам будет

угодно. Мы немедленно расстанемся, мистер Пинч, и с этой минуты мы чужие друг другу.

Чувство, которому трудно было бы подобрать название: сострадание, печаль, былая привязанность и ложно понятая благодарность, наконец привычка,— ни одно из этих чувств в отдельности и все они вместе взятые овладели при расставании кротким сердцем Тома. В теле Пекснифа не было живой души; но даже если бы разоблачения Тома не представляли опасности для его любимых друзей, Том постарался бы пощадить и пустую оболочку этого человека. Даже и сейчас.

— Не стану говорить,— воскликнул мистер Пексниф, проливая слезы,— какой это удар! Не стану говорить, как это тяжело для меня, как это подействовало на мой организм, как это оскорбило мои чувства. Не это меня беспокоит. Я согласен терпеть, как терпят другие. Но я должен надеяться, и вы должны надеяться, мистер Пинч (иначе на вас ложится слишком большая ответственность), что это разочарование не пошатнет мою веру в человечество, что оно не подорвет моих сил, что оно, если можно так выразиться, не подрежет мне крыльев. Надеюсь, что не подрежет, не думаю, чтобы подрезало. Это может послужить вам утешением, если не теперь, то когда-нибудь в будущем,— знать, что я не разочаруюсь в моих ближних из-за того, что произошло между нами. Прощайте.

Том хотел было избавить его от одного легкого укола, что было в его власти, но, услышав последние слова, передумал и сказал:

— Кажется, вы кое-что забыли в церкви, сэр?

— Благодарю вас, мистер Пинч,— сказал Пексниф.— Не знаю, что бы это могло быть.

— Ваш двойной лорнет.

— О! — воскликнул Пексниф, несколько смутившись.— Очень вам обязан. Положите его на стол, пожалуйста.

— Я нашел его,— с расстановкой произнес Том,— когда ходил запирать окно в ризнице, на скамье.

Так оно и было. Ныряя вверх и вниз, мистер Пексниф снял лорнет, чтобы он не стукнулся о деревянный барьер, и забыл про него. Вернувшись в церковь с мыслью, что

за ним следили, и занятый догадками, откуда именно, Том заметил отворенную настежь дверцу почетной скамьи. Заглянув туда, он нашел лорнет. Таким образом он узнал и, вернув лорнет, дал понять мистеру Пекснифу, что знает, где сидел свидетель их разговора, а также и то, что вместо отрывков он имел удовольствие слышать все до последнего слова.

— Я очень рад, что он ушел,— сказал Мартин, глубоко вздохнув, после того как Том вышел из комнаты.

— Да, это облегчение,— согласился мистер Пексниф.— Это большое облегчение. Но, выполнив — надеюсь, с достаточной твердостью — свой долг перед обществом, я хочу теперь, дорогой мой сэр, удалиться в сад за домом и пролить там слезу уже как смиренное частное лицо.

Том поднялся наверх, собрал книги с полки, уложил их в сундук вместе с нотами и старой скрипкой, достал свою одежду (ее было не так много, чтобы это его очень затруднило), положил ее поверх книг и пошел в чертежную за готовальней. Там был облезлый старый табурет, из которого во все стороны торчал конский волос, наподобие парика, настоящее страшилище в своем роде: на этом табурете он сидел каждый день, год за годом, в продолжение всей своей службы. Оба они постарели и износились. Ученики отбывали свой срок, времена года сменяли друг друга, а Том и старый табурет неизменно оставались на месте. Эта часть комнаты называлась по традиции «уголком Тома». Ее отвели Тому с самого начала, оттого что она находилась на сильнейшем сквозняке и очень далеко от камина, и с тех пор Том бессменно занимал этот угол. На стене были нарисованы его портреты, где все смешные черты Тома были преувеличены до безобразия. Чуждые его характеру демонические чувства были представлены в виде пухлых воздушных шаров, выходивших из его рта. Каждый ученик прибавлял что-нибудь от себя; здесь были даже фантастические портреты его папаши с одним глазом и мамаши с невероятных размеров носом, а чаще всего сестры; но то, что ее изображали писаной красавицей, вполне искупало в глазах Тома все шутки и насмешки. При других, не столь

экстренных обстоятельствах Тому было бы очень грустно расставаться со всем этим и думать, что он это видит в последний раз, но теперь он думал о другом. Пекснифа более не существовало, никогда не было никакого Пекснифа — и это одно поглотило все остальные его огорчения.

Вернувшись в спальню, он закрыл сундук и чемодан, надел гетры, пальто и шляпу и, взяв палку в руки, в последний раз обвел комнату взглядом. Ранним летним утром и зимней ночью при свете огарка, купленного на свои деньги, он слепил глаза над книгой в этой самой комнате. В этой самой комнате он пытался играть на скрипке, забравшись под одеяло, и, только уступая протестам других учеников, неохотно оставил это намерение. Во всякое другое время ему было бы больно расставаться с этой комнатой, при мысли обо всем, чему он тут научился, о многих часах, которые он тут провел, о мечтах, волновавших его здесь. Но Пекснифа более не существовало, да и никогда не было никакого Пекснифа, и нереальность Пекснифа простиралась и на комнату, где, сидя на этой самой кровати, тот, кого он считал великим совершенством, нередко проповедовал с таким успехом, что Том Пинч чувствовал слезы на глазах, с затаенным дыханием ловя его речи.

Человек, которого наняли нести сундук,— это был работник из «Дракона», хорошо известный Тому,— сильно топая, поднялся по лестнице и неловко отвесил поклон. В обычное время он ограничился бы усмешкой и кивком,— теперь же он явно давал понять Тому, что ему известно о случившемся, но что для него такая перемена ничего не значит. Сделано это было достаточно неуклюже; ведь это был простой конюх, поивший лошадей, но Тома его участие растрогало больше, чем предстоящий отъезд.

Том помог бы ему нести сундук, но хотя груз был порядочный, для конюха он был не тяжелее, чем башенка для слона; взвалив сундук себе на спину, он побежал вниз по лестнице, как будто ему, увальню от природы, гораздо удобнее было идти с сундуком, чем налегке. Том взял чемодан и сошел вниз вместе с носильщиком. У парадной двери стояла Джейн, заливаясь слезами, а на



крыльце миссис Льюпин, горько рыдая, протянула Тому руку для пожатья.

— Вы остановитесь в «Драконе», мистер Пинч?

— Нет,— сказал Том,— нет. Я сегодня же ухожу в Солсбери. Я не мог бы остаться здесь. Ради бога, не расстраивайте меня еще больше, миссис Льюпин.

— Но вы же зайдете в «Дракон», мистер Пинч? Хотя бы только на сегодня. Как гость, а не как постоялец.

— Господи помилуй! — сказал Том, вытирая глаза.— Все такие добрые, что просто сердце разрывается. Я хочу сегодня же идти в Солсбери, милая моя, славная женщина. Если вы побережете мой сундук, пока я вам не напишу, я сочту это величайшим одолжением для себя.

— Пускай будет хоть двадцать сундуков, мистер Пинч,— воскликнула миссис Льюпин,— я вам все сберегу.

— Благодарю,— сказал Том.— Это на вас похоже. Прощайте же. Прощайте!

Вокруг крыльца толпились люди, молодые и старые, и одни из них плакали вместе с миссис Льюпин, другие старались держаться бодро, как Том, третьи вслух восхищались мистером Пекснифом, человеком, которому, можно сказать, ничего не стоило построить церковь: посмотрит на лист бумаги — и готово; четвертые колебались между этим восхищением и сочувствием к Тому. Мистер Пексниф появился на крыльце в одно время со своим бывшим учеником и, пока Том разговаривал с миссис Льюпин, простер руку вперед, как бы говоря: «Ступайте прочь!» Когда Том сошел с крыльца и завернул за угол, мистер Пексниф покачал головой, закрыл глаза и, глубоко вздохнув, захлопнул дверь. После чего самые стойкие из приверженцев Тома стали говорить, что он, должно быть, сделал что-то из ряда вон выходящее, иначе такой человек, как мистер Пексниф, держался бы по-другому. Будь это простая ссора (замечали они), он бы сказал хоть что-нибудь; а раз он ничего не говорит, значит мистер Пинч нанес ему ужасный удар.

Том уже не мог слышать их здравых суждений и шагал вперед со всем возможным усердием, пока не завидел шлагбаума, откуда семейство сторожа приветство-

вало его криками «мистер Пинч!» в то морозное утро, когда он ехал встречать молодого Мартина. Он прошел через всю деревню, и этот шлагбаум был последним испытанием; но когда малолетние сборщики дорожной пошлины с воплями выскочили ему навстречу, он чуть было не бросился бежать, чуть не кинулся опрометью в сторону от дороги.

— Ах, боже ты мой, мистер Пинч! Ах, как же это, сударь! — воскликнула жена сторожа.— Как же это вы в такое время идете в ту сторону, да еще с чемоданом?

— Я иду в Солсбери,— сказал Том.

— Да как же это, господи, а где же бричка? — воскликнула жена сторожа, глядя на дорогу, словно думала, что Том мог вывалиться из экипажа, сам того не заметив.

— Брички нет,— сказал Том.— Я...— ему нельзя было не ответить; она поймала бы его на втором вопросе, если бы он избежал первого.— Я ушел от мистера Пекснифа.

Сторож, человек угрюмый, всегда сидевший со своей трубкой в виндзорском кресле *, поставленном между двумя окошками, глядевшими на дорогу в обоих направлениях, так что при виде подъезжающих к деревне он мог радоваться, что ему предстоит получить сбор, а при виде отъезжающих — поздравлять себя с тем, что сбор уже получен,— сторож в одно мгновение выбежал из сторожки.

— Ушли от мистера Пекснифа? — воскликнул он.

— Да,— сказал Том,— ушел от него.

Сторож поглядел на жену, не зная, спросить ли, что она об этом думает, или отослать ее к детям. От изумления он сделался еще мрачней и прогнал ее в сторожку, наперед пробрав хорошенько.

— Вы ушли от мистера Пекснифа! — воскликнул сторож, складывая руки на груди и расставляя ноги.— Я думал, он скорее с головой своей расстанется.

— Да,— сказал Том,— я тоже так думал еще вчера. Всего хорошего!

Если бы в эту самую минуту не гнали мимо большого гурта волов, сторож отправился бы прямо в деревню узнать, что случилось. Так как дело приняло иной оборот, он выкурил еще одну трубочку и доверил свои

соображения жене. Но и соединенными силами они никак не могли в этом разобраться и легли спать, образно выражаясь, в потемках. И несколько раз в эту ночь, когда проезжала мимо подвода или другой экипаж и возчик спрашивал у сторожа: «Что новенького?» — тот, сначала разглядев собеседника при свете фонаря, чтобы удостовериться, есть ли у него интерес к такому предмету разговора, говорил, запахивая вокруг ног полы своей теплой шинели:

— Вы знаете мистера Пекснифа, что живет вон там?

— Ну, еще бы!

— А может, знаете и его помощника, мистера Пинча?

— Ну?

— Так они разошлись.

Каждый раз после такого сообщения он опять нырял в сторожку и больше не показывался, а его собеседник ехал дальше в величайшем изумлении.

Но это было уже много времени спустя, после того как Том улегся в постель, а пока что Том направлялся в Солсбери, стремясь попасть туда как можно скорее. Сначала вечер был прекрасный, но к заходу солнца стало пасмурно, набежали тучи, и скоро полил сильный дождь. Целых десять миль Том прошагал, вымокши до нитки, пока, наконец, не показались огоньки и он вошел в долгожданные пределы города.

Он отправился в гостиницу, где когда-то ждал Мартина, и, коротко ответив на расспросы о мистере Пекснифе, велел приготовить постель. Он не захотел ни чая, ни ужина и вообще не хотел ни пить, ни есть и сидел перед пустым столом в общей зале, пока ему стелили постель, перебирая в уме все, что произошло за этот богатый событиями день, и раздумывая, как ему быть и что делать дальше. Он почувствовал большое облегчение, когда пришла горничная сказать, что постель готова.

Это была низенькая кровать с четырьмя колонками по углам, с углублением посредине вроде корыта, и вся комната была заставлена ненужными столиками и рассохшимися комодами, полными сырого белья. Живописное изображение необыкновенно жирного быка над камином и портрет бывшего хозяина гостиницы над кро-

ватью (он мог быть родным братом быку, так велико было сходство) пристально глядели друг на друга. Множество странных запахов в комнате до некоторой степени заглушало преобладающий аромат затхлой лаванды, а окно не открывали так давно, что оно, в силу установившегося с давних времен обычая, совсем не открывалось.

Все это были пустяки сами по себе, но они усиливали впечатление непривычности места и не позволяли Тому забыться. Пексниф исчез с лица земли, его никогда не существовало, и самое большее, на что Том был способен без него,— это прочесть молитву. После молитвы ему стало легче, он заснул и видел во сне того, кого никогда не существовало.

ГЛАВА XXXII

трактует опять о пансионе миссис Тоджерс и еще об одном засохшем цветке, кроме тех, что были на крыше

Ранним утром на следующий день, после того как мисс Пексниф простилась с обителью своей юности и колыбелью своего детства, она, благополучно прибыв на остановку дилижансов в Лондоне, была встречена миссис Тоджерс и препровождена ею в мирное жилище под сенью Монумента. Миссис Тоджерс выглядела немного утомленной заботами о подливке и другими хлопотами, связанными с ее заведением, однако проявила обычную теплоту чувств и солидность манер.

— А как, милая моя мисс Пексниф,— спросила она,— как поживает ваш чудный папа?

Мисс Пексниф сообщила ей (по секрету), что он подумывает обзавестись чудной мамой, и повторила с негодованием, что она не слепая и вовсе не дура и этого терпеть не намерена.

Миссис Тоджерс была поражена этим сообщением, более чем кто-либо мог ожидать. Она вконец разогорчилась. Она сказала, что от мужчины правды не жди и что чем горячее они выражают свои чувства, тем, вообще

говоря, оказываются лживее и вероломнее. Она предвидела с изумительной ясностью, что избранница мистера Пекснифа окажется дрянной и низкой интриганкой, и, получив от Чарити полное подтверждение этих слов, объявила со слезами на глазах, что любит мисс Пексниф, как сестру, и болеет за ее обиды, как за свои собственные.

— Вашу родную сестрицу я видела всего один раз после ее замужества,— сказала миссис Тоджерс,— и тогда мне показалось, что она очень плохо выглядит. Дорогая моя мисс Пексниф, я всегда думала, что это вы за него выйдете.

— О боже мой, нет! — воскликнула Черри, мотнув головой.— О нет, миссис Тоджерс! Благодарю вас. Нет! Ни за какие блага, что бы он там ни обещал.

— Пожалуй, вы правы,— сказала миссис Тоджерс со вздохом.— Я этого все время боялась. Но мы-то сколько натерпелись из-за этого брака вот тут, у меня в доме, дорогая моя мисс Пексниф, никто этому даже не поверит.

— Боже мой, миссис Тоджерс!

— Ужас, ужас! — повторила миссис Тоджерс весьма выразительно.— Вы помните младшего из джентльменов, дорогая моя?

— Конечно, помню,— сказала Черри.

— Вы, может быть, заметили,— сказала миссис Тоджерс,— что он глаз не спускал с вашей сестры и что на него словно столбняк находил, когда за ней ухаживали другие?

— Я никогда ничего подобного не замечала,— сказала Черри, надувшись.— Какие глупости, миссис Тоджерс!

— Дорогая моя,— возразила миссис Тоджерс трагическим голосом,— сколько раз я видела за обедом, как он сидит над своей порцией пудинга, засунув ложку в рот, и смотрит на вашу сестру. Я видела, как он стоит в углу гостиной и глаз с нее не сводит, такой одинокий, печальный, вот-вот польются слезы, прямо артезианский колодец, а не человек.

— Я никогда этого не видела,— воскликнула Черри,— вот и все, что я могу сказать!

— А после свадьбы,— продолжала рассказывать миссис Тоджерс,— когда объявление было напечатано в газетах и его прочли тут у нас за завтраком, я так и думала, что он совсем рехнулся, право. Буйное поведение этого молодого человека, дорогая моя мисс Пексниф, всякие страшные слова, какие он тут говорил насчет самоубийства, все что он проделывал со своим чаем, как он кусал хлеб с маслом, вонзаясь в него зубами, как задирал мистера Джинкинса,— все это вместе взятое составляет такую картину, которой вовеки не забудешь.

— Жаль, что он не покончил с собой,— заметила мисс Пексниф.

— Как бы не так! — сказала миссис Тоджерс.— К вечеру это уже обернулось по-иному. Он уж на других стал бросаться. Вечером наши, что называется, балагурили — надеюсь, вы не считаете это слово вульгарным, мисс Пексниф, оно у наших джентльменов с языка не сходит,— балагурили в своей компании, дорогая моя, все это добродушно... как вдруг он вскочил с пеной у рта, и если б его не держали втроем, он убил бы мистера Джинкинса на месте сапожной колодкой.

Лицо мисс Пексниф выражало полное безразличие.

— Зато теперь,— продолжала миссис Тоджерс,— теперь он совсем присмирел. Чуть поглядишь на него, он уже готов удариться в слезы. По воскресеньям сидит со мной целый день и так жалостно разговаривает, что у меня потом едва хватает сил что-нибудь делать для жильцов. Для него единственное утешение — в женском обществе. Он водит меня в театр на дешевые места, и до того часто, что я боюсь, как бы он не разорился; и во все время спектакля я вижу слезы у него на глазах, особенно если играют что-нибудь смешное. Что со мной только делалось,— продолжала миссис Тоджерс, приложив руку к сердцу,— когда служанка уронила коврик из окна его комнаты, вы не можете себе представить. Я так и думала, что это он — взял да и выбросился наконец!

Пренебрежение, с которым мисс Чарити выслушала рассказ о том, до чего дошел младший из джентльменов, мало говорило о ее способности сочувствовать этому несчастному. Она отнеслась к нему свысока и продолжала расспрашивать, какие перемены произошли в пансионе.

Мистер Бейли ушел, и его заменила (так преходяще человеческое величие!) какая-то старуха, которую будто бы звали Темеру — вещь совершенно невозможная. В самом деле, с течением времени выяснилось, что пансионские шутники позаимствовали это слово из какой-то старинной баллады, где оно должно было выражать горячий и смелый характер некоего кучера; а преемницу мистера Бейли окрестили этим именем как раз потому, что в ней не было решительно ничего горячего, если не считать редких приступов болезни, именуемой антоновым огнем. Эта древность была нанята миссис Тоджерс во исполнение данного ею обета, что ни один мальчишка не переступит больше порога ее заведения, и отличалась она главным образом отсутствием здравого смысла во всех решительно отношениях. Это была сущая могила для всякого рода мелких поручений и посылок, а когда ее отправляли на почту с письмами, то нередко ловили на том, что она пытается засунуть письмо в первую попавшуюся щель в чужой двери, воображая, будто любое отверстие в дверях годится для этой цели. Это была маленькая старушонка, постоянно ходившая в плотном фартуке с нагрудником спереди и лямкой сзади, с вечно перевязанными запястьями, отчего казалось, будто у нее хроническое растяжение связок. Она всегда очень неохотно отпирала входную дверь и ревностно стремилась запереть ее снова; за столом она прислуживала в капоре.

Это была единственная крупная перемена, кроме той, которая произошла с младшим из джентльменов. Что до него, то он более чем оправдывал рассказ миссис Тоджерс, ибо даже ей не удалось описать всей глубины его чувств. Между прочим, он возымел самые устрашающие понятия о человеческой судьбе и много говорил о том, что́ кому суждено, как видно черпая сведения из недоступных другим источников; так, он, оказывается, знал наперед, что бедной Мерри суждено было погубить его на заре жизни. Он стал неуравновешен и слезлив, и, будучи уверен, что пастуху предназначено сзывать свирелью стада, боцману — свистать всех наверх, одному — быть музыкантом, а другому — платить за музыку, он забрал себе в голову, что ему лично судьба предназначила лить слезы. Чем и занимался постоянно.

Он часто сообщал миссис Тоджерс, что солнце для него закатилось, что волны поглотили его, что колесница Джагернаута раздавила его, а также что смертоносное дерево упас отравило его своим тлетворным дыханием *. Его фамилия была Модль.

С этим злополучным Модлем мисс Пексниф держалась сначала холодно и высокомерно, не имея склонности выслушивать панихиды в честь своей замужней сестры. Это окончательно доконало несчастного молодого человека, и он, беседуя с миссис Тоджерс, пожаловался ей.

— Даже она отвернулась от меня, миссис Тоджерс,— плакался Модль.

— Тогда почему же вы не постараетесь быть немножко повеселей, сударь? — возразила миссис Тоджерс.

— Повеселей, миссис Тоджерс, повеселей,— воскликнул младший из джентльменов,— но ведь она напоминает мне дни, которые миновали безвозвратно, миссис Тоджерс!

— Если так, вам лучше некоторое время избегать ее,— сказала миссис Тоджерс,— а потом снова познакомиться мало-помалу. Вот мой совет.

— Но я не могу избегать ее,— начал Модль.— У меня недостанет душевных сил. О миссис Тоджерс, если б вы знали, какое утешение для меня ее нос!

— Ее нос, сэр?! — воскликнула миссис Тоджерс.

— Вообще говоря, ее профиль,— объяснил младший из джентльменов,— а в частности — ее нос. Он так похож,— тут он дал волю своему горю,— он так похож на нос той, которая принадлежит другому, миссис Тоджерс!

Обязательная хозяйка пансиона не замедлила передать этот разговор Чарити, которая сначала посмеялась, но в тот же вечер выказала мистеру Модлю гораздо больше внимания и как можно чаще поворачивалась к нему в профиль. Мистер Модль был настроен не менее сентиментально, чем всегда, даже, может быть, более, однако не сводил с мисс Черри увлажненных глаз и, по-видимому, был ей благодарен.

— Ну, сэр! — сказала на следующий день миссис Тоджерс.— Вчера вечером вы держались отлично. По-моему, вы начинаете приходить в себя.

— Только потому, что она похожа па ту, которая принадлежит другому,— возразил юноша.— Когда она говорит или улыбается, мне кажется, будто я опять вижу ее черты.

Это тоже было передано Чарити, которая на следующий вечер разговаривала и улыбалась самым обольстительным образом и, подшучивая над угнетенным состоянием мистера Модля, пригласила его сыграть партию в криббедж *. Мистер Модль принял вызов, и они сыграли несколько партий по шесть пенсов, причем выигрывала всегда Чарити. Отчасти это можно было приписать галантности младшего из джентльменов, но, конечно, объяснялось также и состоянием его чувств,— ибо глаза его то и дело затуманивались слезами, и тузы он принимал за десятки, а валетов за дам, отчего временами несколько путался в игре.

На седьмой вечер игры в криббедж, когда миссис Тоджерс, сидевшая рядом, предложила им, вместо того чтобы играть на деньги, сыграть просто так, из любви к искусству, замечено было, что мистер Модль переменился в лице, услышав слово «любовь». На четырнадцатый вечер он поцеловал в коридоре подсвечник мисс Пексниф, которая шла наверх, собираясь ко сну: он намеревался поцеловать ей руку, но промахнулся.

Словом, мистер Модль начал осваиваться с мыслью, что мисс Пексниф предназначено судьбой утешать его, а мисс Пексниф начала размышлять о возможности сделаться в конце концов миссис Модль. Он был молодой человек (мисс Пексниф была уже не очень молодая девица) с видами на будущее и средствами, которых почти хватало на жизнь. Ну что ж, это было бы не так плохо.

Кроме того — кроме того, мистер Модль считался поклонником Мерри. Мерри потешалась над ним, а один раз, говоря с сестрой, отозвалась о нем как о своей победе. По наружности, по характеру, по манерам — во всех отношениях он был гораздо лучше Джонаса. С ним легко будет поладить, легко заставить считаться с капризами своей нареченной, его можно будет водить везде, как ягненка, тогда как Джонас был медведь. Вот в чем суть!

Тем временем игра в криббедж продолжалась, а миссис Тоджерс была заброшена, ибо младший из джентль-

менов стал пренебрегать ее обществом и водить в театр мисс Пексниф. Он начал также, по словам миссис Тоджерс, забегать домой в обеденный перерыв и уходить из конторы в непоказанное время; и дважды, как он сам сообщил миссис Тоджерс, на его имя приходили анонимные письма со вложением карточек от поставщиков мебели — явное дело, выходка этого невоспитанного грубияна Джинкинса; только у Модля не довольно было улик, чтобы вызвать его на дуэль. Все это вместе взятое, как говорила миссис Тоджерс душеньке мисс Пексниф, было яснее ясного.

— Дорогая моя мисс Пексниф, можете быть уверены, он просто горит желанием сделать предложение.

— Боже мой, так почему же он его не делает! — воскликнула Черри.

— Мужчины гораздо застенчивее, чем мы их считаем, дорогая моя,— возразила миссис Тоджерс.— Они всегда упираются. Я видела, что мистер Тоджерс собирается сделать мне предложение за много, много месяцев до того, как он заговорил.

Мисс Пексниф высказала мнение, что мистер Тоджерс не может служить образцом для всех.

— Ну, что вы! Господь с вами, дорогая моя! Я в то время была очень разборчива, уверяю вас,— сказала миссис Тоджерс, приосанившись.— Нет, нет! Вы должны высказать мистеру Модлю поощрение, мисс Пексниф, если хотите, чтобы он заговорил; а тогда его и не остановишь, будьте уверены.

— Право, не знаю, какого еще поощрения ему нужно,— возразила Чарити.— Он гуляет со мной, мы с ним играем в карты и сидим наедине.

— Так и нужно,— сказала миссис Тоджерс.— Без этого нельзя, дорогая моя.

— Он садится совсем рядом.

— Тоже правильно,— сказала миссис Тоджерс.

— И смотрит на меня.

— Ну еще бы не смотреть! — сказала миссис Тоджерс.

— И кладет руку на спинку стула, или дивана, или там чего-нибудь за моей спиной, знаете ли.

— Как не знать,— сказала миссис Тоджерс.

— А потом начинает плакать!

Миссис Тоджерс согласилась, что он мог бы обойтись и без этого и уж конечно мог бы кстати припомнить наказ о неуклонном выполнении долга, данный лордом Нельсоном перед Трафальгарской битвой *. Все-таки, сказала она, авось он еще одумается, а нет — так можно и заставить, попросту говоря; пускай мисс Пексниф держится твердо и даст ему ясно понять, что он должен сделать предложение.

Вознамерившись изменить свое поведение сообразно с этим советом, молодая особа при первом же удобном случае приняла мистера Модля весьма чопорно и в конце концов заставила его спросить унылым тоном, почему она так переменилась. Она призналась ему, что считает необходимым сделать решительный шаг для общего их спокойствия и счастья. За последнее время, заметила мисс Пексниф, они очень часто бывали вместе, очень часто, и вкусили сладость искренней, взаимной симпатии. Она никогда его не забудет, никогда не перестанет думать о нем с чувством живейшей дружбы; но люди уже начали болтать, обратили на них внимание, и теперь надо, чтобы они стали друг для друга только тем, чем обычно бывают в обществе джентльмены и леди, не больше. Она рада, что у нее достало мужества высказать это, прежде чем ее чувство зашло слишком далеко; оно и так зашло далеко, надо сознаться; но, несмотря на всю свою слабость и простодушие, она все же надеется, что скоро справится с этим.

Модль, который расчувствовался до крайности и теперь обливался слезами, сделал из признания вывод, что ему суждено приносить другим то несчастие, от которого он пострадал сам, а так как он является в некотором роде вампиром поневоле, то мисс Пексниф предназначена ему судьбой в качестве жертвы номер первый. Мисс Пексниф отвергла это мнение, как греховное, после чего Модля заставили спросить, не может ли она удовольствоваться разбитым сердцем; и когда из дальнейшего выяснилось, что может, он дал ей обет быть верным до гроба, и этот обет был принят и возвращен.

Мистер Модль отнесся к своему счастью в высшей степени сдержанно. Вместо того чтобы торжествовать, он



пролил больше слез, чем когда бы то ни было, и воскликнул, рыдая:

— О, какой это был день! Я не могу сегодня вернуться в контору. О, какой это был тяжелый день! Боже милосердный!

ГЛАВА XXXIII

Дальнейшие происшествия в Эдеме, а также исход из него. Мартин делает довольно важное открытие

От мистера Модля легко и естественно перейти к Эдему. Мистер Модль, окруженный атмосферой любви мисс Пексниф, жил в земном раю, хоть и не подозревал этого. Процветающий город Эдем тоже был земным раем, по свидетельству его владельцев. Прелестную мисс Пексниф можно было бы описать поэтически как нечто такое, чего падший человек недостоин по грехам своим. Совершенно в том же роде был и процветающий город Эдем, поэтически восхваляемый Зефанией Скэддером, полковником Чоком и другими достойнейшими людьми — плотью от плоти и костью от костей великого американского орла, который вечно парит в чистейшем эфире и никогда — о нет, никогда — не спускается вниз и не влачит крыльев по грязи.

После того как Марк Тэпли, оставив Мартина в строительной и землемерной конторе и предавшись созерцанию их общих несчастий, решительно воспрянул и укрепился духом, он отправился далее искать помощи, поздравляя себя с завидным положением, которого, наконец, добился.

— Я, бывало, думал,— рассуждал мистер Тэпли,— что мне больше подойдет необитаемый остров, но там я заботился бы только о себе, а на меня угодить нетрудно,— значит, и заслуга была бы невелика. Здесь же мне придется ухаживать за моим компаньоном, а он такой человек, что и нарочно лучше не придумаешь. Мне нужен человек, который то и дело валится с ног, когда надо держаться покрепче. Мне нужен человек, который только что поступил в школу жизни, всю тетрадь исписал задачками

и ни одной решить не может. Мне нужен человек, который сам себе зеркало и вечно любуется собой. И он у меня есть,— сказал мистер Тэпли, помолчав с минуту.— Вот повезло!

Он огляделся по сторонам, не зная, в которую из лачуг направиться.

— Ну, какую тут выбрать,— заметил он,— вот незадача! Все одинаково заманчивы снаружи и, надо полагать, одинаково уютны внутри, со всеми удобствами, какие могут понадобиться аллигатору в диком состоянии. Позвольте-ка! Вчерашний поселенец живет чуть ли не под водой, в собачьей конуре за углом направо. Мне его, беднягу, не хочется беспокоить, невеселый он человек — как есть поселенец, откуда ни посмотри. Вон домишко с окном, только там, наверно, хозяева гордецы. Не знаю, может и двери тут у одних только аристократов? Ну, да уж ладно, загляну в первый попавшийся!

Он подошел к ближайшему домику и постучался. Получив приглашение войти, он открыл дверь.

— Соседи,— сказал Марк,— ведь я ваш сосед, хоть мы и незнакомы,— я пришел к вам с просьбой. Боже ты мой! Никак я сплю и во сне вижу!

Он не мог удержаться от этого восклицания, когда его назвали по имени и, бросившись к нему, ухватили за фалды два отлично знакомых ему мальчугана, которым он часто умывал рожицы и варил ужин на борту прославленного и быстроходного пакетбота «Винт».

— Глазам своим не верю! — говорил Марк.— Не может быть! Неужто это моя попутчица сидит там и кормит свою дочку? Вижу, девочка все такая же слабенькая. Неужто это ее муж, что приезжал за ней в Нью-Йорк? А это,— прибавил он, глядя на мальчиков,— неужто те самые озорники, мои старые приятели? Что-то уж очень на них похожи, признаться!

Женщина заплакала, глядя на него; ее муж пожимал ему руки и никак не хотел их выпустить; мальчики обнимали ему колени; больная девочка на руках у матери тянула к нему горячие пальчики и лепетала сухими от жара губами хорошо знакомое имя.

Это была та самая семья, несомненно; очень изменившаяся в целительном воздухе Эдема, но все же та самая.

— Вот это так утренний визит в новом вкусе! — сказал Марк, протяжно вздыхая.— Пожалуй, и на ногах не устоишь! Погодите немножко! Дайте опомниться. Ну, вот и ладно. А это кто такие? Тоже в гости к вам ходят?

Вопрос относился к двум поджарым свиньям, которые забрели в дом вслед за Мартином и весьма заинтересовались помоями. Свиньи оказались чужие, и мальчики их тут же выгнали.

— Я человек без предрассудков насчет жаб,— сказал Марк, оглядывая комнату,— но если б вы, друзья мои, уговорили этих двух или трех выйти из комнаты, на свежем воздухе им было бы гораздо лучше, я так думаю. Не то, чтобы я имел что-нибудь против. Жаба очень красивая скотинка,— продолжал мистер Тэпли, садясь на табурет,— этакая пестренькая, очень похожая на брыластого старого джентльмена, очень глазастая, очень холодная и очень скользкая. Только, пожалуй, на улице она все-таки выглядит красивей.

Стараясь показать таким разговором, что он чувствует себя превосходно и так же спокоен и беззаботен, как всегда, Марк Тэпли между тем зорко подмечал все, что его окружало. Бледные и худые лица детей, изменившаяся наружность матери, больная девочка у нее на руках, на всем отпечаток безнадежности и уныния — все это было ясно без слов и произвело на него тяжелое впечатление. Это было так же понятно ему, как и грубые полки на колышках, вбитых между бревен, из которых был выстроен дом, бочонок с мукой в углу, служивший здесь столом, одеяла, лопаты и другие вещи, развешанные по стенам, пропитанный сыростью пол и поросль плесени и грибов в каждой трещине.

— Как вы сюда попали? — спросил хозяин, когда общее волнение несколько улеглось.

— Да приехали на пароходе вчера вечером,— ответил Марк.— Мы намерены разбогатеть наверняка и поскорей уехать со своими денежками, как только заработаем их. А вы как поживаете? Вид у вас отличный.

— Сейчас нам всем нездоровится,— отвечала бедная женщина, наклоняясь над ребенком.— Но потом мы поправимся, когда привыкнем к новому месту.



«Есть и такие среди вас,— подумал Марк,— которым никогда не привыкнуть».

Но он сказал весело:

— Поправитесь! Еще бы! Все мы тут поправимся. Нам надо только не терять бодрости и жить дружно. В конце концов все обойдется, не бойтесь! Кстати сказать, мой компаньон что-то расклеился, я ведь и зашел-то из-за этого. Хотелось бы, чтобы вы посмотрели на него и сказали, что с ним такое, хозяин.

Только самую несуразную просьбу Марка Тэпли не бросились бы исполнять эти люди, благодарные ему за его услуги на пароходе. Муж немедленно поднялся, чтобы идти вместе с ним. Перед уходом Марк взял больную девочку на руки, желая утешить мать, однако он видел, что дыхание смерти уже коснулось ребенка.

Когда они вошли в лачугу, Мартин лежал на полу, завернувшись в одеяло. По всему было видно, что он не на шутку болен; его сильно знобило, он весь дрожал, но не так, как дрожат от холода, а сотрясаясь всем телом в страшных судорогах. Знакомый Марка объявил, что это опасная форма лихорадки, сопровождающейся ознобом, очень распространенная в этих местах, что завтра ему будет еще хуже и что болезнь затянется надолго. Он сам болел перемежающейся лихорадкой почти два года, и хорошо еще, что остался жив, потому что на его глазах многие умерли от этой болезни.

«Жив-то жив, да в чем только душа держится! — подумал Марк, глядя на его болезненную худобу.— Да здравствует Эдем!»

У них в сундуке были кое-какие лекарства, и поселенец, наученный горьким опытом, сказал Марку, когда что давать и как ухаживать за Мартином. Этим не ограничились его заботы; он то и дело прибегал к соседям и помогал Марку во всех его энергичных попытках устроиться более сносно. Ни утешать его, ни обнадеживать он не мог. Время года было опасное для здоровья, самый поселок — сущая могила. Его девочка умерла в ту же ночь, и утром Марк, утаив это от Мартина, помог отцу похоронить ее под деревом.

Как ни трудно было ухаживать за Мартином, который тем больше капризничал, чем хуже себя чувствовал,

Марк все-таки старался обработать свой участок и трудился с утра до вечера, в чем ему помогал его приятель с другими поселенцами. Не потому, чтобы он надеялся на что-нибудь или задавался какой-нибудь целью, а просто по живости характера и удивительной способности применяться ко всяким условиям; в душе он считал свое положение совершенно безнадежным и решил «показать себя», как он выражался.

— Показать себя так, как бы мне хотелось, сэр,— исповедовался он Мартину однажды вечером на досуге, то есть стирая белье фирмы после целого дня тяжелой работы,— об этом я и думать бросил. Такого счастья мне никогда не будет, я уже вижу!

— Где же еще себя показывать? Неужели вы хотите, чтоб было еще хуже? — со стоном отвечал Мартин из-под одеяла.

— Как же, сэр, конечно могло бы быть хуже,— сказал Марк,— если бы не мое необыкновенное счастье, которое так за мной и гоняется, так по пятам и ходит. В тот вечер, как мы сюда приехали, я, правда, подумал, что хуже быть не может. Не стану врать, я подумал, что хуже не бывает.

— А теперь как, по-вашему?

— Да! — сказал Марк.— Да, конечно, вот в том-то и вопрос. Как обстоит дело теперь? В первое же утро, не успел я выйти из дому, и что же? Натыкаюсь на знакомых, и с тех пор они мне все время и во всем решительно помогают! Это, знаете ли, не годится; этого я никак не ожидал. Вот если б я наткнулся на змею и был бы ужален, или на примерного патриота и получил бы удар ножом, или на толпу сочувствующих в воротничках наизнанку и был произведен в знаменитости,— тут бы я еще мог показать себя, это все-таки была бы заслуга. А сейчас самое главное, для чего я ехал, пошло прахом! И везде так будет, куда бы я ни сунулся. Как вы себя чувствуете, сэр?

— Как нельзя хуже,— отвечал бедняга Мартин.

— Это уже кое-что,— возразил Марк,— но этого мало. Вот если я сам тяжело заболею и до конца не потеряю веселости, тут еще будет чем похвалиться, а все остальное пустяки.

— Ради бога, не надо, не говорите этого! — сказал Мартин, содрогаясь от страха.— Что мне тогда делать, если вы заболеете, Марк?

Настроение мистера Тэпли заметно повысилось после этих слов, хотя другой на его месте скорее обиделся бы. Он гораздо веселее взялся за стирку и заметил, что «барометр поднимается».

— Одно только здесь хорошо, сэр,— продолжал мистер Тэпли, с силой намыливая белье,— и настраивает меня на веселый лад — это, что Эдем настоящие Соединенные Штаты в малом виде. В поселке осталось всего каких-нибудь два-три американца, но они и тут дерут нос, сэр, как будто это самое здоровое и красивое место на свете. Они ведут себя, как петух, который, даже спрятавшись, не мог молчать, и выдал себя тем, что закукарекал. Они не могут не горланить, для этого они и родились, и будут орать, хоть убей!

Подняв глаза и случайно выглянув за дверь, он увидел тощего субъекта в синем балахоне и соломенной шляпе, с коротенькой черной трубкой во рту и шишковатой ореховой дубиной в руках; куря трубку и жуя табак, он приближался к ним, ежеминутно сплевывая и усеивая свой путь табачной жвачкой.

— Вот один уж тут как тут,— воскликнул Марк,— Ганнибал Чоллоп.

— Не пускайте его,— слабым голосом взмолился Мартин.

— Он и спрашиваться не станет, сэр,— возразил Марк,— сам войдет.

Это оказалось совершенной правдой: он вошел. Лицо у него было почти такое же жесткое и шишковатое, как его дубинка; такие же были и руки. Голова походила на старую щетку. Он уселся на сундук, не снимая шляпы, положил ногу на ногу и, взглянув на Марка, сказал, не вынимая трубки изо рта:

— Ну, мистер К^0, как поживаете, сэр?

Надо заметить кстати, что мистер Тэпли без всяких шуток представлялся под этим именем новым знакомым.

— Очень недурно, сэр, очень недурно,— сказал Марк.

— А это, должно быть, мистер Чезлвит! — воскликнул посетитель.— Как вы поживаете, сэр?

Мартин покачал головой и невольно нырнул под одеяло; он чувствовал, что Ганнибал собирается плюнуть и «свой взор устремил на него», как поется в песне.

— Не беспокойтесь обо мне, сэр,— снисходительно заметил мистер Чоллоп.— Меня ни горячка, ни лихорадка не берет.

— Я думал больше о себе,— сказал Мартин, опять выглядывая из-под одеяла.— Мне показалось, что вы собираетесь...

— Я могу рассчитать расстояние с точностью до одного дюйма,— возразил мистер Чоллоп.

И он немедленно доказал Мартину, что обладает этой завидной способностью.

— Мне требуется, сэр,— сказал Чоллоп,— всего два фута в окружности, этого вполне достаточно. Мне случалось плевать и на десять футов по кругу, но это было на пари.

— Надеюсь, вы выиграли, сэр? — спросил Марк.

— Как же, сэр, ведь я поставил деньги,— сказал Чоллоп.— Выиграл, конечно.

Некоторое время он молчал, энергично описывая плевками магическую черту вокруг сундука, на котором сидел. Очертив круг, он возобновил разговор.

— Как вам нравится наша страна, сэр? — осведомился он, глядя на Мартина.

— Совсем не нравится,— ответил больной.

Чоллоп продолжал молча курить, ничем не проявляя возмущения, пока ему опять не пришла охота разговаривать. Тогда он вынул трубку изо рта и заговорил:

— Меня это ничуть не удивляет. Тут требуется умственное развитие и подготовка. Ум человека должен быть подготовлен к свободе, мистер К^0.

Он обращался к Марку, потому что Мартин, доведенный до изнеможения лихорадкой и гнусавым голосом этого нового пугала, закрыл глаза, не желая его видеть, и отвернулся к стене.

— Телу тоже не помешает подготовка, не так ли, сэр,— сказал Марк,— особенно на таком благодатном болоте, как это.

— Вы считаете это болотом, сэр? — важно осведомился Чоллоп.

— А как же иначе, сэр,— отвечал Марк.— Ничуть в этом не сомневаюсь.

— Мнение вполне европейское,— сказал Чоллоп,— да оно и не удивительно. А что бы сказали ваши миллионы англичан, увидев такое болото в Англии, сэр?

— Сказали бы, что болото самое гнусное,— ответил Марк,— и что они предпочли бы привить себе лихорадку каким-нибудь другим способом.

— Европейское мнение,— заметил Чоллоп с ироническим сожалением,— вполне европейское!

И продолжал сидеть, дымя, как фабричная труба, молча и невозмутимо, точно у себя дома.

Мистер Чоллоп был, разумеется, тоже один из самых замечательных людей в стране; но он и вправду был человек известный. Его друзья в южных и западных штатах обычно называли его «великолепным образчиком нашего отечественного сырья» и очень уважали за преданность разумной свободе. Чтобы с бóльшим успехом ее проповедовать, он всегда носил в кармане два семиствольных револьвера. Кроме прочих побрякушек, он носил также трость со стилетом внутри, которую называл «щекотуньей», и длинный нож, который он, будучи от природы шутником, называл «потрошителем», намекая на то, что этим ножом всякому выпустит кишки, если дойдет до драки. Он не раз применял это оружие с успехом, своевременно отмеченным на столбцах газет, и заслужил общие симпатии тем, что весьма доблестно высадил глаз джентльмену, который стучался к нему в дверь.

Мистер Чоллоп отличался склонностью к перемене мест и в менее передовом обществе, вероятно, считался бы злостным бродягой. Однако он, можно сказать, родился под счастливой звездой, что не всегда бывает с людьми, опередившими свой век, ибо его замечательные достоинства отлично понимали и ценили в тех местах, с которыми связывала его судьба и где он нашел столько родных душ, способных ему сочувствовать. Предпочитая, из-за склонности к щекотанию и потрошению, жить на задворках общества, в более отдаленных городах и поселениях, он вечно переезжал с места на место, везде затевая какое-нибудь новое дело,— обычно газету, которую

тут же и продавал, в большинстве случаев завершая сделку вызовом нового редактора на дуэль, а то и просто приканчивал его пулей, ударом ножа или дубинки, прежде чем тот успевал вступить во владение.

В Эдем он приехал для подобной же спекуляции, но передумал и собирался уезжать. Перед незнакомыми людьми он любил выступать в роли защитника свободы, а на деле был убежденный сторонник линчевания и рабства негров и неизменно рекомендовал и в печати и устно «смолу и перья» для всякой непопулярной личности, расходившейся с ним во взглядах. Он называл это «насаждать цивилизацию в диких лесах моей родины».

Не может быть сомнения, что Чоллоп водрузил бы свое знамя и в Эдеме, наказав Марка за его вольные речи (ибо истинная свобода нема, когда не хвастается), если бы в поселке не царило такое крайнее уныние и упадок и если б сам он не собирался уезжать. Он только показал Марку один из своих револьверов и спросил, что он думает об этом оружии.

— Не так давно, сэр, я застрелил из него человека в штате Иллинойс,— заметил при этом Чоллоп.

— Неужели застрелили? — без малейшего волнения сказал Марк.— Что ж, вы поступили... очень свободно и очень независимо.

— Я застрелил его, сэр,— продолжал Чоллоп,— за то, что он утверждал в трехнедельной газете «Спартанский портик», будто бы древние афиняне раньше нас выдумали демократическую программу.

— А что это такое? — спросил Марк.

— Только европейцы этого не знают,— ответил Чоллоп, мирно покуривая трубку,— одни только европейцы.

Посвятив некоторое время восстановлению магического круга, Чоллоп возобновил разговор, заметив:

— Вы все еще не чувствуете себя в Эдеме, как дома?

— Нет, не чувствую,— ответил Марк.

— Вам не хватает налогов вашей родины. Быть может, налогов на дома̀? — заметил Чоллоп.

— И самих домов, пожалуй! — сказал Марк.

— Здесь нет налогов на окна *,— заметил Чоллоп.

— Да ведь и окон тоже нет,— сказал Марк.

— Нет ни решеток, ни тюрем, ни плах, ни дыбы, ни эшафотов, ни пыток, ни позорных столбов! — сказал Чоллоп.

— Ничего, кроме револьверов и ножей,— возразил Марк.— А что это такое? Мелочь, не стоит и разговаривать.

В это время к дому подошел, с трудом волоча ноги, человек, которого они встретили в первый вечер на пристани, и заглянул в дверь.

— Ну, сэр,— спросил Чоллоп,— как вы поживаете?

Поселенцу было трудно даже двигаться, и он так и ответил.

— Мы тут поспорили немножко с мистером $К^0$,— заметил Чоллоп.— Я думаю, не мешало бы его как следует проучить, чтобы не равнял Старый Свет с Новым!

— Да, действительно,— отвечала несчастная тень.

— Я только заметил, сэр,— сказал Марк, обращаясь к этому новому посетителю,— что место, где мы с вами имеем честь жить, кажется мне болотистым. А как ваше мнение?

— Иногда здесь бывает сыровато, по-моему,— отвечал поселенец.

— Но не так сыро, как в Англии? — свирепо глядя на него, спросил Чоллоп.

— Нет, конечно, не так сыро, как в Англии,— не говоря уже об ее учреждениях.

— Надеюсь, любое болото в Америке утрет нос этому дрянному острову,— резко возразил Чоллоп. Вы начисто, решительно и окончательно расплатились со Скэддером, сэр? — обратился он к Марку.

Тот ответил утвердительно. Мистер Чоллоп подмигнул своему соотечественнику:

— Ловкач этот Скэддер, а? Идет в гору, сэр! Такой человек куда угодно влезет, а?

Мистер Чоллоп опять подмигнул своему соотечественнику.

— Будь моя воля, он залез бы очень высоко,— сказал Марк,— пожалуй, на самую верхушку хорошей, высокой виселицы.

Мистера Чоллопа так обрадовала ловкость его достойного соотечественника, который сумел надуть англича-

нина, и так насмешило недовольство последнего, что он разразился громким восторженным хохотом. Но еще более дико было видеть проявление того же злорадства в другом человеке; замученная болезнью, разбитая, жалкая тень так веселилась, что, казалось, забыла о своей беде и, захлебываясь от смеха, твердила, что этот «Скэддер ловкач, он вытянул таким порядком немало денег у англичан, что верно, то верно».

Досыта посмеявшись этой шутке, мистер Ганнибал Чоллоп опять принялся за трубку и за восстановление магического круга плевков, очевидно не собираясь ни разговаривать, ни прощаться; судя по всему, он разделял достаточно распространенное заблуждение, что если свободный и просвещенный гражданин Соединенных Штатов вздумает обратить чужой дом в плевательницу часа на два, на три, то этим только выразит утонченный такт, внимание и вежливость и очень обяжет хозяев. Наконец он поднялся с места.

— Ну, я пошел,— заметил он.

Марк попросил его особенно беречь свое здоровье.

— На прощанье,— возразил мистер Чоллоп строго,— мне надо вам сказать одно словечко. У вас, знаете ли, чертовски длинный язык.

Марк поблагодарил его за комплимент.

— С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят в вас.

— За что же это? — спросил Марк.

— Нас надо уважать, сэр,— угрожающим тоном ответил Чоллоп.— Вы тут не в деспотической стране. Мы пример для всего земного шара, и потому нас надо уважать, предупреждаю.

— Как, разве я был непочтителен? — воскликнул Марк.

— Я и не за то всаживал пулю и убивал на месте,— отвечал Чоллоп, нахмурившись.— И не таким еще храбрецам приходилось бежать без оглядки,— а все из-за этого самого. И не за такое дело наш просвещенный народ линчевал людей, в порошок их стирал. Мы — разум и добродетель земли, сливки человечества, лучший цвет его. Нам ничего не стоит ощетиниться. Нас надо

уважать, а не то мы ощетинимся и зарычим. И зубы покажем, вперед говорю. Так что уважайте нас, вот что!

Сделав такое предупреждение, мистер Чоллоп удалился с потрошителем, щекотуньей и револьверами, всегда готовыми к услугам по малейшему поводу.

— Вылезайте из-под одеяла, сэр,— сказал Марк,— он ушел. Что же это такое? — прибавил он тихонько, становясь на колени, чтобы взглянуть в лицо своему компаньону, и беря его горячую руку.— До чего довела человека эта болтовня и хвастовство! Он бредит и не узнает меня!

Мартин и в самом деле был опасно болен, даже близок к смерти. Он много дней пролежал в таком состоянии; и все это время бедные друзья Марка самозабвенно ухаживали за ним. Изнемогая душой и телом, работая весь день и дежуря около больного ночью, изнуренный непривычным трудом и тяжкими лишениями, Марк никогда не жаловался и нимало не поддавался унынию. Если он прежде и думал, что Мартин эгоист, что он невнимателен к другим, способен работать лишь порывами, легко падает духом, то теперь он все забыл. Он помнил только лучшие свойства своего товарища по скитаниям и был ему предан душой и телом.

Прошло много недель, прежде чем Мартин начал ходить, опираясь на палку и на руку Марка; но и после того выздоровление тянулось очень медленно — без хорошего питания и здорового воздуха. Он был еще совсем слаб и худ, когда их поразило несчастие, которого он так боялся. Заболел Марк.

Марк боролся с болезнью, но болезнь оказалась сильнее, и все его усилия были напрасны.

— Похоже, что и меня свалило, сэр,— сказал он однажды утром, пытаясь встать с постели и опять ложась,— но я весел!

Свалило в самом деле — и надолго свалило! — как мог бы заранее предвидеть всякий, кроме Мартина.

Если друзья Марка были добры к Мартину (а они были очень добры), то к самому Марку они были в двадцать раз добрей. Теперь пришел черед Мартина взяться за работу и ухаживать за больным, сидеть возле него

долгими-долгими ночами, ловя каждый звук в этой угрюмой пустыне, и слушать, как бредит бедный Марк Тэпли: играет в кегли в «Драконе», любезничает с миссис Льюпин, привыкает к морской качке на борту парохода, странствует с Томом Пинчем по дорогам Англии, корчует пни в Эдеме — и все это в одно и то же время.

Но когда Мартин ухаживал за ним, подавая ему воду или лекарство, или возвращался домой после тяжелой работы на участке, терпеливый мистер Тэпли улыбался ему и восклицал:

— Я весел, сэр, я весел!

Глядя на больного Марка, который ни разу не упрекнул его, не возроптал и ни разу не пожалел о прошлом, но всегда старался быть мужественным и стойким, Мартин невольно задумывался о том, почему этот человек, которого жизнь никогда не баловала, оказался настолько лучше его, который всегда был баловнем счастья? А так как уход за больным, особенно за таким больным, которого мы знали деятельным и полным сил, наводит на размышления, Мартин начал спрашивать себя: в чем же разница между ним и Марком?

Сделать вывод ему помогло постоянное присутствие в доме знакомой Марка, их спутницы на пароходе,— оно навело его на мысль, что, пожалуй, они с Марком отнеслись к ней очень по-разному, когда ей нужна была помощь. Почему-то он тут же подумал о Томе Пинче; ему казалось, что Том, оказавшись в таком же положении, вероятно, тоже завел бы знакомство с нею; и тогда Мартин задал себе вопрос: чем же эти очень разные люди похожи друг на друга и не похожи на него? На первый взгляд в этих размышлениях не было ничего печального, и все же они глубоко опечалили Мартина.

Натура у Мартина была прямая и благородная, но он воспитывался в доме своего деда, а в семье нередко бывает, что низкие страсти порождают сходные пороки и ведут к раздорам. В особенности это относится к эгоизму, а также к подозрительности, скрытности, хитрости и скупости. Еще ребенком Мартин бессознательно рассуждал: «Мой опекун так занят собой, что мне не на кого надеяться, разве только на самого себя». И он стал эгоистом.

Но сам он этого не сознавал. Услышав такой упрек, он с негодованием отверг бы обвинение и счел бы, что его оклеветали незаслуженно. Он так и не познал бы самого себя, если бы ему не пришлось, только что оправившись после тяжелой болезни, ухаживать за таким же тяжелобольным; только тогда он понял, как близко от могилы было его драгоценное «я» и как оно зависимо и ничтожно.

Разумеется, он часто думал — на это у него были целые месяцы — о своем избавлении от смерти и о том, что она грозит Марку. Невольно напрашивался вопрос, кому из них следовало бы остаться в живых и почему? Тогда-то край завесы стал медленно приподниматься, разоблачая эгоизм, эгоизм, эгоизм...

Мало того, боясь потерять Марка, он спрашивал себя (как каждый спросил бы себя на его месте), исполнил ли он свой долг по отношению к товарищу, заслужил ли такую верность и усердие и отплатил ли за них как следует? Нет. Как ни кратковременна была их дружба, Мартин сознавал, что часто, очень часто был виноват перед Марком, а когда он стал доискиваться — почему, завеса приподнялась еще немного,— и эгоизм, эгоизм, эгоизм заполнил собой всю сцену.

Прошло немало времени, прежде чем он познал самого себя настолько, что правда стала ему ясна; но в страшном безлюдье этого страшного места, где надежда покинула его, честолюбие угасло и где смерть гремела костями, стучась в двери, как в зараженном чумой городе, им овладело раздумье; и тогда Мартин стал размышлять и понял, в чем его слабость и каким безобразным пятном она чернит его жизнь.

Эдем оказался суровой школой, и урок был тоже суровым; кстати, здесь нашлись и учителя — болота, лесные дебри, отравленный воздух, которые по-своему будили и направляли мысль.

Мартин торжественно поклялся, что, когда силы вернутся к нему, он не станет спорить и опровергать эту установленную истину, но признает, что в душе его живет эгоизм и что надо вырвать его с корнем. Он так сомневался (и справедливо) в твердости своего характера, что решил не говорить Марку ни слова о своем

запоздалом раскаянии и добрых намерениях, но исправляться постепенно и только собственными силами; в этом решении не было ни капли гордости, ничего, кроме смирения и мужества,— и лучшего оружия он не мог бы выбрать. Вот как безжалостно Эдем развенчал его. И вот на какую высоту он его вознес.

После долгой и затяжной болезни (в самое трудное время, когда Марк не мог даже говорить, он писал на доске дрожащей рукой: «Я весел!») стали заметны первые признаки выздоровления. Они то появлялись, то исчезали, не устанавливаясь; но в конце концов Марк начал бесспорно поправляться, с каждым днем ему становилось все лучше и лучше.

Когда он поправился настолько, что мог говорить не утомляясь, Мартин посоветовался с ним относительно одного плана, который задумал давно; несколько месяцев назад он привел бы его в исполнение сам, не спрашивая ни у кого совета.

— Наше положение отчаянное,— сказал Мартин,— это ясно. Все отсюда бегут; должно быть везде известно, что место здесь гиблое, и, стало быть, продать участок, хотя бы задешево, нам не удастся, даже если бы позволила совесть. Покинуть родину было сумасбродной затеей, и кончилась она провалом. Нам осталась одна надежда, одна цель, к которой мы должны стремиться: оставить Эдем навсегда и вернуться в Англию. Во что бы то ни стало! Любыми средствами! Только бы вернуться, Марк!

— Больше ничего, сэр,— подтвердил мистер Тэпли, многозначительно подчеркивая каждое слово,— только бы вернуться!

— Так вот, по эту сторону океана,— сказал Мартин,— у нас есть один друг, который может нам помочь,— это мистер Бивен.

— Я думал о нем, когда вы заболели,— сказал Марк.

— Нам нельзя терять времени, не то я написал бы деду,— продолжал Мартин,— и попросил бы у него денег, лишь бы освободиться из западни, в которую нас так подло заманили. Не написать ли сначала мистеру Бивену?

— По-моему, он очень приятный джентльмен,— сказал Марк.

— То немногое, что мы привезли с собой и на что потратили наши деньги, можно было бы продать,— продолжал Мартин,— и мы сейчас же ему вернули бы все, что выручили. Но здесь ничего не продашь.

— Здесь некому покупать, кроме покойников и свиней,— сказал мистер Тэпли, невесело покачав головой.

— Может быть, рассказать ему все это и попросить ровно столько денег, сколько надо на дорогу до Нью-Йорка или до любого порта, откуда мы сможем добраться домой, нанявшись на какую-нибудь работу, и кстати объяснить, что у меня есть родные и что я постараюсь уплатить ему, как только вернусь в Англию, хотя бы взяв деньги у деда?

— Что ж, правильно,— сказал Марк,— он может только отказать, а может и согласиться. Попробуйте, сэр, если вы не против...

— Не против! — воскликнул Мартин.— Я виноват, что мы попали сюда, и я готов сделать все, лишь бы уехать. Мне горько думать о прошлом. Конечно, если бы я спросил вашего мнения раньше, Марк, нас бы здесь не было.

Мистер Тэпли был очень удивлен этим признанием, однако же возразил с большим жаром, что они все равно очутились бы здесь и что он твердо решил ехать в Эдем, в ту же минуту, как услышал о нем.

После этого Мартин прочел ему письмо к мистеру Бивену, которое было уже готово. В нем он откровенно, ни о чем не умалчивая, описывал их положение; рассказывал о перенесенных бедствиях и скромно, без всяких уверток, излагал свою просьбу. Марк очень одобрил это письмо, и они решили отправить его с первым же пароходом, который пойдет в ту сторону и остановится набрать дров в Эдеме, где чего другого, а дров было сколько угодно. Не зная адреса мистера Бивена, Мартин направил его достопамятному мистеру Норрису в Нью-Йорк, приписав на конверте просьбу немедленно переслать письмо по назначению.

Прошло больше недели, прежде чем показался пароход; и, наконец, ранним утром их разбудило энергичное пыхтенье «Исава Слоджа», названного в честь одного из

самых замечательных людей в стране, который где-то там чем-то отличился. Они побежали к пристани, благополучно сдали письмо и, мешая другим пройти по сходням, все ждали, пока пароход отойдет. Наконец капитан «Исава» выразил пожелание, чтобы его «смололи в муку и настругали из него стружек, если он не спихнет их сию минуту в это пойло»,— что в переносном смысле означало намерение сбросить их в реку.

Ответ они могли получить не раньше как через полтора-два месяца. Тем временем Марк и Мартин из последних сил старались устроить свой участок, расчищая его и готовя для посева. Как ни плохо они хозяйничали, все же дело у них шло лучше, чем у соседей, потому что Марк кое-что смыслил в земледелии, а Мартин учился у него; другие же поселенцы, еще остававшиеся на этом гнилом болоте (какая-то горсточка людей, изнуренных болезнями), по-видимому, явились сюда в убеждении, что искусство пахать землю — это природный дар, которым владеет всякий. Поселенцы помогали друг другу в этой работе, как и во всем остальном, но работали угрюмо, без всякой надежды, словно партия арестантов.

По вечерам, когда Марк с Мартином оставались одни, они часто говорили перед сном о родине, о знакомых местах, домах, дорогах и людях, которых они прежде знали: иногда с живой надеждой увидеть их вновь, иногда с тихой грустью, словно эта надежда погибла. Во время этих разговоров Марк, к великому своему изумлению, стал замечать в Мартине странную перемену.

«Не знаю, что и думать,— рассуждал Марк про себя однажды вечером,— он совсем не то, что я полагал. Гораздо меньше занят собой. Ну-ка, попробую еще».

— Спите, сэр?

— Нет, Марк.

— Думаете о родине, сэр?

— Да, Марк.

— Вот и я тоже, сэр. Я думал, сэр: что-то поделывают теперь мистер Пинч и мистер Пексниф.

— Бедняга Том! — произнес Мартин задумчиво.

— Недальнего ума человек, сэр,— заметил мистер Тэпли.— На органе играет задаром. О себе не умеет позаботиться!

— Да, хотелось бы, чтобы он немножко больше о себе думал,— сказал Мартин.— Хотя, может быть, я вздор говорю. Пожалуй, мы бы тогда не так его любили.

— Все им помыкают,— намекнул Марк.

— Да,— сказал Мартин, помолчав немного.— *Я* это знаю, Марк.

В голосе Мартина звучало такое сожаление, что его компаньон оставил этот разговор и перешел на другое.

— Ах, сэр! — вздохнул Марк.— Боже ты мой! Многим же вы рискнули из любви к молодой леди!

— Знаете, что я вам скажу, Марк, я в этом не уверен,— ответил Мартин быстро и решительно, он даже приподнялся и сел в постели.— Я начинаю сомневаться; мне это далеко не так ясно, как раньше. Вот она так в самом деле очень несчастна. Ведь она жертвует душевным спокойствием, жертвует кровными интересами, она не может убежать оттуда, где ей завидуют и мешают жить, как убежал я. Она должна терпеть, Марк, терпеть со связанными руками, бедная девушка! Я начинаю думать, что ей приходится выносить гораздо больше, чем мне, честное слово!

Мистер Тэпли широко раскрыл глаза в темноте, но слушал, не перебивая.

— Скажу вам по секрету, Марк,— продолжал Мартин,— раз мы уже заговорили об этом. Кольцо...

— Какое кольцо, сэр? — спросил Марк, раскрывая глаза еще шире.

— То кольцо, что она подарила мне на прощанье, Марк. Она купила его; купила, зная, что я беден и горд (помоги мне, боже! горд!) и нуждаюсь в деньгах.

— Кто это вам сказал, сэр? — спросил Марк.

— Я это говорю. Я знаю. Я думал об этом сотни раз, мой милый, когда вы лежали больны. А я, как бессмысленное животное, снял кольцо у нее с руки, надел себе на палец и больше не думал о нем, даже в ту минуту, когда расставался с ним и должен был бы заподозрить правду! Но уже поздно,— сказал Мартин, спохватываясь.— Вы еще слабы и устали, я знаю. Вы говорите со мной только для того, чтобы подбодрить меня. Спокойной ночи! Благослови вас боже, Марк!

— Господь с вами, сэр!

«Меня решительно провели,— с улыбкой думал мистер Тэпли, поворачиваясь на бок.— Это надувательство! Я не затем поступал в услужение. Невелика честь быть веселым у такого хозяина».

Время шло, и немало обратных пароходов приставало к берегу набрать дров, а ответа на письмо все не было. И по-прежнему поселенцев изводили дожди, жара, болотная гниль и вредные испарения, порождавшие болезни и всякую нечисть. Земля, воздух, растительность, даже вода, которую они пили,— все дышало гибелью. Их бывшая спутница давно уже потеряла двоих детей и теперь схоронила последнего. Все это самое обыкновенное дело, такие вещи никого не тревожат, и никто не желает их знать. Именитые ловкачи богатеют, а безродные бедняки умирают в забвении. Вот и все.

Наконец к пристани пыхтя подошел пароход. Марк дожидался его у дровяного склада, и с борта парохода ему передали письмо. Он понес его Мартину. Оба они переглянулись в волнении.

— Тяжелое,— едва выговорил Мартин. И когда он вскрыл конверт, из него выпала небольшая пачка долларов.

Что оба они говорили, делали и чувствовали в первую минуту, никто из них не помнил. Марк знал только одно, что он бегом бросился на пристань, пока не ушел пароход, спросить, когда он пойдет обратно и остановится в Эдеме.

Ответ был — дней через десять или двенадцать; однако они в тот же вечер начали укладывать и увязывать вещи. Как только первое волнение прошло, каждый из них подумал (в этом они признались друг другу позже), что не доживет до возвращения парохода.

Однако оба они остались живы, и пароход пришел через три долгие, бесконечно тянувшиеся недели. В один осенний день, с восходом солнца, они уже стояли на палубе.

— Мужайтесь! Мы еще встретимся с вами в Старом Свете! — кричал Мартин, махая рукой двум исхудалым фигурам, стоявшим на берегу.

— Или на том свете,— прибавил Марк, понизив голос.— А они так спокойно стоят рядышком — вот что всего тяжелей видеть.

Пароход тронулся, и они посмотрели друг на друга, потом оглянулись назад, на то место, откуда он так быстро уносил их. Бревенчатый домик с открытой настежь дверью и наклонившимися над ним деревьями; стоячий утренний туман, и тускло проглядывающее сквозь него красное солнце; испарения, поднимающиеся от земли и воды; полноводная река, рядом с которой ненавистные берега кажутся еще более унылыми и плоскими,— сколько раз все это повторялось потом во сне! Какое счастье было просыпаться, зная, что это только тени, которые исчезли навсегда!

ГЛАВА XXXIV,

где путешественники направляются домой и по дороге знакомятся с некоторыми выдающимися личностями

Среди пассажиров на пароходе внимание Мартина сразу привлек один хилый джентльмен, который сидел на низком складном стуле, задрав ноги на высокую бочку с мукой, словно любовался на пейзаж пятками.

Прямые черные волосы, разделенные посередине пробором, свисали у него на воротник, коротенькая бахромка волос торчала на подбородке; он был без галстука, в белой шляпе и черном костюме с очень длинными рукавами и очень короткими брюками, в грязных коричневых чулках и башмаках со шнурками. Цвет его лица, от природы грязный, казался еще грязней оттого, что он строго экономил воду и мыло; то же можно было сказать и о подлежащих стирке частях его туалета, которые ему не мешало бы переменить, себе на пользу и всем своим знакомым на утешение. Ему было лет тридцать пять; весь съежившись и согнувшись пополам, он прятался под большим зеленым зонтиком и жевал табачную жвачку, как корова.

Он не был, разумеется, исключением; остальные пассажиры на пароходе, по-видимому, тоже не ладили с прачкой и бросили умываться еще в ранней юности.

Остальные пассажиры были тоже накрепко закупорены табачной жвачкой и казались совершенно развинченными в суставах. Но этот пассажир, отличавшийся особенно проницательным и глубокомысленным видом, показался Мартину значительной особой, что не замедлило подтвердиться.

— Как вы поживаете, сэр? — раздался чей-то голос над самым ухом Мартина.

— Как вы поживаете, сэр? — отозвался Мартин.

С ним говорил высокий худой пассажир в драповой фуражке и длинном просторном пальто из зеленого фриза, с черными бархатными отворотами на карманах.

— Вы из Европы, сэр?

— Да, из Европы,— отвечал Мартин.

— Вам повезло, сэр.

Мартин тоже так думал; но вскоре оказалось, что они понимают это замечание совершенно по-разному.

— Вам повезло, сэр: не всякому удается видеть Илайджу Погрэма.

— Илайджупогрэма? — переспросил Мартин, думая, что это одно слово и что так называется какое-нибудь здание.

— Да, сэр.

Мартин сделал вид, что понимает, хотя не понял ровно ничего.

— Да, сэр,— повторил джентльмен.— Наш Илайджа Погрэм, сэр, собственной персоной сидит сейчас возле пароходного котла.

Джентльмен под зонтиком приставил указательный палец к виску, как бы обдумывая государственные проблемы.

— Это и есть Илайджа Погрэм? — спросил Мартин.

— Да, сэр,— отвечал пассажир.— Это Илайджа Погрэм.

— Боже мой! — сказал Мартин.— Я поражен.— Однако он не имел ни малейшего представления, кто такой Илайджа Погрэм, ибо первый раз в жизни услыхал эту фамилию.

— Если бы пароходный котел лопнул, сэр,— сказал его новый знакомый,— и лопнул сию минуту, это был бы

праздничный день в календаре деспотизма, почти равный, сэр, по своему значению для человечества, нашему славному четвертому июля *. Да, сэр, это почтенный Илайджа Погрэм, член конгресса; один из великих умов нашей страны, сэр. Какой у него лоб, сэр!

— Лоб замечательный,— сказал Мартин.

— Да, сэр. Говорят, наш бессмертный Чигл, сэр, создавая из мрамора знаменитую статую Погрэма, которая так взволновала умы в Европе и породила столько споров, заметил, что это лоб не простого смертного. Это было еще перед вызовом Погрэма и, значит, может считаться предсказанием, да еще каким удачным.

— А что такое «Вызов Погрэма»? — спросил Мартин, думая, что это, быть может, трактирная вывеска.

— Ораторское выступление, сэр,— отвечал его собеседник.

— Ах, да, конечно,— воскликнул Мартин.— О чем я только думал! Оно бросило вызов...

— Оно бросило вызов всему свету,— важно ответил незнакомец.— Бросило вызов всему свету померяться силами с нашей страной в чем угодно; мы, мол, достаточно богаты внутренними ресурсами, чтобы объявить войну всему свету. Хотите, я познакомлю вас с Илайджей Погрэмом, сэр?

— Будьте так добры,— сказал Мартин.

— Мистер Погрэм,— сказал незнакомец, хотя мистер Погрэм слышал каждое слово их разговора,— это джентльмен из Европы, сэр, из Англии, сэр. Но великодушные враги могут встречаться на нейтральной почве частной жизни, мне так кажется, сэр.

Томный мистер Погрэм пожал Мартину руку с вялостью автомата, у которого кончается завод. Зато табак он жевал с энергией только что заведенного автомата.

— Мистер Погрэм — общественный деятель, сэр,— сказал церемониймейстер.— Когда конгресс разъезжается на каникулы, мистер Погрэм знакомится со свободными Соединенными Штатами, даровитым сыном которых он является.

Мартину пришло в голову, что если бы почтенный мистер Погрэм остался дома, а путешествовать отправил

свои башмаки, то цель все равно была бы достигнута, ибо в данное время одни его башмаки могли что-нибудь видеть.

Однако немного погодя мистер Погрэм встал и, освободившись от остатков жвачки, мешавших членораздельной речи, перешел в другое место, где было к чему прислониться, и, не выпуская из рук зеленого зонтика, завел разговор с Мартином.

Так как он начал словами «Как вам нравится...», то Мартин перебил его:

— ...ваша страна, я полагаю?

— Да, сэр,— сказал Илайджа Погрэм. Кучка пассажиров собралась послушать, что будет дальше, и Мартину было слышно, как его знакомый шепнул своему знакомому, потирая руки: — Сейчас Погрэм разнесет его вдребезги, вот увидите!

— Как вам сказать,— начал Мартин после минутного колебания,— я по опыту знаю, что, задавая этот вопрос, вы пользуетесь преимуществом своего положения. Вы желаете, чтобы на него отвечали в одном и том же духе. А я не хочу отвечать в этом духе, по совести не могу, а потому лучше совсем ничего не отвечу.

Но мистер Погрэм собирался выступить на следующей сессии с большой речью о внешней политике, он собирался также написать ряд громовых статей по этому вопросу; и, вполне одобряя свободный и независимый обычай (весьма безобидный и приятный) выуживать в частной беседе всякого рода сведения, а потом перевирать их в печати как вздумается, он решил во что бы то ни стало узнать мнение Мартина. Ибо, если бы ему не удалось ничего добиться, пришлось бы выдумывать все самому, а это хлопотливое дело. Заметив про себя слова Мартина, Погрэм снова принялся за свое:

— Вы только что из Эдема, сэр? Как вам понравился Эдем?

Мартин в довольно сильных выражениях изложил свое мнение насчет Эдема.

— Удивительно,— сказал Погрэм, обводя взором слушателей,— какая ненависть к нашей стране и к нашим учреждениям! Эта национальная антипатия глубоко укоренилась в душе британца!

— Боже правый, сэр! — воскликнул Мартин. — Да разве эдемская земельная корпорация с мистером Скэддером во главе и всеми несчастьями, которые она породила, есть американское учреждение? И при чем тут та или иная форма правления?

— Я полагаю, что причина этого, — продолжал Погрэм с того самого места, на котором Мартин прервал его, — коренится отчасти в зависти и предрассудках, отчасти же в прирожденной неспособности англичан оценить возвышенные установления нашего отечества. Во время вашего пребывания в Эдеме вы, верно, встречались, — сказал он, опять обращаясь к Мартину, — с джентльменом по имени Чоллоп?

— Да, — ответил Мартин, — но я был тогда очень болен, и мой друг лучше сумеет вам ответить. Марк, этот джентльмен спрашивает про мистера Чоллопа.

— О да, сэр. Да. Я его видел, — заметил Марк.

— Великолепный образчик нашего отечественного сырья? — вопросительно произнес Погрэм.

— Еще бы, сэр! — воскликнул Марк.

Почтенный Илайджа Погрэм взглянул на своих сторонников, как бы говоря: «Замечайте! Смотрите, что сейчас будет!» И они отдали дань таланту Погрэма одобрительным ропотом.

— Наш соотечественник — образец человека, только что вышедшего из мастерской природы! — с энтузиазмом воскликнул Погрэм. — Он истинное дитя нашего свободного полушария, свеж, как горы нашей страны, светел и чист, как наши минеральные источники, не испорчен иссушающими условностями, как широкие и беспредельные наши прерии! Быть может, он груб — таковы наши медведи. Быть может, он дик — таковы наши бизоны. Зато он дитя природы, дитя Свободы, и его горделивый ответ деспоту и тирану заключается в том, что он родился на западе.

Эта речь не столько относилась к Чоллопу, сколько к одному почтмейстеру из западных штатов, который не так давно перед этим растратил казенные деньги (явление отнюдь не редкое в Америке) и был смещен с должности; защищая его в конгрессе, мистер Погрэм (почтмейстер голосовал за него) бросил в лицо непопулярному

президенту эту громовую фразу. Она и сейчас оказала свое действие, слушатели пришли в восторг, и один из них сказал Мартину, что «теперь, надо думать, он понял, что такое американское красноречие, и признает себя побежденным».

Мистер Погрэм подождал, пока его слушатели успокоились, и спросил Мартина:

— Вы, кажется, другого мнения, сэр?

— Да,— сказал Мартин,— мне он не очень понравился, должен сознаться. По-моему, он скандалист, и я вовсе не в восторге от его привычки носить с собою смертоносные орудия убеждения и с такой легкостью пускать их в ход.

— Странно! — сказал Погрэм, приподнимая зонтик и выглядывая из-под него.— Удивительно! Заметьте, какую упорную оппозицию нашим учреждениям оказывает дух британца!

— Какие вы непонятливые люди! — воскликнул Мартин.— Разве мистер Чоллоп и другие господа его сорта являются здесь учреждением? Разве револьверы, трости с кинжалами, ножи и прочее — ваши учреждения, которыми вы гордитесь? Разве кровавые дуэли, зверские драки, грубые оскорбления, убийства и резня на улицах — ваши учреждения? Пожалуй, вы скажете мне, что бесчестье и обман тоже учреждения великой республики?

Как только Мартин замолчал, почтенный Илайджа Погрэм опять обвел взглядом слушателей.

— Такая болезненная ненависть к нашим учреждениям,— заметил он,— достойна внимания психологов. Это он намекает на аннулирование государственного долга!

— О, вы можете считать учреждением все, что вам угодно,— усмехнувшись, сказал Мартин,— и тут мне трудно с вами спорить, ибо и это, несомненно, одно из созданных вами учреждений. Но почти всем этим у нас ведает одно учреждение, именуемое Олд-Бейли!

В эту минуту зазвонил обеденный колокол, и все бросились в рубку, причем достопочтенный Илайджа Погрэм проявил самую невероятную прыть, совсем позабыв про раскрытый зонтик, который так прочно застрял в дверях рубки, что нельзя было ни вытащить его, ни закрыть.

Этот несчастный случай произвел настоящий бунт среди голодных пассажиров, столпившихся позади; они пришли в исступление, видя кушанья, слыша стук ножей и вилок и отлично понимая, чем кончится дело, если они не попадут к столу вовремя; а между тем добродетельные граждане за столом, подвергая себя смертельной опасности, делали сверхъестественные усилия, стараясь уничтожить все съестное, прежде чем явятся остальные.

Однако запоздавшие пассажиры взяли зонтик штурмом и ворвались в брешь. Достопочтенный Илайджа Погрэм и Мартин после ожесточенной борьбы оказались рядом, как это могло бы случиться в партере лондонского театра, и целых четыре минуты Погрэм глотал большими кусками все, что ни попадалось под руку, жадно, как ворон. Покончив с необычайно затянувшимся на сей раз обедом, он обратился к Мартину и попросил его нимало не стесняться и говорить с ним совершенно свободно, ибо он спокоен, как подобает философу. Мартин был весьма рад это слышать, ибо он уже начал задумываться, не принадлежит ли мистер Погрэм к другой школе республиканской философии, благородные афоризмы которой вырезаются ножом на теле учеников и пишутся не пером и чернилами, а смолой и перьями.

— Что вы думаете о моих соотечественниках, которые здесь присутствуют? — спросил Илайджа Погрэм.

— Очень приятные люди,— сказал Мартин.

Общество и в самом деле было приятное. Ни один из обедающих еще не произнес ни слова; каждый, как и всегда, старался поскорей набить себе желудок, и большинство решительно не умело вести себя за столом.

Достопочтенный Илайджа Погрэм посмотрел на Мартина, как бы говоря: «Вы этого не думаете, я знаю!» — и вскоре его мнение подтвердилось.

Напротив сидел один в высшей степени протабаченный джентльмен, у которого из остатков табака, засыхавших вокруг рта и на подбородке, составилась даже целая борода — украшение, настолько распространенное здесь, что Мартин не обратил бы на него внимания, если б этот почтенный гражданин, стремясь уравнять себя в правах с новоприбывшими, не обсосал хорошенько свой

нож и не воткнул его в масло как раз в ту минуту, когда Мартин брал себе от того же куска. Все это было проделано так неаппетитно, что стошнило бы даже мусорщика.

Когда Илайджа Погрэм, для которого это было самым обыкновенным делом, увидел, что Мартин отставил тарелку, так и не взяв себе масла, он обрадовался и сказал:

— Ну, знаете ли, изумительно, до чего вы, англичане, ненавидите учреждения нашей страны!

— Честное слово,— воскликнул Мартин в свою очередь,— вы самая непонятная страна, какая существует на свете! Человек ведет себя положительно как свинья,— и это у вас называется «учреждением»!

— У нас нет времени приобретать манеры,— сказал Погрэм.

— Приобретать! — воскликнул Мартин.— Но речь идет не о том, чтобы непременно приобретать. Речь идет о том, чтобы не утратить врожденную вежливость дикаря и ту инстинктивную воспитанность, которая заставляет человека остерегаться, как бы не оскорбить другого и не внушить ему отвращения. Неужели этот человек не сумел бы вести себя лучше, если бы не считал, что очень хорошо и независимо быть скотом в мелочах,— как вы думаете?

— Он уроженец нашей страны и, конечно, сметлив и боек от природы,— сказал мистер Погрэм.

— Так вот, заметьте, к чему это приводит, мистер Погрэм,— продолжал Мартин.— Большинство ваших соотечественников начинает с того, что упрямо пренебрегает мелкими правилами общежития, которые не имеют ничего общего с такими установлениями, как сословные традиции, нравы, обычаи, и не связаны с формой правления или особенностями страны, но требуются простой, естественной среди людей учтивостью. Вы поощряете их в этом, возмущаясь нападками на их невежливость, словно это лучшая черта национального характера. От несоблюдения мелких условностей они переходят к пренебрежению крупными обязательствами и отказываются платить долги. Что́ они могут делать в дальнейшем или от чего еще отрекутся, я не знаю; но всякий может

видеть, если захочет, что это естественно должно последовать, что это неизбежный процесс развития, порочного в самом корне.

Мистер Погрэм был слишком большим философом, для того чтобы это понять, и они опять вышли на палубу, где мистер Погрэм занял свой прежний пост и жевал табак до тех пор, пока не впал в летаргическое состояние, граничившее с полной бесчувственностью.

После нескольких дней утомительного путешествия они снова подошли к той самой пристани, где Марк чуть было не остался в тот вечер, когда они уезжали в Эдем. Хозяин гостиницы, капитан Кеджик, стоял на пристани и очень удивился, увидев своих старых знакомцев.

— Что за черт! — воскликнул капитан.— Ну, я просто удивляюсь!

— Нельзя ли нам остановиться у вас до завтра, капитан? — спросил Мартин.

— Живите хоть целый год, если вздумается,— сухо ответил капитан.— Только нашим не очень-то понравится, что вы вернулись.

— Не понравится, капитан? — переспросил Мартин.

— Они думали, что вы там останетесь,— отвечал Кеджик, качая головой.— А вы их надули, не отрицайте этого!

— Что вы хотите сказать этим? — воскликнул Мартин.

— Не надо было вам никого принимать,— сказал капитан.— Да, не надо бы!

— Любезный друг,— возразил Мартин,— разве я хотел кого-нибудь принимать? Разве это была моя затея? Не вы ли сами говорили, что меня начнут травить, как бешеную собаку, и угрожали мне всеми видами мести, если я их не приму?

— Этого я не знаю,— возразил капитан.— Но если наши вломятся в амбицию, то их ничем не уймешь, могу вам сказать!

И капитан пошел вместе с Марком позади Мартина и мистера Погрэма, которые отправились в «Национальный отель».

— Видите, мы все-таки вернулись живыми! — сказал Марк.

— Это совсем не то, чего я ожидал,— проворчал капитан.— Человек не имеет права на популярность, если не оправдывает ожиданий. Лучшие люди нашего общества не пошли бы к нему на прием, если бы знали это.

Ничто не могло смягчить упорства капитана, который обиделся на то, что оба они не умерли в Эдеме. Постояльцы в «Национальном отеле» были тоже оскорблены в своих лучших чувствах, но, к счастью, им некогда было особенно огорчаться, так как все вдруг решили наброситься на достопочтенного Погрэма и немедленно устроить ему прием.

Ужин в гостинице кончился до прибытия парохода, и потому Мартин, Марк и мистер Погрэм закусывали и пили чай втроем, когда явилась депутация, в составе шестерых постояльцев и одного крикливого юнца, чтобы объявить об этой чести.

— Сэр! — начал оратор депутации.

— Мистер Погрэм! — завопил крикливый юнец.

Оратор, только тут вспомнив о присутствии крикливого мальчика, представил его:

— Доктор Джинери Данкл, сэр, джентльмен с большим поэтическим дарованием. Он здесь недавно, сэр, могу вас уверить, и является для нас приобретением, сэр. Да, сэр. Мистер Джод, сэр. Мистер Иззард, сэр. Мистер Джулиус Биб, сэр.

— Джулиус Вашингтон Мерривезер Биб,— пробурчал джентльмен себе под нос.

— Прошу прощения, сэр. Извините меня. Мистер Джулиус Вашингтон Мерривезер Биб, сэр, по лесной части, сэр, пользуется большим уважением. Полковник Гропер, сэр. Профессор Пайпер, сэр. Меня самого, сэр, зовут Оскар Баффем.

Каждый из них сделал шаг вперед, боднул головой достопочтенного Илайджу Погрэма, пожал ему руку и отступил назад. После того как представления закончились, оратор продолжал:

— Сэр!

— Мистер Погрэм! — возопил крикливый юнец.

— Может быть,— сказал оратор, бросив на него безнадежный взгляд,— вы будете так добры, доктор Джи-

нери Данкл, и возьмете на себя выполнение нашей небольшой миссии, сэр?

Крикливый юнец только того и ждал и потому немедленно выступил вперед.

— Мистер Погрэм, сэр! Группа ваших сограждан, узнав о вашем прибытии в «Национальный отель» и сознавая патриотический характер услуг, оказанных вами обществу, желает иметь удовольствие, сэр, видеть вас и общаться с вами, сэр, а также отдохнуть в вашем обществе, сэр, в эти минуты...

— ...которые,— подсказал Баффем.

— ...которые выпали так кстати на долю нашей великой и счастливой страны, сэр.

— Слушайте! — громким голосом воскликнул полковник Гропер.— Отлично! Слушайте его! Отлично!

— И потому, сэр, в знак уважения к вам,— продолжал доктор Джинери Данкл,— они просят оказать им честь и присутствовать на небольшом приеме, сэр, в дамской столовой, в восемь часов вечера, сэр.

Мистер Погрэм поклонился и сказал:

— Друзья и соотечественники!

— Отлично! — воскликнул полковник.— Слушайте его! Отлично!

Мистер Погрэм поклонился полковнику особо, затем продолжал:

— Ваше одобрение моим трудам во имя общего дела трогает меня. Во всякое время и на всяком месте, в дамской столовой, друзья мои, и на поле брани...

— Хорошо, очень хорошо. Слушайте, слушайте! — сказал полковник.

— ...имя Погрэма с гордостью присоединится к вашим именам. И да будет написано на моей могиле, друзья мои: «Он был членом конгресса нашего общего отечества и самоотверженно выполнял свой долг».

— Комитет, сэр,— провозгласил крикливый юнец,— явится к вам без пяти минут восемь. Позвольте проститься с вами, сэр!

Мистер Погрэм еще раз пожал руку ему и всем остальным; но и после, явившись к нему без пяти восемь, они снова жали ему руку и печально произносили один за другим: «Как вы поживаете, сэр?», словно он пробыл

в отсутствии целый год и теперь встретился с ними на похоронах.

К этому времени мистер Погрэм успел освежиться и привести лицо и прическу в полное соответствие со статуей Погрэма, так что всякий, едва взглянув на него, мог бы воскликнуть: «Это он! Именно таков он был, бросая Вызов!» Члены комитета тоже принарядились, и когда все они в полном составе вошли в дамскую столовую, то многие дамы и джентльмены захлопали в ладоши под возгласы: «Погрэм! Погрэм!», а некоторые даже становились на стулья, чтобы разглядеть его.

Предмет общего восхищения, проходя по комнате, обвел ее взглядом и улыбнулся, заметив крикливому юнцу, что он и раньше знал о красоте дочерей их общего отечества, но никогда еще не видел их в таком блеске и совершенстве как в эту минуту; на следующий день крикливый юнец напечатал это в газете, к немалому удивлению Илайджи Погрэма.

— Сделайте одолжение, сэр,— сказал Баффем, хватаясь за плечо мистера Погрэма, как будто собирался снимать с него мерку,— станьте, пожалуйста, спиной к стене в самом дальнем углу, чтобы для ваших сограждан было больше места. Если бы вы прислонились вплотную к этому крюку для занавески, сэр, а левую ногу постарались держать за печкой, нам было бы вполне удобно.

Мистер Погрэм сделал, как его просили, и втиснулся в такой маленький уголок, что статуя Погрэма не узнала бы его.

Затем начался вечерний прием. Джентльмены подводили к нему дам, подходили сами и подводили друг друга, спрашивали Илайджу Погрэма, что он думает о таком-то и таком-то политическом вопросе, глядели и на него и друг на друга, и вид у них был самый несчастный. Дамы, усевшись на стульях, рассматривали мистера Погрэма в лорнет и восклицали довольно громко: «Мне хотелось бы, чтобы он заговорил! Почему он не говорит? Ах, попросите его говорить!» А мистер Погрэм глядел то на дам, то в сторону, изрекая свое сенаторское мнение, когда его спрашивали. Но главной целью и предметом собрания было, по-видимому, ни в коем случае

не выпускать мистера Погрэма из угла; там его и держали, не ослабляя надзора.

В середине вечера у дверей началось сущее столпотворение, знаменующее прибытие именитой особы, и немедленно вслед за этим какой-то пожилой джентльмен очертя голову бросился в толпу, с боем прокладывая себе дорогу к достопочтенному Илайдже Погрэму. Мартину, который нашел удобное для наблюдения место в дальнем углу и стоял там рядом с Марком (он уже не так часто забывал о нем, как раньше, хотя все-таки забывал иногда), Мартину показалось, будто он знает этого джентльмена, но окончательно он перестал сомневаться в этом после того, как джентльмен, вытаращив глаза, провозгласил очень громко:

— Миссис Хомини, сэр!

— Черт бы взял эту женщину, Марк! Опять она тут!

— Вот она идет, сэр,— ответил мистер Тэпли.— И Погрэм ее знает. Известная деятельница! Всегда нянчится со своим отечеством, глаз с него не спускает! Если муж этой дамы держится тех же взглядов, что и я, то-то должен быть веселый старичок!

Толпа расступилась, и миссис Хомини аристократической поступью медленно проплыла по проходу — в своем классическом чепце, со сложенными руками и красным носовым платком, одна составляя процессию. Мистер Погрэм, завидев ее, выразил восхищение, и все кругом притихли,— ибо известно, что, когда такая женщина, как миссис Хомини, встречается с таким человеком, как мистер Погрэм, всегда бывает сказано что-нибудь интересное.

Обмен первыми приветствиями произошел слишком тихо, чтобы его могла расслышать нетерпеливая толпа; но скоро они повысили голос, ибо миссис Хомини, как всегда, знала, чего от нее хотят, и чувствовала себя на высоте положения.

Сначала миссис Хомини обошлась с Погрэмом сурово и учинила ему строгий разнос за некстати поданный им голос по вопросу, против которого она, как мать современных Гракхов, в свое время опубликовала в печати протест, специально набранный курсивом. Однако мистер

Погрэм уклонился от разноса, своевременно намекнув на Звездное Знамя *, по-видимому обладавшее замечательным свойством всегда поворачиваться именно в ту сторону, куда дует ветер, и тогда она его простила. После этого они с большим успехом обсудили некоторые вопросы тарифов, торговых соглашений, таможенных пошлин, ввоза и вывоза; причем миссис Хомини, по пословице, не только говорила, как книга, но слово в слово повторяла свои собственные книги.

— Господи! Это что такое? — воскликнула миссис Хомини, развертывая маленькую записочку, которую она взяла из рук своего взволнованного кавалера.— Скажите пожалуйста! Ну-ну, подумать только!

И она прочла вслух:

— «Две литературные дамы свидетельствуют свое почтение матери современных Гракхов и просят талантливую соотечественницу оказать им любезность, представив их достопочтенному (и знаменитому) Илайдже Погрэму, черты которого обе л. д. часто созерцали в красноречивом мраморе покоряющего душу Чигла. Получив от матери современных Гракхов словесное заверение, что она согласна исполнить просьбу двух л. д., они немедленно и с удовольствием присоединятся к блестящему обществу, собравшемуся, чтобы отметить патриотические заслуги Погрэма. Быть может, упоминание о том, что обе л. д.— поклонницы трансцендентальной философии *, послужит новым связующим звеном между ними и матерью с. Гр.».

Миссис Хомини немедленно встала и проследовала к двери, откуда вернулась через минуту вместе с обеими литературными дамами, которых и подвела по проходу в толпе к великому Илайдже Погрэму с тем достоинством и величием манер, которые так ее отличали. Это была прямо-таки последняя сцена из «Кориолана» *, как объявил в восторге крикливый юноша.

На одной из л. д. был каштановый парик невиданных размеров. На лбу другой держалась, непонятно каким образом, массивная камея с видом вашингтонского капитолия, по величине и форме очень похожая на пирожок с малиной, какие обыкновенно продают за пенни.

— Мисс Топит и мисс Коджер! — сказала миссис Хомини.

— Коджер — это, по-моему, та самая, которую часто поминают в английских газетах, сэр,— шепнул Марк,— старейшая из жителей, та, что ровно ничего не помнит.

— Быть представленным такому человеку, как Погрэм,— сказала мисс Коджер,— такой женщиной, как Хомини, есть действительно волнующий момент, который производит сильное впечатление на то, что мы называем нашими чувствами. Но почему мы их так называем, и что производит на них впечатление, и откуда берутся вообще впечатления, и существуем ли мы в действительности, и существует ли — страшно вымолвить! — в действительности некий Погрэм, или некая Хомини, или же некое деятельное начало, которому мы даем эти имена,— это тема для взыскующего духа, слишком обширная и ответственная, чтобы рассматривать ее в такую непредвиденную и критическую минуту.

— Дух и материя,— сказала дама в парике,— быстро скользят в водовороте бесконечности. Возвышенное стонет, и тихо дремлет безмятежный Идеал в шепчущих покоях Воображения. Внимать ему сладко. Но строгий философ насмешливо обращается к Фантазии: «Эй! Остановите мне эту Силу! Ступайте, приведите ее сюда!» И видение исчезает.

После чего обе дамы взяли руку мистера Погрэма и поцеловали ее, как руку патриота. Когда эта честь была воздана, мать современных Гракхов потребовала, чтобы принесли стулья, и тут все три литературные дамы вплотную взялись за Погрэма и начали его обрабатывать, чтобы он показал себя во всем блеске.

Не стоит заносить на скрижали истории, как Погрэм сразу же сбился с толку и понес околесицу, не говоря уже о трех литературных дамах, которым и сбиваться было не с чего. Достаточно сказать, что, потеряв под ногами почву, все четверо барахтались в волнах собственного красноречия, брызгая словами во все стороны. По общему приговору, такого жестокого словесного турнира в «Национальном отеле» еще не бывало. На глазах крикливого юноши несколько раз выступали слезы, и присут-

ствующие говорили, что голова у них разболелась от напряжения, как и следовало ожидать.

Когда, наконец, настало время выпустить мистера Погрэма из угла и члены комитета благополучно препроводили его в соседнюю комнату, все горячо выразили ему свое восхищение.

— Которое,— сказал мистер Баффем,— должно найти выход, иначе произойдет взрыв. Вам, мистер Погрэм, приношу я благодарность. К вам, сэр, я питаю возвышенное благоговение и глубокое чувство. Мысль, которую я намереваюсь выразить, сэр, такова: «Будьте всегда так же тверды, как ваша мраморная статуя! И пусть она вечно наводит такой же страх на ваших врагов, как и вы сами!»

Есть основания предполагать, что она скорее наводила страх на друзей, чем на врагов, будучи произведением демонической школы и изображая достопочтенного Илайджу Погрэма с волосами, вставшими дыбом, словно на сильном ветру, и широко раздутыми ноздрями. Тем не менее мистер Погрэм поблагодарил своего друга и соотечественника за выраженную им надежду; и комитет после нового торжественного обмена рукопожатиями отошел ко сну, за исключением доктора, который немедленно отправился в редакцию газеты и там, вдохновившись событиями этого вечера, написал коротенькое стихотворение, начинавшееся четырнадцатью звездочками и озаглавленное: «Фрагмент. Навеян созерцанием достопочтенного Погрэма во время философского спора с тремя прелестнейшими дочерьми Колумбии. Сочинение доктора Джинери Данкла, из Трои».

Если Погрэм чувствовал такую же радость, добравшись до постели, как и Мартин, он получил достойную награду за свои труды. На следующий день они снова тронулись в дорогу (причем Марк и Мартин сначала продали за бесценок свои запасы тем же лавочникам, у которых покупали их) и оказались попутчиками Погрэма почти до самого Нью-Йорка. Перед тем как расстаться с ними, Погрэм впал в задумчивость и после довольно продолжительных размышлений отвел Мартина в сторону.

— Мы с вами расстаемся, сэр,— сказал Погрэм.

— Не огорчайтесь, прошу вас,— ответил Мартин,— мы должны это перенести.

— Не в том дело, сэр,— возразил Погрэм,— совсем не в том. Я хочу подарить вам экземпляр моей речи.

— Благодарю вас,— сказал Мартин,— вы очень добры. Буду в восторге.

— Опять-таки не в том дело, сэр,— продолжал Погрэм.— Достанет ли у вас смелости ввезти один экземпляр к себе на родину?

— Разумеется, достанет,— сказал Мартин.— Почему же нет?

— Она составлена в очень сильных выражениях,— мрачно намекнул Погрэм.

— Это все равно,— сказал Мартин.— Я возьму хоть дюжину, если хотите.

— Нет, сэр,— возразил Погрэм,— зачем же дюжину. Столько не понадобится. Если вы согласны подвергнуться риску, сэр,— вот вам один экземпляр для вашего лорд-канцлера,— он вручил экземпляр,— и вот другой — для первого государственного секретаря. Я хочу, чтобы они познакомились с ней, сэр,— ибо в ней выражены мои убеждения,— и не могли впредь отговариваться незнанием. Но не подвергайтесь опасности из-за меня, сэр!

— Опасности нет ни малейшей, уверяю вас,— сказал Мартин. Итак, он положил брошюрки в карман, и они расстались.

Мистер Бивен писал в своем письме, что в такое-то время, которое весьма счастливо совпадало с их приездом, он остановится в такой-то гостинице и будет с нетерпением ожидать их. Туда они и отправились, не мешкая ни минуты. К счастью, они застали дома своего доброго друга и были им приняты с обычной теплотой и сердечностью.

— Простите меня. Мне поистине стыдно, что пришлось просить у вас денег,— сказал Мартин.— Но посмотрите, на что мы похожи, и судите сами, до чего мы дошли!

— Я не только далек от мысли, что оказал вам услугу,— отвечал тот,— но упрекаю себя в том, что невольно стал первой причиной ваших несчастий. Я не

предполагал, что вы поедете в Эдем или что вы, вопреки всякой очевидности, не захотите отказаться от мысли, будто здесь легко нажить состояние; я так же не предполагал этого, как не собирался сам ехать в Эдем.

— Я решился на это безрассудно и самоуверенно,— сказал Мартин,— и чем меньше будет сказано по этому вопросу, тем лучше для меня. Марк не имел голоса в этом деле.

— Ну, он, кажется, не имел голоса и в других делах, не так ли? — возразил мистер Бивен с улыбкой, которая показывала, что он понимает и Марка и Мартина.

— Боюсь, что голос он имел отнюдь не решающий,— сказал Мартин, краснея.— Но век живи, век учись, мистер Бивен! Хоть умри, да научись,— тем скорее научишься.

— А теперь,— сказал их друг,— поговорим о ваших планах. Вы хотите вернуться на родину?

— Да, непременно,— поспешно ответил Мартин, бледнея при мысли о каком-нибудь другом предложении.— Надеюсь, и вы того же мнения?

— Конечно. Я вообще не знаю, зачем вы сюда приехали, хотя, к сожалению, это вовсе не такой редкий случай, чтобы нам стоило обсуждать его. Вы, верно, не знаете, что пароход, на котором вы прибыли вместе с нашим другом генералом Флэддоком, стоит в порту?

— Да, и объявлено, что он отправляется завтра.

Новость была приятная, но вместе с тем и мучительная, ибо Мартин знал, что нет никакой надежды получить какую-либо работу на этом пароходе. Денег у него вряд ли хватило бы даже на уплату четвертой части долга; но если бы их и достало на билет, он едва ли решился бы на такую трату. Он объяснил это мистеру Бивену и рассказал, какой у них план.

— Ну, это так же безрассудно, как поездка в Эдем,— возразил его друг.— Вы должны ехать по-человечески — по крайней мере настолько по-человечески, насколько это возможно для пассажира первого класса,— и занять у

меня несколькими долларами больше, чем вы хотели. Пусть Марк побывает на пароходе и посмотрит, какие там пассажиры, и если только вы рискнете поехать, не боясь задохнуться в этом обществе, мой совет — поезжайте! Мы с вами тем временем побываем в городе (к Норрисам заходить не станем, разве только вы сами вздумаете), а в конце дня пообедаем все вместе.

Мартину оставалось только выразить благодарность, и, таким образом, все было устроено. Он вышел из комнаты вслед за Марком и посоветовал ему взять билеты на пароход, хотя бы им пришлось спать на голой палубе, что мистер Тэпли, не нуждавшийся в подобных просьбах, охотно обещал.

Когда они с Мартином встретились снова, и без свидетелей, Марк был очень оживлен и, по-видимому, имел сообщить нечто такое, чем немало гордился.

— Я провел мистера Бивена! — сказал Марк.

— Провел мистера Бивена? — повторил Мартин.

— Кок на нашем пароходе взял да и женился вчера,— сообщил мистер Тэпли.

Мартин смотрел на него, дожидаясь объяснения.

— И как только я взошел на пароход и разнесся слух, что я тут,— продолжал Марк,— является ко мне старший помощник и спрашивает, не соглашусь ли я занять место этого самого повара на время обратного рейса. «Ведь для вас это дело привычное,— говорит он,— вы всегда что-нибудь стряпали для других, когда ехали в Америку». Да так оно и было,— прибавил Марк,— хотя раньше мне никогда не приходилось готовить, ей-богу.

— Что же вы ему сказали? — спросил Мартин.

— Что сказал! — воскликнул Марк.— Сказал, что возьму, сколько дадут: «Ежели так,— говорит помощник,— принесите стаканчик рому»,— и ром принесли, как полагается. А мое жалованье,— продолжал Марк, ликуя,— пойдет в уплату за ваш проезд; я уже занял койку для вас(верхнюю в углу), положил на нее скалку; так что: «Правь, Британия!», а британцы по домам!

— Какой вы хороший малый! Другого такого не сыщешь! — воскликнул Мартин, пожимая ему руку.— Но каким же образом вы провели мистера Бивена?

— Как, разве вы не понимаете? — сказал Марк.— Мы ничего ему не скажем. Возьмем у него деньги, но тратить их не станем, и у себя не оставим. Мы вот что сделаем: напишем ему записочку, объясним, как устроились, завернем в нее деньги и оставим в баре, чтобы ему передали после нашего отъезда. Понимаете?

Мартин обрадовался этому предложению ничуть не меньше Марка. Все было сделано так, как предполагал Марк. Они весело провели вечер, переночевали в гостинице, оставили письмо, как было условлено, и рано утром отправились на пароход с легким сердцем, сбросив с себя весь груз несчастий и тревог.

— Благослови вас бог, тысячу раз благослови! — говорил Мартин своему другу Бивену.— Как я отплачу за всю вашу доброту? Как отблагодарить вас за нее?

— Если вы станете богачом или влиятельным человеком,— отвечал мистер Бивен,— вы постараетесь, чтобы ваше правительство больше заботилось о своих подданных, когда они переселяются за море. Расскажите правительству все, что вы знаете об эмиграции по собственному опыту, и объясните, как много страданий можно предотвратить, приложив хоть сколько-нибудь труда.

Дружно, ребята, дружно! Якорь поднят. Корабль идет на всех парусах. Его крепкий бугшприт смотрит прямо на Англию. Америка позади кажется облаком на море.

— Ну, кок, о чем вы так глубоко задумались? — спросил Мартин.

— Я думал, сэр,— отвечал Марк,— что если б я был художником и меня попросили нарисовать американского орла, то как бы я за это взялся.

— Наверно, постарались бы нарисовать его как можно больше похожим на орла?

— Нет,— сказал Марк,— это, по-моему, не годится. Я нарисовал бы его слепым, как летучая мышь; хвастливым, как петух; вороватым, как сорока; тщеславным, как павлин; трусливым, как страус, который прячет голову в грязь и думает, что никто его не видит...

— И, как феникс, способным возрождаться из пепла своих ошибок и пороков и снова воспарять в небо! — сказал Мартин.— Что ж, Марк, будем надеяться.

ГЛАВА XXXV

По прибытии в Англию Мартин становится свидетелем церемонии, которая приводит его к радостному выводу, что он не забыт на родине

Был полдень, и вода стояла высоко в том английском порту, куда направлялся «Винт», когда, любовно подхваченный нарастающим приливом, он вошел в реку и бросил якорь.

Как ни весело было все вокруг — свежо и полно движения, воздуха, простора и блеска,— это было ничто по сравнению с радостью, которая вспыхнула в груди двух путников при виде старых церквей, кровель и почерневших дымовых труб родины. Отдаленный шум, глухо доносившийся с оживленных улиц, звучал музыкой в их ушах; люди на пристани, глазевшие на пароход, представлялись им любимыми друзьями; пелена дыма, нависшая над городом, казалась им светлей и нарядней, чем если бы самые богатые шелка Персии развевались в воздухе. И хотя вода, стремясь по своему блистающему пути, то и дело расступалась, плясала и искрилась, поднимая и покачивая на волнах большие корабли, срывалась с концов весел ливнем алмазных брызг, заигрывала с ленивыми лодками и в шутливой погоне быстро проскакивала в угрюмые чугунные кольца, глубоко ввинченные в каменную облицовку набережных,— но даже и вода не была так полна радости и тревоги, как трепетные сердца путников, стремившихся почувствовать под ногами родную землю.

Прошел ровно год с тех пор, как эти колокольни и кровли скрылись из их глаз. А казалось, что прошло лет десять. Они замечали там и сям незначительные перемены и удивлялись, что их так мало и они так ничтожны. Здоровьем, счастьем, силами и надеждами они стали теперь беднее, чем когда уезжали. Но это была родина! И хотя родина есть только имя, только слово,— оно сильно, сильней самых могущественных заклинаний волшебника, которым повинуются духи!

Сойдя на берег с очень небольшими деньгами в кармане и без определенного плана действий в голове, они отыскали дешевую харчевню, где их угостили дымящимся бифштексом и пенистым пивом, которыми они наслаждались, как только можно наслаждаться после долгого плавания в море изысканными яствами земли. Напировавшись, как два добродушных великана, они помешали угли в камине, отдернули яркую занавеску на окне и, устроив себе нечто вроде дивана из больших неуклюжих кресел, стали, блаженствуя, глядеть на улицу.

Даже эта улица сквозь пары бифштекса и крепкого, выдержанного английского пива казалась им сказочной улицей. Ибо на оконных стеклах осел такой туман, что мистер Тэпли был вынужден встать и вытереть их платком, для того чтобы прохожие походили на обыкновенных смертных. Но и после того два облачка вились спиралью над их стаканами с горячим грогом, почти скрывая Мартина и Марка друг от друга.

Это была одна из тех ни на что не похожих маленьких комнаток, какие можно увидеть только в тавернах; да и там они встречаются лишь потому, что архитектору, трудящемуся над их сооружением, чрезвычайно легко напиться пьяным. В ней было больше закоулков, чем извилин в мозгу упрямца; множество странных шкафчиков, куда нельзя было поставить ничего, кроме вещей, специально придуманных для этого; везде какие-то загадочные полочки и переборки и потолок, спускавшийся ступеньками; кроме того, в ней имелся колокольчик, который звонил тут же в комнате, в двух шагах от шнурка, и никак не сообщался со всем остальным заведением. Комната была немного ниже уровня тротуара и выходила окнами на улицу, так что прохожие задевали за стекла рукавами и шаркали по ним корзинами, и надоедливые мальчишки, неожиданно загораживая свет задумавшемуся гостю, дразнились, показывая ему язык, словно доктору, или прижимали побелевшую кнопку носа к стеклу и исчезали внезапно, как привидения.

— Нам надо, разумеется, повидать мисс Мэри,— сказал Марк.

— Разумеется,— сказал Мартин.— Но я не знаю, где она. Ведь я не решался писать ей в нашем печальном

положении — вы и сами думали, что молчание более уместно,— а стало быть, и от нее не получал писем со времени нашего первого отъезда из Нью-Йорка. Почем же мне знать, где она, мой милый?

— Мое мнение такое, сэр,— отвечал Марк,— что нам надо отправиться прямо в «Дракон». Вам незачем заходить туда, где вас знают, если не хотите. Вы можете остановиться в десяти милях оттуда. А я пойду дальше. Миссис Льюпин доложит мне все новости. От мистера Пинча я узнаю все, что нам требуется знать, и мистер Пинч с радостью мне это расскажет. Вот мое предложение: отправиться пешком нынче после обеда; делать остановки, когда устанем; просить, чтобы подвезли,— если это будет можно; идти пешком — если нельзя, и пуститься в дорогу, не теряя времени и по возможности экономя деньги.

— Если не экономить, мы далеко не уйдем,— сказал Мартин, доставая их общие капиталы и пересчитывая на ладони.

— Тем больше причин не терять времени, сэр,— ответил Марк.— После того как мы повидаемся с молодой леди и узнаем, в каком расположении духа находится старый джентльмен, а также все прочее, нам станет ясно, что делать.

— Без сомнения,— сказал Мартин,— вы совершенно правы.

Они подносили стаканы ко рту, как вдруг остановились на полдороге, увидев фигуру, которая в эту минуту медленно, очень медленно и задумчиво проходила мимо окна.

Мистер Пексниф, безмятежный, спокойный, но гордый Пексниф, откровенно гордый и одетый особенно тщательно, улыбающийся особенно кротко; мистер Пексниф, углубленный в размышления о красотах своего искусства и кротко воспаряющий над всяческой суетой, тихо проплыл мимо окна, словно фигура в волшебном фонаре.

Прохожий, шедший навстречу мистеру Пекснифу, остановился и посмотрел ему вслед с большим интересом и уважением, почти благоговейно, а хозяин харчевни, выскочив из дома, словно и он завидел мистера Пекс-

нифа, подошел к прохожему, заговорил с ним, важно кивая головой, и тоже стал смотреть вслед мистеру Пекснифу.

Мартин с Марком глядели друг на друга, не веря самим себе; однако хозяин с прохожим все еще стояли на тротуаре. Несмотря на возмущение, вызванное в нем появлением мистера Пекснифа, Мартин не мог не расхохотаться. Марк тоже.

— Надо узнать, в чем дело! — сказал Мартин.— Попросите сюда хозяина, Марк.

Мистер Тэпли вышел и немедленно возвратился, ведя под конвоем головастого хозяина.

— Скажите, пожалуйста,— начал Мартин,— кто этот джентльмен, который только что прошел мимо и которому вы смотрели вслед?

Хозяин помешал кочергой в камине, по-видимому не считаясь даже с ценой угля в своем желании ответить как можно внушительнее, и, засунув руки в карманы, сказал, надувшись, чтобы придать своим словам еще больше веса:

— Это, джентльмены, великий мистер Пексниф! Знаменитый архитектор, джентльмены!

Говоря это, он переводил глаза с одного на другого, словно готовясь оказать помощь первому, кого собьет с ног это сообщение.

— Великий мистер Пексниф, знаменитый архитектор, господа,— продолжал хозяин,— прибыл в Лондон, чтобы присутствовать при закладке нового и великолепного общественного здания.

— Оно будет строиться по его плану? — спросил Мартин.

— Великий мистер Пексниф, знаменитый архитектор, господа,— ответил хозяин, которому, очевидно, доставляло невыразимое удовольствие повторять эти слова,— получил первую премию и сам будет строить это здание.

— Кто будет закладывать первый камень? — спросил Мартин.

— Член парламента от нашего округа прибыл нарочно для этого,— отвечал хозяин.— Для такого дела не годятся какие-нибудь ничтожества. Директора желали,

чтоб был кто-нибудь не ниже нашего члена палаты общин, представляющего интересы джентльменов.

— Какие же это интересы? — спросил Мартин.

— Как! Разве вы не знаете? — возразил хозяин.

Было совершенно ясно, что и хозяин этого не знал. Во время выборов ему всегда твердили, что надо голосовать в интересах джентльменов, и он немедленно натягивал сапоги и отправлялся подавать голос.

— Когда же состоится торжество? — спросил Мартин.

— Сегодня,— ответил хозяин. И, вытащив часы, прибавил внушительно: — Даже сию минуту.

Мартин поспешно осведомился, есть ли какая-нибудь возможность увидеть эту церемонию; и, узнав, что пускают беспрепятственно всех приличных людей, лишь бы нашлось свободное место, побежал туда вместе с Марком, насколько хватало прыти.

Им повезло, и они протиснулись в славный уголок, откуда могли видеть все, что происходит, не боясь быть замеченными в свою очередь мистером Пекснифом. Приятели попали как раз вовремя; ибо не успели они поздравить друг друга с удачей, как в отдалении послышался сильный шум, и все обратили свои взоры к воротам. Некоторые дамы уже приготовились махать носовыми платками; но оказалось, что криками «ура» по ошибке встретили отставшего учителя приютской школы, которого за это как следует обругали.

— Может быть, он взял с собой и Тома Пинча? — шепнул Мартин мистеру Тэпли.

— Не к чему его так баловать! Верно, сэр? — прошептал в ответ мистер Тэпли.

Обсуждать этот вопрос было уже некогда, потому что тем временем в воротах показались приютские дети в чистых холщовых костюмчиках, они шествовали попарно и так разбередили чувствительность всех присутствующих, которые не пожертвовали на них ни копейки, что многие начали проливать слезы. Затем вошло множество джентльменов с жезлами в руках и бантами на груди, роль которых в церемонии была не совсем ясна и которые наступали друг другу на ноги и довольно долго загораживали проход. За ними следовал мэр с олдерме-

нами, окружавшими представителя джентльменских интересов, который шествовал, имея по правую руку великого мистера Пекснифа, знаменитого архитектора, и беседуя с ним запросто. Тут дамы замахали платками, джентльмены — шляпами, приютские дети запищали, а представитель джентльменских интересов раскланялся.

Когда тишина восстановилась, представитель джентльменских интересов потер руки, помотал головой и с приятностью огляделся по сторонам; впрочем, что бы ни сделал этот джентльмен, всегда находилась какая-нибудь дама, которая начинала восторженно махать платком. Когда он посмотрел на камень, дамы умилились: «Как грациозно!»; когда он заглянул в яму, они сказали: «С каким достоинством!»; когда он болтал с мэром, они твердили: «Как непринужденно!»; когда он сложил руки на груди, они воскликнули единогласно: «Как это пристало государственному деятелю!»

На мистера Пекснифа тоже смотрели во все глаза. Когда он беседовал с мэром, дамы восхищались: «Ах, право, какой учтивый человек!», а когда он положил руку на плечо каменщика, давая ему указания: «Как любезно он держится с низшими классами,— с таким человеком им, бедняжкам, и работа одно удовольствие!»

Но тут принесли серебряную лопаточку; и когда представитель джентльменских интересов, завернув рукава, проделал маленький фокус с известковым раствором, воздух сотрясся, так громко ему рукоплескали. Изумительно, с каким мастерством он это проделал. Никто не мог понять, где такой благовоспитанный джентльмен мог этому научиться.

После того как он замесил пирожок из грязи под руководством каменщика, принесли маленькую вазу с монетами, которыми представитель джентльменских интересов побренчал, словно собираясь колдовать. Причем дамы пришли в восторг: «Как это забавно, как весело, какой он жизнерадостный!» Как только вазу поставили на место, престарелый ученый прочел надпись на латинском языке,— не на английском же читать, кому это нужно? Чтение доставило слушателям большое удовольствие; особенно когда попадалось хорошее, длинное существитель-

ное третьего склонения в творительном падеже с соответственными прилагательными, аудитория умилялась и впадала в чувствительность.

Но вот камень положили на место при громких кликах всех собравшихся. После того как он был крепко вмазан, представитель джентльменских интересов трижды стукнул по нему ручкой лопатки, словно спрашивая не без юмора: есть ли кто-нибудь дома. Тут мистер Пексниф развернул свои планы (изумительные планы), и публика вокруг глядела и восхищалась.

Мартин, который во все время церемонии выходил из себя — без всякой надобности, как думал Марк,— не мог сдержать нетерпения и, подойдя ближе вместе с другими, заглянул в развернутые чертежи и планы через плечо ничего не подозревавшего мистера Пекснифа. Он вернулся к Марку, весь кипя от ярости.

— Что такое, в чем дело, сэр? — воскликнул Марк.

— В чем дело! Это мой план.

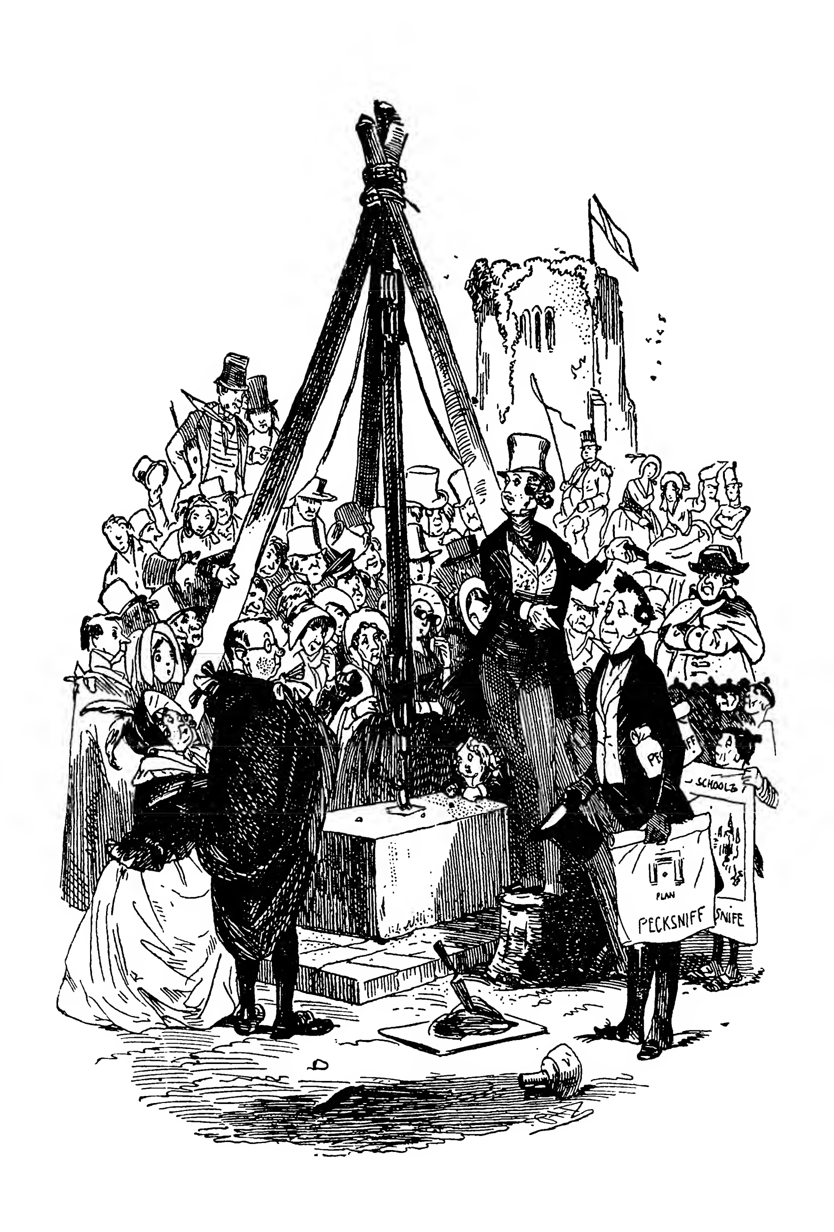
— Ваш план, сэр? — спросил Марк.

— Моя начальная школа. Я ее придумал, я все сделал. Он только пририсовал четыре окна, негодяй, и испортил чертеж!

Сначала Марк не поверил своим ушам, затем, убедившись в том, что это действительно так, просто схватил Мартина, чтобы тот не вмешался необдуманно, еще не остыв от раздражения. Тем временем член парламента обратился к собравшимся с речью о поучительном подвиге, который он только что совершил.

Он сказал, что с тех пор, как заседает в парламенте, представляя интересы джентльменов этого города, а также, как он надеется, интересы дам (носовые платки), его приятной обязанностью было иногда появляться среди них, а также возвышать голос, защищая их интересы в *другом месте* (платки и смех). Но никогда еще он не являлся среди них и не возвышал свой голос с такой чистой, такой глубокой, такой безоблачной радостью, как сейчас.— Настоящее событие,— сказал он,— останется навсегда в моей памяти, не только по причинам, уже названным мною, но и потому, что оно доставило мне случай познакомиться лично с джентльменом...

Тут, указав лопаткой на мистера Пекснифа, которого


SCHOOLS
PLAN
PECKSNIFF
SNIFE

приветствовали громогласными кликами, он приложил руку к сердцу.

— ...с джентльменом, который, как я счастлив думать, стяжает на этом поприще и почести и богатство; чья слава давно дошла до меня — да и кто о нем не слышал! — но чей одухотворенный облик был мне до сих пор незнаком и чьей высокопоучительной беседой я не имел удовольствия наслаждаться.

Все, как видно, были этому рады и аплодировали пуще прежнего.

— Но я надеюсь, что мой досточтимый друг,— сказал представитель джентльменов и, разумеется, добавил,— если он разрешит мне называть его так,— и, разумеется, мистер Пексниф поклонился,— даст мне возможность поддерживать с ним знакомство и доставит мне впоследствии особенное удовольствие думать, что в этот день я заложил первые камни двух зданий, которые не распадутся до конца моей жизни!

Опять громкие клики. Все это время Мартин проклинал мистера Пекснифа на чем свет стоит.

— Друзья мои,— ответствовал мистер Пексниф,— моя обязанность строить, а не говорить; действовать, а не болтать; иметь дело с мрамором, камнем и кирпичом, а не со словами. Я очень тронут. Бог да благословит вас!

Эта речь, по-видимому почерпнутая мистером Пекснифом из самого сердца, довела восторженное настроение до высшей точки. Носовые платки опять зареяли в воздухе; приютских мальчиков заклинали вырасти Пекснифами, всех до единого; муниципалитет, джентльмены с жезлами, представитель джентльменских интересов — все кричали «ура» в честь мистера Пекснифа. Трижды «ура» в честь мистера Пекснифа! Еще три раза — в честь мистера Пекснифа! Еще три раза — в честь мистера Пекснифа, джентльмены, прошу вас! Еще раз, джентльмены, в честь мистера Пекснифа, и погромче напоследок!

Словом, мистер Пексниф, как видно, завершил великий труд и был за него вознагражден тепло, учтиво и щедро. Когда процессия двинулась в обратный путь, оставив Мартина и Марка почти в полном одиночестве, заслуги мистера Пекснифа и желание воздать им должное

составляли преобладающую тему разговоров. С ним мог поспорить только представитель джентльменских интересов.

— Сравните-ка его теперешнее положение с нашим! — горько заметил Мартин.

— Господь с вами, сэр! — воскликнул Марк.— Что толку сравнивать! Одни архитекторы горазды закладывать фундамент, а другие горазды строить по готовым чертежам. Но в конце концов все получат по заслугам, сэр; все получат по заслугам!

— А тем временем,— начал Мартин.

— Тем временем, как вы говорите, сэр, нам предстоит много дела и дальний путь. Так что живо и весело — вот наш девиз!

— Вы самый лучший учитель на свете, Марк,— сказал Мартин.— Я постараюсь быть вам хорошим учеником, это мое твердое решение! Так идемте же! Сделаем все что можем, старина!

ГЛАВА XXXVI

Том Пинч отправляется на поиски счастья. Что он находит вначале

О, насколько иным городом показался Солсбери Тому Пинчу, когда незыблемый Пексниф его сердца растаял, обратившись в пустую мечту! Том по-прежнему верил в чудесные лавки, по-прежнему преувеличивал таинственность и безнравственность города, по-прежнему восхищался его богатством, многолюдством и блеском,— однако этот город был уже не тот старый город и даже нимало не походил на него. Том прошелся по рынку, пока для него готовили завтрак; и хотя это был все тот же рынок, что и встарь, с теми же продавцами и покупателями, кипевший все той же деловитой суетой, шумный от смешения языков и кудахтанья кур в клетках, радовавший глаз все тем же изобилием свежесбитого масла в полотняных салфетках ослепительной белизны; по-прежнему зеленевший ворохами только что сорванных, мокрых от росы овощей; все с теми же лот-

ками разносчиков, блестевшими множеством маленьких зеркалец для бритья, кружев, галунов, позумента, подтяжек, штрипок и скобяного товара; по-прежнему дразнивший аппетит изобилием вкусных свиных ножек и паштетов, драгоценных тем, что их начиняли мясом тех самых свиней, которые когда-то бегали на этих ножках,— однако этот рынок странным образом изменился для Тома. Ибо в центре рыночной площади ему недоставало статуи, которую он там воздвиг, как и во всех местах, где ему приходилось бывать; и площадь казалась ему холодной и голой без этого украшения.

Перемена не шла дальше, поскольку Том был не слишком умудрен опытом и не знал, что, разочаровавшись в одном человеке, было бы только разумно и правильно выместить свое разочарование на человечестве вообще, перестав доверять кому бы то ни было. В самом деле, хотя этот акт правосудия и находит поддержку в авторитетном мнении некоторых глубокомудрых поэтов и почтенных людей, он более напоминает правосудие того доброго визиря из «Тысячи и одной ночи», который приказал казнить всех багдадских носильщиков за провинности одного из этих несчастных, чем разумное человеческое, а тем более христианское поведение в наши дни.

Том до того привык примешивать Пекснифа своей мечты к чаю, и намазывать его на хлеб, и закусывать им пиво, что в первый день после своего изгнания позавтракал очень плохо. Не слишком разыгрался у него аппетит и к обеду, после того как он серьезно задумался о собственных делах и посоветовался на этот счет со своим приятелем, помощником органиста.

Помощник органиста решительно высказался в том смысле, что Тому во всяком случае надо ехать в Лондон, потому что другого такого города нет на свете. Что́, в общем, может быть, и было верно, однако вряд ли являлось достаточным основанием для того, чтобы Том туда ехал.

Но Том и раньше думал о Лондоне, соединяя с ним мысли о своей сестре и о своем старом друге, Джоне Уэстлоке, у которого ему, естественно, хотелось попросить совета, раз такой важный перелом совершился в его судьбе. Поэтому он решил ехать в Лондон и немедленно отправился в контору дилижансов заказывать себе

билет. Все места в дилижансе были уже заняты, и ему пришлось отложить отъезд до следующего вечера, но даже и это имело свою светлую сторону, наравне с темной, ибо, угрожая его тощему кошельку непредвиденными расходами, доставляло ему случай написать письмо миссис Льюпин о том, чтобы сундук своевременно доставили все к тому же придорожному столбу, а это давало ему возможность забрать свое сокровище с собой в столицу, избежав расходов на пересылку.

«Таким образом,— утешал себя Том,— получается почти одно и то же».

И нельзя отрицать, что, придя к такому решению, он ощутил непривычное чувство свободы — смутное и неопределенное впечатление праздника,— доныне неведомую ему роскошь. У него были минуты уныния и тревоги, и, по очень основательной причине, таких минут насчитывалось довольно много; и все же он черпал удивительную отраду в мыслях о том, что отныне он сам себе хозяин и может строить планы на будущее, ни от кого не завися. Это было поразительно, чудесно, почти непонятно; от этого захватывало дух и приводило в трепет; это была изумительная правда, вызывавшая чувство ответственности и требовательности к себе; однако, невзирая на все заботы, она придавала особый вкус кушаньям в гостинице и заволакивала будущее радужной пеленой, волшебно изменяя его к лучшему.

С такими мыслями и чувствами Том еще раз улегся на низкую кровать с четырьмя колонками, к великому изумлению портретов прежнего хозяина и жирного быка, и в том же расположении духа провел весь следующий день. Когда, наконец, подошел дилижанс с золотыми буквами «Лондон» на багажном ящике, это так потрясло Тома, что ему чуть ли не захотелось убежать. Однако он не убежал; он занял свое место на козлах, и здесь, глядя вниз, на четверку серых коней, чувствовал себя так, как будто он был пятым конем или по меньшей мере какой-то частью упряжки, причем сильно смущался новизной и великолепием своего положения.

И в самом деле, усевшись на козлах рядом с таким кучером, смутился бы даже и не такой скромный человек, как Том Пинч; ибо этот щеголь был поистине

король над всеми щеголями, когда-либо щелкавшими кнутом по долгу службы. Он обращался со своими перчатками не так, как все люди, но, надевая их, даже когда стоял на тротуаре, совершенно независимо от дилижанса, давал понять, неизвестно каким образом, что вся четверка серых у него в руках и он знает ее как свои пять пальцев. То же было и с его шляпой. Со шляпой он проделывал такие фокусы, в которых нельзя было приобрести сноровку, не зная лошадей наизусть и не изучив дороги в совершенстве. Ему вручали ценные маленькие посылки с особыми наставлениями, а он засовывал их в эту самую шляпу и опять надевал ее так небрежно, как будто законы тяготения не могли сыграть с ним скверной шутки, будто шляпу не могло сорвать ветром,— да и мало ли что еще могло с ней случиться. А кондуктор! «Верных семьдесят миль в день» — было написано даже на его бакенбардах. В его манерах сказывался галоп, в разговоре — крупная рысь. Это был точь-в-точь курьерский дилижанс, несущийся под гору,— воплощенная скорость! Даже фургон не мог бы двигаться медленно, когда такой кондуктор сидел со своим рожком на крыше.

«Все это уже предвещает Лондон»,— думал Том, сидя на козлах и глядя по сторонам. Ни такого возницы, ни такого кондуктора не могло быть нигде между Солсбери и каким бы то ни было другим городом. Самый дилижанс был не какая-нибудь тяжелая на подъем деревенщина, но настоящий лондонский дилижанс, гуляка и щеголь, ведущий рассеянный образ жизни: в движении всю ночь,— на отдыхе весь день. На Солсбери этот дилижанс смотрел сверху вниз, все равно что на простую деревушку. Он с грохотом прокатил по главной улице, не обратив никакого внимания на собор; лихо огибая самые опасные углы, он врезался в толпу и заставлял всех и вся шарахаться с дороги и, наконец, помчался по просторному шоссе, задорно трубя в рожок на прощанье.

Вечер был чудесный, тихий и ясный. Даже с тяжестью на душе, со страхом, который внушал ему огромный, неведомый Лондон, Том не мог не поддаться пленительному ощущению быстрой езды на чистом воздухе. Четверка серых летела вперед, словно им это доставляло такое же удовольствие, как и Тому; рожок веселился не

меньше серых; кучер по временам вторил ему басом; колеса тоже подпевали в тон; вся медь на сбруе звенела, как целый оркестр маленьких бубенчиков; и так, плавно несясь вперед, со звоном, звяканьем и тарахтеньем, все сооружение, от пряжек на уздечке коренника до ручки на багажнике сзади, являло собой один большой музыкальный инструмент.

Эй, пошел! — мимо зеленых изгородей, мимо ворот и деревьев, мимо домиков и сараев, мимо людей, идущих с работы. Эй, пошел! — мимо тележек, запряженных осликами и сдвинутых с дороги, мимо порожних подвод с бьющимися лошадьми, которых с трудом сдерживают возчики, пока дилижанс не минует узкий перекресток. Пошел! Пошел! — мимо церквей, которые жмутся к сторонке, окруженные сельскими кладбищами, где зеленеют могилы и в вечернем сумраке дремлют маргаритки на груди у мертвецов. Пошел! — мимо речек, где стоят стада в прохладной воде и растут тростники; мимо огороженных выгонов, усадеб и гумен; мимо прошлогодних стогов, которые тают слой за слоем и в убывающем вечернем свете кажутся темными и древними, похожими на развалившиеся островерхие кровли. Эй, пошел! — вниз по крупной гальке откоса, через весело журчащий брод, и снова галопом по ровной дороге. Пошел! Пошел!

Был ли сундук на месте, когда они подъехали к старому придорожному столбу? Сундук! А сама миссис Льюпин? Разве она не выехала, как полагается хозяйке, во всем великолепии, на собственном шарабане? И разве не красовалась она на сиденье красного дерева, правя собственной лошадью по прозвищу Дракон (хотя ей больше подошло бы прозвище Шарик)? Разве дилижанс не проехал мимо шарабана так близко, что едва не задел колесо? И разве кондуктор, приняв от работника сундук, не огласил всю окрестность звуками рожка так, что эхо долетело даже до отдаленных владений Пекснифа, словно и дилижанс радовался избавлению Тома Пинча?

— Какая вы добрая, право! — сказал Том, наклоняясь, чтобы пожать ей руку.— Я не хотел доставлять вам столько хлопот!

— Хлопот, мистер Пинч! — воскликнула хозяйка «Дракона».

— Ну да, для вас это удовольствие, я знаю,— сказал Том, сердечно пожимая ей руку.— Есть какие-нибудь новости?

Хозяйка покачала головой.

— Передайте, что вы меня видели,— сказал Том,— и что я очень бодр и весел и нисколько не упал духом, и что я прошу ее о том же, потому что все, конечно, уладится в конце концов. Прощайте!

— Вы напишете, когда устроитесь, мистер Пинч? — спросила миссис Льюпин.

— Когда устроюсь? — воскликнул Том, невольно поднимая брови.— Да, конечно, напишу, когда устроюсь. Может быть, лучше будет написать до этого, потому что я, должно быть, устроюсь не так скоро,— денег у меня не много, и друг всего-навсего один. Я передам ваш поклон моему другу. Вы же всегда были очень хороши с мистером Уэстлоком. Прощайте!

— Прощайте! — ответила миссис Льюпин, торопливо доставая корзину, откуда торчала длинногорлая бутылка.— Возьмите это. Прощайте!

— Вы хотите, чтобы я отвез ее в Лондон? — крикнул Том. Миссис Льюпин уже повернула шарабан.

— Нет, нет,— ответила миссис Льюпин.— Это так, немножко закусить в дороге. Сиди смирно, Джек. Поезжайте, сэр. Все в порядке. Прощайте!

Она уже успела отъехать на четверть мили, прежде чем мистер Пинч собрался с мыслями, и только тогда он энергично замахал рукой; она отвечала ему тем же.

«И это в последний раз я вижу старый придорожный столб,— подумал Том, напрягая глаза,— где я стоял так часто, глядя, как проезжает мимо этот самый дилижанс, и где я расстался со столькими друзьями! Когда-то я сравнивал этот дилижанс со сказочным чудовищем, которое является время от времени и уносит моих друзей в далекий мир. А теперь оно уносит меня самого на поиски счастья бог знает куда!»

Том загрустил, вспомнив, как ходил, бывало, по тропинке к столбу и обратно к дому мистера Пекснифа; а загрустив, посмотрел на корзинку у себя на коленях, о которой позабыл на время.

«Она самая добрая и самая внимательная женщина



на свете,— подумал Том.— Она нарочно не велела своему работнику оборачиваться, чтобы я не мог бросить ему шиллинг! Я все время держал монету наготове. Но он так ни разу и не взглянул на меня, а ведь обыкновенно только и делает, что глазеет и ухмыляется. Честное слово, меня прямо трогает такая доброта!»

Тут он встретился глазами с кучером. Тот подмигнул.

— Замечательно видная женщина для своих лет,— сказал он.

— Совершенно с вами согласен,— ответил Том.— В самом деле, видная женщина.

— Я хочу сказать, красивей многих молоденьких,— заметил кучер.— А?

— Да, красивей,— согласился Том.

— Я сам не охотник до очень молоденьких,— заметил кучер.

Думая, что это дело вкуса, Том не нашел нужным вдаваться в дальнейшее обсуждение.

— Редко, знаете ли, бывает, чтобы женщины разбирались как следует в еде, когда они еще очень молоды,— сказал кучер.— Женщина должна дожить до зрелых лет, тогда только сообразит приехать вот с такой корзинкой.

— Может быть, вам хочется узнать, что в ней лежит? — с улыбкой спросил Том.

Кучер только засмеялся, и так как Тому самому было любопытно, он распаковал корзину и выложил всю провизию, одно за другим, на подножку: холодную жареную курицу, сверток с ветчиной, нарезанной ломтями, румяную ковригу, кусок сыра, пакет с печеньем, полдюжины яблок, ножик, масло, немножко соли и бутылку старого хереса. Кроме того, там было письмо, которое Том сунул в карман.

Кучер так настойчиво расхваливал хозяйственность миссис Льюпин и так горячо поздравлял Тома с удачей, что Том счел необходимым, ради доброго имени миссис Льюпин, объяснить, что корзина эта чисто платоническая и подарена ему просто в знак дружбы. Сообщив это с совершенной серьезностью, ибо считал своим долгом вывести из заблуждения разбойника кучера, Том дал понять, что будет рад поделиться с ним дарами и предложил ему взяться за корзину, по-товарищески, в любое

время ночи, какое он сочтет более удобным по своему кучерскому опыту и знанию дороги. После этого между ними завязался самый приятный разговор, и хотя Том несравненно больше смыслил в единорогах, чем в лошадях, кучер все же сообщил своему приятелю кондуктору на следующей же станции, что «этот, на козлах, смотрит чудаком, а в рассуждении разговора хоть куда! Так что лучше и не требуется».

Эй, пошел! — в надвигающемся сумраке, не обращая внимания на длинные тени деревьев, но одинаково летя во весь опор как при свете, так и во мраке, словно лондонских огней, в пятидесяти милях впереди, за глаза и даже с избытком довольно для путешествия. Эй, пошел! — мимо деревенского выгона, где еще медлят игроки в крикет и где каждая маленькая вмятина в свежей траве, оставленная битой, мячом или ногой игрока, источает благоухание в ночном воздухе. И дальше — на четверке свежих лошадей от «Лысого Оленя», где гуляки, любуясь конями, толпятся в дверях, а старая четверка, волоча постромки, вскачь пускается к пруду, пока никто не спохватился, а тогда добровольцы мальчишки бегут вдогонку, под громкие крики десятка глоток. Дальше — по старому каменному мосту, стуча копытами и выбивая огненные искры, и опять по тенистой дороге, в открытые ворота, и дальше, дальше по пустынному нагорью. Эй, пошел!

Эй, там сзади! Перестань дудеть в рожок хоть на минуту! Перебирайся наперед по крыше дилижанса, кондуктор, и угощайся из корзины. Не то чтобы мы стали придерживать из-за этого коней, напротив — мы пустим их во весь опор в честь этой пирушки. Ах, давно уже аромат такого старого вина не смешивался с мягким дыханием ночи, и отличное это винцо для того, чтобы промочить горло трубачу. Попробуйте только. Не бойся приложиться к бутылке, Билл, еще глоточек! Теперь вздохни поглубже, Билл, и берись за рожок. Вот это музыка! Вот это звук! «Через горы, далеко», в самом деле. Эй, пошел! Проказница кобылка нынче так и играет. Эй, пошел! Пошел!

Взгляните на ясный месяц! Мы не успели моргнуть глазом, как он уже поднялся высоко,— и земля, подобно воде, отражает все, что ни есть у ней на груди. Изгороди,

деревья, низенькие домики, колокольни, гнилые пни и свежая молодая поросль — все вдруг гордо подняло голову и намерено до утра любоваться на свою прекрасную тень. Вон там трепещут тополя, для того чтобы их дрожащие листья могли видеть себя на земле. Не таков дуб: ему не к лицу трепетать, и он смотрит на свой крепкий и коренастый образ, не шевеля ни единой веткой. Поросшая мхом калитка, едва держась на скрипучих петлях, вертится взад и вперед, вся покосившись от старости, словно капризная старая вдова перед зеркалом; а наша собственная тень бежит через канавы и кусты, по вспаханным полям и ровной земле, по крутым косогорам и отвесным стенам, словно призрачный охотник.

А облака! А туман над долиной! Не плотный, скучный туман, который прячет ее, но легкий, воздушный как вуаль, который, на наш взгляд скромных созерцателей, придает новую прелесть всему, что прикрывает как настоящая вуаль, кто бы против этого ни возражал,— и так всегда было и будет. Эй, пошел! Теперь мы плывем, как сама луна. То прячемся на минуту в роще, то в облаке тумана; то появляемся опять на широкой светлой дороге, то скрываемся,— но всегда мчимся вперед, и наш бег на земле повторяет бег луны в небе. Эй, пошел! У нас состязание с луной!

Красоту ночи перестаешь ощущать, когда быстро приближается день. Эй, пошел! Еще два перегона, и сельская дорога превратилась в сплошную улицу. Эй, пошел! — мимо летят огороды, ряды домов, дачи, аллеи, площади и бульвары; мимо фургоны, дилижансы, подводы; мимо спозаранку поднявшиеся рабочие, запоздавшие прохожие, пьяные гуляки и трезвые грузчики; мимо кирпич и известка во всех видах; и вот мы въезжаем в город по тряской мостовой, и теперь нам не так-то легко сохранить небрежную позу, сидя на козлах дилижанса! Эй, пошел! — мимо бесчисленных поворотов, по бесконечному лабиринту извилистых улиц, а вот, наконец, и старая гостиница, и Том Пинч, сойдя с козел, растерянный и оглушенный, оказывается в Лондоне!

— Да еще на пять минут раньше времени,— сказал кучер, получив с Тома на чай.

— Честное слово,— сказал Том,— я бы не очень огор-

чился, если бы мы приехали на пять часов позже; в такой ранний час я не знаю, куда идти и что с собой делать.

— Разве они вас не ждут? — спросил кучер.

— Кто?

— Да они! — возразил кучер.

Он так явно расположен был думать, будто Том приехал в Лондон повидаться с обширным кругом заботливых друзей и знакомых, что было бы довольно трудно разубедить его. Том и не пытался. Он с радостью уклонился от этой темы и, войдя в гостиницу, вскоре крепко уснул перед огнем в одной из общих комнат окнами во двор. Когда он проснулся, все в доме уже поднялись, и он умылся и переоделся, что очень его освежило после дороги; и так как было уже восемь часов, он тут же отправился повидаться со своим другом Джоном.

Джон Уэстлок жил в Фэрнивелс-Инне *, Верхний Холборн, в четверти часа ходьбы от гостиницы Тома, однако ему показалось, что это очень далеко, потому что он сделал крюк мили в две, надеясь сократить дорогу. Очутившись, наконец, перед дверью Джона на третьем этаже, он остановился в нерешимости, положив руку на дверной молоток и дрожа от головы до пяток: его волновала мысль, что нужно будет рассказать обо всем, что произошло между ним и Пекснифом, и он боялся, что Джона страшно обрадует эта новость.

«Но сказать придется рано или поздно,— подумал Том,— и уж лучше сразу пройти через это».

Тук-тук!

«Боюсь, что в Лондоне так не стучат,— подумал Том.— Уж очень несмело. Может, оттого никто не отворяет дверь?»

В самом деле, никто не отворял, и Том стоял, глядя на дверной молоток и ломая голову над тем, где же тут по соседству живет джентльмен, который кричит кому-то во все горло: «Войдите!»

«Господи помилуй! — сообразил Том, наконец,— может быть, этот человек живет здесь и кричит именно мне. А я и не подумал. Не знаю, удастся ли мне открыть дверь снаружи? Кажется, да».

Конечно, это ему удалось, стоило только повернуть ручку; и конечно, повернув ее, он услышал все тот же

голос, повторявший необыкновенно громко: «Что же вы не входите?»

Том шагнул из маленького коридорчика в комнату, откуда доносились эти крики, и едва успел разглядеть джентльмена в халате и туфлях (сапоги стояли рядом наготове), сидевшего за завтраком с газетой в руках, как этот самый джентльмен, рискуя опрокинуть чайный столик, бросился к Тому и обнял его.

— Да ведь это вы, Том, дружище? — закричал джентльмен.— Том!

— Как я рад вас видеть, мистер Уэстлок! — сказал Том Пинч, пожимая ему руки и дрожа сильнее прежнего.— Как вы добры.

— Мистер Уэстлок? — повторил Джон.— Что это значит, Пинч? Надеюсь, вы не забыли, как меня зовут?

— Нет, Джон, нет; я не забыл,— сказал Том Пинч.— Боже ты мой, как вы добры!

— В жизни не видывал такого человека! — воскликнул Джон.— Что вы твердите все одно и то же? Чего же вы от меня ждали, хотел бы я знать? Вот, садитесь сюда, Том, и ведите себя разумно. Как вы поживаете, мой милый? Я страшно рад вас видеть!

— А я страшно рад видеть вас,— сказал Том.

— Это взаимно, разумеется,— возразил Джон.— И всегда так было, надеюсь. Если бы я знал, что вы приедете, Том, я бы заказал что-нибудь к завтраку. Для меня лично такой сюрприз лучше всякого завтрака, но вы — дело другое, не сомневаюсь, что вы проголодались, как на охоте. Придется вам обойтись тем, что есть, а за обедом мы себя вознаградим. Вам с сахаром, я знаю; помните сахар у Пекснифа? Ха-ха-ха! Как поживает Пексниф? Когда вы приехали в город? Да начните же с чего-нибудь, Том! Вот здесь только остатки, но это совсем не плохо. Копченая кабанья голова — попробуйте, Том. Начните хотя бы. Какой вы чудак! Я страшно рад вас видеть!

Говоря все это в большом волнении, Джон все время перебегал от стола к буфету, доставая разные копчености в банках, выгребая из чайницы невероятное количество чая, роняя французские булки в сапоги, поливая масло кипятком, делая много других промахов в том же роде и нисколько этим не огорчаясь.

— Ну вот! — сказал Джон, присаживаясь в пятидесятый раз и немедленно вскакивая, чтобы сделать еще добавление к завтраку.— С этим мы как-нибудь обойдемся до обеда. А теперь рассказывайте, Том. Во-первых, как поживает Пексниф?

— Не знаю, как он поживает,— нахмурившись, ответил Том.

Джон Уэстлок поставил чайник и в изумлении воззрился на Тома.

— Не знаю, как он поживает,— сказал Томас Пинч,— и не интересуюсь этим, хоть и не желаю ему зла. Я ушел от него, Джон. Совсем ушел.

— Сами, по доброй воле?!

— Ну нет, он меня прогнал. Но я еще до этого понял, что ошибался в нем и не мог бы оставаться у него ни при каких обстоятельствах. К моему прискорбию, Джон, вы верно о нем судили. Может быть, это смешная слабость, Джон, но, поверьте, мне было очень тяжело и горько узнать это.

Тому не было нужды так умоляюще глядеть на своего друга, безмолвно и кротко прося его не смеяться над этими словами. Джон Уэстлок был так же далек от этой мысли, как и от того, чтобы свалить его на пол ударом кулака.

— Все это была моя мечта,— сказал Том,— но с нею теперь кончено. Когда-нибудь в другой раз я вам расскажу, что случилось. Примиритесь с моей причудой, Джон, сейчас мне не хочется ни думать, ни говорить об этом.

— Клянусь вам, Том,— очень серьезно отвечал его друг, помолчав несколько времени,— теперь, когда я понял, как много это для вас значит, я и сам не знаю, радоваться или печалиться, что вы, наконец, сделали такое открытие. Я упрекаю себя за то, что когда-то шутил над вами.

— Дорогой друг,— сказал Том, протягивая руку,— очень великодушно и благородно с вашей стороны так отнестись ко мне и к моему открытию. Мне совестно думать, что я колебался хоть минуту, идя сюда. Вы не знаете, какая тяжесть снята с моей души,— продолжал Том жизнерадостно, снова берясь за нож и вилку.— Сейчас я нанесу порядочный урон кабаньей голове.

Хозяин, которому эти слова напомнили о его обязанностях, немедленно принялся накладывать на тарелку приятеля всякого рода яства, несовместимые друг с другом, так что Том позавтракал весьма основательно и почувствовал себя значительно лучше.

— Ну, вот и хорошо,— сказал Джон, с неописуемым удовольствием следивший за каждым движением Тома.— А теперь насчет ваших планов. Вы, конечно, остановитесь у меня. Где ваш сундук?

— В гостинице,— сказал Том.— Я и не думал...

— Неважно, о чем вы не думали,— прервал его Джон Уэстлок.— Поговорим лучше о том, что́ вы хотели делать. Вы хотели, приехав сюда, посоветоваться со мной — не так ли, Том?

— Разумеется.

— И послушаться моего совета, если я его дам?

— Да,— сказал Том с улыбкой,— если ваш совет будет хорош, в чем я не сомневаюсь, раз он ваш.

— Отлично. Тогда прежде всего не будьте упрямым старым чудаком, не то я закрою лавочку и не отпущу вам столь ценный товар. Вы у меня в гостях, Том. Жаль, что здесь нет для вас органа.

— Не сомневаюсь, что нижние и верхние жильцы тоже об этом жалеют,— ответил Том.

— Позвольте. Во-первых, вы захотите нынче же утром повидаться с вашей сестрой,— продолжал его друг,— и, разумеется, пойдете к ней один. Я немного провожу вас, потом мне нужно будет зайти по одному делу, а днем мы встретимся. Положите вот это в карман. Это всего только ключ от двери. Если вы вернетесь домой первым, он вам понадобится.

— Право,— сказал Том,— вселиться к приятелю таким образом...

— Да ведь у меня два ключа,— прервал его Джон Уэстлок.— Не могу же я отпирать дверь двумя ключами сразу, не правда ли? Какой вы, право, смешной, Том! Не хотите ли вы заказать чего-нибудь к обеду?

— О боже мой, нет! — сказал Том.

— Хорошо, тогда можете предоставить все это мне. Хотите выпить рюмку вишневой наливки?

— Ни единой капли! Какая замечательная у вас квартира! — сказал Пинч.— В ней есть решительно все.

— Господь с вами, Том! Ничего особенного, кроме маленьких холостяцких ухищрений; всякие приспособления на скорую руку, какие мог бы придумать Робинзон Крузо или Филипп Кворл, вот и все. Ну, как вы решили? Идем?

— Разумеется! — воскликнул Том.—Когда вам угодно.

Дав Тому газету, Джон вытряхнул из сапогов французские булки, натянул сапоги и переоделся. Когда он вернулся, одетый для прогулки, Том сидел, невесело задумавшись, с газетой в руках.

— Мечтаете, Том?

— Нет,— сказал мистер Пинч,— нет, не мечтаю. Я просматривал объявления, думая, что, может быть, найдется что-нибудь подходящее. Но, как я часто замечал, самое удивительное то, что там ни для кого нет ничего подходящего. Тут и всякого рода хозяева, которым нужны всякого рода слуги, и всякого рода слуги, которым нужны всякого рода хозяева, но они, по-видимому, никогда не встречаются. Тут и джентльмен, состоящий на службе и временно стесненный в средствах, ищет занять пятьсот фунтов; а в следующем объявлении другой джентльмен желает кому-нибудь одолжить именно эту сумму. Но они так и не сговорятся, Джон, поверьте! Тут и дама с небольшим капиталом, которая желает поселиться в тихом и приятном семействе, а рядом семейство, которое рекомендует себя именно этими словами, что оно «тихое и приятное» и желает поселить у себя именно такую даму. Но она никогда к ним не попадет! И точно так же никто из одиноких джентльменов, желающих снять просторную светлую спальню, с правом пользоваться гостиной, никогда не договорится с домохозяевами, живущими в сельской местности, славящейся живительным воздухом, в пяти минутах ходьбы от Лондонской биржи. И даже те буквы алфавита, которые вечно убегают от своих друзей и которых умоляют возвратиться на самом верху столбца, по-видимому никогда не возвращаются, если судить по тому, сколько раз их об этом просят. Право, кажется,— сказал Том, со вздохом откладывая газету,— будто людям доставляет такое же удоволь-

ствие жаловаться в печати, как и изливаться кому-нибудь устно; как будто им станет легче и спокойнее на душе оттого, что они заявят: «Мне нужна такая-то и такая-то вещь, но я не могу ее добиться; и думаю, что не добьюсь никогда!»

Джон Уэстлок засмеялся, и они вышли на улицу вместе. Так много лет прошло с тех пор, как Том был последний раз в Лондоне, и он так мало знал город, что теперь проявлял чрезвычайное любопытство ко всему, что видел. Он особенно хлопотал о том, чтобы среди прочих достопримечательностей ему непременно показали те улицы, где специально грабят приезжих, и был вконец разочарован тем, что в течение получаса никто не залез к нему в карман. Но после того как Джон Уэстлок изобрел ему в утешение карманника, обвинив в принадлежности к этой братии одного весьма почтенного незнакомца, Том пришел в восторг.

Друг проводил его почти до самого Кемберуэла и, уверившись, что он без ошибки найдет дом богатого заводчика, расстался с ним и пошел по своим делам. Остановившись перед большой ручкой от звонка, Том осторожно потянул за нее. Явился привратник.

— Скажите, пожалуйста, живет здесь мисс Пинч? — спросил Том.

— Мисс Пинч здесь гувернантка,— ответил привратник.

В то же время он оглядел Тома с головы до ног, как бы говоря: «И ты тоже хорош; откуда изволил явиться?»

— Это она и есть,— сказал Том.— Совершенно верно. Она дома?

— Почем же мне знать,— отвечал привратник.

— Не будете ли вы так добры справиться? — сказал Том. Он очень робко и деликатно намекнул на такую возможность, ибо она, по-видимому, не приходила привратнику в голову.

Суть была в том, что привратник, отворив на звонок калитку, сейчас же позвонил в дом (ибо, если жить, подражая баронам, то надо делать все так, как у них полагается), и на этом его служебные обязанности закончились. Будучи нанят для того, чтобы отпирать и запирать ворота, а не для того, чтобы объясняться с посторонними,

он предоставил разбираться в этом маленьком инциденте ливрейному лакею с аксельбантами, который как раз в это время крикнул с порога:

— Эй, вы, там, вам чего надо? Сюда идите, молодой человек!

— О,— сказал Том,— я и не заметил, что тут есть кто-нибудь еще. Скажите, пожалуйста, мисс Пинч дома?

— Она никуда не уходила,— возразил лакей, как бы желая этим сказать Тому: «Но если вы вообразили, что она у себя дома и что этот дом ее собственный, то лучше вам эту идею бросить».

— Я бы хотел ее видеть, если можно,— сказал Том.

Лакей, будучи молодым человеком живого характера, как раз засмотрелся на пролетавшего голубя и настолько увлекся, что не отрывал взгляда до тех пор, пока голубь не скрылся из виду. После чего он пригласил Тома войти и проводил его в гостиную.

— Фамилия? — спросил молодой человек, с томным видом останавливаясь в дверях.

Это он придумал удачно; ибо такой вопрос, не доставляя посетителю, если б он оказался вспыльчивого характера, достаточного повода закатить молодому человеку оплеуху, давал вместе с тем понять, какое мнение составил молодой человек о госте, и освобождал его от гнетущей необходимости только про себя считать гостя ничтожеством и темной личностью.

— Передайте, пожалуйста, что это ее брат,— сказал Том.

— Мать? — томно проблеял лакей.

— Брат,— повторил Том, слегка повысив голос.— И если вы скажете сначала, что это один джентльмен, а потом, что это ее брат, я буду очень вам обязан, потому что она меня не ждет и не знает, что я в Лондоне, а мне не хотелось бы пугать ее.

Молодой человек давным-давно потерял всякий интерес к словам Тома, однако он сделал ему любезность и дал договорить, после чего удалился, закрыв за собой дверь.

«Боже мой! — подумал Том.— Можно ли вести себя так неуважительно и невежливо. Надеюсь, что это новые слуги и что с Руфью обращаются совсем по-другому».

Его размышления были прерваны голосами, доносившимися из соседней комнаты. Там, по-видимому, о чем-то громко пререкались или негодующе упрекали провинившегося, и спор, становясь все громче и громче, разразился, наконец, целой бурей. Во время этой бури, как показалось Тому, лакей и доложил о нем, потому что сразу воцарилась неестественная тишина, а потом и мертвое молчание. Том стоял у окна, гадая, какая семейная ссора могла породить такой шум, и надеясь, что Руфь не имеет никакого отношения к ней, как вдруг дверь отворилась и сестра бросилась ему на шею.

— Господи помилуй! — сказал Том, глядя на нее с гордостью, после того как они нежно обняли друг друга.— Как ты изменилась, Руфь! Право, я вряд ли узнал бы тебя, милая, если бы увидел еще где-нибудь! Ты очень похорошела,— сказал Том с невыразимой радостью,— стала такая женственная, такая, право, знаешь ли,— красивая!

— Если тебе это кажется, Том...

— Нет, это не только мне кажется,— сказал Том, ласково гладя ее волосы.— Это не только мое мнение, а в самом деле так. Но что с тобой? — спросил Том, вглядываясь в нее пристальнее.— Ты вся раскраснелась! Да ты плакала!

— Нет, я не плакала, Том.

— Пустяки,— твердо сказал ее брат,— это неправда. Меня не проведешь! Не спорь со мной. В чем дело, милая? Я ведь теперь не у мистера Пекснифа. Я собираюсь устроиться в Лондоне, и если тебе здесь нехорошо (а я очень боюсь, что нехорошо, и начинаю думать, что ты меня обманывала, хотя и с самыми лучшими намерениями), ты здесь не должна оставаться.

Ого! Том вышел из себя — подумать только! Быть может, тут повлияла кабанья голова, и уж наверняка повлиял лакей. А также и встреча с милой сестрой — она значила очень много. Том Пинч мог стерпеть что угодно сам, но он гордился своей сестрой,— а гордость щепетильна. У него явилась мысль: «Быть может, Пекснифов много на свете?» — и, весь разгоревшись от негодования, он сразу почувствовал колотье во всем теле.

— Мы поговорим еще, Том,— сказала Руфь, целуя

брата в щеку, чтобы его успокоить.— Боюсь, что мне нельзя здесь оставаться.

— Нельзя? — сказал Том.— Ну что ж, тогда и не надо, дорогая. Слава богу! Ты не из милости здесь живешь. Честное слово!

Восклицания Тома были прерваны лакеем, который явился с поручением от своего барина и сообщил, что тот желает поговорить с Томом до его ухода, а также и с мисс Пинч.

— Проводите меня,— сказал Том.— Я сейчас же иду к нему.

Они прошли в комнату рядом, откуда раньше слышны были пререкания, и застали там пожилых лет господина с напыщенной речью и напыщенными манерами, а также пожилую даму, лицо которой, если можно так выразиться, подлежало акцизному сбору, ибо состояло по преимуществу из крахмала и уксуса. Кроме того, здесь присутствовала старшая воспитанница мисс Пинч, та самая, которую миссис Тоджерс в свое время окрестила «сиропчиком» и которая теперь плакала и рыдала от злости.

— Мой брат, сэр,— робко сказала Руфь, представляя Тома.

— О! — воскликнул джентльмен, внимательно озирая Тома.— Вы действительно брат мисс Пинч? Извините, что я спрашиваю. Я не вижу никакого сходства.

— У мисс Пинч имеется брат, я знаю,— заметила дама.

— Мисс Пинч всегда говорит про своего брата, вместо того чтобы заниматься моим образованием,— прорыдала воспитанница.

— Молчать, София! — заметил джентльмен.— Садитесь, пожалуйста,— обратился он к Тому.

Том сел, переводя взгляд с одного лица на другое в немом изумлении.

— Останьтесь здесь, пожалуйста, мисс Пинч,— продолжал джентльмен, оглядываясь через плечо.

Том прервал его, поднявшись с места, и подал стул своей сестре. После чего опять сел.

— Я очень рад, что вы случайно зашли навестить вашу сестру именно сегодня,— продолжал владелец

латунно-и меднолитейных заводов,— ибо, хотя в принципе я не одобряю, что молодая особа, служащая у меня в доме в качестве гувернантки, принимает посетителей, в данном случае это произошло весьма кстати. К сожалению, должен вам сказать, что мы вовсе не так довольны вашей сестрой.

— Мы очень недовольны ею! — заметила дама.

— Я ни за что не буду больше отвечать уроки мисс Пинч, хоть бы меня избили до полусмерти! — прорыдала воспитанница.

— София! — прикрикнул на нее отец.— Замолчи!

— Вы позволите осведомиться, какие у вас основания быть недовольным? — спросил Том.

— Да,— сказал джентльмен,— позволю. Я не считаю, что вы имеете на это право, но все-таки позволю. Ваша сестра от природы лишена способности внушать уважение. Это и было постоянным источником несогласий между нами. Хотя она живет в этой семье уже давно и хотя присутствующая здесь молодая особа выросла, можно сказать, под ее руководством, эта молодая особа не питает к ней уважения. Мисс Пинч оказалась совершенно неспособна внушить уважение моей дочери или завоевать ее доверие. Так вот,— сказал джентльмен, и его ладонь с силой шлепнулась о стол,— такое положение вещей совершенно недопустимо! Вы, как брат, может быть, склонны отрицать это...

— Простите, сэр! — сказал Том.— Я вовсе не склонен отрицать это. Такое положение вещей не только недопустимо, оно просто чудовищно.

— Боже милостивый! — воскликнул джентльмен, с достоинством озирая комнату.— К чему же это привело в данном случае? Какие последствия проистекают из слабости характера, проявленной мисс Пинч? Что я должен был почувствовать как отец, когда, после того как я неоднократно выражал желание (чего, думаю, *она* не станет отрицать), чтобы моя дочь отличалась изяществом выражений, благородством манер, подобающим ее положению в обществе, и сдержанной учтивостью с нижестоящими, я узнаю, что она, не далее как сегодня утром, назвала самое мисс Пинч нищенкой!

— Нищей дрянью,— поправила его дама.

— Что еще хуже,— с торжеством заметил джентльмен,— что еще хуже! Нищая дрянь! Низкое, грубое, неуважительное выражение!

— В высшей степени неуважительное! — воскликнул Том.— Я очень рад, что оно нашло здесь верную оценку.

— Настолько верную, сэр,— произнес джентльмен, понизив голос для пущей внушительности,— настолько верную, что, если б я не знал мисс Пинч как сироту и одинокую молодую особу, не имеющую друзей, я бы порвал всякие отношения с ней сию же минуту и навсегда, в чем я и уверял мисс Пинч только что, ссылаясь на известную ей прямоту моего характера и мою репутацию.

— Ну, знаете ли, сэр! — крикнул Том, вскочив со стула; он уже не в силах был сдерживаться более.— Пожалуйста, не останавливайтесь из-за таких соображений. Ничего этого нет, сэр. Она не одинока, она может уйти хоть сию минуту. Руфь, милая моя, надевай шляпку!

— Ну и семейка! — воскликнула дама.— Конечно, он ей брат! Какое может быть сомнение!

— Никакого сомнения, сударыня,— сказал Том,— так же как и в том, что эта молодая девица воспитана вами, а не моей сестрой. Руфь, милая моя, надевай шляпку!

— Когда вы говорите, молодой человек,— высокомерно прервал его владелец латунно- и меднолитейных заводов,— со свойственной вам дерзостью, которой я в дальнейшем не намерен замечать, что эта молодая особа, моя старшая дочь, воспитана не мисс Пинч, а кем-то другим, вы... мне нет надобности продолжать. Вы вполне меня понимаете. Не сомневаюсь, что для вас это не ново.

— Сэр! — воскликнул Том, после того как некоторое время глядел на него в молчании.— Если вы не понимаете, что я хочу сказать, я готов объяснить вам. Но если вы понимаете, я попрошу вас осторожнее выбирать выражения. Я хотел сказать, что ни один человек не может ожидать от своих детей уважения к тому, кого он сам унижает.

— Ха-ха-ха! — расхохотался джентльмен.— Притворство! Обычное притворство!

— Обычная история, сэр! — сказал Том.— Обычная для людей с низкой душой. Разумеется, ваша гувернантка не может завоевать доверие и уважение ваших детей! Но

пусть она сначала добьется этого от вас, и посмотрим, что тогда будет.

— Мисс Пинч надевает шляпку, я полагаю? — сказал джентльмен, обращаясь к жене.

— Полагаю, что надевает,— сказал Том, предупреждая ответ.— Не сомневаюсь, что надевает. А тем временем я хочу поговорить с вами, сэр, Вы сообщили мне ваше мнение — вы пожелали видеть меня с этой целью,— и я имею право ответить. Я не кричу и не буйствую,— сказал Том, что было совершенно верно,— хотя вряд ли могу сказать то же о вас, о вашей манере обращаться ко мне. И я бы желал, в интересах моей сестры, установить только правду.

— Вы можете устанавливать все что вам угодно, молодой человек,— возразил джентльмен, притворно зевая.— Дорогая моя, деньги мисс Пинч.

— Если вы мне говорите,— продолжал Том, в каждом слове которого, несмотря на всю его сдержанность, кипело негодование,— если вы мне говорите, что моя сестра неспособна внушить уважение вашим детям, то я должен вам сказать, что это не так и что у нее есть эта способность. Она так же хорошо воспитана, так же хорошо образована, так же наделена от природы способностью внушать уважение, как любой известный вам наниматель гувернанток. Но раз вы обращаетесь с ней хуже, чем с любой горничной в вашем доме, то как же вы не понимаете, если наделены здравым смыслом, что ваши дочери будут с ней обращаться в десять раз хуже?

— Недурно! Честное слово, недурно! — воскликнул джентльмен.

— Это очень дурно, сэр,— сказал Том.— Это очень дурно, и низко, и несправедливо, и жестоко! Уважение! Я полагаю, дети достаточно сообразительны, чтобы подмечать за взрослыми и подражать им; каким образом и с какой стати им уважать того, кого никто не уважает и оскорбляют все? И действительно, как им полюбить науки, когда они видят, до чего успехи в этих самых науках довели их гувернантку! Уважение! Поставьте самого уважаемого человека в такие условия, в какие вы поставили мою сестру, и вы унизите его точно так же, кто бы он ни был.

— Ваши слова чрезвычайно дерзки, молодой человек,— заметил джентльмен.

— Я говорю без злобы, но с величайшим негодованием и презрением ко всем тем, кто ведет себя подобным образом,— сказал Том.— Да как же вы можете, если вы честный человек, выражать неудовольствие или удивляться тому, что ваша дочь назвала мою сестру нищенкой, если вы сами вечно твердите ей то же на сто ладов, ясно и откровенно, хотя и не словами, и если ваши привратник и лакей с той же деликатностью говорят это первому встречному? Что же касается ваших подозрений и недоверия к ней, чуть ли не к каждому ее слову,— если она их заслужила, зачем же вы ее у себя держите? Вы не имеете на это права.

— Не имею права! — воскликнул владелец латунно- и меднолитейных заводов.

— Решительно никакого,— ответил Том.— Если вы воображаете, что уплата определенной суммы в год дает вам это право, вы страшно преувеличиваете ценность и власть денег. Ваши деньги тут самое последнее дело. Вы можете платить их секунда в секунду по часам, и все же оказаться банкротом. Мне нечего больше сказать вам,— заключил Том, сильно разгоряченный и взволнованный,— разве только попросить у вас разрешения подождать в саду, пока сестра будет готова.

И, не дожидаясь разрешения, Том вышел из комнаты.

Он еще не успел сколько-нибудь остыть, как сестра присоединилась к нему. Она плакала, и Том не мог вынести мысли, что кто-нибудь в доме увидит ее слезы.

— Подумают, что тебе жаль уходить отсюда,— сказал Том.— Ведь тебе не жаль?

— Нет, Том, нет! Мне давно уже хотелось уйти.

— Ну и отлично в таком случае! Не плачь! — сказал Том.

— Я так огорчилась за тебя, милый,— сквозь слезы сказала сестра Тома.

— Это вместо того, чтобы радоваться за меня! С тобой я стану вдвое счастливее. Держи голову выше — вот так! Теперь мы уйдем как следует — без шума, но твердо и уверенно.

Мысль, что Том с сестрой могли бы при каких бы то ни было обстоятельствах поднять шум, была совершенной нелепостью. Но Том в своем волнении вовсе этого не чувствовал и вышел из ворот с таким строгим и решительным выражением лица, что привратник едва узнал его.

И только после того как они отошли немного и Том успел до некоторой степени остыть и собраться с мыслями, его окончательно привел в себя вопрос сестры, которая сказала своим приятным, тихим голосом:

— Куда же мы идем с тобой, Том?

— Боже мой! — сказал Том, останавливаясь.— Я не знаю!

— Ведь ты... ведь ты живешь где-нибудь, милый? — спросила Руфь, печально заглядывая ему в лицо.

— Нет,— сказал Том.— Не то чтобы... пока еще не живу. Я только сегодня утром приехал. Нам нужно найти квартиру.

Он не сказал ей, что собирался остановиться у своего приятеля Джона и что никак не может навязать ему двух жильцов, из которых один — молодая девушка; он знал, что это ее встревожит и даст ей повод считать себя обузой для брата. Не хотелось ему также оставлять ее где-нибудь, пока он зайдет к Джону, чтобы сообщить ему о перемене своих планов; ибо, зная деликатность своего друга, он не хотел злоупотреблять ею. Поэтому он опять сказал:

— Нам, разумеется, нужно найти квартиру,— и сказал это так твердо, как будто сам был полным справочником и путеводителем по лондонским квартирам.— Где же нам ее искать? Как ты думаешь?

Сестра знала немногим больше Тома. Она сунула свой маленький кошелек ему в карман, потом положила одну ручку на другую, продетую под руку Тома, и ничего не сказала.

— Где-нибудь в дешевой местности,— сказал Том,— и недалеко от Лондона. Дай подумать. Как, по-твоему, Излингтон * хорошее место?

— Мне кажется, это прекрасное место, Том.

— Он когда-то назывался «Веселый Излингтон»,— сказал Том.— Может быть, он и теперь веселый; что ж, тем лучше. А?

— Если только там не очень дорого,— сказала сестра Тома.

— Конечно, если там не очень дорого,— согласился Том.— Ну, так где же это Излингтон? Нам, я думаю, лучше всего туда отправиться. Идем.

Сестра Тома пошла бы с ним куда угодно; и они отправились в путь, взявшись под руку, как нельзя более довольные. Разузнав, наконец, что Излингтон совсем не в той стороне, Том стал наводить справки, как туда проехать, и скоро узнал и это. По дороге в Излингтон они говорили не умолкая. Том рассказывал сестре, что случилось с ним, а сестра рассказывала, что случилось с нею, и обоим надо было сказать так много, что не хватило времени; и когда они доехали до места, им казалось, что они едва начали разговаривать, по сравнению с тем, сколько осталось еще несказанным.

— Ну,— сказал Том,— нам надо сначала поискать где-нибудь улицу поскромней, а потом смотреть, где есть билетики на окнах.

И они опять пошли пешком, такие веселые, будто только что вышли из собственного уютного домика искать квартиру для кого-нибудь другого. Простодушие Тома, видит бог, нисколько не уменьшилось с годами, но теперь, зная, что ему есть о ком заботиться, он стал больше надеяться на себя и сделался, по его собственному мнению, способен решительно на все.

После того как они несколько часов ходили по улицам взад и вперед и пересмотрели десятки квартир, им это начало казаться довольно утомительным, особенно потому, что они не видели ничего сколько-нибудь для себя подходящего. Наконец в одном особенно старомодном домике, в конце тупика, они разыскали две маленьких спальни и треугольную гостиную, которые показались им подходящими. То, что они пожелали занять квартиру немедленно, было довольно подозрительным обстоятельством, но даже и это препятствие удалось преодолеть, уплатив тут же за неделю вперед, а также сославшись на Джона Уэстлока, эсквайра, Фэрнивелс-Инн, Верхний Холборн.

Ах, до чего же приятно было видеть, как Том с сестрой, разрешив этот важный вопрос, бегают по лавкам —

к булочнику, к мяснику, к бакалейщику — и с каким радостным страхом перед непривычными хозяйственными заботами потихоньку советуются друг с другом, покупая какую-нибудь мелочь, и как их сбивает с толку каждый вопрос лавочника! Как, вернувшись в треугольную гостиную, сестра Тома суетится и хлопочет о тысяче милых пустяков, время от времени останавливаясь, чтобы поцеловать старину Тома или улыбнуться ему, а Том потирает руки с таким видом, будто он владелец всего Излингтона.

Однако дело шло уже к вечеру, Тому давно пора было встретиться со своим другом, как они условились. Уговорившись с сестрой, что они позволят себе роскошь поужинать котлетами в девять часов, в награду за то, что оба они остались без обеда, он ушел, чтобы рассказать Джону обо всех этих удивительных событиях.

«Вот я и стал настоящим семейным человеком,— думал Том.— Если б только достать работу, как бы хорошо было нам с Руфью! Ах, это «если»! Но что толку унывать. Это еще успеется, когда я перепробую все и везде потерплю неудачу, да и тогда оно мало поможет. Честное слово,— думал Том, ускоряя шаг,— Джон, верно, ломает голову, что такое со мной случилось. Он, должно быть, уже беспокоится, не забрел ли я на те улицы, где режут приезжих провинциалов, и не наделали ли из меня мясных пирожков; да и мало ли какие ужасы в том же роде приходят ему в голову».

ГЛАВА XXXVII

Том Пинч, сбившись с дороги, узнает, что не он один находится в затруднительном положении. Он сводит счеты с поверженным врагом

Злой гений Тома не завел его в логово фабриканта, изготовителя тех каннибальских лакомств, какими весьма бойко торгует столица, если верить ходячим среди провинциалов басням; не сделал он его и жертвой фокусни-

ков, зазывал, обманщиков, фальшивомонетчиков и других жуликов, обходящихся без кровопролития, но зато куда лучше известных полиции. Тому не пришлось также завести знакомство с одним из тех субъектов, которые обычно заманивают свою жертву в трактир, а там знакомят его еще с одним человечком, который клянется, что денег у него в кармане куда больше, чем у любого джентльмена, причем вскоре оказывается, что это так и есть, потому что он этого джентльмена тут же ухитрился обобрать. Словом, он не попал ни в одну из ловушек, которые незаметным образом расставлены повсюду в общественных местах столицы. Зато он сбился с дороги и, стараясь ее отыскать, отклонялся в сторону все больше и больше.

Надо сказать, что Том в своем простодушном недоверии к Лондону принял необычайно мудрое решение — по возможности не расспрашивать о дороге, разве только если он окажется по соседству с Монетным двором или же с Английским банком; в таком случае можно будет, пожалуй, войти и вежливо задать вопрос-другой, полагаясь на совершенную респектабельность учреждения. И потому он шел все дальше и дальше, заглядывая во все улицы по дороге и завертывая в каждую вторую из них; и, таким образом, отклонившись в сторону от Госуэлстрит, заплутавшись в Олдерменбери, сделав крюк по Барбикену и упорно придерживаясь неверного направления на Лондонском валу, он забрел неизвестно каким образом на Темз-стрит и, руководимый инстинктом, силе которого надо было бы просто удивляться, если бы Том имел хоть малейшее желание или надобность туда попасть, очутился в конце концов поблизости от Монумента.

Человек при Монументе был для Тома таким же загадочным существом, как человек на луне. Тому пришло в голову, что одинокий обитатель этих мест, державшийся, подобно какому-нибудь столпнику древности, в стороне от мирской суеты, и есть то самое лицо, у которого ему следует спросить дорогу. Быть может, он окажется холоден, проявит, быть может, мало сочувствия к мирским страстям — Монумент казался слишком высок для сочувствия,— но если истина не обитает в цоколе Монумента, вопреки начертанному на нем двустишию Попа *, то где же в Лондоне (думал Том) можно ее отыскать?

Подойдя вплотную к колонне, Том испытал большое облегчение, заметив, что человек при Монументе не утратил простых вкусов; что, хотя его резиденция была сооружением искусственным и гранитным, он все же сохранил некоторые сельские привычки — любил цветы, держал птиц в клетках, не отказывал себе в свежем салате и выращивал молоденькие деревца в кадках. Сам человек при Монументе сидел тут же перед дверью, перед собственной дверью, которая была дверью Монумента,— какая возвышенная мысль! — и в данную минуту зевал, словно и не было никакого Монумента для того чтобы пресечь эту зевоту и наполнить его жизнь глубоким смыслом.

Итак, Том хотел уже подойти к этому замечательному существу и спросить у него дорогу в Фэрнивелс-Инн, но тут явилось двое желающих осмотреть Монумент. Это были джентльмен с дамой, и джентльмен спросил:

— Почем с каждого?

Человек при Монументе ответил:

— По полмонеты.

Применительно к Монументу такое выражение показалось Тому недостаточно возвышенным.

Джентльмен сунул шиллинг человеку при Монументе, и тот открыл перед ними темную маленькую дверцу. После того как джентльмен с дамой скрылись из виду, он опять закрыл дверцу и вернулся к своему стулу.

Усевшись, он засмеялся.

— Не знают они, сколько там ступенек,— сказал он.— Вдвое больше заплатишь, лишь бы не лазить туда. Ох, умора!

Человек при Монументе был циник и притом не чуждался мирской суеты! Том не стал спрашивать у него дорогу. Он уже не решался верить ни единому его слову.

— Боже мой! — воскликнул очень знакомый голос за спиной мистера Пинча.— Ну да, конечно это он!

В ту же минуту его ткнули в спину зонтиком. Обернувшись, чтобы узнать, что значит такое приветствие, Том узрел старшую дщерь своего бывшего патрона.

— Мисс Пексниф! — произнес Том.

— Ах, боже праведный, мистер Пинч! — воскликнула Черри.— Что вы тут делаете?

— Я немножко сбился с дороги,— сказал Том.— Я...

— Надеюсь, что вы сбежали,— сказала Чарити.— Это было бы вполне уместно и кстати, раз папа до такой степени забылся.

— Я от него ушел,— сказал Том,— но это было по обоюдному согласию. Я не убежал тайком.

— Он женился? — спросила Чарити, судорожно вздергивая подбородок.

— Нет, еще не женился,— сказал Том, краснея.— И вряд ли женится, я думаю, если... если предмет его страсти мисс Грейм.

— Подите вы, мистер Пинч! — негодующе воскликнула Чарити.— Вас очень легко обмануть! Вы не знаете, на какие фокусы способны эти твари. Ах, какой это безнравственный мир!

— Вы не замужем? — намекнул Том, чтобы перевести разговор на другое.

— Н-нет! — сказала Черри, обводя концом зонтика плиту на тротуаре.— Я... но, право, это совершенно невозможно объяснить. Вы не зайдете к нам?

— Так, значит, вы живете здесь? — спросил Том.

— Да,— ответила мисс Пексниф, указывая зонтиком на пансион миссис Тоджерс,— пока я живу у этой дамы.

Сильное ударение на слове «пока» дало Тому понять, что от него ждут какого-нибудь замечания по этому поводу, и оттого он сказал:

— Только пока? Вы скоро уезжаете домой?

— Нет, мистер Пинч,— возразила Чарити.— Нет, покорно благодарю! Нет! Мачеха, которая моложе, то есть я хочу сказать... почти одних со мной лет, мне вовсе не подходит. Вовсе не подходит! — повторила Чарити, задрожав от злости.

— Я потому так подумал, что вы сказали «пока»,— заметил Том.

— Ну, право, честное слово! Вот уж не думала, что вы ко мне так пристанете с этим, мистер Пинч,— сказала Чарити, краснея,— не то я не сделала бы такой глупости, не намекнула бы на... нет, право... может быть, все-таки зайдете?

Том упомянул, уклоняясь от приглашения, что у него есть дело в Фэрнивелс-Инне и что по дороге из Излинг-

тона он несколько раз ошибся поворотом и попал вместо того к Монументу. Мисс Пексниф долго жеманилась, когда он спросил, не знает ли она, как пройти в Фэрнивелс-Инн, и в конце концов набралась смелости ответить:

— Один джентльмен, с которым мы друзья, то есть не то чтобы он был мне друг, а так, один знакомый... Ах, право, я сама не знаю, что говорю, мистер Пинч! Не думайте, пожалуйста, что мы помолвлены, а если даже и помолвлены, то это пока еще вовсе не решено. Так вот, он идет сейчас в Фэрнивелс-Инн по одному небольшому делу, и я уверена, будет очень рад проводить вас, чтобы вы опять не заблудились. Самое лучшее, зайдите к нам. Вы, верно, еще застанете здесь сестру Мерри,— сказала она, как-то особенно вздернув нос и улыбаясь не слишком приятно.

— Тогда уж лучше я попробую как-нибудь сам найти дорогу,— сказал Том,— я боюсь, что она не очень рада будет меня видеть. Это несчастное происшествие, которое дало повод к нашей дружеской беседе с глазу на глаз, вряд ли могло внушить ей добрые чувства ко мне. Хотя, в сущности, я был не виноват.

— Она об этом и не слыхала, можете быть уверены,— сказала Чарити, поджимая губы и кивая Тому.— Да если бы даже и услыхала — не думаю, чтобы она очень рассердилась на вас.

— Что вы говорите? — воскликнул Том, не на шутку огорчившись этим намеком.

— Я ничего не говорю,— отвечала Чарити.— Если бы я не знала, как гадки сами по себе предательство и обман, то, наверно, убедилась бы теперь, видя, как они вознаграждаются... да, как они вознаграждаются! — Тут она улыбнулась, все так же криво.— Но я ровно ничего не говорю. Наоборот, пренебрегаю этим. Вам лучше всего зайти.

В этих словах чувствовалось нечто затаенное, что заинтересовало Тома и встревожило его жалостливое сердце. Когда он в нерешительности взглянул на Чарити, то не мог не заметить на ее лице борьбы между чувством торжества и чувством стыда; не мог он также не видеть, что, встретившись глазами даже с ним, которого она ни

во что не ставила, мисс Пексниф отвернулась, хотя все ее существо дышало желчным вызовом.

Тому пришла в голову тревожная мысль, смутная догадка, что перемена в его отношениях с Пекснифом каким-то образом сказалась и на его отношении к другим людям, дав ему возможность понимать то, чего он раньше и не подозревал. И все же он не постигал истинного смысла маневров Чарити. Он, разумеется, и понятия не имел о том, что, поскольку он был свидетелем и очевидцем ее унижения, она с радостью ухватилась за этот случай уязвить свою сестру, сделав Тома свидетелем ее гораздо более глубокого унижения; он ничего об этом не знал, и сестра эта представлялась ему все тем же легкомысленным, беспечным, заурядным созданьем, каким была всегда, все с тем же пренебрежительным отношением к Тому Пинчу, чего она даже не трудилась скрывать. Словом, у него осталось только смутное впечатление, что мисс Пексниф злится и ведет себя не по-сестрински; и, любопытствуя, в чем дело, он пошел за ней по ее приглашению.

Дверь отворили, и Черри, попросив Тома следовать за ней, подвела его к дверям гостиной.

— Ах, Мерри,— сказала она, заглядывая в комнату,— до чего я рада, что ты еще не ушла домой. Как ты думаешь, кого я встретила на улице и привела повидаться с тобой? Мистера Пинча! Вот он! Представляю себе, как ты удивлена.

Она была не более удивлена, чем Том, увидев ее,— далеко не так; гораздо меньше.

— Мистер Пинч ушел от папы, дорогая моя,— продолжала Черри,— и у него самые блестящие виды на будущее. Я пообещала, что Огастес проводит его, ему это по дороге. Огастес, дитя мое, где вы?

С этими словами мисс Пексниф выпорхнула из гостиной, визгливо призывая мистера Модля, и оставила Тома Пинча наедине с сестрой.

Если бы она всегда была ему самым добрым другом; если бы во времена его рабства она обращалась с ним с тем уважением, в каком везде и всюду отказано честным труженикам, если бы она старалась облегчить ему каждую минуту этих трудных лет; если б она постоянно

щадила и никогда не оскорбляла его,— то и тогда его честное сердце не могло бы проникнуться более глубокой жалостью к ней, не могло бы так начисто освободиться от всех неприятных воспоминаний, как теперь.

— Боже мой! Из всех людей на свете я меньше всего, разумеется, ожидала увидеть вас!

Тому грустно было слышать, что она разговаривает все так же, по старой своей привычке. Этого он не ожидал. Он не замечал противоречия и в том, что ему грустно видеть ее настолько непохожей на прежнюю Мерри, и вместе с тем грустно слышать, что она разговаривает совсем по-старому. И то и другое равным образом огорчало его.

— Не знаю, какое вам удовольствие видеться со мной. Не могу понять, что это вам вздумалось? Я никогда особенно не искала вашего общества. Мы с вами, кажется, всегда недолюбливали друг друга, мистер Пинч.

Ее шляпка лежала рядом на диване, и, говоря, она все время теребила ленты, очевидно не сознавая, чем заняты ее руки.

— Мы никогда не ссорились,— сказал Том. Он был прав: ибо нельзя ссориться в одиночку, как нельзя без противника играть в шахматы или драться на дуэли.— Я надеялся, что вы будете рады пожать руку старому другу. Не станем вспоминать прошлое,— сказал Том.— Если я когда-нибудь обидел вас, простите меня.

Она взглянула на него, потом выронила шляпку из рук, закрыла ими изменившееся лицо и залилась слезами.

— О мистер Пинч! — сказала она.— Хоть я всегда обращалась с вами плохо, а все же верила, что вы умеете прощать. Я не думала, что вы можете быть так жестоки.

То, что она говорила, было настолько непохоже на прежнюю Мерри, насколько этого мог пожелать Том. Однако она, по-видимому, укоряла его в чем-то, и он ее не понимал.

— Я редко это показывала, никогда, я знаю; но я так доверяла вам, что если бы мне предложили назвать человека, который менее всего способен ответить на обиду обидой, я бы не колеблясь назвала вас.

— Вы бы назвали меня? — повторил Том.

— Да,— сказала она с ударением,— я часто об этом думала.

После минутного размышления Том сел на стул рядом с ней.

— Неужели вам кажется,— сказал Том,— неужели вы можете думать, что мои слова имели какой-нибудь другой смысл, кроме самого простого и ясного? Я сказал только то, что думал, не поймите меня превратно. Если я вас обидел когда-нибудь, простите меня; это могло случиться. Вы никогда не оскорбляли и не обижали меня. За что же я стал бы мстить вам, даже если бы я был настолько злопамятен, чтобы желать этого?

Она поблагодарила его сквозь слезы и рыдания, сказав, что еще ни разу ей не было так грустно и так хорошо, с тех пор как она уехала из дому. И все же она горько плакала; а Тому Пинчу тем больнее было глядеть на ее слезы, что именно в эту минуту она особенно нуждалась в сочувствии и утешении.

— Ну будет, перестаньте! — сказал Том.— Ведь вы всегда были веселая.

— Да, была! — воскликнула она таким голосом, что у Тома сжалось сердце.

— И опять будете,— сказал Том.

— Нет, никогда не буду! Никогда, никогда больше не буду! Если вам придется когда-нибудь говорить со старым мистером Чезлвитом,— прибавила она, на мгновение подняв глаза,— мне казалось, что вы ему нравитесь, только он это скрывает,— обещайте передать ему, что вы видели меня здесь и что я помню все, о чем мы с ним говорили на кладбище.

Том пообещал, что расскажет.

— Часто, когда я жалела, что меня не отнесли на кладбище задолго до того дня, я вспоминала его слова. Я хочу, чтобы он знал, как верны они оказались, хотя я никогда в этом никому не признавалась и не признаюсь.

Том обещал и это, однако умолчав кое о чем. Боясь расстроить ее еще больше, он не сказал ей, как мало вероятия, что он еще раз повстречает старика.

— Если у вас будет такой разговор с ним, дорогой мистер Пинч,— продолжала Мерри,— скажите ему, что я просила передать это не ради себя самой, но для того,

чтобы он был более снисходителен, и более терпелив, и более доверчив, если он снова встретится с такой, как я, в трудную для нее минуту. Скажите ему, что если б он знал, как колебалось мое сердце, словно на весах, в тот день, и как немного нужно было, чтобы правда перевесила,— его собственное сердце облилось бы кровью от жалости ко мне.

— Да, да,— отвечал Том,— я ему скажу.

— Когда я казалась ему особенно недостойной его помощи, я была — я это знаю, потому что часто, часто думала об этом после,— я была всего ближе к тому, чтобы послушаться его слов. О, если бы он отнесся ко мне еще мягче; если бы он побыл со мной еще четверть часа; если бы он простер свое сострадание к пустой, легкомысленной, несчастной девушке немного дальше, он мог бы спасти ее, и я думаю, спас бы! Скажите, что я его не осуждаю и благодарна ему за ту попытку, которую он сделал; но попросите его, из любви к богу и к юности и из сочувствия к той борьбе, какую переживает неразумная, еще не знающая себя натура, скрывая силу, которую она считает слабостью,— попросите его никогда, никогда не забывать об этом, если он снова встретится с такой девушкой, как я!

Хотя Том и не мог уловить всего значения ее слов, он почти угадал его. Живо тронутый, он взял ее за руку и сказал, или хотел сказать, несколько слов ей в утешение. Она почувствовала и поняла их, несмотря на то, что они остались несказанными. Впоследствии Том никак не мог вспомнить, было это или не было, что она хотела в порыве благодарности броситься перед ним на колени.

Когда она ушла, он заметил, что не один в комнате. Миссис Тоджерс стояла тут же, покачивая головой. Нечего и говорить, что Том никогда не видел миссис Тоджерс, однако он понял, что это хозяйка дома; и в ее глазах он подметил искреннее сострадание, которое расположило его в ее пользу.

— Ах, сэр! Вы, я вижу, старый друг,— сказала миссис Тоджерс.

— Да,— сказал Том.

— И все-таки, я уверена,— произнесла миссис Тоджерс,— она вам не рассказала, в чем ее горе.

Тома поразили ее слова, потому что это была истинная правда.

— Да, действительно не рассказала,— ответил он.

— И никогда не расскажет,— подхватила миссис Тоджерс,— хотя бы вы виделись каждый день. Она мне никогда ни на что не жалуется, от нее не услышишь ни упрека, ни объяснения. Но я-то понимаю,— сказала миссис Тоджерс со вздохом,— я понимаю!

Том печально кивнул:

— И я тоже.

— Я твердо уверена,— произнесла миссис Тоджерс, доставая платок из плоского ридикюля,— что никто не знает и половины всего, что приходится выносить этой бедняжке, такой молоденькой. Но хотя она постоянно приходит сюда потихоньку, чтобы отвести душу, я никогда не слыхала от нее жалоб; скажет только: «Миссис Тоджерс, мне сегодня очень плохо, я думаю, что скоро умру», и сидит, плачет в моей комнате, пока ей не станет легче. Вот и всё. А ведь я уверена,— продолжала миссис Тоджерс, опять пряча платок,— что она меня считает близким другом.

Миссис Тоджерс могла бы сказать — лучшим другом. Джентльмены, занимающиеся коммерцией, и мясная подливка испортили характер миссис Тоджерс; корысть, такая ничтожная в данном случае, что поневоле приходилось смотреть в оба, как бы не упустить ее,— поглощала все внимание миссис Тоджерс. Но в каком-то закоулке сердца миссис Тоджерс, куда надо было взбираться по витой лестнице, и в таком темном углу, что ее легко было просмотреть, имелась потайная дверь с надписью «Женщина»; при первом прикосновении Мерси она раскрывалась и впускала ее.

Когда счета пансиона будут сверены со всеми другими книгами и ангел-летописец подведет окончательный итог и положит свое перо,— быть может, в его книгах отыщется такая запись в твою пользу, костлявая миссис Тоджерс, что ты покажешься красавицей!

Она быстро становилась красавицей в глазах Тома,— ибо он видел, что она небогата и что, вопреки мелочным расчетам и дрязгам, в ней сохранилось доброе сердце,— еще минута, и она стала бы в его глазах прямо Венерой,

если бы мисс Пексниф не вошла в комнату вместе со своим другом.

— Мистер Томас Пинч! — сказала Чарити, с явной гордостью выполняя церемонию представления.— Мистер Модль. А где же моя сестра?

— Ушла, мисс Пексниф,— ответила миссис Тоджерс.— Она обещала быть дома.

— Ах! — сказала Чарити, глядя на Тома.— Ах, боже мой!

— Она очень изменилась, с тех пор как принадлежит друг... после того как вышла замуж, миссис Тоджерс,— заметил мистер Модль.

— Милый мой Огастес! — произнесла мисс Пексниф, понизив голос.— Мне, право, кажется, что я это слышала пятьдесят тысяч раз. Какой вы скучный!

Засим последовало несколько маленьких любовных пассажей, вдохновительницей которых явно была мисс Пексниф. По крайней мере мистер Модль отвечал ей куда более вяло, чем отвечают обыкновенно молодые влюбленные, и проявлял такой упадок духа, что просто тяжело было смотреть.

Он ничуть не повеселел, когда они с Томом вышли на улицу, наоборот, совсем приуныл и своими вздохами нагонял тоску на мистера Пинча. Чтобы хоть немного ободрить молодого человека, Том поздравил его и пожелал ему счастья.

— Счастья! — воскликнул мистер Модль.— Ха-ха!

«Какой странный молодой человек!» — подумал Том.

— Демон презрения еще не отметил вас своей печатью. Вам не все равно, что с вами будет?

Том сознался, что интересуется этой темой до известной степени.

— А я нет,— сказал Модль.— Стихии могут поглотить меня, когда им угодно. Я готов!

Из этого и некоторых других выражений в том же роде Том заключил, что мистер Модль ревнует. А потому и предоставил его течению собственных мыслей, которые были настолько мрачны, что с души у Тома свалилась большая тяжесть, когда они, наконец, расстались у ворот Фэрнивелс-Инна.

Прошло уже два часа с того времени, когда Джон Уэстлок обыкновенно обедал, и теперь он расхаживал взад и вперед по комнате, сильно беспокоясь за своего друга. Стол был накрыт, вина заботливо разлиты по графинам, кушанья чудесно пахли.

— Что же вы, Том, старина, где вы пропадали? Снимайте скорее сапоги и садитесь за стол!

— Мне очень жаль, что я не могу остаться, Джон,— ответил Том Пинч, который еще задыхался после быстрого бега по лестнице.

— Не можете остаться?

— Начинайте обедать,— сказал Том,— а я тем временем расскажу вам, в чем дело. Сам я есть не могу, а не то потеряю аппетит к котлетам.

— Котлет сегодня не будет, мой милый.

— Здесь нет, а в Излингтоне будут,— сказал Том.

Джон Уэстлок был совершенно сбит с толку этим ответом и поклялся, что не возьмет в рот ни кусочка, пока Том не объяснится как следует. Том уселся, рассказал ему все, и Джон выслушал его с величайшим интересом.

Джон слишком хорошо знал Тома и слишком уважал его деликатность, чтобы спрашивать, почему он поспешил с этим решением, не посоветовавшись с ним. Он был совершенно согласен, что Тому надо как можно скорее вернуться к сестре, раз он ее оставил одну в малознакомом месте, и любезно предложил проводить его туда в кэбе, чтобы кстати перевезти и сундук. От предложения поужинать вместе с Томом и его сестрой он отказался наотрез, но согласился прийти к ним завтра.

— А теперь, Том,— сказал он, когда они ехали в кэбе,— я хочу задать вам один вопрос, на который, надеюсь, вы ответите прямо и мужественно. Нужны вам деньги? Я совершенно уверен, что нужны.

— Нет, право, не нужны,— сказал Том.

— Мне кажется, вы меня обманываете.

— Нет. Очень вам благодарен, но я говорю совершенно серьезно,— ответил Том.— У сестры есть деньги, и у меня тоже. И если бы даже я все истратил, Джон, у меня есть еще пять фунтов от этой доброй женщины, миссис Льюпин из «Дракона», которые она передала мне

на остановке дилижанса в письме, с просьбой взять их взаймы, а потом поскорей уехала.

— Будь благословенна каждая ямочка на ее милом лице, вот что! — воскликнул Джон.— Хотя, право, не знаю, почему вы оказали ей предпочтение. Ну, ничего. Я подожду, Том.

— И надеюсь, вам порядком придется ждать,— возразил Том весело,— потому что я и так кругом у вас в долгу и никогда не смогу с вами расплатиться.

Они попрощались у дверей новой резиденции Пинчей. Джон Уэстлок остался в кэбе; увидев мельком цветущую и оживленную девушку небольшого роста, которая, выбежав на крыльцо, поцеловала Тома и помогла ему внести сундук, он подумал, что не прочь был бы поменяться с Томом местами.

Что ж, она и вправду была жизнерадостное создание, и в ней чувствовались какая-то особенная ясность и тишина, что очень привлекало. Конечно, она была самой лучшей приправой к котлетам, какую только можно придумать. Картофель, казалось, с радостью воссылал к ней приятно пахнущий пар; пена в кружке портера шипела, стараясь привлечь ее внимание. Но все это было напрасно. Она не видела ничего, кроме Тома. В нем заключался для нее весь мир.

И в то время как она сидела за ужином против брата, выстукивая пальчиками по скатерти его любимый мотив, он был счастлив, как никогда в жизни.

ГЛАВА XXXVIII

Секретная служба

Шествуя из Сити вместе со своим чувствительным знакомым, Том Пинч столкнулся носом к носу с мистером Неджетом, тайным агентом Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни, и даже слегка задел его потертый рукав. Естественно, что мистер Неджет, едва скрывшись из глаз, в ту же минуту исчез из памяти Тома, потому что Том не знал его и никогда не слыхал его имени.

Если в обширной столице Англии существует несметное множество людей, которые, встав поутру, не ведают, где они преклонят голову вечером, то немало в ней и таких людей, которые, пуская наугад свои стрелы ради дневного промысла, не знают, кого они поразят. Мистер Неджет мог десять тысяч раз пройти мимо Тома Пинча, мог даже изучить его наружность, знать его имя, занятия и склонности — и все же ему не пришло бы в голову, что Тому есть какое-нибудь дело до его действий или секретов. Точно то же, разумеется, было и с Томом по отношению к мистеру Неджету. А между тем из всех людей, живущих на свете, их занимало в это время одно и то же лицо; оно было теснейшим образом, хотя и по-разному, связано для них обоих с событиями этого дня и в эту минуту, когда они повстречались на улице, всецело поглощало их мысли.

Почему Джонас Чезлвит занимал мысли Тома, не нуждается в объяснениях. Почему Джонас Чезлвит должен был занимать мысли мистера Неджета — дело совершенно иного рода.

Так или иначе, но этот достойный и любезный сирота стал частью загадочного существования мистера Неджета. Мистер Неджет интересовался даже самыми незначительными его действиями, интересовался неослабно и настойчиво. Он следил за ним в страховой конторе, директором которой Джонас теперь числился официально; он крался за ним по улицам; он подслушивал каждое его слово; он сидел в кофейнях, снова и снова внося его фамилию в большую записную книжку; он постоянно писал записки о нем самому себе; и, найдя их у себя в кармане, бросал в огонь с такими предосторожностями и так опасливо, что нагибался и следил даже за пеплом, улетавшим в трубу, словно опасаясь, что заключенная в них тайна выйдет наружу вместе с дымом.

Однако все это оставалось пока в секрете. Мистер Неджет хранил его про себя, и хранил весьма строго. Джонас был так же далек от мысли, что мистер Неджет не сводит с него глаз, как и от мысли, что за ним ежедневно следит и доносит о нем весь орден иезуитов. В самом деле, глаза мистера Неджета редко были устремлены на что-нибудь, кроме паркета, часов и огня в камине; но

видел он столько, словно все пуговицы на его пальто были глазами.

Вся его таинственная повадка усыпляла подозрения, наводя на мысль, что не он за кем-то следит, а наоборот, за ним следит кто-то, кого он опасается. Он ходил крадучись и держался до такой степени замкнуто, словно вся цель его жизни заключалась в том, чтобы остаться незамеченным и сохранить свою тайну. Джонас иногда видел на улице, или в передней конторы, или у дверей, как Неджет поджидает человека, который все не шел, или пробирается куда-то с опущенной головой и неподвижным лицом, помахивая перед собой теплой перчаткой; но Джонасу скорее могло прийти в голову, что крест на соборе св. Павла следит за каждым его шагом или осторожно расставляет ему сети, чем то, что Неджет может заниматься чем-нибудь подобным.

Приблизительно в это время в загадочной жизни мистера Неджета произошла некая загадочная перемена: до сих пор его видели каждое утро на Корнхилле *, до такой степени похожим на вчерашнего Неджета, что это даже породило поверье, будто он никогда не ложится спать и не раздевается; теперь же его впервые увидели в Холборне, сворачивающим с Кингстейт-стрит; и вскоре обнаружилось, что он в самом деле ходит туда каждое утро к цирюльнику бриться и что фамилия этого цирюльника Свидлпайп. Мистер Неджет, по-видимому, назначал здесь свидания какому-то человеку, никогда не державшему слова, потому что он подолгу просиживал в цирюльне, спрашивал перо и чернила, доставал записную книжку и углублялся в нее на целый час времени. Миссис Гэмп с мистером Свидлпайпом не раз беседовали о загадочном посетителе, но обычно приходили к выводу, что он, должно быть, прогорел на бирже и теперь сторонится людей.

Он, как видно, назначал свидания человеку, никогда не державшему слова, и еще в одном новом месте; как-то слуга в «Лошади и Катафалке», бирже гробовщиков из Сити, в первый раз обратил внимание на то, что посетитель все выводит чубуком трубки какие-то цифры на свежем песке плевательницы и не желает ничего заказывать, под тем предлогом, что джентльмен, которого он ждет,

еще не пришел. Так как джентльмен этот оказался настолько непорядочным, что не сдержал своего слова, мистер Неджет явился и на следующий день, с таким разбухшим бумажником, что в буфете его сочли человеком весьма состоятельным. После того он повторял свои визиты ежедневно, и при этом столько писал, что ему ничего не стоило опорожнить в один-два присеста довольно объемистую чернильницу. Хотя он никогда не разговаривал много, однако, постоянно находясь среди завсегдатаев, перезнакомился со всеми, а по прошествии времени весьма близко сошелся с мистером Тэкером, помощником мистера Моулда, и даже с самим мистером Моулдом, который говорил ему в глаза, что он старый воробей, сухарь, продувная бестия, наглец, грубиян, и осыпал его многими другими, не менее лестными похвалами.

В то же самое время мистер Неджет стал говорить служащим страховой компании — таинственно, по своему обыкновению,— что у него что-то такое творится с печенью (весьма загадочное, конечно) и что ему, пожалуй, придется обратиться к доктору. После такого сообщения его препроводили к Джоблингу, и хотя Джоблинг не мог понять, что такое у него с печенью, мистер Неджет твердил, что печень у него не в порядке, и замечал, что ему лучше знать, поскольку это его печень. Вскоре он стал постоянным пациентом мистера Джоблинга и раз двадцать на дню заходил к нему, чтобы, по обыкновению, таинственно и обстоятельно рассказать о симптомах своей болезни.

Так как он занимался всеми этими делами разом, одинаково упорно и одинаково таинственно, и не ослаблял бдительного наблюдения за всем, что говорил и делал мистер Джонас, а также за всем, что он собирался сказать и сделать,— нет ничего невероятного в том, что все это входило тайным образом в какой-то грандиозный замысел мистера Неджета.

Утром того самого дня, когда с мистером Пинчем произошло столько событий, Неджет неожиданно появился перед домом мистера Монтегю на Пэлл-Мэлле — он всегда появлялся неожиданно, будто выскочив из люка,— как раз в ту минуту, когда часы били девять. Он позвонил в

колокольчик украдкой, озираясь, словно это был предательский поступок, и проскользнул в дверь как раз в то самое мгновение, когда она открылась настолько, чтобы пропустить его. После чего он сразу затворил дверь.

Мистер Бейли, доложив о нем без промедленья, возвратился и проводил его в спальню своего хозяина. Председатель Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни одевался в это время и принял Неджета, как принимают доверенное лицо, которому в интересах дела дано право приходить и уходить в любое время.

— Ну, мистер Неджет?

Мистер Неджет поставил шляпу на пол и кашлянул. Как только мальчик вышел и закрыл за собой дверь, он тихонько подошел к ней, потрогал ручку и, возвратившись, остановился в двух шагах от стула, на котором сидел мистер Монтегю.

— Есть новости, мистер Неджет?

— Думаю, что, наконец, есть кое-какие новости, сэр.

— Рад это слышать. Я начал уже опасаться, что вы сбились со следа, мистер Неджет.

— Нет, сэр. Время от времени след теряется. Это бывает. Без этого нельзя.

— Вы сами истина, мистер Неджет. Так вы хотите доложить о большом успехе?

— Это зависит от того, как вам покажется и как вы решите,— ответил тот, надевая очки.

— Что думаете вы сами? Вы довольны?

Мистер Неджет медленно потер руки, погладил подбородок, обвел взглядом комнату и сказал:

— Да, да, мне кажется, ошибки нет. Я склонен так думать. Хотите приступить сейчас же?

— Пожалуйста.

Мистер Неджет, нацелившись, выбрал себе стул и, облюбовав для него место, установил его так старательно, как будто собирался через него прыгать, затем поставил против него другой стул, но так, чтобы было куда девать ноги. После этого он уселся на стул номер два и очень осторожно положил записную книжку на стул номер один. Затем развязал записную книжку и повесил тесемочку на спинку стула номер один. Затем придвинул оба стула

немного ближе к мистеру Монтегю и, раскрыв записную книжку, разложил на стуле номер один ее содержимое. Наконец он выбрал одну записку среди всего прочего и протянул ее своему патрону, который во время всей предварительной церемонии едва сдерживал нетерпение.

— Хотелось бы, чтобы вы поменьше возились с записками, мой любезный друг,— сказал Тигг Монтегю с кривой улыбкой.— Хотелось бы, чтобы вы докладывали мне устно.

— Я не одобряю устных докладов,— степенно ответил мистер Неджет.— Никогда не знаешь, кто тебя подслушивает.

Мистер Монтегю собирался что-то возразить, но тут Неджет передал ему бумажку и сказал с тихим ликованием в голосе:

— Мы начнем с самого начала и посмотрим сперва вот это, сэр, если вам угодно.

Председатель взглянул на записку холодно, с улыбкой, явно не одобрявшей медлительную и методическую повадку своего соглядатая. Но не прочел он и десятка строчек, как выражение его лица начало изменяться, и по мере того как он читал ее, оно становилось все более сосредоточенным и серьезным.

— Номер два,— сказал мистер Неджет, подавая ему вторую записку и отбирая первую.— Прочтите номер два, сэр, будьте любезны. Чем дальше, тем оно становится любопытнее.

Тигг Монтегю откинулся на спинку стула и устремил на своего агента взгляд, полный такого остолбенелого изумления, смешанного с испугом, что мистер Неджет счел нужным еще раз повторить свою просьбу, уже высказанную дважды, для того чтобы привлечь его внимание. Намек подействовал, и мистер Монтегю прочел записку номер два, а потом и номер три, и номер четыре, и номер пять, и так далее, по порядку.

Все эти записки были написаны почерком мистера Неджета и, по-видимому, продолжали одна другую, набросанные кое-как на изнанке старых конвертов, да и вообще на любом клочке бумаги, какой подвертывался под руку. Это были крупные, небрежные каракули, малопривлекательные по внешнему виду, зато содержание их

было весьма важно, насколько можно было судить по лицу председателя.

Тайное удовлетворение мистера Неджета все возрастало, по мере того как увеличивалось волнение Монтегю. Сначала мистер Неджет сидел, низко опустив очки на нос, и, глядя поверх очков на своего патрона, тревожно потирал руки. Немного погодя он изменил свою позу на более свободную и на досуге спокойно читал следующий документ, держа его наготове, словно теперь ему достаточно было лишь время от времени поглядывать на своего патрона и не оставалось больше никаких причин тревожиться и сомневаться. И, наконец, он встал и подошел к окну, где и стоял с торжествующим видом, пока Тигг Монтегю не кончил чтения.

— И это последняя, мистер Неджет?

— Да, сэр, это последняя.

— Вы удивительный человек, мистер Неджет!

— Я думаю, что ошибки тут быть не может,— возразил тот, собирая свои бумажки.— Это стоило хлопот, сэр.

— Хлопоты будут как следует вознаграждены, мистер Неджет.— Неджет поклонился.— Пахнет паленым гораздо больше, чем я ожидал, мистер Неджет. Могу поздравить себя с тем, что вы такой ловкач по части всяких тайн.

— О, без тайны мне никакое дело не интересно,— ответил Неджет, завязывая тесемкой записную книжку и пряча ее в карман.— У меня пропадает почти всякое удовольствие, когда я открываю тайну даже вам.

— Неоценимая черта характера,— возразил Тигг.— Великий дар для джентльмена вашей профессии, мистер Неджет. Гораздо лучше, нежели осторожность, хотя и этим качеством вы обладаете в выдающейся степени. Мне кажется, я слышал стук. Будьте любезны, выгляните в окно и скажите мне, не стоит ли кто-нибудь у дверей?

Мистер Неджет тихонько поднял окно и осторожно выглянул на улицу, словно оттуда в любую минуту можно было ожидать сильного ружейного залпа. Убрав голову из окна с такими же предосторожностями, он сообщил, не меняя ни голоса, ни манеры:

— Мистер Джонас Чезлвит!

— Я так и полагал,— отозвался Тигг.

— Мне уйти?

— Я думаю, что это будто лучше. Хотя погодите! Нет, останьтесь, пожалуйста, здесь, мистер Неджет.

Удивительно, как Монтегю Тигг побледнел и встревожился в одно мгновение. Неизвестно, чему следовало это приписать. Его взгляд задержался на бритве,— но при чем тут бритва?

Доложили о мистере Чезлвите.

— Впустите его сейчас же, Неджет. Не оставляйте меня наедине с ним — смотрите, не оставляйте! Клянусь богом! — прибавил он про себя, понизив голос.— Почем знать, что может случиться?

С этими словами он поспешно схватил головные щетки и начал приглаживать себе волосы, как будто его туалет и не прерывался. Мистер Неджет удалился к камину, где разведен был небольшой огонь для нагревания щипцов, и, воспользовавшись удобным случаем просушить носовой платок, не теряя времени, вытащил его из кармана. Так он и стоял в течение всего разговора, держа платок перед огнем и только изредка оглядываясь через плечо.

— Дорогой мой Чезлвит! — воскликнул Монтегю при появлении Джонаса.— Вы поднимаетесь с жаворонками. Хотя вы ложитесь в постель с соловьями, зато поднимаетесь с жаворонками. У вас сверхчеловеческая энергия, дорогой Чезлвит!

— Ей-богу,— с угрюмым и скучающим видом ответил Джонас, усаживаясь на стул,— я бы рад был не подниматься с жаворонками. Но у меня чуткий сон, и уж лучше рано встать, чем валяться в постели, считая, как заунывно бьют часы на колокольнях.

— Чуткий сон? — воскликнул его друг.— Ну, а что такое чуткий сон? Я часто слыхал это выражение, но, честное слово, не имею ни малейшего понятия, что это такое.

— Эй! — сказал Джонас.— Это еще кто? А, этот — как его там,— и вид у него такой же, как всегда, будто ему хочется заползти в щель.

— Ха-ха! Не сомневаюсь, что так оно и есть.

— Ну, я полагаю, он здесь не нужен,— сказал Джонас.— Он может уйти, верно?

— Пусть его останется, пусть останется! — сказал Тигг.— Это все равно что стол или стул. Он только что пришел с докладом и теперь дожидается приказаний. Ему велено,— сказал Тигг, повышая голос,— не терять из виду некоторых наших друзей и ни в коем случае не думать, что он с ними разделался. Он знает свое дело.

— Надо полагать,— ответил Джонас,— потому что по внешности это такое старое чучело, что хуже я просто нигде ни видывал. Боится меня, что ли?

— Мне тоже кажется,— сказал Тигг,— что он вас боится, как отравы. Неджет, дайте-ка мне это полотенце!

В полотенце ему так же не было надобности, как Джонасу не было надобности вздрагивать. Однако Неджет быстро подал полотенце и, помедлив немного, ретировался на свой прежний пост перед камином.

— Видите ли, дорогой мой,— продолжал Тигг,— вы слишком... но что с вашими губами? Как они побелели!

— Это от уксуса,— сказал Джонас.— На завтрак у меня были устрицы. Где же они побелели? — прибавил он, бормоча проклятия и оттирая губы платком.— Не думаю, чтобы они побелели.

— Как погляжу теперь, они не побелели,— ответил его друг.— Теперь они опять такие же.

— Говорите, что вы собирались сказать,— сердито крикнул Джонас,— и оставьте меня в покое! Пока я могу показать зубы, когда потребуется,— а я это отлично могу,— цвет моих губ ровно ничего не значит.

— Совершенная правда,— сказал Тигг.— Я хотел только заметить, что вы слишком проворны и ловки для нашего приятеля. Он робок, где ему справиться с таким человеком, как вы, но свои обязанности он выполняет неплохо. Совсем неплохо! Но что же это значит, когда человек спит чутко?

— Да подите вы с ним к черту! — раздраженно воскликнул Джонас.

— Нет, нет,— прервал его Тигг.— Нет. Зачем такие крайности.



— Спит чутко — это, значит, спит некрепко,— объяснил Джонас угрюмым тоном,— спит мало, и сон у него плохой, нездоровый сон.

— И видит кошмары,— сказал Тигг,— и кричит так, что слушать страшно, а когда свеча догорает ночью, мучится от страха, и прочее в том же роде. Понимаю.

Они помолчали немного. Потом заговорил Джонас:

— Теперь, когда мы покончили с бабьей болтовней, мне надо сказать вам два слова, до того как мы с вами встретимся там. Я недоволен положением дел.

— Недовольны! — воскликнул Тигг.— Деньги поступают хорошо.

— Деньги поступают неплохо,— возразил Джонас,— а вот получить их довольно трудно. Добраться до них довольно трудно. Я не имею никакой власти: все в ваших руках. Ей-богу! То у вас одно постановление, то другое постановление, то вы голосуете в качестве акционера, то в качестве директора, то у вас права по должности, то ваши личные права, то права других лиц, которых представляете опять-таки вы, а у меня и прав никаких не осталось. Все эти чужие права — мне кровная обида. Какой толк иметь голос, если тебе не дают слова сказать? Будь я немой, и то было бы не так обидно. Так вот, я этого терпеть не намерен, знаете ли.

— Да? — сказал Тигг вкрадчивым тоном.

— Да! — возразил Джонас.— Вот именно, не намерен. Если вы будете водить меня за нос по-прежнему, я вам покажу, где раки зимуют: будете рады откупиться от меня за хорошие деньги.

— Клянусь вам честью...— начал Монтегю.

— О, подите вы с вашей честью! — оборвал его Джонас, который становился тем грубее и заносчивее, чем больше ему возражали,— что, может быть, и входило в намерения мистера Монтегю.— Я хочу распоряжаться своими деньгами. Вся честь остается вам, если угодно, за это я вас к ответу не потяну. Но терпеть такое положение дел, как сейчас, я не намерен. Если вам взбредет в голову улизнуть с деньгами за границу, не знаю, как я смогу вам помешать. Нет, этак не годится. Обеды здесь были хороши, но только уж очень дорого они мне обошлись. Никуда не годится.

— Я в отчаянии, что вы так дурно настроены,— сказал Тигг с замечательной в своем роде улыбкой,— потому что я собирался предложить вам — для вашей же пользы, единственно для вашей собственной пользы — рискнуть еще немножко вместе с нами.

— Собирались, вот как? — спросил Джонас, сухо засмеявшись.

— Да. И намекнуть,— продолжал Монтегю,— ведь у вас, конечно, имеются друзья — я знаю, что имеются,— которые отлично подойдут нам и которых мы примем с радостью.

— Как вы любезны! Примете их с радостью, неужели? — сказал Джонас, поддразнивая его.

— Даю вам самое святое честное слово, мы будем в восторге! Потому что они ваши друзья, заметьте!

— Вот именно,— сказал Джонас,— потому что они мои друзья, конечно. Вы будете очень рады их заполучить, не сомневаюсь. И все это будет мне на пользу, верно?

— Весьма и весьма вам на пользу,— ответил Монтегю, держа по щетке в каждой руке и пристально глядя на Джонаса.— Весьма и весьма вам на пользу, уверяю вас.

— А каким же это образом? — спросил Джонас.— Не скажете ли вы мне?

— Сказать вам, каким образом? — отозвался тот.

— Да, уж лучше скажите. В страховом деле и раньше творились довольно странные вещи некоторыми довольно подозрительными людьми, так что я намерен смотреть в оба.

— Чезлвит! — ответил Монтегю и, наклонившись вперед и опираясь локтями на колени, посмотрел ему прямо в глаза,— странные вещи творились и творятся каждый день не только в нашем деле, но и во многих других, и не вызывают ни у кого подозрений. Но наше дело, как вы сами говорите, любезный друг, довольно странное, и нам случается иногда странным образом узнавать о весьма странных происшествиях.

Он кивнул Джонасу, чтобы тот придвинул свой стул поближе, и, оглянувшись через плечо, словно для того, чтобы напомнить о присутствии Неджета, стал шептать ему на ухо.

От красного к белому, от белого опять к красному, потом к тусклому, мертвенно-синему, орошенному по̀том,— столько перемен произошло с лицом Джонаса Чезлвита под влиянием нескольких шепотом сказанных слов; и когда, наконец, он закрыл рукой шепчущий рот, чтобы ни один звук не достиг ушей третьего присутствующего, она была так же бескровна и безжизненна, как рука Смерти.

Он отодвинул свой стул и сидел, являя собою олицетворенный страх, унижение и ярость. Он боялся заговорить, взглянуть, двинуться, боялся оставаться неподвижным. Малодушный, пришибленный и жалкий, он более унижал собою образ человека, чем если бы весь, с головы до пят, был покрыт отвратительными язвами.

Его собеседник не торопясь продолжал свой туалет, время от времени с улыбкой поглядывая на Джонаса и любуясь произведенной им метаморфозой, но не говоря ни слова.

— Так вы не против того,— сказал он, закончив свой туалет,— чтобы рисковать вместе с нами и далее, друг мой Чезлвит?

Его бледные губы едва выговорили:

— Нет.

— Хорошо сказано! Это на вас похоже. Вы знаете, я вчера думал о том, что ваш тесть, полагаясь на ваш совет, как человека весьма опытного в денежных делах, мог бы вступить в наше общество, если объяснить ему все как следует. Есть у него деньги?

— Да, у него есть деньги.

— Предоставить мистера Пекснифа вам? Возьметесь вы за мистера Пекснифа?

— Я постараюсь. Сделаю что могу.

— Тысячу благодарностей! — ответил Тигг, похлопывая его по плечу.— Не сойти ли нам вниз? Мистер Неджет, идите за нами, пожалуйста.

Таким порядком они и отправились. Что бы ни чувствовал Джонас по отношению к Монтегю; как бы он ни сознавал, что пойман, загнан в угол, в капкан, что падает в бездну и что ему грозит неминуемая гибель; какие бы мысли ни роились в его голове уже теперь, в самом начале, о единственной, ужасной возможности спасения,

единственном багровом проблеске в непроглядно черном небе,— ему так же мало приходило в голову, что фигура, крадущаяся за ним по лестнице и отстающая ступенек на десять, и есть преследующий его рок, как и то, что другая фигура, рядом с ним — его ангел-хранитель.

ГЛАВА XXXIX

сообщает дальнейшие подробности о домашнем хозяйстве Пинчей; а также странные известия из Сити, близко касающиеся Тома

Милая крошка Руфь! Веселая, домовитая, хлопотливая, тихая крошка Руфь! Ни один кукольный домик не доставлял своей юной хозяйке такого удовольствия, какое доставляло Руфи владычество над треугольной гостиной и двумя тесными спаленками.

Быть хозяйкой у Тома — какое почетное звание! Ведение хозяйства и в обыкновенных условиях сопряжено с высокой ответственностью всякого рода и вида; но хозяйничать для Тома означало целую бездну самых серьезных дел и необыкновенно важных забот. Недаром забрала она к себе ключи от маленькой шифоньерки, где хранились чай и сахар, и от двух сырых шкафчиков возле камина, где плесневели даже черные тараканы, так что спинки у них переставали блестеть, и, надев на кольцо, забренчала ими перед Томом, когда он вышел к завтраку! Недаром она, звонко смеясь, спрятала их с горделивой радостью в этот свой милый карманчик. Ведь для нее было так ново — стать хозяйкой, что если б она была самой безжалостной тиранкой из всех маленьких хозяек, то ей стоило бы только сослаться на это в свое оправдание, и с нее тотчас же сняли бы всякую вину.

Однако она вовсе не была тиранкой и разливала чай с такой милой застенчивостью, что Том просто не мог на нее наглядеться. А когда она спросила, чего он хотел бы на обед, и нерешительно предложила «котлеты», как блюдо достаточно зарекомендовавшее себя во время вче-

рашнего очень удачного ужина, Том совсем развеселился и начал над ней без церемонии подшучивать.

— Я не знаю, Том,— сказала его сестра, краснея,— я не совсем уверена, но думаю, что могу приготовить мясной пудинг, если хорошенько постараюсь, Том.

— Во всей поваренной книге не найдется ничего такого, что мне было бы по вкусу больше мясного пудинга! — воскликнул Том, хлопая себя по ноге для пущей убедительности.

— Да, милый, очень хорошо! Но если он не совсем удастся для первого раза,— нерешительно сказала его сестра,— если он выйдет похож не на пудинг, а скорее на тушеное мясо, на суп или еще на что-нибудь, тебя это не очень огорчит, Том, ведь нет?

То, как серьезно она глядела на брата, и то, как он глядел на нее, и то, как она мало-помалу начала весело смеяться сама над собой,— совершенно очаровало бы вас.

— Что ж,— сказал Том,— прекрасно. Это придаст обеду новый и небывалый интерес. Мы берем лотерейный билет на мясной пудинг, а выиграем... даже трудно сказать что именно. Быть может, мы сделаем какое-нибудь изумительное открытие и приготовим блюдо, какого никто до сих пор не пробовал.

— Я ничуть не удивлюсь, если приготовим,— ответила его сестра, все так же весело смеясь,— или если у нас получится такое блюдо, какого мы больше и пробовать не захотим; но ведь что-нибудь у нас получится, во всяком случае. Мясо есть мясо, и никуда оно не денется,— это большое утешение. Если ты не боишься рискнуть, я готова.

— Нисколько не сомневаюсь,— возразил Том,— что пудинг получится отличный; и уж мне он, во всяком случае, понравится. У тебя как-то само собой все выходит так ловко и живо, Руфь, что, если бы ты сказала, будто сумеешь сварить миску превосходного черепахового супа, я бы тебе поверил.

И Том был прав. Это была именно такая девушка. Никто не мог бы устоять против ее тихого обаяния, да и незачем было пробовать. А она будто даже и не знала, как она мила, вот что было лучше всего.

Итак, она перемыла чайные чашки после завтрака, болтая без умолку и рассказывая Тому разные истории про владельца латунно- и меднолитейных заводов, убрала все на место, привела комнату в такой же порядок, как и самое себя,— не думайте, однако, что комната была так же изящна, как она, или хоть сколько-нибудь на нее похожа,— и, завладев старой шляпой Тома, чистила ее до тех пор, пока та не залоснилась, как мистер Пекснпф. После того она мгновенно обнаружила, что воротничок Тома обтрепался по краям, и, сбегав наверх за иголкой и ниткой, примчалась обратно с наперстком на пальце и удивительно ловко починила воротничок, ни разу не уколов брату щеку иголкой, хотя все время напевала его любимый мотив и выбивала такт пальчиками левой руки по его шейному платку. Не успела она покончить с этим, как опять куда-то исчезла и тут же воротилась, веселая и хлопотливая, как пчелка, завязывая на ходу под маленьким круглым подбородком ленты такой же круглой шляпки: она собиралась сию минуту идти к мяснику и приглашала Тома пойти вместе с ней и посмотреть своими глазами, как будут резать мясо. Что касается Тома, он был готов идти куда угодно; и они быстро побежали, рука об руку, так проворно, как только можно вообразить, говоря друг другу, до чего приятно жить на такой тихой улице, и до чего дешево, и какой тут чистый воздух.

Увидеть, как мясник похлопал по куску мяса, прежде чем положить его на колоду, и как он поточил нож,— значило тут же забыть о недавнем завтраке. Приятно было также — в самом деле приятно — наблюдать, как он режет филей, такими ровными сочными ломтями. Ничего грубого и дикарского в этом не было, хотя нож был большой и острый. Это было искусство, высокое искусство; нежное туше, чистота тона, искусная разработка темы, богатство оттенков. Это было торжество духа над материей в полном смысле слова.

Прежде чем вручить мясо Тому, его завернули в капустный лист, быть может самый зеленый из всех, какие только растут на огороде. Да, мясник тонко знал свое дело и понимал, как облагородить его. Увидев, что Том неловко засовывает капустный лист в карман, он

попросил разрешения помочь ему: «Потому что с мясом,— сказал он не без волнения,— надо обращаться деликатно, а не тискать его».

Они вернулись домой, купив яиц и муки и еще кое-какую мелочь; и Том степенно уселся писать в гостиной на одном конце стола, а Руфь принялась стряпать пудинг на другом конце. В доме больше не было никого, кроме одной старухи (хозяин был загадочная личность, он уходил из дому рано утром, и его никто никогда не видел), и, помимо самой черной домашней работы, они все делали сами.

— Что ты пишешь, Том? — спросила Руфь, кладя ему руку на плечо.

— Видишь ли, моя милая,— ответил Том, откинувшись на спинку стула и глядя ей в лицо,— мне, разумеется, очень хочется получить какую-нибудь работу; и пока не пришел мистер Уэстлок, я, пожалуй, успею вкратце записать самые необходимые сведения о себе, чтобы он мог показать при случае кому-нибудь из знакомых.

— Напиши и для меня такую же записку, Том,— сказала его сестра, потупившись.— Мне очень хотелось бы всегда хозяйничать у тебя и заботиться о тебе, Том, но мы не так богаты.

— Мы не богаты, конечно,— ответил Том,— и можем стать еще беднее. Но мы не расстанемся, если только будет можно. Нет, нет, мы так и решим с тобой, Руфь, отныне бороться вместе, разве только окажется на наше несчастье, что тебе без меня лучше, чем со мной, и я буду совершенно в этом убежден. Мне сдается, что мы будем счастливее, если станем жить и бороться вместе. Разве ты этого не думаешь?

— И ты еще спрашиваешь, Том!

— Ну, полно, полно! — ласково прервал ее Том.— Не надо плакать.

— Нет, нет, я не плачу, Том. Но тебе же это не по средствам, милый; право, не по средствам.

— Этого мы не знаем,— сказал Том.— Откуда же нам знать, пока мы еще не пробовали? Да боже ты мой! — Энергия Тома приобрела неожиданный размах.— Почем знать, что еще может выйти, если мы приложим

все усилия. И я уверен, что мы вполне проживем с самыми маленькими средствами, если только я их добуду.

— Да, я тоже уверена, Том.

— Ну так вот,— сказал Том,— надо постараться. Мой друг Джон Уэстлок прекрасный человек, к тому же очень дельный и умный. Я с ним посоветуюсь. Мы с ним поговорим на этот счет — оба поговорим. Тебе Джон очень понравится, когда ты с ним ближе познакомишься. Не плачь же, не плачь. Где тебе приготовить мясной пудинг, действительно! — сказал Том, слегка подталкивая сестру.— Да у тебя смелости недостанет и на клецки!

— Ты все-таки называешь это пудингом, Том! Смотри! Я тебя предупреждала!

— И буду называть, пока не окажется, что вышло что-то другое,— сказал Том.— Э, да ты всерьез принялась за работу, вот как?

Да, да! Она принялась. И такая это была милая серьезность, что Том поминутно отвлекался от своего писания. Прежде всего она сбегала вниз на кухню за мукой, потом за пирожной доской, потом за яйцами, потом за маслом, потом за кувшином с водой, потом за скалкой, потом за формой для пудинга, потом за перцем, потом за солью — отправляясь за каждым предметом отдельно и при этом смеясь каждый раз. Когда все было принесено, она ужаснулась, заметив, что на ней нет фартука, и полетела за ним, для разнообразия, наверх. Она не надела его наверху, но, пританцовывая, сбежала по лестнице с фартуком в руках и, будучи одной из тех маленьких женщин, для которых фартук служит украшением, надевала его бесконечно долго: надо было как следует расправить складки — ах, какой упрямый нагрудник! — и собрать его в мелкие сборки на тесемку, прежде чем завязывать, и похлопать укоризненно и ласково по карманам, чтобы сидел как следует. Наконец все уладилось, а когда уладилось...— но ничего, ничего, мы молчим, это ведь трезвая летопись событий. А потом надо было отвернуть рукавчики, чтобы не запачкались в муке, и стянуть с пальца колечко, а оно не стягивалось (такое упрямое колечко). И во время этих приготовлений она то и дело озабоченно поглядывала на Тома из-под темных ресниц, как будто все это было

совершенно необходимо для пудинга и без этого решительно нельзя было обойтись.

Как ни бился Том над своей запиской, дело у него никак не подвигалось дальше, чем: «Солидный молодой человек, тридцати пяти лет от роду...»; и это несмотря на то, что Руфь делала вид, будто изо всех сил старается вести себя тихо, и ходила на цыпочках, чтобы не беспокоить Тома, что еще больше отвлекало его внимание и заставляло следить за ней.

— Том,— ликуя, сказала она наконец,— Том!

— Что такое? — спросил Том, повторяя про себя: «...тридцати пяти лет от роду».

— Взгляни сюда на минутку, пожалуйста!

Как будто бы он не глядел на нее все время!

— Том, я сейчас начинаю. Ты не удивляешься, для чего я обмазала форму маслом? — спросила его хлопотливая маленькая сестра.

— Не больше твоего, я думаю,— смеясь, ответил Том,— мне кажется, ты ничего в этом не смыслишь.

— Какой ты Фома неверный! * А как же ты думаешь, тесто без этого отстанет от стенок, когда будет готово? Как можно строителю и землемеру не знать этого! Бог с тобой, Том!

О дальнейшем писании не могло быть и речи. Том зачеркнул «солидного молодого человека, тридцати пяти лет от роду» и сидел, глядя на нее, с пером в руках, улыбаясь самой любящей улыбкой, какую только можно себе представить.

Что за милая хлопотунья эта Руфь! Сколько в ней важности, как она старается изо всех сил не улыбаться и не показывать, что она хоть в чем-нибудь не уверена! Для Тома было истинным удовольствием глядеть, как она хмурит брови и как поджимает губы, когда месит тесто, раскатывает его скалкой, разрезает на полоски, устилает ими форму, аккуратно равняет их по краям, мелко рубит мясо, обильно посыпает его перцем и солью, укладывает в форму, доливает холодной водой, для подливки, и боится хотя бы раз поглядеть в его сторону, чтобы не рассмеяться. Наконец, когда форма была полна и недоставало только одной верхней корки, Руфь взглянула на Тома, и захлопала в ладоши, и рассмеялась таким очаро-

вательно торжествующим смехом, что пудингу не нужно было никакой другой приправы для того, чтобы он пришелся по вкусу любому мужчине, не лишенному рассудка.

— Где же пудинг? — спросил Том. Он ведь тоже иногда любил подшутить.

— Где? — отвечала она, высоко поднимая форму обеими руками.— Гляди, вот он!

— Да разве это пудинг? — сказал Том.

— Будет пудинг, глупый, когда прикроется коркой,— отвечала сестра. Так как Том все еще прикидывался, будто не верит, она слегка стукнула его по голове скалкой и, весело смеясь, начала заделывать верхнюю корку, как вдруг вздрогнула и сильно покраснела. Том вздрогнул тоже и, следуя за ее взглядом, увидел, что в комнате стоит Джон Уэстлок.

— Боже мой, Джон! Как же вы вошли?

— Прошу извинения,— сказал Джон,— а особенно извинения вашей сестры; я встретил какую-то старушку у двери, и она попросила меня пройти сюда; а так как вы не слышали стука и дверь была не заперта, я решился войти. Я, право, не знаю,— сказал Джон с улыбкой,— стоит ли нам всем смущаться, оттого что я нечаянно застал вас за таким приятным домашним делом, тем более что с ним управляются так искусно и ловко; однако надо сознаться, что я смущен. Том, не придете ли вы ко мне на помощь?

— Мистер Джон Уэстлок,— сказал Том,— моя сестра.

— Надеюсь, что как сестра такого старого друга,— с улыбкой сказал Джон,— вы не станете судить обо мне по моему неудачному появлению?

— Руфь, может быть, хочет просить вас о том же,— возразил Том.

Джон ответил, разумеется, что это совершенно не нужно, потому что он и так сражен, и протянул руку мисс Пинч, которой та, однако, не могла принять, оттого что ее рука была вся в муке и тесте. Это могло бы, повидимому, еще усилить общее замешательство и окончательно испортить дело, однако произвело самое лучшее действие, потому что оба они невольно расхохотались и сразу почувствовали себя легко в обществе друг друга.

— Я очень рад вас видеть,— сказал Том.— Садитесь.

— Я могу сесть только с одним условием,— ответил его друг,— если ваша сестра по-прежнему займется пудингом, как будто тут никого, кроме вас, нет.

— Конечно, она займется им,— сказал Том,— но с другим условием: чтобы вы остались и помогли нам его съесть.

Такая ужасная неосмотрительность со стороны Тома привела бедняжку Руфь в сердечный трепет: ведь если пудинг не удастся, она никогда больше не посмеет взглянуть в глаза Джону Уэстлоку. Ничего не подозревая о таком ее душевном состоянии, Джон Уэстлок принял приглашение со всей готовностью, какую только можно себе представить, и после того как он сказал еще несколько шутливых слов по поводу пудинга и тех больших надежд, которые будто бы внушал ему этот пудинг, она, краснея, снова принялась за стряпню, а он уселся на стул.

— Я пришел гораздо раньше, чем предполагал, Том; но я скажу вам, что меня привело, и, думаю, вы будете этому рады. Вы хотели мне показать вот это?

— О боже мой, нет! — воскликнул Том, который без напоминания Джона совсем позабыл бы про смятый клочок бумаги в своей руке.— «Солидный молодой человек, тридцати пяти лет от роду» — это я начал писать о себе, вот и все.

— Не думаю, что вам придется заканчивать это описание, Том. Но почему вы мне никогда не говорили, что у вас есть друзья в Лондоне?

Том во все глаза смотрел на сестру, и, разумеется, сестра во все глаза смотрела на Тома.

— Друзья в Лондоне? — эхом откликнулся Том.

— Да, разумеется,— сказал Уэстлок.

— Может быть, у тебя есть друзья в Лондоне, Руфь, дорогая моя?

— Нет, Том.

— Я очень рад слышать, что они есть,— сказал Том,— но для меня это новость. Я этого не знал. Они, должно быть, отлично умеют держать язык за зубами, Джон.



— Можете судить сами,— ответил тот.— Без шуток, Том, я вам просто расскажу, как было дело. Сегодня утром, когда я сидел за завтраком, послышался стук в дверь.

— И вы крикнули очень громко: «Войдите!» — подсказал Том.

— Да. И так как стучавший не был солидным молодым человеком тридцати пяти лет, приехавшим из провинции, то вошел сейчас же, как только его пригласили, вместо того чтобы стоять на лестнице и глазеть по сторонам. Так вот, когда он вошел, оказалось, что это незнакомый мне человек: серьезный, спокойный, по-видимому деловой. «Мистер Уэстлок?» — спросил он. «Это моя фамилия»,— ответил я. «Разрешите сказать вам несколько слов?» — спросил он. «Садитесь, пожалуйста»,— ответил я.

Тут Джон остановился на минуту и взглянул туда, где сестра Тома, внимательно слушая, все еще возилась с пудингом, который теперь приобрел весьма внушительный вид. Потом он продолжал:

— После того как пудинг сел...

— Что? — воскликнул Том.

— Сел на стул.

— Вы сказали «пудинг»?

— Нет, нет,— возразил Джон, слегка краснея,— я этого не говорил. Неужели незнакомый человек в половине девятого утра станет есть у меня пудинг! Усевшись на стул, Том,— на стул,— он удивил меня, начав разговор так: «Мне кажется, сэр, вы знакомы с мистером Томасом Пинчем?»

— Не может быть! — воскликнул Том.

— Подлинные его слова, уверяю вас. Я сказал ему, что знаком. Знаю ли я, где вы сейчас живете? Да. В Лондоне? Да. До него дошли окольным путем слухи, что вы оставили ваше место у мистера Пекснифа. Это верно? Да, верно. Нужно ли вам другое место? Да, нужно.

— Разумеется,— сказал Том, кивнув головой.

— Точно так же и я ему сказал. Можете быть уверены, что я не проявил никаких колебаний в этом вопросе и дал ему понять, что в этом он может не сомне-

ваться. Очень хорошо. «В таком случае,— сказал он,— я думаю, что могу предоставить ему место».

Сестра Тома затаила дыхание.

— Господи помилуй! — воскликнул Том.— Руфь, милая моя! «Думаю, что могу предоставить ему место!»

— Конечно, я попросил его продолжать,— рассказывал Джон далее, поглядывая на Руфь, которая проявляла не меньше интереса к рассказу, чем ее брат,— и сказал, что сейчас же повидаюсь с вами. Он ответил, что разговор будет самый короткий, потому что он не охотник до разговоров, но то, что он скажет, будет касаться дела. И действительно, так оно и вышло: он тут же сообщил мне, что один его знакомый нуждается в секретаре и библиотекаре, и хотя жалованье невелико, всего сто фунтов в год, без стола и квартиры, однако работа не трудная и место имеется — оно свободно и дожидается вас.

— Боже милостивый! — воскликнул Том.— Сто фунтов в год! Дорогой Джон! Руфь, милочка моя! Сто фунтов в год!

— Но самое странное в этой истории,— заключил Джон Уэстлок, кладя руку на плечо Тома, чтобы привлечь его внимание и несколько умерить его восторги,— самое странное, мисс Пинч, вот что: я этого человека совершенно не знаю, и он совершенно не знает Тома.

— И не может знать,— сказал Том в полном замешательстве,— если он лондонец. Я ни с кем в Лондоне не знаком.

— А на мое замечание,— продолжал Джон, все еще держа руку на плече Тома,— что он, конечно, извинит меня за нескромность, если я спрошу, кто направил его ко мне, как он узнал о перемене в положении моего друга и каким образом ему стало известно, что мой друг способен занять эту должность, он сухо ответил, что не уполномочен входить ни в какие объяснения.

— Не уполномочен входить ни в какие объяснения! — повторил Том с глубоким вздохом.

— «Я прекрасно знаю,— сказал он,— что всякому, кто бывал в тех местах, где живет мистер Пексниф,— мистер Томас Пинч и его дарования известны так же хорошо, как церковная колокольня или «Синий Дракон».

— «Синий Дракон»! — повторил Том, глядя попеременно то на своего друга, то на сестру.

— Да, подумайте! Даю вам слово, он говорил о «Синем Драконе» так фамильярно, словно сам Марк Тэпли. Должен вам сказать, я глядел на него во все глаза, но не мог все же припомнить, где я его видел прежде, хотя он сказал с улыбкой: «Вы знаете «Синий Дракон», мистер Уэстлок, вы не раз заглядывали туда». Заглядывали? Ну да, заглядывал! Помните, Том?

Том многозначительно кивнул и, теряясь еще более, заметил, что это самое странное и необъяснимое происшествие, о каком ему доводилось слышать.

— Необъяснимое? — повторил его друг. — Я испугался этого человека. Хотя это было среди дня, при свете солнца, я положительно испугался его. Скажу даже, что я стал подозревать в нем потустороннее видение, а не обыкновенного смертного, пока он не вынул самый прозаический бумажник и не подал мне вот эту карточку.

— Мистер Финс, — произнес Том, читая вслух. — Остин-Фрайерс. Остин-Фрайерс звучит довольно мрачно *.

— Зато Финс, по-моему, нет, — ответил Джон. — Однако он там живет и будет ждать вас сегодня утром. А теперь вы знаете об этом странном случае столько же, сколько и я, честное слово.

Лицо Тома, который и радовался ста фунтам в год и удивлялся рассказу, можно было сравнить только с лицом его сестры, выражавшим такое совершенное изумление, какое от души пожелал бы увидеть любой художник. Что случилось бы с пудингом, если бы он не был к этому времени готов, вряд ли могли бы предсказать даже астрологи.

— Том, — сказала Руфь после некоторого колебания, — быть может, мистер Уэстлок, по дружбе к тебе, не говорит всего, что знает?

— Нет, что вы! — горячо воскликнул Джон. — Это не так, уверяю вас. К моему великому сожалению, я никак не могу приписать себе эту честь, мисс Пинч. Все, что я знаю и, насколько можно судить, буду знать, я ему сказал.

— А не могли бы вы узнать больше, если бы сочли нужным? — спросила Руфь, усиленно отскребая пирожную доску.

— Нет,— возразил Джон.— Право, нет. Очень невеликодушно с вашей стороны относиться ко мне так подозрительно, когда я вам безгранично верю. Я вполне полагаюсь на ваш пудинг, мисс Пинч.

Руфь засмеялась, но скоро они перестали шутить и начали обсуждать этот вопрос с глубокой серьезностью. Как бы ни было темно все остальное в этом деле, одно оставалось ясным: что Тому предлагают сто фунтов жалованья в год; но ведь в конце концов это было самое главное, и в окружающей тьме оно только становилось виднее.

Том, находясь в сильном волнении, пожелал немедленно отправиться в Остин-Фрайерс; однако, по совету Джона, они подождали еще около часа. Том перед уходом принарядился насколько возможно, и Джон Уэстлок в полуоткрытую дверь гостиной видел мельком, как прелестная маленькая сестричка чистит в коридоре воротник его пальто, зашивает распоровшиеся по шву перчатки и легко порхает вокруг Тома, усердно поправляя его костюм то тут, то там с милой старомодной аккуратностью; и он невольно вспомнил ее фантастические портреты на стенах чертежной у Пекснифа и решил с негодованием, что все они грубейшая клевета и недостаточно красивы, хотя, как уже упоминалось в свое время, художники всегда рисовали ее красавицей, да он и сам сделал не меньше десятка таких набросков.

— Том,— сказал он, шагая с ним рядом по улице,— я начинаю думать, что вы чей-то сын.

— Да, я тоже так думаю,— отвечал Том спокойно, как всегда.

— Я хочу сказать — какого-нибудь значительного лица.

— Господь с вами,— ответил Том,— мой бедный отец был вовсе не значительное лицо, и моя мать также.

— Значит, вы хорошо их помните?

— Помню ли? Ну еще бы, конечно! Моя бедная мать умерла вслед за отцом. Руфь была тогда еще совсем крошка; с тех пор мы и оказались на попечении доброй

бабушки, о которой я вам рассказывал. Помните? О, в нашей истории нет ничего романтического, Джон.

— Очень хорошо,— сказал Джон, приходя в отчаяние.— Тогда ничем нельзя объяснить появление моего сегодняшнего гостя, Том; не будем и пытаться.

Они пытались, однако, и не оставляли этого занятия, пока не дошли до Остин-Фрайерс, где, в очень темном коридоре пристройки на втором этаже, странно прилепившейся к задней стороне дома, они нашли в углу мутную стеклянную дверцу с намалеванной на ней надписью: «Мистер Фипс», которая тщилась быть прозрачной. Тут же рядом, в темном углу, прятался дрянной буфет, стоявший здесь специально для того, чтобы наносить повреждения ребрам посетителей, и старый половик, весь истертый до нитки, который, будучи бесполезен в качестве половика, даже если бы его кто-нибудь заметил, с давних пор направил свою деятельность по другой линии и заставлял спотыкаться всех клиентов мистера Фипса.

Мистер Фипс, заслышав, что чья-то шляпа безуспешно толкается в дверь его конторы, заключил из этого обычного сигнала, что кто-то явился к нему с визитом, и, впустив этого кого-то, заметил, что «тут довольно темно».

— Действительно темно! — шепнул Джон на ухо Тому Пинчу.— Самое, по-моему, подходящее место, чтобы разделаться с провинциалом, Том.

Том уже прикидывал в уме, возможно ли, что их заманили сюда с тем, чтобы раздобыть начинку для пирожков, но вид мистера Фипса, маленького худенького старичка самой мирной наружности, который носил коротенькие черные штаны и пудрил волосы, рассеял его сомнения.

— Войдите,— сказал мистер Фипс.

Они вошли. И контора у мистера Фипса оказалась тоже маленькая, потемневшая, как от желтухи, с большим черным расползшимся во все стороны пятном на полу, словно какой-нибудь старый клерк перерезал тут себе горло и истек чернилами вместо крови.

— Я привел моего друга мистера Пинча, сэр,— сказал Джон Уэстлок.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал мистер Фипс.

Они уселись на стулья, а мистер Фипс — на контор-

ский табурет, из обивки которого он вытащил невероятной длины конский волос и тут же с большим аппетитом отправил его в рот.

Он глядел на Тома Пинча внимательно, но совершенно спокойно, без всякого выражения, которое можно было бы принять за излишнее любопытство. После краткого молчания, во время которого мистер Фипс держал себя весьма непринужденно, явно давая этим понять, что заговорил бы и раньше, если бы ему вздумалось, он спросил, передал ли мистер Уэстлок его предложение мистеру Пинчу со всеми подробностями.

Джон ответил утвердительно.

— И вы согласны его принять? — спросил у Тома мистер Фипс.

— Я думаю, что мне очень повезло, сэр,— сказал Том.— Я чрезвычайно вам обязан за предложение.

— Не мне,— сказал мистер Фипс.— Я действую согласно данным мне инструкциям.

— В таком случае, сэр, вашему знакомому,— сказал Том,— джентльмену, для которого я буду работать и чье доверие я постараюсь заслужить. Узнав меня лучше, сэр, он, надеюсь, не утратит хорошего мнения обо мне. Он найдет, что я аккуратен и исполнителен и стараюсь работать как следует. За это, мне кажется, я могу ручаться, и мистер Уэстлок также,— прибавил он, взглянув на Джона.

— Без всякого сомнения,— сказал Джон.

Мистер Фипс, по-видимому, затруднялся продолжать разговор. Чтобы несколько помочь себе, он взял печатку и принялся отпечатывать заглавное Ф на колене.

— Дело в том,— сказал мистер Фипс,— что моего знакомого в настоящее время нет в городе.

Физиономия Тома вытянулась, он решил, что не произвел благоприятного впечатления и что Фипсу придется искать кого-нибудь другого.

— Как вы полагаете, когда он будет в городе? — спросил Том.

— Не могу сказать, очень трудно предвидеть. Я, право, не имею понятия. Однако,— сказал Фипс, глубоко вдавливая печатку в икру левой ноги,— я не думаю, чтобы это было так важно.

Бедняга Том почтительно наклонил голову, но, казалось, сомневался в этом.

— Я говорю,— повторил мистер Фипс,— что не знаю, так ли это важно. Вы можете обо всем договориться со мной, мистер Пинч. Что касается ваших обязанностей, я могу ввести вас в дело; что касается вашего жалованья, я буду выплачивать его еженедельно,— добавил мистер Фипс, кладя на место печатку и глядя поочередно то на Джона Уэстлока, то на Тома Пинча. После чего мистер Фипс вытянул губы, как бы готовясь засвистеть. Однако не засвистел.

— Вы очень добры,— сказал Том, чья физиономия просияла от удовольствия,— и ничего не может быть приятнее и яснее. Мне придется работать...

— С половины десятого и часов до четырех, я полагаю,— прервал его мистер Фипс.— Около того.

— Я имел в виду не часы работы,— возразил Том,— они, конечно, необременительны, но место.

— Ах, место! Место в Тэмпле *.

Том пришел в восторг.

— Быть может,— сказал мистер Фипс,— вы желали бы видеть это место?

— О боже! — воскликнул Том.— Я буду слишком счастлив, если вы разрешите считать, что я принят, независимо от того, где мне придется работать.

— Во всяком случае, считайте, что вы приняты,— сказал мистер Фипс.— Не могли бы вы встретиться со мной у ворот Тэмпла, на Флит-стрит *, приблизительно через час?

Разумеется, да.

— Хорошо,— сказал мистер Фипс, вставая.— Тогда я покажу вам место, а работать вы начнете завтра утром. Итак, через час мы с вами увидимся? И с вами также, мистер Уэстлок? Очень хорошо. Идите осторожно: тут довольно темно.

С таким напутствием, по-видимому излишним, он распахнул перед ними дверь на лестницу, и они ощупью выбрались снова на улицу. Это свидание так мало рассеяло тайну, которой было облечено новое занятие Тома, и, наоборот, так сильно ее сгустило, что каждый из друзей мог только улыбнуться изумленному виду другого. Они

согласились, однако, что введение Тома в должность и знакомство с сослуживцами должно пролить свет на это дело, и потому отложили дальнейшее его обсуждение до нового свидания с мистером Фипсом.

Заглянув по дороге на квартиру Джона Уэстлока и уделив несколько свободных минут кабаньей голове, они отправились на место свидания. Назначенное время еще не наступило, но мистер Фипс стоял уже у ворот Тэмпла и выразил свое удовольствие по поводу их точности.

Он повел их разными переулками и дворами во двор, более тихий и мрачный, чем остальные, и, отыскав нужный дом, поднялся по общей лестнице, доставая на ходу из кармана связку ржавых ключей. Остановившись перед дверью в верхнем этаже, на которой не было ничего, кроме пятна желтой краски там, где обычно полагается быть фамилии жильца, он начал неторопливо выколачивать пыль из ключа о широкие перила лестничной площадки.

— Вам лучше всего будет сделать маленькую затычку,— сказал он, пронзительно свистнув в ключ и оглядываясь на Тома,— это единственное средство, чтобы они не засорялись. Замок, я думаю, тоже будет лучше действовать, если его смазать немножко маслом.

Том поблагодарил его, но весьма кратко, так как был слишком занят собственными мыслями и переглядыванием с Джоном Уэстлоком. Тем временем мистер Фипс отпер дверь, которая подалась очень неохотно и с резким скрипом. После этого он вынул ключ и передал его Тому.

— Да, да! — сказал мистер Фипс, входя в комнату.— Пыли здесь, однако, порядочно.

Да, в самом деле. Мистер Фипс мог бы даже сказать, что пыли здесь очень много. Она накопилась повсюду, густым слоем лежала на всем, а в одной части комнаты, где луч солнца, проникнув в щель ставня, падал на противоположную стену, она крутилась, словно в огромном беличьем колесе.

Пыль была единственное, что сколько-нибудь двигалось здесь. Когда их спутник, открыв ставни и подняв тяжелую оконную раму, впустил в комнату свет и теплый летний воздух, стало возможно разглядеть ветхую

мебель, почерневшие панели и потолок, ржавую печку, золу на очаге — словом, картину полной заброшенности; возле дверей стоял подсвечник с гасильником на нем,— словно, покидая комнату, последний из тех, кто сюда входил, остановился на пороге, чтобы бросить прощальный взгляд на оставленное им запустение, и, погасив и свет и жизнь, затворил квартиру, словно склеп.

На этом этаже было две комнаты, и в первой, или передней из них, узкая лестница, ведущая в два верхних покоя. Прежде там помещались спальни. Ни здесь, ни внизу не было недостатка в удобной мебели, хотя вся она была старого фасона, но долгие годы запустения и заброшенности, казалось, сделали ее ни на что не годной и придали ей призрачный, пугающий вид.

Домашние вещи всякого рода были разбросаны повсюду, без малейшего порядка, вперемежку с ящиками, корзинами и всяким хламом. Всюду на полу лежали груды книг, быть может несколько тысяч томов; одни пачками, другие как были куплены, в бумаге, третьи валялись поодиночке или кучами,— на полках, идущих вдоль стен, не было ни одной. На эти книги мистер Фипс и обратил внимание Тома.

— Прежде чем приниматься за что-нибудь другое, надо привести книги в порядок, составить каталог и разместить по полкам, мистер Пинч. Для начала, я думаю, этого хватит, сэр.

Том потер руки, в приятном предвкушении такой интересной для него работы, и сказал:

— Дело для меня очень интересное, могу вас уверить. Это меня займет, быть может, пока мистер...

— Пока мистер?..— повторил Фипс, словно спрашивая Тома, почему он остановился.

— Я позабыл, что вы не назвали имени джентльмена,— сказал Том.

— Ах, разве не назвал? — воскликнул мистер Фипс, натягивая перчатки.— Да, впрочем, кажется, действительно не назвал. Ну, я думаю, он скоро приедет. Вы отлично с ним поладите, не сомневаюсь. Желаю вам успеха, разумеется. Вы не забудете закрыть за собой дверь? Она сама запрется, надо только ее захлопнуть. С половины десятого, теперь вы знаете. Скажем, с поло-



вины десятого и до четырех или до половины пятого; один день, быть может, немного раньше, другой, быть может, немного позже,— в зависимости от того, как вы будете настроены и как распределите вашу работу. Мистер Фипс, Остин-Фрайерс,— вы, надеюсь, запомнили? И, пожалуйста, не забудьте захлопнуть за собой дверь.

Он говорил так приветливо и непринужденно, что Том только потирал руки, кивая головой, и улыбался в знак согласия, что и продолжал делать даже после того, как мистер Фипс преспокойно удалился.

— Как, он ушел? — воскликнул Том.

— И, что еще лучше, Том,— сказал Джон, усаживаясь на груду книг и глядя на своего изумленного друга,— он, очевидно, не вернется обратно! Значит, вы водворились на место. При довольно странных обстоятельствах, Том!

Все это было так забавно с начала и до конца, и Том, стоявший среди книг, со шляпой в одной руке и ключом в другой, казался до такой степени растерянным, что его друг не мог не рассмеяться от души. Глядя на веселье своего друга, Тому и самому стало смешно при мысли, как неожиданно и в самом разгаре была прервана его учтивая беседа с мистером Фипсом; так что в конце концов рассмеялся и Том, и, глядя один на другого, они хохотали все громче.

Нахохотавшись вдоволь, для чего потребовалось довольно много времени, потому что Джону достаточно было малейшего повода, чтобы развеселиться надолго, такой это был жизнерадостный, добродушный юноша,— они осмотрелись несколько внимательнее, ища, не подвернется ли среди хлама что-нибудь проливающее свет на все дело. Но нигде не нашлось ни намека на какие бы то ни было сведения. Книги были помечены фамилиями прежних владельцев, будучи, без сомнения, куплены на аукционе и свезены сюда в разное время; но принадлежала ли одна из этих фамилий нанимателю Тома и какая именно, у них не было возможности определить. Джону пришла в голову, по-видимому, блестящая мысль, справиться в домовой конторе, кому принадлежит эта квартира или кто ее нанимает; но он вернулся, не узнав

ничего нового,— ответ был: «Мистер Финс, из Остин-Фрайерс».

— В конце концов, Том, я начинаю думать, что все объясняется очень просто. Финс большой чудак; он до известной степени знает Пекснифа; презирает его, конечно; слышал о вас достаточно, чтобы понять, что вы именно такой человек, какой ему нужен, и нанимает вас на свой собственный эксцентрический лад.

— Но к чему же все эти причуды? — спросил Том.

— А почему вообще у людей бывают причуды? Почему мистер Финс носит короткие штаны и пудрит волосы, а сосед мистера Финса ходит в сапогах и парике?

Том, находясь в таком состоянии духа, когда человек хватается за любое объяснение, с готовностью успокоился на этом, так как оно было приемлемо не хуже всякого другого, и сказал, что совершенно с этим согласен. Его доверие не поколебало и то обстоятельство, что ведь и каждую предыдущую догадку своего друга он встречал точно теми же словами и, в сущности, был готов повторить их, если б тот придумал еще что-нибудь новое.

Не услышав более ничего, Том опустил оконную раму, закрыл ставень, и они вышли. Он крепко захлопнул дверь, как просил его мистер Финс, попробовал ее, убедился, что она заперлась, и положил ключ в карман.

Друзья сделали большой крюк, возвращаясь в Излингтон, так как у них было много свободного времени, и Том глядел по сторонам с неослабным любопытством. Хорошо еще, что его спутником был Джон Уэстлок, ибо всякому другому надоели бы его вечные остановки перед окнами лавок и стремительные попытки с опасностью для жизни броситься на мостовую в гущу движения, чтобы лучше разглядеть какую-нибудь колокольню или другое общественное здание. Но Джон был в восторге от такой любознательности, и каждый раз, как Том возвращался с сияющим лицом чуть ли не из-под колес фургонов и кэбов, вовсе не слыша тех комплиментов, которые посылали ему вдогонку кучера, Джон, казалось, смотрел на него еще добродушнее прежнего.

Когда Руфь встретила их в треугольной гостиной, на ее руках уже не было муки, зато лицо сияло ласковыми

улыбками, и привет светился в каждой такой улыбке и сверкал в ясных глазах. Кстати сказать, до чего же они были ясные! Стоило заглянуть ей в глаза на мгновение, когда вы брали ее за руку, и вы видели в каждом из них свой миниатюрный портрет, превосходный портрет, изображающий вас таким беспокойным, сверкающим, живым, блестящим маленьким человечком...

Ах, если б можно было вечно видеть в них собственный миниатюрный портрет! Но эти быстрые глаза были слишком уж беспристрастны — стоило кому-нибудь другому стать перед ними, и он сейчас же начинал плясать и сверкать в них так же весело, как и вы!

Стол был уже накрыт к обеду; правда, на нем не было ничего особенного, ни хрусталя, ни тонкого полотна, а только ножи с зелеными ручками и двузубые вилки, похожие на гимнастов, которые словно пробовали, насколько им можно расставить зубцы, не превратившись в двойное число железных зубочисток; но этому столу и не нужно было ни камчатных скатертей, ни серебра, ни золота, ни фарфора и никакого другого убранства. Он был на своем месте; а раз он был на месте, то ничего другого и не требовалось.

Успех этого опыта — первого шага Руфи на поприще кулинарии — был настолько полным, блистательным и совершенным, что Джон Уэстлок вместе с Томом решили, будто она давно уже изучает втихомолку это искусство, и требовали от нее чистосердечного признания. Они очень веселились и наговорили много остроумного по поводу своей выдумки, однако Джон повел себя не так честно, как можно было бы ожидать, и после того как он сам довольно долго подзадоривал Тома Пинча, вдруг вероломно передался на сторону врага и стал поддакивать всему, что бы ни говорила сестра Тома. Но все это, как заметил Том в тот вечер перед отходом ко сну, все это было в шутку — Джон всегда славился своей учтивостью с дамами, даже когда был совсем юнцом. Руфь сказала на это: «Ах, вот как!» И больше уже ничего не говорила.

Удивительно, каких только тем не найдется для беседы, если люди собрались втроем! Они разговаривали

почти не умолкая. И не одна только веселая болтовня занимала их: когда Том рассказывал, как он виделся с дочерьми мистера Пекснифа и как переменилась младшая, все трое стали очень серьезны.

Джон Уэстлок чрезвычайно заинтересовался судьбой Мерси и долго расспрашивал Тома про ее замужество, спросил даже, кто такой ее муж, не тот ли джентльмен, который обедал с ними в Солсбери, и как они приходятся друг другу, если речь идет о разных людях; словом, проявил живейшее участие к этой теме. Тогда Том принялся рассказывать со всеми подробностями. Он рассказал, как Мартин уехал в Америку и уже давно не подает о себе вестей; как Марк из «Дракона» стал его спутником; как мистер Пексниф прибрал к рукам дряхлого, выжившего из ума старика и как бесчестно он добивался руки Мэри Грейм. Но ни слова не промолвил он о том, что было скрыто в глубине его сердца — его любящего, верного сердца, исполненного благородства, готового откликнуться на все великодушное и бескорыстное! Ни единого слова!

Том, Том! Придет час, и человек, как нельзя более уверенный в своей проницательности и прозорливости, человек, который похваляется своим презрением к другим людям и доказывает свою правоту, ссылаясь на нажитое золото и серебро, усердный поклонник мудрого учения «Каждый за себя, а бог за всех» (ну, разве это не высокая мудрость считать, что всевышний на небесах покровительствует корысти и эгоизму!),— придет час, и человек этот узнает, что вся его мудрость — безумие идиота, по сравнению с чистым и простым сердцем!

Да, да, Том Пинч, но нельзя же быть таким простаком, хотя это простота совсем другого рода,— стремиться в театр, о котором Джон сказал после чая, будто он там свой человек и может водить туда кого угодно, не заплатив ни гроша; и даже не заподозрить, что Джон купил билеты, когда вошел туда сначала один! Наивно также, милый Том, смеяться и плакать так искренне, глядя на жалкую пьесу, разыгранную из рук вон плохо; наивно ликовать и смеяться, возвращаясь домой вместе с Руфью; наивно удивляться, найдя утром забавный подарок — поваренную книгу, ожидающую Руфь в гостиной,

с загнутой на мясных пудингах страницей. Вот! Пускай это так и останется! Свойство твоей души — простота, Том Пинч, а простота — что ни говори — не пользуется уважением!

ГЛАВА XL

Пинчи заводят новое знакомство, и им опять представляется случай недоумевать и изумляться

Необитаемую квартиру в Тэмпле и каждую мелочь, относившуюся к занятиям Тома, окружала таинственность, сообщавшая им странное очарование. Каждое утро, закрывая за собой дверь в Излингтоне и обращаясь лицом к лондонскому дыму, Том шел навстречу неизъяснимо пленительной атмосфере тайны, и с этой минуты она целый день сгущалась вокруг него все сильней и сильней, пока не наставало время опять идти домой, оставляя ее позади, словно неподвижное облако.

Тому всегда казалось, что он приближается к этому призрачному туману и входит в него постепенно, самым незаметным образом, поднимаясь со ступени на ступень. Переход от грохота и шума улиц к тихим дворам Тэмпла был первой такой ступенью. Каждое эхо его шагов, как ему казалось, исходило от древних стен и каменных плит мостовой, которым не хватало языка, чтобы рассказать историю этих темных и угрюмых комнат, поведать о том, сколько пропавших документов истлевает в забытых углах запертых наглухо подвалов, из решетчатых окон которых до него доносились такие затхлые вздохи; чтобы бормотать о потемневших бочках драгоценного старого вина, замурованных в погребах, под старыми фундаментами Тэмпла; чтобы лепетать едва слышно мрачные легенды о рыцарях со скрещенными ногами, чьи мраморные изваяния покоятся в церквах. Как только он ставил ногу на первую ступеньку лестницы, ведущей к его пыльной конторе, эти тайны начинали множиться и, наконец, поднявшись вместе с Томом по лестнице, расцветали полным цветом во время его уединенных дневных трудов.

Каждый день вновь приносил с собою все ту же неистощимую тему для размышлений. Его наниматель — придет ли он сегодня? И что это за человек? Воображение Тома никак не мирилось с мистером Фипсом. Он вполне поверил мистеру Фипсу, что тот действует по поручению другого, и догадки о том, что за человек этот другой, цвели пышным цветом в саду фантазии Тома, цвели не увядая, не тронутые ничьей рукой.

Одно время он воображал, что мистер Пексниф, раскаявшись в своем вероломстве, придумал этот способ найти ему занятие, для чего и воспользовался своим влиянием на кого-то третьего. Эта мысль показалась ему настолько невыносимой, после всего что произошло между ним и этим добродетельным человеком, что он в тот же день доверился Джону Уэстлоку и сообщил ему, что он скорее наймется в грузчики, нежели упадет так низко в собственных глазах, приняв хотя бы малейшее одолжение от мистера Пекснифа. Но Джон Уэстлок убедил Тома, что он еще не вполне отдает должное мистеру Пекснифу, если полагает, что этот джентльмен способен на какой-либо великодушный поступок; и что он может совершенно не беспокоиться на этот счет, пока не увидит, что солнце позеленело, а луна почернела, и в то же время различит невооруженным глазом и совершенно ясно двенадцать комет первой величины, бешено вращающихся вокруг этих светил. Вот если дело примет столь необычайный оборот, сказал он, тогда не будет, быть может, решительным безумием подозревать мистера Пекснифа в таком сверхъестественном великодушии. Словом, он беспощадно высмеял эту мысль, и Том, расставшись с нею, опять почувствовал себя сбитым с толку и опять терялся в догадках.

Тем временем Том каждый день ходил на занятия и довольно много успел сделать: книги были уже приведены в относительный порядок и производили самое лучшее впечатление в каллиграфически переписанном каталоге. В часы занятий он иногда позволял себе удовольствие читать урывками — что нередко бывало необходимо для дела,— и так как он, набравшись смелости, обычно уносил один из этих волшебных томиков с собою на ночь (причем утром всегда ставил книгу на место, на

тот случай, если его необыкновенный наниматель появится и спросит, куда она девалась), то жизнь его текла счастливо, спокойно и деятельно и была вполне ему по сердцу.

Никогда еще книги не казались Тому так интересны и полны новизны, и все же они не настолько приковывали его внимание, чтобы он не слышал хотя бы даже самого тихого звука в этой таинственной квартире. Каждый отголосок шагов во дворе заставлял его настороженно прислушиваться, и когда эти шаги заворачивали в дом и поднимались все выше, выше и выше по лестнице, он всегда думал с бьющимся сердцем: «Наконец-то я встречусь с ним лицом к лицу!» Но ничьи шаги не поднимались на самый верх, все останавливались этажом ниже — все, кроме его собственных.

Это уединение и таинственность порождали в мозгу Тома фантазии, всю неразумность которых легко угадывал его здравый смысл, однако прогнать их он был не в силах, потому что здравый смысл у нас в этих случаях похож на старую французскую полицию: он быстро раскрывает преступление, но не в силах предупредить его. Подозрения, неопределенные, нелепые, необъяснимые, что кто-то прячется во внутренней комнате, бесшумно ходит над головой, подсматривает в дверную щель, тайно делает что-то там, куда не проникает взгляд Тома,— находили на него по сто раз в день, так что он рад был поднять оконную раму и развлечься хотя бы в обществе воробьев, которые вили гнезда под кровлей и в водосточных желобах и целый день щебетали под окнами.

Он постоянно сидел с распахнутой настежь дверью, чтобы слышать шаги входивших в дом и заворачивавших в квартиры нижних этажей. При виде прохожих на улице у него появлялись странные мысли, и иногда он говорил себе, глядя на человека, обратившего на себя его внимание какой-нибудь особенной чертой в одежде или внешности: «Я бы не удивился, если б это был он!» Но этого не случалось. И хотя Том в самом деле поворачивал обратно и шел следом за привлекшим его внимание незнакомцем, в странной уверенности, что тот идет в дом, откуда сам он только что вышел, это всегда

кончалось одинаково: Том лишний раз убеждался, что ошибся.

Мистер Фипс скорее сгущал, чем рассеивал окружавший его мрак, ибо в первый же раз, когда Том зашел к нему получить жалованье за неделю, он заметил:

— Да, между прочим, мистер Пинч, вам незачем об этом рассказывать, будьте так любезны!

Том подумал, что он собирается ему сообщить какую-то тайну, и потому стал уверять, что он ни в коем случае не проговорится и мистер Фипс может всецело положиться на него. Но так как мистер Фипс ответил только: «Очень хорошо» — и ничего больше, Том решил добиться от него объяснения.

— Совершенно незачем,— согласился Том.

Мистер Фипс повторил:

— Очень хорошо.

— Вы хотели сказать...— намекнул Том.

— О боже мой, нет! — воскликнул Фипс.— Ровно ничего не хотел.

Однако, видя смущение Тома, он прибавил:

— Я хотел только пояснить, что вам незачем рассказывать кому-нибудь подробно о том, где вы работаете. Лучше не рассказывать.

— Я еще не имел удовольствия видеть своего патрона,— заметил Том, кладя в карман жалованье за неделю.

— Разве не видели? — сказал Фипс.— Да, впрочем, я полагаю, что не видели.

— Мне хотелось бы поблагодарить его и спросить, доволен ли он тем, что я уже сделал,— нерешительно выговорил Том.

— Совершенно правильно,— сказал Фипс, зевая.— Чрезвычайно похвально. Так и следует.

Том попробовал подойти к нему с другой стороны.

— Я скоро закончу работу с книгами,— сказал он.— Надеюсь, моя служба не ограничится этим, или я больше не понадоблюсь?

— О боже мой, что вы! — возразил Фипс.— Работы много, работы о-чень много! Идите осторожней: тут довольно темно.

И это было самое большее, чего Том сумел от него добиться. Так что тут было темно во всех смыслах, и если

мистер Фипс говорил и в прямом и в переносном смысле, значит у него были на то основания.

Но тут подвернулось такое обстоятельство, что мысли Тома отвлеклись даже и от этой тайны, вернее разделились между нею и новым руслом, которое уже само по себе представляло целый Нил.

Произошло это вот каким образом. Привыкнув с давних пор вставать рано и не имея теперь органа под руками, чтобы по утрам предаваться любимому занятию, он завел обыкновение совершать долгие прогулки перед тем, как идти в Тэмпл; и так как его в качестве провинциала, естественно, более привлекали те части города, где постоянно царили жизнь и движение, он стал постоянным посетителем рынков, набережных, мостов и особенно пароходных пристаней: было так весело и приятно смотреть на людей, бегущих по делам или в поисках рассеяния, и Тома радовала мысль, что в скучном однообразии городской жизни можно найти столько свободы и всяких впечатлений.

Руфь обычно сопровождала его в этих утренних прогулках. Так как владелец дома, где они жили, вставал очень рано и уходил по своим делам (что это были за дела, никто, по-видимому, не знал), то привычки домохозяев совпадали с их собственными. Таким образом, нередко бывало, что к семи часам они уже кончали завтракать и выходили на свежий воздух. После двухчасовой прогулки они расставались где-нибудь на перекрестке, и Том отправлялся на службу, а его сестра возвращалась домой, так чинно и аккуратно, как только можно было пожелать.

Много, много приятных прогулок совершили они на Ковент-Гарденский рынок *, дыша ароматом цветов и фруктов, дивясь великолепию ананасов и дынь; заглядывая в боковые переулки, где старухи сидели рядами на перевернутых корзинках и лущили горох; любуясь на толстые пучки спаржи, которыми, словно брустверами, были укреплены зеленные лавки; с удовольствием вдыхая у дверей семенных лавок запахи, напоминавшие о сыром телячьем фарше, смешанные с благоуханием каперсов, оберточной бумаги и семян; кое-где можно было даже увидеть жирных улиток и вертлявых молодых пиявок.

Много, много приятных прогулок совершили они на Птичий Рынок, где куры и утки с неестественно длинными шеями лежали, связанные попарно, совсем готовые для жаренья, где были выставлены крапчатые яйца в убранных мхом корзинах и белые деревенские колбасы, не внушавшие никаких подозрений еще не истребленным кошкам и собакам, лошадям и ослам; молодые сыры всех сортов и видов; живая птица в корзинках и клетках, казавшаяся очень крупной, оттого что клетки были очень малы; и несметное множество кроликов, живых и битых. Много приятных прогулок совершили они по рыбным рядам, освежающим, прохладным, блещущим серебром, где все, кроме вечно румяных омаров, словно было залито лунным светом; много приятных прогулок среди возов душистого сена, под которыми крепко спали собаки и усталые возчики, позабыв о пирожнике и распивочной. Но ни одна из этих прогулок не была и вполовину так хороша, как прогулка на пароходную пристань в ясное летнее утро.

Пароходы стояли один возле другого, казалось прикованные навеки, однако каждый из них норовил улизнуть и явно не терял уверенности, что ему это удастся; и, в надежде на это, толпы пассажиров и груды багажа спешно переправлялись на борт. Маленькие пароходики непрерывно сновали вверх и вниз по реке. Ряды за рядами судов, целые рощи мачт, паутина снастей, пра̀здно повисшие паруса, плещущие весла, проворные лодки, тяжеловесные барки, вбитые в речное дно сваи, в ослизлых щелях которых ютится множество водяных крыс, церковные колокольни, склады, крыши домов, арки, мосты, мужчины и женщины, дети, бочки, краны, ящики, лошади, кареты, зеваки и чернорабочие — все это можно было видеть каждое летнее утро перемешанным в таком беспорядке, что Том не в силах был во всем этом разобраться.

Надо всей этой суматохой без умолку ревели пароходные гудки, что вполне выражало напряженное волнение сцены. Все пароходы, казалось, обливались по́том и суетились совершенно так же, как и пассажиры; они волновались и беспокоились на свой собственный хриплый лад, не умолкая ни на миг, и нет-нет разражались тревож-

ными криками, не соблюдая знаков препинания: «Скорей торопитесь я волнуюсь скорей ох боже мой опоздаем что же вы не спешите я ухожу!»

Даже снявшись с якоря и благополучно выбравшись на середину течения, они опять принимались за то же, пользуясь малейшим предлогом; минутная остановка, вызванная затором на реке,— и самый храбрый из пакетботов немедленно начинал пыхтеть и беспокоиться снова: «Ох задержка что случилось пустите скорей я спешу это вы нарочно да что же вы ах боже мой да пустите же скорей!» — и так, волнуясь чуть не до сумасшествия, он снова пускался в путь и медленно уплывал сквозь туман навстречу летнему дню, красившему его в розовый цвет.

Однако пароход Тома — вернее, тот почтовый пароход, которым они с сестрой особенно заинтересовались в данном случае,— и не думал еще уходить, и здесь суета была в самом разгаре. Наплыв пассажиров был очень велик; с обеих сторон парохода стояло по катеру; сходни были переполнены; растерянные женщины, явно направляющиеся в Грейвзенд *, но глухие ко всем увещаниям насчет того, что этот пароход отходит в Антверпен, упрямо совали корзинки с провизией под скамейки, за переборки и за бочки с водой, и вообще суматоха была неимоверная.

Это было так любопытно, что Том, держа Руфь под руку, глядел на пароход, совершенно не замечая за своей спиной пожилой дамы, которая явилась на пристань с большим зонтиком и теперь не знала, куда его девать. Это страшное орудие с крючковатой ручкой прежде всего дало знать о себе тем, что очень больно сдавило Тому дыхательное горло, случайно зацепив его за шею. Высвободившись довольно добродушно, он тут же почувствовал железный наконечник зонтика на своей спине, и немедленно вслед за этим крюк зацепил его за ноги; потом зонтик прогулялся по его шляпе, хлопая наподобие крыльев большой птицы, и, наконец, угостил его тычком под ребра так больно, что это заставило Тома обернуться и слегка попенять на такую бесцеремонность.

Обернувшись назад, он увидел владелицу зонтика, которая привстала на цыпочки, чтобы лучше разглядеть

пароходы; судя по ее разъяренной физиономии, Том решил, что она напала на него с умыслом, как на своего природного врага, стоящего в первых рядах толпы.

— Какой у вас, должно быть, дурной характер! — сказал Том.

Дама неистово завопила: «Где тут полиция?» — и продолжала вопить, угрожая Тому зонтиком, что ежели бы только не то, что этих молодчиков никогда нет поблизости, когда они нужны, она бы его велела арестовать, велела бы непременно.

— Поменьше бы помадили усы да побольше бы думали о своих обязанностях, чем даром получать такие деньги,— кричала она,— незачем было бы людям с ума сходить в этой толкучке!

Ее в самом деле ужасно затолкали и даже капор на ней смяли так, что он превратился в треуголку. Дама была маленькая и толстая, она сильно запыхалась и разгорячилась. Поэтому, вместо того чтобы продолжать пререкания, Том вежливо спросил у нее, на какой пароход ей нужно садиться.

— Конечно,— возразила дама,— это вам только можно просто так глядеть на пароход, а другим обязательно садиться надо, как же! Дурак!

— На какой же пароход вы хотите смотреть? — спросил Том.— Мы посторонимся, если нужно. Не выходите из себя.

— Скольким милым особам я помогала в трудное время,— возразила она, несколько смягчившись,— всех не перечтешь, и ни одна меня в этом не обвиняла, разве в чем другом, потому что характер у меня ровный и мягкий, это всем известно. Я всегда говорю: перечьте мне сколько хотите, милая, если вам от этого легче; вы же знаете, что Сара вам и словечка не скажет, можете на нее положиться. А что нынче я в большом расстройстве и огорчении, отрицать не стану, боже сохрани, и причин для этого достаточно.

Тем временем миссис Гэмп (это был не кто иной, как наша опытная лекарка) с помощью Тома протиснулась в маленький уголок между Руфью и перилами, где, после кратковременного пыхтенья и нескольких опасных

маневров с зонтиком, она ухитрилась, наконец, устроиться довольно удобно.

— А которое же из этих страшилищ будет анкверкенский пароход, хотела бы я знать? Дыму-то, боже мой! — воскликнула миссис Гэмп.

— Какой пароход вам нужен? — спросила Руфь.

— Анкверкенский,— ответила миссис Гэмп.— Не стану вас обманывать, милочка, к чему бы мне это?

— Вон антверпенский пароход, в середине,— сказала Руфь.

— По мне, лучше б он был у Ионы в чреве *,— воскликнула миссис Гэмп, как видно путая пророка с китом в этом более чем странном пожелании.

Руфь ничего не ответила, но так как миссис Гэмп, положив подбородок на холодный чугун перил, не сводила глаз с антверпенского парохода и время от времени испускала негромкие стоны, она спросила, не уезжает ли сегодня за границу кто-нибудь из ее детей? Или, может быть, ее муж? — прибавила она ласково.

— Оно и видно,— сказала миссис Гэмп, закатывая глаза,— как мало вы еще в этой юдоли прожили, милая моя барышня! Одна моя хорошая приятельница частенько мне говаривала, милочка моя, а зовут ее Гаррис, миссис Гаррис, через площадь и подняться по лестнице, поворотя за табачную лавочку: «Ох, Сара, Сара, мало же мы знаем насчет того, что нам суждено!» — «Миссис Гаррис, сударыня,— говорю я,— это верно, что немного, а все же больше, чем вы думаете. Наши расчеты, сударыня,— говорю я,— сколько будет в семействе детей, иной раз сходятся точка в точку, и гораздо чаще, чем вы полагаете».— «Сара,— говорит миссис Гаррис, ужасно расстроившись,— скажите мне, сколько же у меня их будет?» — «Нет уж, миссис Гаррис,— говорю ей,— извините, пожалуйста. У меня самой, говорю, дети падали с третьего этажа во двор, да и сырость на лестнице им тоже действовала на легкие, а один так и помер в кроватке; никто даже не заметил, а он лежит себе, улыбается. Вот потому, сударыня,— говорю я,— старайтесь не роптать, а принимайте все с покорностью. Бог дал, бог и взял». Мои-то все померли, милая моя деточка,— продолжала миссис Гэмп,— а насчет мужа, так у него была

деревянная нога, и она тоже упокоилась своим порядком, а то, бывало, все по винным погребкам — никак оттуда не вытащишь, разве только силой, так что насчет этой слабости деревяшка была все равно что живая плоть и кровь, если не хуже.

Произнеся это надгробное слово, миссис Гэмп снова оперлась подбородком на холодный чугун и, пристально глядя на антверпенский пакетбот, качнула головой и застонала.

— Не хотела бы я,— заметила миссис Гэмп,— не хотела бы я быть мужчиной и иметь такое на совести. Да ведь и то сказать, порядочный мужчина никогда та̀к не сделает.

Том с сестрой переглянулись, и Руфь после минутного колебания спросила миссис Гэмп, что ее так волнует.

— Милая моя,— спросила та, понизив голос,— вы ведь не замужем, правда?

Руфь засмеялась, покраснела и сказала:

— Нет.

— Тем хуже,— продолжала миссис Гэмп,— для всех присутствующих. Зато другие замужем и в таком положении, как следует замужним; и одна милая молоденькая дамочка должна была сесть нынче утром на этот самый пароход, когда ей совсем не годится быть в море!

Она замолчала, глядя на палубу парохода, о котором шла речь, на ведущую вниз лестницу и на сходни. Уверившись, по-видимому, что предмет ее соболезнований еще не прибыл, она постепенно возвела глаза на самую верхушку трубы и негодующе обратилась к пароходу.

— О, чтоб тебя! — выбранилась миссис Гэмп, грозя ему зонтиком.— Ну твое ли дело возить деликатных молоденьких пассажирок, когда такому чудищу только бы грохотать да плеваться? Мало ли ты наделал вреда по нашей части своим стуком, и ревом, и шипеньем, и коптеньем, скотина ты этакая! Эти проклятые паровики,— говорила миссис Гэмп, опять грозя зонтиком,— побольше всякого пугала наделали бед — и нас без работы оставляют, и мало ли что из-за них случается раньше времени, когда никто этого не ждет (особенно на железной дороге, те всего страшней воют). Я слыхала про одного молодого

человека, кондуктора на железной дороге, всего три года как она открыта, миссис Гаррис хорошо его знает, он ей даже родней приходится по сестре, что вышла замуж за пильщика, так он за это время окрестил двадцать шесть невинных ангельских душек, и всё неожиданно, и назвали всех по именам паровозов, из-за которых оно раньше времени приключилось. Уф! — заключила миссис Гэмп свое обращение,— сразу видно, что ты дело рук человеческих, потому что нисколько не жалеешь нашу слабую натуру,— да еще как видно-то, скотина ты этакая!

Было бы вполне естественно предположить, особенно по началу причитаний миссис Гэмп, что она держит контору дилижансов или почтовых лошадей. Сама же она не могла судить о том, какое впечатление произвели на молоденькую собеседницу ее последние слова, ибо вдруг прервала свою речь и воскликнула:

— А вот и она, самолично! Бедняжечка, такая молоденькая, а идет, словно агнец на заклание! Ну, ежели только стрясется какая беда, после того как пароход выйдет в море,— пророчески провозгласила миссис Гэмп,— то это прямо убийство, и я буду свидетельницей со стороны обвинения.

Она так значительно произнесла это, что сестра Тома добрая, как и он сам, не могла не отозваться хоть несколькими словами.

— Скажите, пожалуйста, где та дама,— спросила она,— которой вы интересуетесь?

— Вон там! — простонала миссис Гэмп.— Вон она, переходит сейчас деревянный мостик. Поскользнулась на апельсинную корку,— тут миссис Гэмп крепко стиснула зонтик.— Меня всю так и перевернуло!

— Вы говорите про ту даму, которую ведет мужчина, с ног до головы закутанный в широкий плащ, так что почти все лицо закрыто?

— И пускай закроется хорошенько! — отвечала миссис Гэмп.— Как ему только не стыдно. Видели вы, как он дернул ее за руку?

— Он действительно очень ее торопит, кажется.

— Теперь он ведет ее вниз, в душную каюту,— сердито говорила миссис Гэмп.— Что это он затеял? Бес

в него вселился, что ли? Почему он не может оставить ее на свежем воздухе?

Какие бы ни были у него причины, однако он ее не оставил на свежем воздухе, а быстро увел вниз и сам тоже скрылся; он даже не откинул плаща и не задержался на переполненной народом палубе ни на секунду дольше, чем было нужно, чтобы пройти сквозь толпу.

Том не слышал этого краткого диалога, потому что его внимание было неожиданным образом отвлечено. Рука, ухватившая его за локоть, заставила Тома обернуться как раз в ту минуту, когда миссис Гэмп заканчивала свое воззвание к паровой машине, и тут, справа от себя — слева была Руфь,— он увидел своего домохозяина и очень удивился.

Тома не столько изумило присутствие здесь хозяина, как то, что он сумел подобраться к нему так бесшумно и незаметно: только что, за секунду до этого, рядом с Томом стоял совсем другой человек, и Том так и не почувствовал никакого движения или давки в той кучке людей, где он стоял. Они с Руфью часто говорили, как бесшумно появляется и исчезает из дому их хозяин; однако от этого Том удивился не меньше, столкнувшись с ним сейчас носом к носу.

— Прошу прощения, мистер Пинч,— сказал он ему на ухо.— Я человек больной и страдаю одышкой, да и глаза у меня видят плохо. Годы мои уже не те, сэр. Не видите ли вы вон там джентльмена в длинном плаще под руку с дамой — дама под вуалью и в черной шали,— видите или нет?

Если он плохо видел, странно — как же это он нашел среди всей этой толпы тех самых людей, которых только что описывал своему жильцу? И теперь он быстро переводил глаза с них на Тома, словно ему не терпелось направить на них его блуждающий взгляд.

— Джентльмен в длинном плаще и дама в черной шали? — сказал Том.— Сейчас посмотрю!

— Да, да! — отвечал тот с явным нетерпением.— Джентльмен, закутанный с головы до ног,— странно кутаться в такое утро, как будто он болен, а может быть, он даже прикрывает лицо рукой. Нет, нет, нет! Не там,—

прибавил он, следуя за взглядом Тома,— в другой стороне, вон в том направлении, вон там!

И, не выдержав, он показал пальцем как раз туда, где в эту минуту толпа задержала интересующую его пару.

— Тут столько народа, и такая толкотня, и так много всего,— сказал Том,— что, по-моему, довольно трудно... нет, право, я не вижу господина в длинном плаще и дамы в черной шали. Вон там стоит дама в красной шали!

— Нет, нет, нет! — нетерпеливо воскликнул его хозяин, опять показывая куда-то пальцем.— Не там. Совсем в другой стороне, в другой стороне. Возле трапа, слева. Они должны быть возле трапа, ведущего в каюту. Видите вы трап? Вот уж и колокол звонит! Да видите ли вы трап?

— Погодите! — сказал Том.— Верно. Вон они идут. Вы ведь говорите про джентльмена, что сейчас спускается вниз и складки плаща волочатся за ним по ступенькам?

— Про этого самого,— отвечал тот, глядя, впрочем, не туда, куда показывал Том, а в глаза ему.— Не окажете ли вы мне любезность, сэр, большую любезность? Не передадите ли вы письмо ему из рук в руки? Только передать, он ждет его, сэр. Мне это поручили мои хозяева, но я опоздал, и так как я уже не молод, мне ни за что не успеть подняться на борт и сойти вовремя. Не извините ли вы такую вольность с моей стороны и не окажете ли мне эту любезность?

Его руки дрожали, и на лице было написано сильнейшее волнение; он совал письмо в руки Тому и указывал, кому его передать, словно искуситель на мрачной старой гравюре.

Не в обычае Тома было колебаться там, где взывали к его добродушию или состраданию. Он взял письмо, шепнул Руфи, что вернется сию минуту и чтоб она его подождала, и сбежал по лестнице со всей быстротой, на какую был способен. Столько людей спускалось, столько поднималось, столько переправляли тяжелых тюков туда и обратно, так громко звонили, так сильно шипел пар и такой стоял крик, что Тому нелегко было проложить себе дорогу, и он чуть не позабыл, на какой пароход ему нужно. Однако он успешно добрался куда следует, не теряя времени спустился в каюту и увидел, что предмет

его поисков стоит в салоне, спиной к нему, и читает какое-то объявление на стене. Когда Том подошел, чтобы передать ему письмо, он вздрогнул, заслышав шаги, и обернулся.

Каково же было удивление Тома, когда он узнал в нем того человека, с которым однажды имел столкновение в поле,— мужа бедняжки Мерси, Джонаса!

Насколько понял Том, Джонас пробормотал, какого черта ему тут надо; однако догадаться было нелегко, так невнятно он говорил.

— Мне самому ничего от вас не надо,— сказал Том,— минуту назад меня попросили передать вам это письмо. Мне указали, где вы, но я не узнал вас в этом одеянии. Возьмите же! Как прекрасен этот мир

Джонас взял письмо, распечатал и прочел то, что было в нем написано. Содержание оказалось, по-видимому, очень кратким — не более одной строчки,— но оно поразило его, словно камень из пращи.

Волнение Джонаса было так странно, что Том, никогда не видевший ничего подобного, невольно остановился. Как ни кратковременны были колебания Джонаса, колокол перестал звонить, пока он стоял в нерешительности, и хриплый голос сверху осведомился, кто здесь возвращается на берег.

— Да,— крикнул Джонас,— я, я схожу. Дайте мне сойти. Где эта женщина? Идем обратно, идем сейчас же!

Он распахнул дверь в каюту и скорее потащил, чем повел Мерри за руку. Она была бледна и испугана и очень удивилась, увидев старого знакомого, но не успела с ним заговорить, потому что наверху поднялся шум и движение и Джонас быстро потащил ее на палубу.

— Куда мы идем? Что случилось?

— Мы идем обратно,— сказал Джонас.— Я передумал. Я не могу ехать. Не спрашивай меня, не то дело плохо кончится для тебя или для кого-нибудь другого. Погодите же, погодите! Нам надо на берег, слышите? На берег!

Он обернулся, невзирая на все безумие этой спешки, и, злобно нахмурившись, погрозил Тому кулаком. Немного найдется человеческих лиц, способных выразить такую ненависть, какая выражалась в его чертах!

Он тащил Мерри наверх, а Том следовал за ними. Он яростно тащил ее по палубе, через борт, по зыбкой доске и вверх по ступеням, не удостаивая ее ни единым взглядом и все время пристально рассматривая лица стоящих на пристани. И вдруг обернулся и крикнул Тому с ужасным проклятием:

— Где он?

Прежде чем Том, негодуя и возмущаясь, успел ответить на вопрос, которого он вовсе не понял, какой-то человек подошел к ним сзади и окликнул Джонаса Чезлвита по имени. Он был похож на иностранца, с черными усами и бакенбардами, и его учтивое спокойствие странно противоречило поведению Джонаса, изобличавшему отчаяние и тревогу.

— Чезлвит, дорогой мой,— сказал этот джентльмен, приподнимая шляпу в знак внимания к миссис Чезлвит,— двадцать тысяч раз прошу у вас извинения. Мне в высшей степени неприятно расстраивать семейную прогулку такого рода (я знаю, как это всегда очаровательно и освежающе действует, хотя сам и не имею счастья быть семейным человеком, что составляет величайшую трагедию моего существования), но дела, дорогой мой друг, дела... Вы не представите меня?

— Это мистер Монтегю,— сказал Джонас, по-видимому давясь словами.

— Самый несчастный из смертных, миссис Чезлвит,— подхватил Монтегю,— и более всех сокрушающийся о том, что эта маленькая прогулка не состоялась; но, как я уже говорил моему другу, дела, наши общие дела... Вы, я вижу, задумали небольшую поездку на континент?

Джонас хранил упорное молчание.

— Хоть убейте,— воскликнул Монтегю,— но я потрясен! Честное слово, я потрясен! А все эти проклятые дела, наш улей в Сити! Все остальное не считается, когда надо собирать мед, и в этом мое лучшее оправдание. Тут, справа от меня, все время приседает какая-то странная особа,— сказал Монтегю, прерывая свою речь и глядя на миссис Гэмп,— с которой я не знаком. Кто-нибудь ее знает?

— Ах, еще бы они меня не знали, господь с ними! — начала миссис Гэмп.— И ваша веселая женушка тоже,

сударь, дай бог ей подольше быть веселой! Позвольте пожелать, чтобы все (она произнесла это, как произносят тост или поздравление) так же радовались и цвели красотой, как один будущий папаша, которого я называть не стану, чтобы никому не было обиды, боже сохрани! Дорогая моя дамочка,— тут она сразу перестала улыбаться, а до тех пор делала вид, будто страх как весела,— что-то вы уж очень бледны!

— И вы тоже тут, никак? — проворчал Джонас.— Ей-богу, а не слишком ли вас много?

— Надеюсь, сударь,— возразила миссис Гэмп, с возмущением приседая,— никому от этого вреда не будет, что мы с миссис Гаррис гуляли по пристани в общественном месте. Она так и сказала мне, этими самыми словами (хоть режьте меня, вот так и сказала): «Сара, говорит, пристань — это общественное место?» — «Миссис Гаррис,— говорю я,— как вы можете в этом сомневаться? Вы меня знаете вот уже тридцать восемь лет, сударыня, когда же это вы видели, чтобы я пошла или пожелала пойти туда, куда меня не просят, скажите сами».— «Нет, Сара,— говорит миссис Гаррис,— как раз наоборот». И еще бы ей этого не знать! Я женщина бедная, но за мной люди гоняются, сударь, хоть вы, может, этого и не думаете. Ко мне всю ночь стучатся, каждый час; сколько раз хозяева делали предупреждение, а то все соседи ругаются, думают, что пожар. Я бьюсь из-за куска хлеба, правда, зато никому ничем не обязана и, с вашего позволения, думаю так и до смерти дожить. Я женщина чувствительная, сударь, и сама была матерью, но попробуйте троньте хоть глиняный горшок, ежели он мой, или оговорите меня хоть единым словом насчет еды или питья,— и будь вы самая любимая служанка в доме, этакая какая-нибудь молоденькая вертихвостка, все равно,— либо вы уйдете с места, либо я уйду. Заработки мои невелики, сударь, но на ногу себе наступить я никому не позволю. Сохранить ребенка и спасти мать — вот мой сервиз, сударь; и разрешу себе к этому прибавить: не оговаривайте сиделку, она этого не потерпит!

В заключение миссис Гэмп обеими руками крепко стянула на себе шаль и, как обычно, сослалась на миссис Гаррис в подтверждение справедливости своих слов. При

взгляде на нее можно было уже заметить то дрожание головы, которое у дам с таким горячим характером следует считать верным признаком приближающейся новой вспышки, но Джонас вмешался весьма своевременно:

— Раз вы уже тут,— сказал он,— так лучше позаботьтесь о ней и проводите ее домой. У меня есть другое дело.— Он не сказал ничего больше, но поглядел на Монтегю, словно давая ему понять, что готов сопровождать его.

— Мне очень жаль уводить вас,— сказал Монтегю.

Джонас бросил на него мрачный взгляд, который надолго остался в памяти Тома.

— Жаль, клянусь жизнью! — сказал Монтегю.— Не надо было меня до этого доводить!

С тем же мрачным взглядом, что и прежде, Джонас ответил после минутного молчания:

— Никто вас не доводил; это все ваших рук дело.

Больше он ничего не сказал. Даже и это он говорил словно по принуждению, словно он был во власти другого, но не мог противиться сидевшему в нем угрюмому и загнанному бесу. Самая его походка, когда они шли вместе, казалась походкой человека, закованного в кандалы; но стиснутые кулаки, нахмуренные брови и крепко сжатые губы показывали, что в нем сидит все тот же бес, стремящийся вырваться на свободу.

Они сели в дожидавшийся их красивый кабриолет и уехали.

Вся эта необыкновенная сцена произошла так быстро и незаметно среди окружающей суеты, что показалась Тому похожей на сон, хотя сам он был одним из главных действующих лиц. Но после того как они сошли с пакетбота, никто не обращал на него внимания. Он стоял позади Джонаса и так близко от него, что слышал все от слова до слова. Он стоял, держа сестру под руку и дожидаясь случая объяснить свою странную роль в этом более чем странном деле. Но Джонас ни разу не поднял глаз от земли; остальные даже не взглянули на Тома, и, прежде чем он решил, как ему действовать, все они ушли.

Том осмотрелся, ища своего хозяина. Он все время искал его глазами, но того нигде не было видно. Все еще

продолжая высматривать его в толпе, Том заметил, что кто-то машет ему рукой из кэба, и, бросившись туда, увидел, что это Мерри. Она торопливо заговорила, наклонившись к нему из окна, чтобы не могла подслушать ее спутница, миссис Гэмп.

— Что это такое? — сказала она.— Боже милосердный, что это такое? Почему он велел мне ночью готовиться к долгому путешествию и почему вы вернули нас как преступников? Дорогой мистер Пинч! — Она в отчаянии ломала руки.— Сжальтесь над нами. В чем бы ни заключалась эта ужасная тайна, сжальтесь над нами, и бог благословит вас!

— Если б это было в моей власти,— воскликнул Том,— вам не пришлось бы просить напрасно, верьте мне! Но я знаю гораздо меньше вашего и могу сделать еще меньше, чем вы.

Она скрылась в карете, и на одно мгновение он увидел махавшую ему руку, но махала ли она с упреком, с недоверием, в знак горя, скорби или грустного расставания, он не мог разобрать в такой спешке. Однако она уехала, и ему с Руфью оставалось только уйти в полном недоумении.

Не назначил ли мистер Неджет в это утро свидание на Лондонском мосту человеку, который никогда не держал слово? Он несомненно глядел в эту минуту через перила на пароходную пристань. Едва ли ради развлечения; он никогда не гонялся за развлечениями. Нет, надо полагать, что у него было там какое-то дело.

ГЛАВА XLI

Мистер Джонас и его друг, придя к общему согласию, начинают одно предприятие

Так как контора Англо-Бенгальской компании беспроцентных ссуд и страхования жизни находилась поблизости и мистер Монтегю повез Джонаса прямо туда, то ехать им пришлось недолго. Однако дорога могла бы продолжаться и несколько часов в том же нерушимом мол-

чании: было ясно, что Джонас не намерен беседовать и что его любезный друг покамест не собирается вовлекать его в разговор.

Он сбросил свой плащ, не имея более нужды скрываться, и, скомкав это одеяние у себя на коленях, сидел, отодвинувшись подальше от своего спутника, насколько позволяла теснота экипажа. Во всей его повадке произошла разительная перемена, сравнительно с тем, как он держал себя несколько минут назад, когда Том встретил его так неожиданно на пароходе или когда он так страшно изменился в спальне у мистера Монтегю. У него был вид человека, которого разоблачили и приперли к стене, человека, сбитого с толку, загнанного и пойманного; но теперь на его лице все явственнее проступало выражение решимости, сильно его менявшее. Мрачное, подозрительное, хмурое, бледное от злобы и унижения, оно было все так же подло, жалко, трусливо и презренно; но чем бы ни кончилась эта внутренняя борьба, твердая решимость противостояла теперь каждому движению его души и подавляла их все, как только они возникали.

По внешности он не располагал к себе даже и в самые лучшие времена, поэтому легко себе представить, что и сейчас он был непривлекателен. Глубокие следы зубов остались на его нижней губе, и эти знаки недавно пережитого волнения так же мало его красили, как и изрытый морщинами лоб. Но он овладел собой — стал даже неестественно спокоен, что бывает и с малодушными людьми, когда они доведены до крайности; и как только экипаж остановился, Джонас, не дожидаясь приглашения, отважно выпрыгнул на мостовую и побежал вверх по лестнице.

Председатель компании последовал за ним и, когда они вошли, закрыл дверь зала совещаний и бросился на диван. Джонас стоял у окна и глядел на улицу, облокотясь на подоконник и подперев голову руками.

— Это некрасиво, Чезлвит,— сказал, наконец, Монтегю,— некрасиво, клянусь честью!

— Чего же вы от меня хотели? — ответил тот, круто оборачиваясь.— Чего вы ждали?

— Доверия, милейший, самого обыкновенного доверия! — сказал Монтегю оскорбленным тоном.

— Ей-богу! То-то вы мне очень доверяете! — возразил Джонас.

— Разве нет? — произнес его компаньон, поднимая голову и глядя на него, но Джонас опять отвернулся.— Разве нет? Разве я не посвятил вас в выгодную комбинацию, придуманную мною для нашей общей пользы,— для нашей, заметьте, не для моей только,— и чем же вы мне отплатили? Попыткой улизнуть!

— Откуда вы это знаете? Кто вам сказал, что я собираюсь улизнуть?

— Кто сказал? Будет уж, будет! Иностранный пароход, ранний час, закутанная фигура! Кто сказал? Если вы не собирались меня обмануть, зачем же вас понесло туда? Если вы не собирались меня обмануть, зачем же вы вернулись?

— Я вернулся,— сказал Джонас,— чтобы избежать шума.

— Вы поступили мудро,— возразил его друг.

Джонас не промолвил ни слова; он все так же глядел на улицу, подперев голову руками.

— Так вот, Чезлвит,— сказал Монтегю,— невзирая на то, что произошло, я буду с вами откровенен. Вы слушаете меня? Я вижу только вашу спину.

— Слышу. Дальше!

— Я говорю: невзирая на то, что произошло, я буду с вами откровенен.

— Вы это уже говорили. И я вам уже сказал, что слышу. Дальше!

— Вы несколько раздражены, и не удивительно; сам я, к счастью, настроен как нельзя лучше. Так вот, давайте посмотрим, как обстоят дела. День или два назад я намекнул вам, любезный друг, что мне как будто бы удалось сделать открытие.

— Да замолчите ли вы? — крикнул Джонас, яростно оборачиваясь и бросая взгляд на дверь.

— Так, так! — сказал Монтегю.— Весьма здраво! Совершенно правильно! Если мое открытие получит огласку, с ним станет то же, что и с многими открытиями в этом честном мире,— мне уже не будет от него никакой пользы. Вы видите, Чезлвит, как я бесхитростен и прост: я показываю вам самое слабое место своей позиции! Но

вернемся к прежнему. Я сделал, или думаю, что сделал, одно открытие и при первом удобном случае сообщил вам об этом по секрету, в том духе доверия, которое, как я поистине надеялся, существует между нами. Быть может, тут есть что-нибудь; быть может, и нет. У меня на этот счет имеется свое мнение, у вас — свое. Не станем об этом спорить. Но вы, любезный друг, проявили слабость: я именно хочу указать вам на то, что вы проявили слабость. Возможно, я желаю воспользоваться этим незначительным случаем к своей выгоде (а я именно этого желаю, не стану отрицать), но моя выгода заключается не в том, чтобы расследовать этот случай или обратить его против вас.

— Как это обратить против меня? — спросил Джонас, который стоял в той же позе.

— О, в это мы входить не будем,— сказал Монтегю с улыбкой.

— То есть превратить меня в нищего? Вы это имели в виду?

— Нет.

— Как это нет? — злобно проворчал Джонас.— А то в чем же ваша выгода заключается? Ведь это вы правду сказали.

— Я, конечно, хотел бы, чтобы вы еще немножко рискнули вместе с нами (риск тут самый небольшой) и не поднимали бы шума,— сказал Монтегю.— Вы обещали, и должны исполнить обещанное. Я говорю вам прямо, Чезлвит: должны. Рассудите сами. Если вы не сдержите слова, моя тайна теряет всякую цену для меня; в таком случае, пускай она становится общим достоянием — это даже лучше, потому что такая огласка сделает мне некоторую честь. Я хочу, кроме того, чтобы в одном случае, о котором я вам уже говорил, вы сыграли роль приманки. Я знаю, это вам ничего не стоит. До того человека вам дела нет (вам вообще ни до кого дела нет, вы слишком умны,— надеюсь, и я не глупей), и вы перенесете чужие потери с благочестивой твердостью. Ха-ха-ха! Вы начали с того, что попробовали улизнуть. Улизнуть вам не удастся, уверяю вас. Это я вам доказал сегодня. Я, как вы знаете, не слишком щепетилен. Меня нимало не трогает, чтó бы вы там ни сделали, какую бы

маленькую неосторожность ни совершили; но я желаю воспользоваться этим, если можно, и такому умному человеку, как вы, признаюсь в этом откровенно. Не один я грешен. Каждый пользуется оплошностью своего соседа, и больше других — люди с самой лучшей репутацией. К чему же вы мне доставляете столько хлопот? Все это должно кончиться дружеским соглашением или полным разрывом. Иначе и быть не может. В первом случае вы пострадаете очень мало. Во втором — ну, вам самому лучше знать, что тогда может случиться.

Джонас отвернулся от окна и подошел совсем близко к мистеру Монтегю. Он не смотрел ему в лицо — это было не в его привычках,— он только обратил глаза в его сторону и, глядя куда-то ему в грудь или в живот, заговорил с видимым усилием, медленно и раздельно, как пьяный, еще не потерявший сознания.

— Что толку врать! — сказал он.— Я хотел уехать сегодня утром и договориться с вами оттуда.

— Ну разумеется! Разумеется! — ответил Монтегю.— Ничего не может быть естественнее. Я это предвидел и принял свои меры. Но я, кажется, прервал вас.

— За коим чертом,— продолжал Джонас, видимо через силу,— вас угораздило выбрать такого посыльного? Где вы его разыскали, я вас не спрашиваю, а только он не первый раз подставляет мне ножку. Если вам действительно ни до кого дела нет, как вы только что говорили, вам должно быть все равно, что станется с этим куцым дворнягой, и вы предоставите мне рассчитаться с ним посвоему.

Если бы Джонас поднял глаза на своего компаньона, он увидел бы, что тот явно его не понимает. Но так как он стоял перед Монтегю, избегая глядеть ему в лицо и прерывая свою речь только для того, чтобы смочить языком пересохшие губы, то он этого не видел. Внимательный наблюдатель заметил бы, что пристальный и неподвижный взгляд Джонаса тоже говорил о совершившейся в нем перемене. Этот взгляд был прикован к одному месту, хотя мысли его блуждали далеко: так фокусник, идущий по канату или по проволоке к своей опасной цели, для сохранения равновесия смотрит на какой-нибудь предмет и не сводит с него глаз, чтобы не оступиться.

Монтегю быстро нашелся: он сказал наобум, что между ним и его другом нет ни малейшего разногласия по этому вопросу, ни малейшего.

— Ваше великое открытие,— продолжал Джонас с исступленной усмешкой, от которой не в силах был удержаться,— может быть, верно, а может быть, и неверно. В чем бы оно ни заключалось — мне думается, что я не хуже других.

— Нисколько,— сказал Тигг,— нисколько. Мы все одинаковы, или почти одинаковы.

— Я хочу знать вот что,— продолжал Джонас,— это открытие вы сделали сами или нет? Вы не удивляйтесь, что я задаю такой вопрос.

— Да, я сам,— подтвердил Монтегю.

— Да? — возразил тот резко.— А кому-нибудь еще оно известно? Ну же. Отвечайте, не мямлите!

— Нет! — сказал Монтегю без малейшего колебания.— Как вы думаете, чего бы оно стоило, если бы я не хранил его про себя?

Тут Джонас в первый раз посмотрел на него. После недолгого молчания он протянул руку и засмеялся.

— Ну что ж, не очень меня донимайте, и я буду ваш. Не знаю, может этак я больше выгадаю, чем если бы уехал сегодня утром. Но уж раз я остался, то дело кончено, можете дать присягу!

Он говорил хриплым голосом и, откашлявшись, прибавил уже менее напряженно:

— Ехать мне к Пекснифу? Когда? Скажите только!

— Немедленно! — воскликнул Монтегю.— Его надо привлечь как можно скорей.

— Ей-богу,— с диким смехом ответил Джонас,— а ведь забавно будет поймать этого старого лицемера! Я его терпеть не могу. Может, мне поехать нынче ночью?

— Да! Вот это похоже на дело! — восторженно отозвался Монтегю.— Теперь мы понимаем друг друга. Нынче ночью, любезный друг, разумеется.

— Поедемте вместе,— предложил Джонас.— Нам надо огорошить его: приехать в карете, захватить с собою документы, потому что это продувная бестия и ловить его надо умеючи, а то он не пойдет на удочку. Я его знаю. Вашу квартиру и ваши обеды я туда повезти

не могу — значит, надо везти вас самого. Можете вы ехать нынче ночью?

Его друг колебался; по-видимому, он не ждал этого предложения и не слишком ему радовался.

— Мы сговоримся насчет наших планов по дороге,— сказал Джонас.— Поедем к нему не прямо, а свернем из какого-нибудь другого города, будто бы повидаться с ним. Может быть, и не понадобится вас знакомить, но вы должны быть под рукой. Говорю вам, я его знаю.

— А что, если он меня узнает? — спросил Монтегю, пожав плечами.

— Он узнает! — воскликнул Джонас.— Да разве вы не рискуете этим пятьдесят раз на дню? А разве ваш отец вас узнает? Разве я узнал вас? Что ни говорите, вы были совсем другой, когда я впервые вас увидел. Ха-ха-ха! Как сейчас вижу дыры и заплаты! Ни парика, ни крашеных бакенов! В те времена вы были совсем другого рода фигура, да, да! Вы даже говорили по-другому. С тех пор вы так усердно разыгрывали джентльмена, что и сами себе поверили. А если даже он вас вспомнит, что за беда! Такая перемена доказывает ваш успех. Вы это сами понимаете, иначе не открылись бы мне. Так поедете?

— Любезный друг,— сказал Монтегю, все еще колеблясь,— я полагаюсь и на вас одного.

— Полагаетесь! Еще бы, теперь можете полагаться на меня сколько вам угодно. Больше я уж никуда не убегу — никуда! — Он замолчал и прибавил более спокойно: — Но только без вас у меня ничего не выйдет. Поедете?

— Поеду,— сказал Монтегю,— если вы так думаете.— И они пожали друг другу руки.

Взбудораженность, охватившая Джонаса при этом разговоре, особенно после того как он посмотрел в глаза своему почтенному другу, не покидала его ни на миг. Совершенно несвойственная ему и в обычное время совершенно не вязавшаяся ни с его нравом, ни с темпераментом и особенно неестественная для человека в таком положении, она не покидала его ни на миг. Ее нельзя было приписать действию вина, потому что он говорил вполне связно. Она даже сделала его нечувствительным к обычному влиянию горячительных напитков, и, хотя в тот

день он много пил, забыв умеренность и осторожность, это нисколько не сказывалось на его настроении, и он оставался совершенно тем же.

Решив, после некоторого спора, пуститься в путь ночью, для того чтобы не нарушать течения делового дня, они стали совещаться о том, как им лучше ехать. Так как мистер Монтегю был того мнения, что надо взять четверку лошадей, на первый перегон во всяком случае, для того чтобы во всех смыслах пустить людям пыль в глаза, то к девяти часам была заказана четверка. Джонас не пошел домой, заметив, что такой спешный отъезд по делам будет прекрасным объяснением того, почему ему пришлось так неожиданно вернуться нынче утром. Он написал записку насчет чемодана и послал с ней посыльного, который вскоре вернулся с вещами и запиской от другой его движимости — жены, выразившей желание, чтобы ей позволили прийти повидаться с ним на минуту. На эту просьбу он ответил: «Пусть попробует!»; и поскольку это лаконическое утверждение выражало отрицание, хотя и вопреки всем правилам грамматики,— она не посмела прийти.

Мистер Монтегю был очень занят в течение дня, и потому Джонас осчастливил своим обществом доктора, с которым завтракал в собственном кабинете этого должностного лица. Встретив мистера Неджета в конторе, он подшутил над тем, что этот осторожный джентльмен всегда как будто старается избегать его, и осведомился, не боится ли он его. Мистер Неджет уклончиво ответил,— нет, очевидно это у него такая манера, потому что его не раз обвиняли в том же.

Мистер Монтегю услышал, или, чтобы выразиться изящнее, подслушал этот разговор. Как только Джонас вышел, он поманил к себе Неджета концом пера и шепнул ему на ухо:

— Кто передал ему нынче утром письмо?

— Мой жилец, сэр,— отвечал Неджет, прикрыв рот ладонью.

— Как же это случилось?

— Я встретил его на пристани, сэр. Надо же было что-нибудь делать, раз вы не приехали, а медлить было никак нельзя. Мне, к счастью, пришло в голову, что

если я сам его передам, то в дальнейшем буду уже бесполезен. Я бы выдал себя.

— Мистер Неджет, вы поистине сокровище,— сказал Монтегю, похлопывая его по спине.— Как зовут вашего жильца?

— Пинч, сэр. Мистер Томас Пинч.

Монтегю подумал немного, потом спросил:

— Из провинции, вы не знаете?

— Из Вильтшира, сэр, он мне говорил.

Они расстались, не сказав более ни слова. Видя, как мистер Неджет кланяется мистеру Монтегю при новой встрече и как Монтегю отвечает ему на поклон, всякий мог бы поклясться, что эти люди никогда в жизни не разговаривали друг с другом по секрету.

Тем временем мистер Джонас и доктор весьма удобно устроились наверху, за бутылкой старой мадеры и бутербродами, ибо доктор, приглашенный отобедать внизу в шесть часов, предпочел вместо завтрака слегка закусить. Это представлялось целесообразным с двух точек зрения, пояснил он: во-первых, было само по себе очень здорово, а во-вторых, прекрасно подготовляло к обеду.

— А вы обязаны ради всех нас особенно заботиться о вашем пищеварении, мистер Чезлвит, дорогой мой,— сказал доктор, выпив стакан вина и причмокивая губами,— поверьте, о нем стоит позаботиться. Оно должно быть в прекрасном состоянии, сэр, работать совершенно как хронометр, иначе ваше настроение не будет таким превосходным: «Живительные силы меня как будто носят по земле,— я радостен и весел целый день» *,— как говорит в пьесе этот, как его там... Я бы желал, между прочим, чтобы эта пьеса оказывала хоть сколько-нибудь справедливости нашей профессии. В ней выведен аптекарь, сэр, а ведь это низкий сюжет, сэр, вульгарный сюжет, решительно не соответствующий натуре!

Мистер Джоблинг оправил плоеную манишку тонкого полотна, как будто хотел сказать: «Вот что я называю натурой в медике, сэр!» — и поглядел на Джонаса, дожидаясь ответа.

Джонас, не чувствуя склонности поддерживать разговор на эту тему, взял ящик с ланцетами, стоявший на столе, и открыл его.

— А! — сказал доктор,— откидываясь на спинку стула.— Я всегда вынимаю их из кармана перед едой. Карманы у меня довольно тесны. Ха-ха-ха!

Джонас взял один из блестящих маленьких инструментов и уставился на него таким же острым и холодным взглядом, как и его сверкающее лезвие.

— Хорошая сталь, доктор, хорошая сталь. А?

— М-да,— ответил доктор сдержанно и скромно, как подобает законному владельцу.— Этим можно довольно ловко вскрыть вену, мистер Чезлвит.

— Он, должно быть, вскрыл много вен в свое время? — сказал Джонас, глядя на ланцет с возрастающим интересом.

— Немало, уважаемый, немало. Он применялся... можно сказать, порядком применялся на практике,— ответил доктор, покашливая, вероятно оттого, что материя была слишком суха и специальна.— Порядком применялся на практике,— повторил доктор, поднося к губам второй стакан вина.

— А можно перерезать человеку горло такой штукой? — спросил Джонас.

— О, разумеется, разумеется, если точно наметить место,— ответил доктор.— Все зависит от этого.

— Там, где сейчас ваша рука, да? — воскликнул Джонас, нагибаясь посмотреть.

— Да,— сказал доктор,— это яремная вена.

Джонас, в своем оживлении, неожиданно сделал взмах рукой так близко от яремной вены доктора, что тот даже весь побагровел. После чего Джонас, все так же неестественно оживленный, разразился громким, неприятным смехом.

— Нет, нет,— сказал доктор, качая головой,— это игра с огнем; с режущими орудиями не шутят! Кстати, мне вспомнился пример весьма искусного применения режущих орудий. Один случай убийства. Боюсь, что это убийство совершил человек нашей профессии, такое он проявил искусство.

— Ну? — сказал Джонас.— Как же это было?

— Да вот, сэр,— отвечал Джоблинг,— все это можно рассказать в двух словах. Одного джентльмена нашли утром на какой-то малолюдной улице лежащим в две-

рях — скорее даже не лежащим, а сидящим на пороге и, следовательно, подпирающим двери. На его жилете оказалась всего одна-единственная капля крови. Он умер и уже остыл, и, по-видимому, был убит, сэр.

— Всего одна капля крови! — повторил Джонас.

— Сэр, этого человека,— ответил доктор,— убили ударом в сердце. Ударом в сердце. И так искусно, сэр, что смерть произошла мгновенно и сопровождалась внутренним кровоизлиянием. Предполагают, что некий знакомый ему медик (на которого пало подозрение) вовлек его в разговор под каким-то предлогом, очень возможно, взял его за пуговицу, как это бывает в разговоре, другой рукой потихоньку исследовал пациента, точно наметил место и, совсем приготовившись, извлек инструмент...

— И проделал эту штуку,— подсказал Джонас.

— Совершенно верно,— ответил доктор.— Это была в своем роде операция, и превосходная! Знакомый медик так и не отыскался, и, как я уже говорил вам, это дело приписали ему. Он убил или не он, не могу вам сказать. Но так как я имел честь быть приглашенным на вскрытие вместе с двумя или тремя собратьями по профессии и присутствовал при самом тщательном исследовании раны, то скажу не колеблясь, что она сделала бы честь любому хирургу; а если это был профан, то ее надо считать или произведением высокого искусства, или результатом необычайно счастливого и благоприятного стечения обстоятельств.

Его слушатель был так заинтересован этим случаем, что доктор продолжал объяснять дальше, водя большим и указательным пальцами по своему жилету, а также взял на себя труд отойти в угол комнаты и изобразить сначала убитого, потом убийцу, что он и проделал с большим успехом. После того как бутылка была выпита и история рассказана, Джонас был все в таком же приподнятом настроении и так же непохож на себя, как и тогда, когда садились за стол. Если, как рассуждал Джоблинг, причиной тому было хорошее пищеварение, он, должно быть, не уступал в этом отношении страусу.

Но и за обедом его настроение нисколько не измени-

лось, и после обеда также, хотя вино пили в изобилии и ели всякие пряные кушанья. И в девять часов вечера оно оставалось совершенно таким же. В карете был зажжен фонарь, и Джонас, поклявшись, что возьмет с собой карты и бутылку вина, спрятал их под плащом и направился к двери.

— Прочь с дороги, мальчик с пальчик, ложись спать!

С этим приветствием он обратился к мистеру Бейли, который, также в сапогах и в плаще, стоял у подножки, чтобы помочь ему сесть в карету.

— Спать, сэр? Я тоже еду,— сказал Бейли.

Джонас быстро соскочил на землю и, схватив мистера Бейли за шиворот, потащил его обратно в прихожую, где Монтегю закуривал сигару.

— Вы ведь не собираетесь брать с собой эту обезьяну?

— Собираюсь,— сказал Монтегю.

Джонас встряхнул мальчика и грубо отшвырнул его в сторону. Это движение больше напоминало прежнего Джонаса, чем все его поведение сегодня; однако он тут же рассмеялся и, ткнув доктора пальцем, в подражание знакомому медику, которого тот изображал, снова вышел и сел в карету. Его спутник немедленно последовал за ним. Мистер Бейли вскарабкался на запятки.

— Ночь будет бурная! — воскликнул доктор, когда они тронулись с места.

ГЛАВА XLII

продолжает рассказ о предприятии мистера Джонаса и его друга

Предсказание доктора насчет погоды не замедлило оправдаться. Хотя погода и не была его пациенткой и никакое третье лицо не просило его поставить диагноз, это быстрое подтверждение слов доктора как нельзя лучше свидетельствовало о его профессиональном такте: если бы ночь не грозила бурей так ясно и бесспорно, мистер Джоблинг, дороживший своей репутацией, не

стал бы высказывать никакого мнения по этому вопросу. Он слишком успешно применял данное правило в медицине, чтобы забывать о нем в обыкновенных житейских делах.

Была одна из тех тихих, душных ночей, когда люди сидят у окон, настороженно прислушиваясь, в ожидании, что вот-вот грянет гром; когда они припоминают страшные рассказы об ураганах и землетрясениях, об одиноких путниках на открытой равнине, об одиноких кораблях среди моря, пораженных молнией. Уже и сейчас молния вспыхивала и трепетала на черном горизонте; и глухое рокотанье доносилось вместе с ветром, словно он дул оттуда, где гремел гром, и был насыщен его слабыми отголосками. Но гроза, хотя и быстро надвигалась, еще не подошла близко, и разлитая повсюду тишина казалась еще торжественнее от носившегося в воздухе тяжкого предвестия приближающейся бури и грома.

Было очень темно, но громады туч в нахмурившемся небе светились зловещим светом, словно гигантские груды меди, которые накалились в горне, а теперь остывали. До сих пор они надвигались неуклонно и медленно, но теперь казались неподвижными или почти неподвижными. С грохотом огибая углы улиц, карета проезжала мимо людей, выбежавших из дому без шляп посмотреть на ту сторону неба, откуда надвигалась гроза. Но вот начали падать редкие крупные капли дождя, и гром загрохотал в отдалении.

Джонас сидел в углу кареты с бутылкой на коленях, так крепко стиснув рукой ее горлышко, словно хотел размолоть его в порошок. Невольно привлеченный картиной ночи, он отложил колоду карт на подушку; и, движимый тем же невольным побуждением, понятным его спутнику и без слов, Монтегю потушил фонарь. Передние окна кареты были опущены, и оба они сидели молча, глядя на мрачное зрелище перед собой.

Они были уже за пределами Лондона, насколько это можно сказать о путешественниках, едущих по западной дороге и находящихся в одном перегоне от этого огромного города. Время от времени им навстречу попадался пешеход, торопившийся укрыться под ближайшим кровом, или неуклюжий фургон, кативший тяжелой рысью

к той же цели. У конюшен и коновязей каждой придорожной гостиницы стояло по нескольку таких фургонов, в то время как возницы глядели на грозу из окон и с порогов или закусывали внутри. Повсюду люди тянулись друг к другу, искали общества, лишь бы не сидеть в одиночестве; и чуть ли не из каждого дома, мимо которого они проезжали, множество глаз, казалось, смотрело на ночь и на них.

Может показаться странным, что это тревожило Джонаса и не давало ему покоя, однако дело обстояло именно так. Он все что-то ворчал и не один раз переменил позу, наконец просто-напросто задернул штору со своей стороны и угрюмо повернулся к окну плечом. Он не смотрел на своего компаньона и ни единым словом не нарушал молчания, которое царило между ними.

Гром гремел, молния сверкала, дождь лил так, словно прогневались небеса. Окруженные то невыносимо ярким светом, то непроглядной тьмой, путники все же торопились вперед. Даже прибыв на станцию, они не стали пережидать грозу, но немедленно заказали свежих лошадей, отнюдь не потому, что наступившее пятиминутное затишье предвещало конец грозы. Они продолжали свой путь, как будто их толкала и подгоняла ярость бури. Хотя путешественники не обменялись и десятком слов и отлично могли бы переждать грозу, что-то заставляло их спешить вперед, словно тайный уговор действовал между ними.

Громче и громче рокотал глухой гром, словно раскатываясь по мириадам зал необъятного небесного храма; все сильнее и ярче блистала молния; дождь поливал все пуще и пуще. Лошади (теперь их везла одна пара) вздрагивали и бросались в сторону от живых потоков огня, змеившихся по земле перед ними. Но эти два человека стремились вперед, словно их влекла незримая сила.

Глаз, восприняв быстроту вспыхивающего света, различал при каждой вспышке такое множество предметов, какого не увидел бы ясным полднем и за время в пятьдесят раз большее. Колокола на колокольне, с веревкой и движущим их колесом; растрепанные птичьи гнезда на крышах и карнизах; растерянные лица под навесами фур-

гонов, мчавшихся мимо во весь опор; перепуганные лошади, тревожное ржание которых заглушалось громом; бороны и плуги, брошенные посреди поля; мили и мили равнин, разделенных живыми изгородями, дальняя опушка леса, различаемая так же ясно, как и пугало на бобовом поле, совсем рядом,— все становится видно как на ладони в одно ослепительное, мерцающее мгновение. Все заливает красный свет, переходящий в желтый, а потом в синий; потом вспыхивает такой яркий блеск, что ничего не видно, кроме света,— а после — глубочайшая, непроницаемая тьма.

Быть может, ослепительные и прихотливые зигзаги молнии создали или усилили любопытный оптический обман, который внезапно представился изумленным глазам Монтегю и так же быстро исчез. Ему показалось, будто он видит Джонаса с поднятой рукой и стиснутой в ней наподобие молотка бутылкой, которую тот занес над его головой. Он успел также заметить (или ему почудилось) выражение его лица — смесь взбудораженности, не оставлявшей Джонаса весь день, с дикой ненавистью и страхом,— даже волк показался бы более приятным спутником по сравнению с ним.

Монтегю невольно ахнул и окликнул кучера, который поспешно остановил лошадей.

Вряд ли могло быть так, как ему показалось, потому что, хотя он не сводил с Джонаса глаз и не видел, чтобы тот шевелился, его спутник по-прежнему сидел неподвижно в своем углу кареты.

— В чем дело? — спросил Джонас.— Это вы всегда так просыпаетесь?

— Я мог бы поклясться,— возразил Монтегю,— что ни на минуту не сомкнул глаз.

— Раз вы уже поклялись,— сухо ответил Джонас,— значит можно ехать дальше, если вы останавливались только для этого.

Он откупорил бутылку зубами и, поднеся ее к губам, сделал большой глоток.

— Лучше бы нам было совсем не выезжать. Не такая сегодня ночь, чтобы быть в дороге,— сказал Монтегю голосом, выдававшим волнение, невольно отодвигаясь подальше.

— Ей-богу, ваша правда,— возразил Джонас,— мы и не были бы в дороге, если б не вы. Не копались бы целый день, так мы сейчас были бы в Солсбери и крепко спали в теплых постелях. Для чего это мы останавливаемся?

Его спутник, на минуту высунувшись в окно, заметил (словно это было причиной его беспокойства), что мальчик промок до костей.

— Так ему и надо! — сказал Джонас.— Я очень рад. За каким же чертом мы останавливаемся? Вы собираетесь его развесить для просушки?

— Я думал, не взять ли его в карету,— заметил Монтегю не совсем твердым голосом.

— Нет, спасибо! — сказал Джонас.— Не надо нам здесь никаких мокрых мальчишек, а уж особенно такого чертенка, как этот. Пусть остается там, где сидит. Я думаю, он не побоится грома и молнии, не то что другие. Пошел, кучер! Может, нам и его тоже взять в карету,— проворчал он засмеявшись,— и лошадей кстати?

— Не спешите,— крикнул Монтегю кучеру,— и поезжайте осторожнее! Вы чуть не угодили в канаву, когда я вас окликнул.

Это была неправда, и Джонас так и сказал напрямик, когда карета тронулась снова. Монтегю не обратил внимания на его слова, но все повторял, что в такую ночь не годится быть в дороге; казалось, он был необыкновенно встревожен и никак не мог успокоиться.

После этого к Джонасу вернулось прежнее беспечное расположение духа, если можно так назвать состояние, в каком он выехал из города. Он часто прикладывался к бутылке, распевал обрывки песен, нисколько не заботясь ни о такте, ни о мотиве, ни о стройности, лишь бы выходило погромче, и понуждал своего молчаливого приятеля веселиться вместе с ним.

— Вы самый лучший собеседник на свете, мой любезный друг,— с видимым усилием сказал Монтегю,— и вообще говоря, неотразимы; но в такую ночь... вы же слышите?..

— Ей-богу, и слышу и вижу! — воскликнул Джонас, на минуту зажмурившись от молнии, которая сверкала не в одном направлении, а во всех направлениях сразу.—

Но что же из этого? Ни вы, ни я, ни наши дела от этого не пострадают. Припев, припев!

Буря грянет сильней
И отгонит червей
Прочь от виселицы, в землю врытой,
Но кому суждено,
Тот падет все равно
На пути с головою пробитой.

Должно быть, очень старая песня,— прибавил он, выбранившись, и замолчал, словно удивляясь самому себе.— Я ее не слышал с тех пор, как был мальчишкой; и почему она вдруг пришла мне в голову, не знаю, разве только молнией занесло. «Кому суждено!» Нет, нет! «Тот падет все равно!» Нет, нет! Нет! Ха-ха-ха!

Его веселость была такого дикого и необычайного свойства, она так странно вторила ночи и в то же время так грубо вторгалась в ее ужасы, что его спутник, никогда не отличавшийся храбростью, отшатнулся от него в диком страхе. Вместо того чтобы Джонасу быть его послушным орудием, они поменялись местами. Но для этого была причина, говорил себе Монтегю; унижение, естественно, внушало такому человеку желание шумно настаивать на своей независимости и в порыве своеволия забывать о своем действительном положении. Будучи довольно изобретателен, когда дело касалось таких предметов, Монтегю утешал себя этим доводом. Но все же он ощущал смутную тревогу и уныние, и ему было не по себе.

Он был уверен, что не спал, но ведь глаза могли и обмануть его, ибо теперь, глядя на Джонаса каждый раз, как наступала тьма, он мог представить себе эту фигуру в любом положении, какое подсказывало ему его душевное состояние. С другой стороны, он прекрасно знал, что у Джонаса нет никаких оснований любить его; но если бы даже та пантомима, которую он наблюдал с таким ужасом, была действительностью, а не плодом фантазии, можно было только сказать, что она вполне гармонировала с дьявольским весельем Джонаса и вместе с тем была бессильным выражением его ненависти. «Если бы желание убивало,— подумал мошенник,— я бы недолго прожил».

Он решил, что, после того как Джонас станет не нужен, он взнуздает его железной уздой, а до тех пор всего лучше дать ему волю и предоставить развлекаться, как он хочет, на собственный, хотя и не совсем обычный лад. Терпеть его пока что — не так уж трудно. «Когда удастся получить все что можно,— думал Монтегю,— я улизну за море и там посмеюсь над ним — с деньгами в кармане».

Так размышлял он час за часом, будучи в том душевном состоянии, когда постоянно возвращаются одни и те же мысли, томительно повторяясь; а Джонас тем временем развлекался, как видно отбросив всякие размышления. Они решили, что доедут до Солсбери и отправятся к мистеру Пекснифу утром; и, готовясь обмануть этого достойного человека, его любезный зять веселился и буйствовал еще пуще прежнего.

Ночь проходила, и гром становился тише, но все еще грохотал в отдалении угрюмо и зловеще. Молния, теперь почти безопасная, еще сверкала ярко и часто. Дождь хлестал с такой же силой, как и прежде.

На их несчастье, к тому времени, когда начало светать, на последнем перегоне им попались норовистые лошади. Они еще в конюшне были сильно напуганы грозой, а выйдя на волю в ту мрачную пору между ночью и утром, когда вспышки молнии еще не умерялись рассветом и все предметы на пути казались больше и неопределеннее, чем ночью, совсем перестали слушаться; и вдруг, испугавшись чего-то на краю дороги, бешено понесли вниз по крутому склону, сбросили кучера, подтащили карету к канаве и, рванувшись вперед, с грохотом перевернули ее у края самой канавы.

Путники открыли дверцу кареты и выпрыгнули или, вернее, выпали из нее на землю. Джонас, шатаясь, первый поднялся на ноги. Он чувствовал слабость и сильное головокружение; кое-как добравшись до изгороди, он ухватился за нее и встал, тупо озираясь по сторонам и чувствуя, что все окружающее плывет у него перед глазами. Однако постепенно он пришел в себя и скоро заметил, что Монтегю лежит без чувств посреди дороги, в нескольких шагах от лошадей.

В одно мгновение — словно какой-то демон вдруг



вселился в его ослабевшее тело — он подбежал к лошадям и потянул их под уздцы с такой силою, что они неистово забились, при каждом своем движении грозя раздавить лежащего на дороге человека,— еще полминуты и его мозг брызнул бы на мостовую.

Джонас все тянул и дергал лошадей как одержимый, еще пуще раззадоривая их криком.

— Гей! — кричал он.— Гей! Ну же, еще раз! Еще немножко, еще немножко! Эй, вы, дьяволы! Но!

Услышав, что кучер, который успел подняться и спешил к нему, просит его перестать, он как будто совсем потерял голову.

— Пошел! Пошел! — понукал Джонас.

— Ради бога! — кричал ему кучер.— Джентльмен... на дороге... они его убьют!

Вместо ответа Джонас все так же понукал и дергал лошадей. Но кучер, бросившись вперед с опасностью для собственной жизни, спас Монтегю, оттащив его по грязи и лужам в сторону, где опасность уже не грозила ему. После этого он подбежал к Джонасу, ножом они быстро обрезали постромки и, освободив лошадей от разбитой коляски, снова подняли их на ноги, пораненных и окровавленных. Только теперь кучер и Джонас нашли время взглянуть друг на друга, раньше им было не до того.

— Спокойней, спокойней! — вскричал Джонас, дико размахивая руками.— Что бы вы делали без меня?

— Другому джентльмену пришлось бы плохо без меня,— возразил тот, качая головой.— Вам надо было сперва оттащить его. Я уж на нем крест поставил.

— Спокойней, спокойней, нечего каркать! — воскликнул Джонас, громко и резко засмеявшись.— Как вы думаете, не зашибло его?

Оба они повернулись и взглянули на Монтегю. Джонас пробормотал что-то про себя, увидев, что тот сидит под изгородью и бессмысленно водит вокруг глазами.

— Что случилось? — спросил Монтегю.— Кто-нибудь ранен?

— Ей-богу,— сказал Джонас,— как будто нет. Кости целы во всяком случае.

Они подняли Монтегю, и тот попробовал пройтись. Он очень расшибся и сильно дрожал, но, кроме нескольких порезов и синяков, никаких увечий у него не оказалось.

— Порезы и синяки, да? — сказал Джонас.— У всех у нас они есть. Только порезы и синяки, а?

— Еще пять секунд, и я не дал бы шести пенсов за голову этого джентльмена, а у него только синяки и порезы,— заметил кучер.— Когда вам придется еще раз побывать в такой переделке — чего, я надеюсь, не случится,— не тяните за повод упавшую лошадь, если на дороге лежит человек. Второй раз это так не сойдет — вы задавите его насмерть; тем бы и кончилось, если б я не подошел вовремя, это уж как пить дать.

Вместо ответа Джонас выругался и посоветовал ему придержать язык, а также послал его туда, куда он вряд ли отправился бы по собственной охоте. Но Монтегю, который напряженно вслушивался в каждое слово, вдруг перебил разговор восклицанием:

— А где же мальчик?

— Ей-богу, я и позабыл про эту обезьяну,— сказал Джонас.— Куда он девался?

Очень недолгие поиски разрешили этот вопрос. Злополучного мистера Бейли перебросило через живую изгородь, или через калитку, и теперь он лежал на соседнем поле, по всей видимости мертвый.

— Когда я говорил нынче ночью, что лучше бы нам было никуда не ездить,— воскликнул Монтегю,— я наперед знал, что добром не кончится. Посмотрите на мальчика!

— Только и всего? — проворчал Джонас.— Если это, по-вашему, дурная примета...

— Как, почему дурная примета? — торопливо спросил Монтегю.— Что вы этим хотите сказать?

— Хочу сказать,— ответил Джонас, наклоняясь над мальчиком,— что, как я слышал, вы ему не отец, и у вас нет никаких причин особенно о нем заботиться. Эй, ты! Поднимайся!

Но мальчик не мог подняться и не подавал никаких признаков жизни, кроме слабого и неровного биения сердца. После недолгих переговоров кучер оседлал ту лошадь, которая пострадала меньше, и взял мальчика на

руки, а Монтегю и Джонас, ведя на поводу вторую лошадь и неся вдвоем чемодан, пошли рядом с ним по направлению к Солсбери.

— Вы бы доскакали туда в несколько минут и могли бы прислать нам кого-нибудь на помощь, если бы поторопились,— сказал Джонас.— А ну-ка, рысью!

— Нет, нет! — воскликнул Монтегю.— Будем держаться вместе.

— Эх, вы, мокрая курица! Уж не боитесь ли вы, что вас ограбят? — сказал Джонас.

— Я ничего не боюсь,— ответил Монтегю, весь вид и поведение которого доказывали обратное,— но мы будем держаться вместе.

— Минуту назад вы очень беспокоились насчет этого мальчишки,— сказал Джонас.— Вы знаете, я думаю, что он может умереть за это время.

— Да, да, я знаю. Но мы будем держаться вместе.

Было ясно, что его не переспоришь, поэтому Джонас не стал настаивать, выразив свое недовольство только кислой миной, и они отправились все вместе. Им предстояло сделать добрых три или четыре мили, а идти с тяжелой ношей по размытой дороге, усталым и разбитым, было нелегко. После довольно долгой и утомительной ходьбы они добрались до гостиницы и, разбудив прислугу (было еще раннее утро), послали людей приглядеть за каретой и багажом и подняли с постели врача, чтобы подать помощь пострадавшему. Все, что следовало сделать, лекарь сделал быстро и искусно, однако высказал предположение, что у мальчика тяжелое сотрясение мозга и что жизнь мистера Бейли близится к концу.

Если бы глубокое волнение Монтегю при этом известии можно было считать хоть сколько-нибудь бескорыстным, оно свидетельствовало бы о том, что его характер не вовсе лишен благородства. Но было нетрудно заметить, что по какой-то тайной, одному ему известной причине он придавал непонятное значение присутствию этого мальчика, еще ребенка. Уже совсем рассвело и Монтегю, которому врач также оказал помощь, удалился в приготовленную для него спальню, а мысли его были все еще заняты этим происшествием.

— Лучше бы я потерял тысячу фунтов,— говорил он

себе,— чем этого мальчика, а в особенности теперь. Но я вернусь один. Это решено. Чезлвит поедет вперед, а я выеду вслед за ним, когда вздумаю. Больше я этого терпеть не намерен,— прибавил он, вытирая влажный лоб.— Еще двадцать четыре часа таких, и я поседел бы.

Осмотрев свою комнату необыкновенно внимательно, заглянув и под кровать, и в шкафы, и даже за шторы (хотя был, как уже сказано, белый день), он запер двойным поворотом ключа ту дверь, в которую вошел, и улегся отдыхать. Вторая дверь была заперта снаружи, и куда она вела, он не знал.

Был ли то страх, или нечистая совесть, но эта дверь неотступно преследовала его во сне. Ему снилось, что с нею связана какая-то страшная тайна — тайна, которая ему известна и не известна; ибо, хотя он знал, что несет за нее ответственность и посвящен в нее, его даже во сне мучила неуверенность в том, что же она означает. С этим сном бессвязно переплетался другой: ему чудилось, что за дверью прячется враг, призрак, привидение; и единственной его целью стало удержать за дверью это страшное существо и не дать ему вломиться в комнату силой. Для этого Неджет, и он, и еще кто-то, незнакомый, с кровавым пятном на лбу (который сказал, что он друг его детства, и назвал давно позабытое имя школьного товарища), стали заделывать дверь чугунными плитами, вколачивая в них гвозди. Но сколько они ни бились, все было напрасно: гвозди ломались у них в руках, или превращались в гибкие веточки, или — еще того хуже — в червей; дверь трескалась и крошилась, так что гвозди не держались в дереве, а чугунные плиты свертывались, как береста на огне. Тем временем существо по ту сторону дверей (в образе человека или зверя, он этого не знал и не хотел знать) одолевало их. Но еще страшнее стало ему, когда человек с кровавым пятном на лбу спросил, знает ли он, как зовут это существо, и сказал, что сейчас назовет шепотом его имя. Тогда ему приснилось, что он зажал уши и упал на колени, вся кровь в нем застыла от невыразимого ужаса. Но, глядя на губы говорившего, он понял, что они произносят букву Д, и тут, крича во весь голос, что тайна раскрыта и все они погибли, он проснулся.

Проснулся для того, чтобы увидеть Джонаса стоящим возле его кровати, а ту самую дверь — открытой настежь!

Как только их глаза встретились, Джонас отступил на несколько шагов, а Монтегю соскочил с кровати.

— Ага! — сказал Джонас.— Вы живы и здоровы?

— Жив! — едва выговорил Монтегю, с силой дергая за шнурок от колокольчика.— Как вы сюда попали?

— Это, конечно, ваша комната,— сказал Джонас,— но мне тоже хочется спросить, как *вы* сюда попали? Моя комната вот за этой дверью. Мне никто не говорил, что ее нельзя отпирать. Я думал, она ведет в коридор, и хотел выйти, чтобы заказать завтрак. В моей комнате... в моей комнате нет колокольчика.

Тем временем вошел слуга, который принес горячую воду и сапоги; услышав замечание Джонаса, он сказал, что колокольчик есть и в соседней комнате, и не поленился показать ему, что он находится у изголовья кровати.

— Значит, я не нашел его,— сказал Джонас.— Ну, да это все равно. Что ж, заказывать завтрак?

Монтегю ответил утвердительно. Как только Джонас вышел, насвистывая, он открыл дверь, соединяющую их комнаты, чтобы вынуть ключ и запереть ее изнутри. Но ключ был уже вынут. Он заставил дверь столом и сел, чтобы собраться с мыслями, словно его душа все еще не освободилась из-под власти снов.

— Несчастная поездка,— несколько раз повторил он,— несчастная поездка! Но обратно я поеду один. Я этого больше не потерплю!

Однако предчувствие или суеверное опасение, что эта поездка не кончится добром, отнюдь не помешали ему делать то зло, ради которого она была предпринята. Он оделся тщательнее обыкновенного, чтобы произвести благоприятное впечатление на мистера Пекснифа; и успокоенный собственным видом, красотою утра, блеском мокрых веток за окном и веселым солнечным сиянием, вскоре приободрился достаточно для того, чтобы выругаться как следует и промурлыкать обрывок какой-то песенки.

Но время от времени он все еще бормотал:

— Обратно я поеду один!

ГЛАВА XLIII

оказывает решающее влияние на судьбу нескольких людей. Мистер Пексниф представлен во всей полноте власти, которой он пользуется с присущей ему твердостью характера и величием духа

В ту ночь, когда разразилась гроза, миссис Льюпин, хозяйка «Синего Дракона», сидела одна в своей маленькой буфетной. Одиночество или дурная погода, или и то и другое вместе, располагали к задумчивости, чтобы не сказать к печали. Опершись подбородком на руку и глядя в низкое решетчатое окно, темное даже в самый ясный день от затенявших его виноградных листьев, миссис Льюпин часто качала головой, приговаривая:

— Боже мой! Ах, боже мой, боже мой!

Это была печальная ночь даже в уютной комнатке «Дракона». Роскошный простор полей, пастбищ, зеленых косогоров и волнистых лугов со сверкающими ручьями, живыми изгородями и островками кудрявых деревьев лежал теперь унылый и черный от косых стекол решетчатого окна до далекого горизонта, где гром, казалось, раскатывался по холмам. Сильный ливень прибил к земле нежные ветви лоз и жасмина и словно топтал их в своей ярости; при блеске молнии было видно, как плачущие листья дрожат и жмутся к окну и настойчиво стучат в него, словно прося укрыть их от этой страшной ночи.

В знак уважения к молнии миссис Льюпин переставила свечу на каминную доску. Корзина с шитьем стояла, позабытая, рядом с ней; ужин, накрытый на круглом столике, оставался нетронутым, и ножи были убраны подальше из опасения привлечь молнию. Она долго сидела, подперев рукою подбородок и приговаривая время от времени:

— Боже мой! Ах, боже, боже мой!

Она только что собралась произнести это еще раз, как щеколда входной двери (закрытой от дождя) загремела в ржавом затворе, и вошел путник, который, закрыв дверь, подошел прямо к стойке и сказал довольно хриплым голосом:

— Пинту самого лучшего старого пива!

Ему было от чего охрипнуть,— даже просидев целый день под водопадом, нельзя было вымокнуть больше. Он был закутан до самых глаз в грубый синий матросский плащ, и с широких полей клеенчатой шляпы дождевая вода текла струйками ему на грудь, на спину и на плечи. Судя по выражению его подбородка,— гость так низко надвинул шляпу и так высоко поднял воротник в защиту от непогоды, что был виден только подбородок, да и тот он прикрыл мокрым рукавом лохматой куртки, как только миссис Льюпин взглянула на него,— хозяйка «Дракона» решила, что он человек добродушный.

— Плохая ночь! — весело заметила она.

Путник встряхнулся, как собака-водолаз, и ответил, что ночь в самом деле неважная.

— На кухне разведен огонь,— сказала миссис Льюпин,— и собралось веселое общество. Не лучше ли вам пойти туда обсушиться?

— Нет, спасибо,— сказал гость, бросая взгляд в ту сторону, где была кухня. Он, как видно, знал туда дорогу.

— Так можно простудиться насмерть,— заметила хозяйка.

— Меня не так-то легко уморить,— возразил путник,— а иначе я умер бы давным-давно. Ваше здоровье, сударыня!

Миссис Льюпин поблагодарила его; но, едва поднеся кружку к губам, он, как видно, передумал и опять поставил ее на стол. Выпрямившись, он оглядел комнату, что было не так легко сделать человеку, закутанному до самых глаз и в низко надвинутой шляпе, и сказал:

— Как у вас называется этот дом? Уж не «Дракон» ли?

Миссис Льюпин любезно ответила:

— Да, «Дракон».

— Тогда у вас тут должен находиться один мой как бы... родственник, сударыня,— сказал путник,— молодой человек по фамилии Тэпли. Каково! Марк, дружище! — обратился он к стенам.— Неужто я нашел тебя наконец, старина?

Это затронуло больное место миссис Льюпин. Она подошла снять нагар со свечи на каминной полке и сказала, повернувшись спиной к путнику:

— Никому мы не были бы так рады в «Драконе», как тому человеку, который принес бы весть о Марке. Но уже много, много долгих дней и месяцев прошло с тех пор, как он покинул этот дом и Англию. И жив он, бедный, или умер, знает один только бог на небесах!

Она покачала головой, и ее голос дрогнул; должно быть, дрогнула и рука тоже, потому что нагар со свечи она снимала очень долго.

— Куда же он уехал, сударыня? — спросил путник смягчившимся голосом.

— Он уехал в Америку,— сказала миссис Льюпин еще более грустно.— Сердце у него всегда было мягкое и доброе; и может быть, сейчас он сидит в тюрьме, приговоренный к смертной казни, за то что пожалел какого-нибудь несчастного негра и помог бедному беглецу. И для чего только он поехал в Америку! Почему он не отправился в какую-нибудь другую страну, где дикари честно едят друг друга и где у всех одинаковые права!

Окончательно расчувствовавшись, миссис Льюпин зарыдала и хотела было сесть на стул, чтобы дать полную волю своему отчаянию, как вдруг путник схватил ее в объятия, и она радостно вскрикнула, узнав его.

— Да, непременно! — восклицал Марк.— Еще раз, еще один и еще двадцать раз! Так вы не узнали меня в этой шляпе и плаще? А я думал, вы меня узнаете в любом наряде! Еще десяточек!

— Я бы и узнала вас, если бы разглядела, да разглядывать было некогда, и говорили вы как-то отрывисто. Вот уж не думала, Марк, что вы будете так резко говорить со мной, только что вернувшись.

— Еще пятнадцать! — сказал мистер Тэпли.— Какая вы красавица и как молодо выглядите! Еще шесть! Те полдюжины не считаются, придется начать снова. Господь с вами, какая же радость вас видеть! Еще разок! Ну, никогда еще мне не было так весело. Еще парочку, ведь в этом нет никакой заслуги!

Если мистер Тэпли сделал перерыв в этих арифметических упражнениях, то вовсе не оттого, что устал,

а оттого, что понадобилось перевести дыхание. Перерыв напомнил ему о других обязанностях.

— Мистер Мартин Чезлвит дожидается во дворе,— сказал он.— Я оставил его под навесом для подвод и пошел посмотреть, есть ли тут кто-нибудь. Мы нынче не хотим никому показываться, пока не узнаем от вас новостей и не решим, что нам делать.

— В доме нет никого, народ только на кухне,— ответила хозяйка.— Если б они узнали, что вы вернулись, Марк, они бы развели костер на улице, как сейчас ни поздно.

— Но сегодня им не следует этого знать, милая моя душенька,— сказал Марк,— так что заприте дом и разведите посильней огонь на кухне; а когда все будет готово, поставьте свечу на окно — и мы войдем. Еще один! Хочется послушать про старых друзей. Вы мне расскажете про них, правда? Про мистера Пинча, и про мясникову собаку на углу, и про терьера через дорогу, и про колесника, и про всех остальных. Когда я нынче в первый раз увидел церковь, я думал, что жив не буду, что одна колокольня меня прикончит. Еще один! Не желаете? Ну, хоть самый маленький напоследок!

— Довольно с вас, я думаю,— сказала хозяйка.— Подите вы прочь с вашими иностранными замашками!

— Какие ж они иностранные, господь с вами! — воскликнул Марк.— Английские, как устрицы, вот именно! Еще один, ведь это наш, английский, в знак уважения к стране, где мы живем! Этот между нами не считается, сами понимаете,— говорил мистер Тэпли.— Я не вас теперь целую, заметьте. Я побывал среди патриотов. Я целую свою родину.

Было бы несправедливо придираться к проявлению патриотизма, которым он сопровождал это объяснение, и находить его холодным или равнодушным. В полной мере выразив свои национальные чувства, он поторопился к Мартину, а миссис Льюпин, сильно волнуясь и суетясь, стала готовиться к их приему.

Компания посетителей скоро высыпала в беспорядке из дверей, уверяя друг друга, что часы «Дракона» спешат на полчаса и что это, должно быть, гром на них так подействовал. Как ни надоело дожидаться Мартину и

Марку, как ни промокли они и ни устали, оба приятеля были очень рады видеть эти давно знакомые лица и с любовным вниманием смотрели, как посетители выходят из дома и проходят мимо, совсем рядом с ними.

— Вон старик портной, Марк! — прошептал Мартин.

— Вон он идет, сэр! Ноги у него стали еще кривее прежнего; правда, сэр? Настолько кривей, мне кажется, что теперь у него между ног можно прокатить большой бочонок, а когда мы с вами его знали, проходил только маленький. Вон и Сэм идет, сэр.

— Да, верно! — воскликнул Мартин.— Сэм, конюх. Любопытно было бы знать, жива ли еще та лошадь у Пекснифа?

— И сомневаться нечего, сэр,— возразил Марк.— Это такого рода скотина, сэр, что долго еще будет таскаться по свету одер одром и, наконец, попадет в газеты под заголовком: «Необыкновенный пример живучести в четвероногом». Как будто она была когда-нибудь жива по-настоящему, так чтоб стоило об этом разговаривать! А вот и пономарь, сэр, как всегда — пьяный вдребезги.

— Вижу! — смеясь, сказал Мартин.— Но, честное слово, как же вы промокли, Марк!

— Я промок? А о себе вы как полагаете, сэр?

— Ну, все же не настолько,— сказал его спутник с озабоченным видом.— Я же вам говорил, Марк, чтобы вы не держались с подветренной стороны, а почаще менялись со мной местами. Дождь все время поливает вас, с тех пор как начался.

— Вы не знаете, до чего мне приятно, сэр,— сказал Марк после недолгого молчания,— не сочтите это за дерзость,— до чего приятно слышать, что вы говорите так необыкновенно внимательно; я, конечно, не собираюсь вас слушаться ни за что, но с тех пор, как я свалился больной в Эдеме, вы совсем переменились.

— Ах, Марк,— вздохнул Мартин,— чем меньше мы будем об этом говорить, тем лучше! Не свечу ли я вижу там?

— Так и есть, свеча! — воскликнул Марк.— Господь с ней, какая же миссис Льюпин проворная! Идемте, сэр.

Неразбавленные вина, хорошие постели и отличная кормежка для людей и животных.

Огонь на кухне пылал ярко и буйно, стол был накрыт, чайник кипел; туфли были на месте, машинка для снимания сапог тоже; ломти ветчины жарились на рашпере; пяток яиц шипел на сковородке; полнокровная бутылка шерри-бренди перемигивалась с кувшином пенистого пива; всякие деликатесы свешивались с балок, так что казалось, стоит раскрыть рот — и что-нибудь отменно сочное и вкусное только обрадуется предлогу в него свалиться.

Миссис Льюпин, которая ради них удалила даже кухарку, верховную жрицу сего храма, готовила им ужин своими собственными искусными ручками.

Невозможно было удержаться — даже бесплотный дух и тот ее обнял бы. А так как в этом отношении люди ведут себя одинаково и у Атлантического океана и у Красного моря, Мартин немедленно ее обнял. Мистер Тэпли очень степенно последовал его примеру (как будто это была совершенная новость, до сих пор не приходившая ему в голову).

— Вот уж никогда не думала! — сказала миссис Льюпин, поправляя чепчик и смеясь от всей души и в то же время смущенно краснея.— Хотя я часто говаривала, что молодые люди мистера Пекснифа — это душа «Дракона» и что без них было бы скучно здесь жить, все же я никогда не думала, разумеется, что кто-нибудь из них позволит себе такую вольность, как вы, мистер Мартин! А еще того меньше — что я не рассержусь на него, а наоборот, буду рада первой обнять его на родине, после возвращения из Америки вместе с Марком Тэпли...

— В качестве его друга, миссис Льюпин,— вмешался Мартин.

— В качестве его друга,— повторила хозяйка, видимо довольная таким отличием, однако подавая мистеру Тэпли знак вилкой оставаться на почтительном расстоянии.— Вот уж никогда не думала! А еще того меньше, что мне придется рассказывать о таких переменах, о каких я вам расскажу после ужина!

— Боже мой! — воскликнул Мартин, бледнея.— О каких переменах?

— *Она*,— сказала хозяйка,— совсем здорова и теперь находится у мистера Пекснифа. О ней вам вовсе не нужно тревожиться. Лучше нее вам на всем свете не найти невесты. К чему ходить вокруг да около или делать из этого тайну, не правда ли? — прибавила миссис Льюпин.— Я все знаю, как видите!

— Доброе мое создание,— ответил Мартин,— вы именно тот человек, которому и следует все знать. Мне в высшей степени приятно думать, что вы знаете все. Но на какие же перемены вы намекаете? Кто-нибудь умер?

— Нет, нет! — сказала хозяйка.— Ничего такого не случилось. Но больше я вам не скажу ни единого слова, пока вы не поужинаете. Задайте хоть сотню вопросов, я ни на один не отвечу.

Она говорила так решительно, что им не оставалось ничего другого, как только поужинать возможно скорее; и так как они прошли много миль и постились с самой середины дня, то им не пришлось особенно приневоливать себя, налегая на съестное. Ужин занял гораздо больше времени, чем можно было ожидать; ибо не раз, когда они думали, что все уже кончено, миссис Льюпин торжествующе доказывала им ошибочность такого предположения. Однако с течением времени, повинуясь природе, они отступили. Вытянув перед кухонным очагом ноги, обутые в туфли (что было удивительно приятно в такую сырую и холодную ночь), и с невольным восхищением любуясь ямочками на щеках цветущей, жизнерадостной хозяйки и тем, как огонь очага светится в ее глазах и поблескивает на черных как смоль волосах, они притихли и стали ее слушать.

Не однажды изумленные восклицания прерывали ее рассказ о том, как мистер Пексниф расстался со своими дочерьми и как этот добродетельный человек расстался с мистером Пинчем. Но все это было ничто по сравнению с негодующими восклицаниями Мартина, когда она рассказала о том, что стало предметом пересудов во всем околотке: как мистер Пексниф совершенно завладел душой и телом старого мистера Чезлвита и какую высокую честь он предназначал для Мэри. При этом сообщении туфли мгновенно слетели с ног Мартина, и он принялся натягивать мокрые сапоги, охваченный тем

неясным стремлением куда-то немедленно бежать и что-то с кем-то сделать, которое является первым предохранительным клапаном у вспыльчивых людей.

— Пексниф! — сказал Мартин.— Этот медоточивый негодяй! Пексниф! Дайте мне второй сапог, Марк!

— Куда это вы собрались, сэр? — осведомился мистер Тэпли, просушивая подошву перед огнем и глядя на нее так невозмутимо, как будто это был ломтик жареного хлеба.

— Куда! — повторил Мартин.— Уж не думаете ли вы, что я останусь тут сидеть? Как по-вашему?

Невозмутимый Марк сознался, что именно так и думает.

— Ах, вот как! — сердито возразил Мартин.— Очень вам обязан. За кого вы меня принимаете?

— Я принимаю вас за того, кто вы есть, сэр,— ответил Марк,— и потому совершенно уверен, что все, что бы вы ни сделали, будет разумно и правильно. Ваш сапог, сэр.

Мартин бросил на него нетерпеливый взгляд и несколько раз прошелся взад и вперед по кухне, ковыляя в одном сапоге и одном носке. Но, памятуя о решении, принятом в Эдеме,— он одержал над собой не одну победу, когда дело касалось Марка,— Мартин и на этот раз решил смириться. Он снял сапог, подобрал туфли, надел их и уселся снова; однако никак не мог удержаться, чтобы не засунуть руки как можно глубже в карманы и не бормотать время от времени: «И Пексниф туда же! Этот мерзавец! Честное слово! Действительно! Еще чего!» — и так далее; не мог он также не грозить кулаком камину с самым мрачным выражением лица. Но это продолжалось недолго, и он выслушал миссис Льюпин до конца если не спокойно, то во всяком случае молча.

— Что касается мистера Пекснифа,— заметила хозяйка в заключение, расправляя обеими руками складки на платье и усиленно качая головой,— то я даже не знаю, что сказать. Должно быть, его кто-нибудь сглазил или чем-нибудь его испортили. Не могу поверить, чтобы джентльмен, который так благородно выражается, вдруг взял да и сделал что-нибудь дурное!

Благородно выражается! Сколько есть на свете людей, которые будут стоять за своих Пекснифов до конца по этой одной причине; и отвернутся от порядочного человека, стоит Пекснифам взглянуть на него косо!

— Что касается мистера Пинча,— продолжала хозяйка,— то, если есть на свете милый, добрый, приятный, достойный человек,— его фамилия Пинч, и никакая другая. Но почем мы знаем, может быть старый мистер Чезлвит поссорил его с мистером Пекснифом? Никто, кроме них самих, не может этого сказать, потому что мистер Пинч человек гордый,— не смотрите, что он такой тихий; когда он от нас уезжал — и очень жалел, что уезжает,— он никому не сказал ни слова, даже мне ничего не стал рассказывать.

— Бедняга Том! — сказал Мартин голосом, в котором слышалось раскаяние.

— Утешительно знать,— продолжала хозяйка,— что с ним живет теперь сестра и что дела его идут хорошо. Как раз вчера он вернул мне по почте небольшую...— тут краска выступила у нее на щеках,— пустячную сумму, которую я взяла на себя смелость предложить ему, когда он уезжал; очень благодарит и пишет, что у него хорошая служба и эти деньги ему не понадобились. И билет тот самый: он даже его не разменял. Вот уж никогда не думала, что буду так огорчена, когда мне вернут мои деньги, а ведь я и в самом деле очень огорчилась.

— От души сказано и очень искренне,— заметил Мартин.— Правда, Марк?

— Как и все, что она говорит,— возразил мистер Тэпли,— без этих качеств «Дракон» так же не мог бы обойтись, как без патента. А теперь, когда мы успокоились и отдохнули, вернемся все к тому же вопросу, сэр: как нам быть? Если гордость вам не мешает пойти на то, о чем мы говорили по дороге, вам следовало бы поступить именно так, раз вы не сумели поладить с вашим дедушкой (а вы не сумели, извините меня за смелость); подите, сэр, и так ему и скажите, обратитесь к его чувствам. Уступите ему, сэр. Он гораздо старше вас; и если он действовал необдуманно, то ведь и вы тоже действовали необдуманно. Уступите, сэр, уступите ему.

Красноречие мистера Тэпли оказало некоторое действие на Мартина, однако он все еще колебался и выразил свои сомнения так:

— Все это очень верно и совершенно справедливо, Марк; будь весь вопрос только в том, чтобы мне смириться перед ним, я бы не стал долго раздумывать. Но разве вы не видите, что дедушка целиком находится во власти этого лицемера, не имея ни собственного мнения, ни своей воли (если то, что мы слышали,— правда), и, значит, я должен буду броситься не к его ногам, а к ногам мистера Пекснифа! А если меня оттолкнут и отвергнут,— сказал Мартин, весь краснея при этой мысли,— то оттолкнет не он — моя родная кровь, восставшая против меня, но Пексниф, Пексниф! Подумайте, Марк!

— Так разве мы не знаем наперед,— возразил политичный мистер Тэпли,— что Пексниф мошенник, разбойник и негодяй?

— Самый зловредный негодяй! — сказал Мартин.

— Самый зловредный негодяй. Мы это знаем наперед, сэр, и, следовательно, нам ничуть не стыдно будет потерпеть поражение от Пекснифа. К черту Пекснифа! — воскликнул мистер Тэпли со всем пылом красноречия.— Кто он такой? Не Пекснифу пристыдить нас, разве только если он согласится с нами или окажет нам услугу; а в случае если он будет настолько дерзок, мы, надеюсь, его сумеем поставить на место. Пексниф! — повторил мистер Тэпли с невыразимым презрением.— Что такое Пексниф, кто такой Пексниф, где этот Пексниф, чтобы с ним так считаться? Мы стараемся не для себя,— он произнес это последнее слово с самым сильным ударением и взглянул Мартину прямо в лицо,— мы стараемся ради молодой леди, ей тоже приходится несладко; и как ни мало у нас надежды, думаю, этот самый Пексниф не станет нам поперек дороги. Я что-то не слыхал, чтобы этот Пексниф внес в парламент какой-нибудь законопроект. Пексниф! Да я и видеть его не хочу, и слышать о нем не хочу, и знать его не желаю! Я бы еще мог, пожалуй, очистить ноги о скребок на крыльце и назвать эту грязь Пекснифом, но дальше этого, уж извините, не снизойду!

Миссис Льюпин немало изумилась такому пылкому взрыву чувств, да и сам мистер Тэпли тоже. Но Мартин, поглядев задумчиво на огонь, сказал:

— Вы правы, Марк. Правы или не правы, но это нужно. Я так и сделаю.

— Еще одно слово, сэр,— возразил Марк.— Только не забывайте о Пекснифе, чтобы у него не было предлога прицепиться к вам. Не делайте ничего тайно, чтобы он не мог насплетничать, прежде чем вы явитесь с повинной. Вам даже не стоит видеться утром с мисс Мэри, пускай лучше вот этот наш дорогой друг,— тут он наградил миссис Льюпин улыбкой,— подготовит ее к тому, что должно случиться, и передаст маленькое письмецо, если будет можно. Она это сумеет. Ведь правда? — Миссис Льюпин засмеялась и кивнула головой.— Тогда вы войдете свободно и смело, как и подобает джентльмену. «Я ничего не делал исподтишка,— скажете вы.— Я не слонялся вокруг дома, вот он я,— простите меня, прошу вас, и бог вас благословит!»

Мартин улыбнулся; однако, сознавая, что совет хорош, решил ему последовать. Узнав от миссис Льюпин, что мистер Пексниф уже возвратился с торжественной церемонии, на которой они его видели во всей славе, и сговорившись наперед, в каком порядке будут действовать, они отошли ко сну, поглощенные мыслями о завтрашнем дне.

На следующее утро после завтрака мистер Тэпли отправился к мистеру Чезлвиту с письмом от Мартина, где он просил разрешения навестить его; и, отложив до более удобного времени разговоры с многочисленными друзьями, встречавшимися ему по дороге, скоро пришел к дому мистера Пекснифа. Он немедленно постучался в дверь этого джентльмена с таким бесстрашным лицом, что самому проницательному физиономисту было бы почти невозможно определить, о чем он думает, и даже думает ли вообще.

Такой наблюдательный человек, как мистер Тэпли, не мог долго оставаться нечувствительным к тому, что мистер Пексниф совершенно расплющил нос об окно гостиной, стараясь разглядеть, кто же это стучится в дверь. Мистер Тэпли ответил на это движение со стороны

неприятеля, взойдя на самую верхнюю ступеньку, так что из гостиной видна была только тулья его шляпы. Но мистер Пексниф, вероятно, уже увидел его, потому что вскоре послышался скрип его ботинок, и достойный джентльмен собственноручно открыл дверь.

Мистер Пексниф был, как всегда, жизнерадостен и мурлыкал на ходу песенку.

— Как поживаете, сэр? — сказал Марк.

— О! — воскликнул мистер Пексниф.— Тэпли, кажется? Блудный сын вернулся. Пива нам не нужно, мой друг.

— Благодарю вас, сэр,— сказал Марк.— Я бы все равно не мог вам его доставить. Письмо, сэр. Приказано подождать ответа.

— Ко мне? — воскликнул мистер Пексниф.— И нужен ответ, да?

— Кажется, не к вам, сэр,— сказал Марк, указывая пальцем адрес.— Фамилия, кажется, Чеззлвит, сэр.

— Ах, так! — ответил мистер Пексниф.— Благодарю вас. Да. От кого же оно, молодой человек?

— Джентльмен, который его посылает, подписал там свою фамилию, сэр,— чрезвычайно вежливо ответил мистер Тэпли.— Я видел, как он подписывался в самом конце письма, пока я ждал.

— И он сказал, что нужен ответ, не так ли? — спросил мистер Пексниф вкрадчиво.

Марк ответил утвердительно.

— Ответ он получит непременно,— произнес мистер Пексниф, разрывая письмо на мелкие клочки с такой ласковой миной, как будто это было самое лестное внимание, какого мог ожидать корреспондент.— Будьте так любезны, передайте ему это, с поклоном от меня, пожалуйста. Всего хорошего! — С этими словами он вручил Марку обрывки и удалился, закрыв за собой дверь.

Марк счел благоразумным не выказывать своих личных чувств и вернуться к Мартину в «Дракон». Они были подготовлены к такому именно приему и, прежде чем сделать вторую попытку, подождали еще час-другой. Когда это время истекло, они вместе направились к дому мистера Пекснифа. На этот раз постучался Мартин, в то время как Марк приготовился просунуть ногу и плечо

в приоткрытую дверь и таким образом добиться своего силой. Но эта предосторожность оказалась излишней, потому что девушка-служанка явилась немедленно. Быстро проскользнув мимо нее, как он заранее решил сделать, Мартин (за которым по пятам следовал его верный союзник) открыл дверь гостиной, где он рассчитывал скорее всего застать мистера Чезлвита, вошел туда, и нежданно-негаданно предстал перед своим дедушкой.

Мистер Пексниф и Мэри тоже сидели в этой комнате. В то краткое мгновение, когда оба они узнали друг друга, Мартин увидел, как старик опустил седую голову и закрыл лицо руками.

Это поразило его в самое сердце. Даже в то время, когда он был беззаботным себялюбцем, этого несмелого проблеска былой любви старика, когда-то высившейся подобно горделивой башне, а ныне лежавшей в развалинах, было бы достаточно, чтобы у Мартина защемило сердце. Но теперь, когда он изменился к лучшему и глядел иными глазами на бывшего друга, опекуна своего детства, согбенного и сломленного, все его возмущение, негодование, самонадеянность и гордость словно рукой сняло перед первыми слезами, покатившимися по увядшим щекам. Он не мог их видеть. Он не мог вынести мысли, что эти слезы льются из-за него. Он не мог вынести упреков невозвратимого прошлого, таившихся в этих слезах.

Он поспешил к старику, чтобы сжать его руку в своих руках, но мистер Пексниф вмешался и стал между ними.

— Нет, молодой человек! — произнес мистер Пексниф, ударяя себя в грудь и простирая другую руку к своему гостю и как бы осеняя его крылом.— Нет, сэр, только не это. Разите меня, сэр, меня! Мечите ваши стрелы в меня, сэр, будьте так любезны, не в него!

— Дедушка,— воскликнул Мартин,— выслушайте меня! Умоляю вас, дайте мне высказаться!

— Вот как, сэр? Вот как? — выходил из себя мистер Пексниф, бросаясь то в одну, то в другую сторону, чтобы все время держаться между ними.— Разве вам мало того, сэр, что вы явились в мой дом, как тать в нощи — или, лучше сказать, как тать среди бела дня, ибо мы не можем быть излишне щепетильны, когда речь идет о прав-

де,— и привели с собой ваших беспутных компаньонов для того, чтобы они подпирали спиной дверь гостиной и мешали входить и выходить моим домочадцам,— Марк занял эту позицию и держал ее не сдавая,— разве вам мало этого, и вы намерены поразить почтенную Добродетель? Да? Так знайте, что она не одинока! Я буду ей защитой, молодой человек! Вот моя грудь! Ну, сэр! Разите!

— Пексниф,— сказал старик слабым голосом,— успокойтесь. Не волнуйтесь.

— Я не могу не волноваться,— воскликнул мистер Пексниф,— и никак не могу успокоиться. Благодетель и друг! Неужели даже под моим кровом вам нельзя приклонить голову, убеленную сединой?

— Отойдите в сторону,— сказал старик, простирая руку,— дайте мне посмотреть на того, кого я когда-то любил так глубоко.

— Да это самое лучшее, посмотрите на него, мой друг,— сказал Пексниф.— Самое правильное, чтобы вы на него посмотрели, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его в истинном обличье. Смотрите на него! Вот он, сэр, вот он!

Мартин, будучи простым смертным, не мог не выразить на своем лице того гнева и презрения, которые внушал ему мистер Пексниф. Но, помимо этого, он ничем не показал, что знает о присутствии или самом существовании мистера Пекснифа. Правда, один раз, и то вначале, он невольно взглянул на этого добродетельного человека с величайшим презрением, но более не обращал на него никакого внимания, словно на его месте не было ничего, кроме пустого воздуха.

Когда мистер Пексниф отодвинулся, уступая выраженному стариком желанию, старый Мартин, взяв Мэри Грейм за руку и ласково прошептав ей что-то, словно говоря, что нет никаких причин тревожиться, тихонько оттолкнул ее за свое кресло и пристально посмотрел на внука.

— И это он,— произнес старик.— Да, это он. Скажи, что ты хочешь сказать, но не подходи ближе.

— Этот человек наделен таким тонким чувством справедливости,— заметил мистер Пексниф,— что выслушает даже *его,* хотя знает наперед, что из этого ничего не



может выйти. Какой блестящий ум! — Мистер Пексниф говорил про себя, не обращался ни к кому в особенности, он как бы взял на себя роль хора в греческой трагедии и высказывал свои мнения в качестве комментария к происходящему.

— Дедушка! — сказал Мартин с глубоким чувством.— После тревог тяжелого пути, после болезни, изведав трудную жизнь, полную лишений и горя, мрака и разочарования, потеряв надежду и отчаявшись, я возвратился к вам.

— Бродяги этого рода,— продолжал мистер Пексниф, выступая в роли хора,— обыкновенно возвращаются, когда увидят, что их мародерские набеги не увенчались тем успехом, на какой они надеялись.

— Если бы не этот вот преданный человек,— продолжал Мартин, повернувшись к Марку,— с которым я познакомился здесь и который добровольно поехал со мной в качестве слуги, но был мне с начала до конца верным и ревностным другом,— если бы не он, я бы умер на чужой стороне, вдали от родины, без помощи и утешения, даже без надежды, что моя несчастная судьба станет известна кому-нибудь, кто захотел бы о ней узнать... о, если бы вы позволили мне сказать — известна вам!

Старик посмотрел на мистера Пекснифа, мистер Пексниф посмотрел на него.

— Вы что-то сказали, многоуважаемый? — с улыбкой произнес мистер Пексниф.— Старик покачал головой.— Я знаю, чтó вы подумали,— сказал мистер Пексниф, еще раз улыбнувшись.— Пусть его продолжает, мой друг. Проявления эгоизма в человеке всегда любопытно наблюдать. Пусть его продолжает, мой друг.

— Продолжай! — заметил старик, казалось машинально повинуясь словам мистера Пекснифа.

— Я был так несчастен и так беден,— сказал Мартин,— что мне пришлось обратиться к милосердию чужого человека, в чужой стране, чтобы вернуться сюда. Все это только восстановит вас против меня, я знаю. Я даю вам повод думать, что сюда меня пригнала единственно нужда и что ни любовь, ни раскаяние ни в какой мере не руководили мною. Когда я расставался с вами, дедушка, я заслуживал такого подозрения,— но теперь нет, теперь нет!

Хор заложил руку за жилет и улыбнулся.

— Пусть его продолжает, многоуважаемый,— сказал он.— Я знаю, о чем вы думаете, но не надо этого говорить раньше времени.

Старик поднял глаза на мистера Пекснифа и, по-видимому, опять руководясь его словами и взглядами, сказал еще раз:

— Продолжай!

— Мне остается сказать немного,— возразил Мартин.— И так как я говорю это, уже не рассчитывая ни на что, как бы ни улыбалась мне надежда, когда я входил в эту комнату,— прошу вас об одном: верьте, что это правда, по крайней мере верьте, что это святая правда.

— О прекрасная истина! — возопил хор, возводя очи кверху.— Как оскверняется ныне твое имя служителями порока! Ты обитаешь не в колодце *, священный принцип, но на устах лживого человечества. Трудно мириться с человечеством, уважаемый сэр,— обратился он к старшему мистеру Чезлвиту,— но мы постараемся претерпеть и это с кротостью. Это наш долг; так будем же в числе тех немногих, кто не пренебрегает им. Но если,— продолжал хор, воспарив духом в горняя,— если, как говорит нам поэт, Англия надеется, что каждый исполнит свой долг *, то Англия самая легковерная страна на свете, и ее ждут постоянные разочарования.

— Что касается той причины,— сказал Мартин, спокойно глядя на старика и только на мгновение переводя взор на Мэри, которая закрыла лицо руками и опустила голову на спинку кресла,— той причины, которая посеяла несогласие между нами, в этом отношении мой ум и сердце не способны измениться. Что бы ни произошло со мной после того злополучного времени, все это лишь укрепило, а не ослабило мои чувства. Я не могу ни сожалеть о них, ни стыдиться их, ни проявлять колебаний. Да вы бы и не пожелали этого, я знаю. Но что я мог и в то время положиться на вашу любовь, если бы смело доверился ей; что я без труда склонил бы вас на свою сторону, если б был уступчивее и внимательнее; что я оставил бы по себе лучшую память, если бы забывал себя и помнил о вас,— всему этому научили меня размышле-

ния, одиночество и несчастие. Я пришел с решимостью сказать это и попросить у вас прощения, не столько надеясь на будущее, сколько сожалея о прошлом; и теперь я прошу у вас только одного: чтобы вы протянули мне руку помощи. Помогите мне достать работу, и я буду честно работать. Мое несчастие ставит меня в невыгодное положение: может показаться, что я думаю только о себе, но проверьте, так это или не так. Проверьте, так ли я своеволен, упрям и высокомерен, как был, или меня выправила суровая школа жизни. Пусть голос природы и дружеской привязанности рассудит нас с вами, дедушка; не отвергайте меня окончательно из-за одного проступка, как бы он ни казался непростителен!

Когда он замолчал, седая голова старика опустилась снова, и он закрыл лицо дрожащими пальцами.

— Досточтимый сэр,— воскликнул мистер Пексниф, склоняясь над ним,— вам не надо бы так поддаваться горю. Ваши чувства вполне естественны и похвальны; но не следует допускать, чтобы бесстыдное поведение человека, от которого вы давно отреклись, так волновало вас. Возьмите себя в руки. Подумайте,— сказал мистер Пексниф,— подумайте обо мне, мой друг.

— Я подумаю,— ответил старый Мартин, поднимая голову и глядя ему в глаза.— Вы заставили меня опомниться. Я подумаю.

— Как, что такое случилось,— продолжал мистер Пексниф, усаживаясь в кресло, которое подтащил поближе, и игриво похлопывая старика Чезлвита по плечу,— что такое случилось с моим непреклонным другом, если я могу себе позволить так называть вас? Неужели мне придется бранить моего наперсника или убеждать в чем-либо такой сильный ум? Я думаю, что нет.

— Нет, нет, в этом нет надобности,— сказал старик.— Минутное чувство, не более того.

— Негодование,— заметил мистер Пексниф,— вызывает жгучие слезы на глаза честного человека, я знаю,— он старательно вытер глаза.— Но у нас имеются более важные обязанности. Мистер Чезлвит, возьмите себя в руки. Должен ли я выразить ваши мысли, мой друг?

— Да,— сказал старый Мартин, откидываясь на спинку кресла и глядя на Пекснифа в каком-то забытьи,

словно покоряясь его чарам.— Говорите за меня, Пексниф. Благодарю вас. Вы не изменили мне. Благодарю вас!

— Не смущайте меня, сэр,— сказал мистер Пексниф,— иначе я буду не в силах выполнить свой долг. Моим чувствам противно, досточтимый, обращаться к человеку, который стоит перед нами, ибо, изгнав его из этого дома, после того как я услышал из ваших уст о его противоестественном поведении, я навсегда порвал с ним. Но вы этого желаете, и этого довольно. Молодой человек! Дверь находится непосредственно за спиной того, кто разделяет ваш позор. Краснейте, если можете; если не можете — уходите не краснея!

Мартин все так же пристально смотрел на своего деда, словно в комнате стояла мертвая тишина. Старик не менее пристально смотрел на мистера Пекснифа.

— После того как я приказал вам оставить мой дом, когда вы были изгнаны отсюда с позором,— произнес мистер Пексниф,— после того как, уязвленный и взволнованный до предела вашим бесстыдным обращением с этим необычайно благородным человеком, я воскликнул: «Ступайте прочь!», я сказал, что проливаю слезы над вашей развращенностью. Не думайте, однако, что та слеза, которая дрожит сейчас на моих глазах, будет пролита ради вас. Нет, только ради него, сэр, только ради него!

Тут мистер Пексниф, случайно уронив упомянутую слезу на лысину мистера Чезлвита, отер это место носовым платком и попросил извинения.

— Она пролита ради того, сэр, кого вы хотите сделать жертвой ваших происков,— продолжал мистер Пексниф,— кого вы хотите обобрать, обмануть и ввести в заблуждение. Она пролита из сочувствия к нему, из восхищения им; не из жалости, ибо, к счастью, он знает, что́ вы такое. Вы не причините ему больше зла, никоим образом не причините, пока я жив,— говорил мистер Пексниф, упиваясь своим красноречием.— Вы можете попрать ногами мое бесчувственное тело, сэр. Весьма возможно. Могу себе представить, что при ваших склонностях это доставит вам большое удовольствие. Но пока я существую, вы можете поразить его только через меня. Да,—

воскликнул мистер Пексниф, кивая на Мартина в порыве негодования,— и в таком случае вы найдете во мне опасного противника!

Но Мартин все смотрел на деда, пристально и кротко.

— Неужели вы мне ничего не ответите,— сказал он, наконец,— ни единого слова?

— Ты слышал, что было сказано,— ответил старик, не отводя глаз от мистера Пекснифа, который одобрительно кивнул.

— Я не слышал вашего голоса, я не знаю ваших мыслей,— возразил Мартин.

— Повторите еще раз,— сказал старик, все еще глядя в лицо мистеру Пекснифу.

— Я слышу только то,— возразил Мартин с непреклонным упорством, которое все возрастало, между тем как Пексниф все больше ежился и морщился от его презрения,— я слышу только то, что говорите мне вы, дедушка.

Мистеру Пекснифу, можно сказать, повезло, что его почтенный друг был всецело поглощен созерцанием его (мистера Пекснифа) физиономии: ибо стоило только этому другу отвести глаза в сторону и сравнить поведение внука с поведением своего ревностного защитника, и тогда вряд ли этот бескорыстный джентльмен представился бы ему в более выгодном свете, чем в тот памятный день, когда Пексниф получал последнюю расписку от Тома Пинча. Право, можно было подумать, что внутренние качества мистера Пекснифа — скорее всего его добродетель и чистота — излучали нечто такое, что выгодно оттеняло и украшало его врагов: рядом с ним они казались воплощением доблести и мужества.

— Ни единого слова? — спросил Мартин во второй раз.

— Я вспомнил, что мне нужно сказать одно слово, Пексниф,— заметил старик,— всего одно слово. Ты говорил, что многим обязан милосердию какого-то незнакомца, который помог вам вернуться в Англию. Кто он такой? И какую денежную помощь оказал вам?

Задавая этот вопрос Мартину, он не смотрел на него и по-прежнему не сводил глаз с мистера Пекснифа.

По-видимому, у него вошло в привычку — и в буквальном и в переносном смысле — глядеть в глаза мистеру Пекснифу.

Мартин достал карандаш, вырвал листок из памятной книжки и торопливо записал все, что был должен мистеру Бивену. Старик протянул руку за листком и взял его,— все это не отрывая глаз от лица мистера Пекснифа.

— Было бы неуместной гордостью и ложным смирением,— сказал Мартин, понизив голос,— говорить, что я не желаю, чтобы этот долг был уплачен или что у меня есть хоть какая-нибудь надежда уплатить его самому. Но я никогда не чувствовал своей нищеты так глубоко, как чувствую сейчас.

— Прочтите мне это, Пексниф,— сказал старик.

Мистер Пексниф повиновался, но он приступил к чтению бумаги с таким видом, как будто это была рукописная исповедь убийцы.

— Я думаю, Пексниф,— сказал старый Мартин,— что мне лучше заплатить этот долг. Мне бы не хотелось, чтобы пострадал заимодавец, который не мог навести справок и который сделал (как ему казалось) доброе дело.

— Благородное чувство, уважаемый сэр! Оно оказывает вам честь. Опасный прецедент, однако, позвольте намекнуть вам,— сказал мистер Пексниф.

— Прецедента из этого не получится,— возразил старик.— Ни на что другое он рассчитывать не может. Но мы еще поговорим. Вы посоветуете мне. Больше ничего нет?

— Ровно ничего,— ответил мистер Пексниф жизнерадостно,— как только вам прийти в себя после этого вторжения, после этого трусливого и ничем не оправданного оскорбления ваших чувств; прийти в себя как можно скорее и снова улыбаться.

— Вам больше нечего сказать? — с необычайной серьезностью спросил старик, кладя свою руку на рукав мистера Пекснифа.

Но мистер Пексниф не пожелал говорить того, что просилось у него на язык, потому что упреки, как он заметил, всегда бесполезны.

— Вам решительно нечего требовать? Вы в этом уверены? Если есть, говорите не стесняясь, что бы это ни было. Я ни в чем не откажу вам, чего бы вы ни попросили,— сказал старик.

При этом доказательстве неограниченного доверия со стороны старика слезы выступили на глазах у мистера Пекснифа в таком изобилии, что он был принужден судорожно ухватиться за переносицу и только после этого хоть сколько-нибудь успокоился. Когда дар речи снова вернулся к нему, он сказал, сильно волнуясь, что надеется когда-нибудь заслужить это доверие, и прибавил, что никаких других замечаний у него нет.

Несколько времени старик сидел, глядя на него с тем бессмысленным и неподвижным выражением, какое нередко бывает свойственно людям на склоне лет, когда их умственные способности слабеют. Но он поднялся с места довольно твердо и пошел к двери, где Марк посторонился, давая ему дорогу.

Мистер Пексниф угодливо предложил ему руку, и старик принял ее. На пороге он сделал движение, словно отстраняясь от Мартина, и сказал ему:

— Ты слышал его. Уходи прочь. Все кончено. Ступай.

Мистер Пексниф, следуя за ним, бормотал какие-то слова, выражавшие одобрение и сочувствие; а Мартин, очнувшись от оцепенения, в которое повергла его заключительная сцена, воспользовался их уходом для того, чтобы обнять ни в чем не повинную причину всех недоразумений и прижать ее к сердцу.

— Милая девочка! — сказал Мартин.— Зато вас его влияние совсем не изменило. Какой же это бессильный и безвредный мошенник!

— Вы так благородно держались! Вы столько перенесли!

— Благородно! — весело воскликнул Мартин.— Вы были тут рядом и ни в чем не изменились, и я это знал. Чего же больше мне было желать? Этому псу так невыносимо было меня видеть и терпеть мое присутствие, что я торжествовал. Но скажите мне, дорогая,— надо дорожить теми немногими словами, которыми мы можем обменяться наспех,— правда ли то, что я слышал? Верно ли, что этот мошенник преследовал вас своими любезностями?

— Да, дорогой Мартин, отчасти это продолжается и сейчас, но главным источником моего горя была тревога за вас. Почему вы оставляли нас в такой ужасной неизвестности?

— Болезнь, дальность расстояния, боязнь намекнуть на наше истинное положение и невозможность скрыть правду иначе, как только молча, уверенность, что эта правда огорчила бы вас несравненно больше, чем неизвестность и сомнение,— ответил Мартин торопливо, как и все говорилось и делалось торопливо в эти краткие минуты,— все это и было причиной тому, что я написал только раз. Но Пекснйф! Не бойтесь мне рассказывать, вы же видели, что я стоял рядом с ним, слушал его и не схватил за горло. Что это за история о том, что он преследует вас? А дедушка знает?

— Да.

— И он ему содействует?

— Нет,— горячо отвечала она.

— Слава богу,— воскликнул Мартин,— что хоть в одном отношении разум не изменил ему.

— Не думаю,— сказала Мэри,— чтобы он был посвящен в его намерения с самого начала. Но после того как этот человек достаточно его подготовил, он открылся ему постепенно. Мне так кажется, но это только мое впечатление, никто мне ничего не говорил. Потом он беседовал со мной наедине.

— Дедушка? — спросил Мартин.

— Да, беседовал со мной наедине и передал...

— Слова этого негодяя? — воскликнул Мартин.— Не повторяйте их!

— И сказал, что мне хорошо известны его достоинства; Пексниф достаточно богат, пользуется хорошей репутацией и заслужил его доверие и расположение. Но, видя, что я пришла в отчаяние, он сказал, что не станет принуждать меня или влиять на мои склонности, довольно и того, что он рассказал мне в чем дело. Он не станет огорчать меня, продолжая этот разговор или возвращаясь к нему. И с тех пор он ни разу об этом не заговаривал; он честно сдержал свое слово.

— А сам претендент?

— У него почти не было случая продолжать свое

ухаживание. Я никогда не выходила одна и не оставалась с ним наедине. Дорогой Мартин, я должна вам сказать,— продолжала она,— что доброта вашего дедушки ко мне остается неизменной. Мы все так же неразлучны. Неописуемая нежность и сострадание, казалось, примешались теперь к прежнему его уважению, и если б я была его единственным ребенком, то не могла бы иметь более ласкового отца. Причуда ли это в нем, или старая привычка, после того как его сердце остыло к вам,— это тайна, не разгаданная мной; но для меня было и останется счастьем, что я не изменила ему и что, если он очнется от своего заблуждения, хотя бы на краю смерти, я буду тут, милый, чтобы напомнить ему о вас.

Мартин с восхищением смотрел на ее разгоревшееся лицо и теперь воспользовался паузой, чтобы поцеловать ее в губы.

— Мне приходилось слышать и читать,— продолжала она,— что те, в ком давно уже угасли силы и кто живет словно во сне, иногда приходят в себя перед смертью и спрашивают про людей, когда-то близких и дорогих, но давно позабытых или отвергнутых и даже ненавистных. Подумайте, что будет, если он вдруг проснется таким же, как прежде, с прежним своим мнением об этом человеке, и увидит в нем своего единственного друга.

— Я бы не стал требовать, чтобы вы его бросили, дорогая,— сказал Мартин,— хотя бы еще много лет нам пришлось быть в разлуке. Но я боюсь, что влияние этого человека на него все возрастает.

Она не могла не согласиться с ним. Оно росло неуклонно, незаметно и верно, пока не стало всесильным, достигнув высшей точки. У нее самой не было никакого влияния, и, однако, он обращался с нею ласковее, чем когда бы то ни было раньше. Мартин решил, что эта непоследовательность у него происходит от слабости и старческого одряхления.

— Неужели дело дошло до того, что он боится Пексяифа? — спросил Мартин.— Неужели он не решается высказать, что думает, в присутствии своего фаворита? Мне так показалось сейчас.

— Мне тоже не раз это казалось. Часто, когда мы с ним сидим вдвоем, почти так же как раньше, и я читаю

ему любимую книгу или он спокойно разговаривает со мной, я вижу, что при мистере Пекснифе меняется все его поведение. Он сразу преображается и становится таким, каким вы видели его сегодня. Когда мы только что приехали сюда, у него еще бывали припадки вспыльчивости, и даже мистер Пексниф при всей его вкрадчивости не без труда успокаивал его. Теперь этого с ним не бывает. Он полагается во всем на мистера Пекснифа и не имеет другого мнения, кроме того, которое навязывает ему этот вероломный человек.

Таков был отчет, полученный Мартином о старческом упадке своего дедушки и о возвышении добродетельного архитектора, сделанный шепотом и второпях и, при всей своей краткости, не раз прерываемый, из опасения как бы не вернулся мистер Пексниф. Мартин услышал о Томе Пинче, а также о Джонасе, и немало о себе самом; ибо, хотя влюбленные и отличаются тем, что между ними многое всегда остается недосказанным и это влечет за собой желание увидеться вновь и объясниться до конца,— им присуща также удивительная способность выражаться кратко, и они в самое короткое время способны сказать больше, и притом гораздо красноречивее, чем все шестьсот пятьдесят восемь членов палаты общин в парламенте Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, которые тоже любят сильно, без сомнения, но одно только свое отечество, в чем и заключается вся разница, ибо в любви этого рода (далеко не всегда взаимной) принято произносить как можно больше слов, не выражая этим ровно ничего.

Сигнал мистера Тэпли; торопливый обмен прощальными словами и еще кое-чем, о чем не полагается никому рассказывать, ему протягивают белую ручку, мистер Тэпли целует ее с благоговением странствующего рыцаря; опять прощание, опять поцелуй; напоследок Мартин обещает написать из Лондона, где он надеется совершить нечто великое (одному богу известно, что именно, но Мартин твердо в этом уверен),— и они с Марком оказываются на улице, перед чертогами Пекснифа.

— Короткое же это было свидание после такой долгой разлуки! — печально сказал Мартин.— Но мы вовремя выбрались из этого дома. А могли бы попасть в не-

ловкое положение, если бы задержались хоть ненадолго, Марк.

— Не знаю, как насчет нас, сэр,— возразил Марк,— но кое-кто другой попал бы в неловкое положение, если бы вернулся невзначай, пока мы были там. Дверь у меня была уже наготове, сэр. Если бы Пексниф просунул свою голову или хотя бы стоял и подслушивал за дверью, я бы раздавил его, как орех. Он такого сорта человек,— прибавил мистер Тэпли, подумав,— что раздавился бы без шума, уж вы поверьте.

В эту минуту с ними поравнялся незнакомец, который, по-видимому, шел к дому мистера Пекснифа. Он поднял глаза, услышав имя архитектора, и, пройдя несколько шагов, остановился и посмотрел на них. Мистер Тэпли тоже оглянулся на него, оглянулся и Мартин, потому что незнакомец, проходя мимо, задержался на них взглядом.

— Кто это может быть, любопытно знать? — сказал Мартин.— Лицо как будто мне знакомо, но я не знаю этого человека.

— Ему, должно быть, хотелось, чтоб мы хорошенько запомнили его физиономию,— сказал мистер Тэпли,— уж очень он на нас уставился. Лучше б он не тратил попусту свою красоту, не так ее много.

Подходя к «Дракону», они увидели перед дверьми дорожную карету.

— А карета ведь из Солсбери, а? — сказал мистер Тэпли.— В ней он и приехал, будьте уверены. Что-то тут затевается! Новый ученик, должно быть. А может, еще один заказ на план начальной школы того же образца, что и прошлый раз!

Не успели они войти в дом, как оттуда выбежала миссис Льюпин и, кивком подозвав их к карете, показала чемодан с фамилией «Чезлвит».

— Это муж мисс Пексниф,— сказала добрая женщина Мартину.— Я не знала, в каких вы отношениях, и очень беспокоилась, пока вы не пришли.

— Мы ни разу не обменялись с ним ни единым словом,— заметил Мартин,— и так как я не желаю более близкого знакомства, то постараюсь не встречаться с ним. Я уверен, что это он попался нам по дороге. Очень

рад, что мы так удачно разминулись. Честное слово! С большими удобствами путешествует муж мисс Пексниф.

— С ним какой-то представительный джентльмен, он остановился в лучшей нашей спальне,— прошептала миссис Льюпин, косясь на окно этой самой комнаты, когда они входили в дом.— Он заказал к обеду все, что только можно достать; а усы и бакенбарды у него такие шелковистые, какие только можно вообразить.

— Вот как! — воскликнул Мартин.— Что ж, тогда постараемся избегать и его тоже. Надеюсь, что у нас хватит сил на такое самопожертвование. Ведь это всего на несколько часов,— сказал Мартин, устало опускаясь на стул за маленькой ширмой.— Наш визит не увенчался успехом, дорогая моя миссис Льюпин, и я должен ехать в Лондон.

— Боже мой, боже мой! — воскликнула миссис Льюпин.

— Да. Один встречный ветер не делает зимы, как одна ласточка не делает весны. Попробую еще раз. Тому Пинчу повезло. С помощью его советов, может быть, повезет и мне. Когда-то я обещал Тому свое покровительство, с позволения сказать,— заметил Мартин с грустной улыбкой,— и собирался устроить его судьбу. Быть может, Том возьмет теперь меня под свое покровительство и научит зарабатывать свой хлеб.

ГЛАВА XLIV

Рассказ о предприятии мистера Джонаса и его друга продолжается

Среди многих других прекрасных качеств, которыми обладал мистер Пексниф, было одно особенное, состоявшее в том, что чем больше его разоблачали, тем больше он лицемерил. Если он терпел поражение в одной области, то собирался с силами и вознаграждал себя, перенеся военные действия в другую. Если его хитрости и увертки раскрывал А., тем больше было причин не теряя

времени практиковаться на Б., хотя бы для того только, чтобы не терять ловкости рук. Никогда он не представлял собой такого благочестивого и поучительного зрелища для всех окружающих, как в то время, когда его разоблачил мистер Пинч. Вряд ли он бывал когда-нибудь так человечен и так возвышенно и достойно добродетелен, как в то время, когда презрение молодого Мартина еще жгло его, как огнем.

Этот избыток благородных и высоконравственных чувств положительно необходимо было сбыть с рук, не считаясь ни с какими жертвами; и мистер Пексниф, услышав о прибытии зятя, немедленно усмотрел в его лице своего рода оптового заказчика или покупателя, которому следовало отпустить товар немедленно. Быстро сойдя в гостиную и заключив молодого человека в объятия, он провозгласил с ужимками и взглядами, указывавшими на смятение духа:

— Джонас! Дитя мое! Она здорова? Ничего не случилось?

— Как, вы опять за свое? — отвечал его зять.— Даже и со мной? Оставьте вы, пожалуйста, вот что!

— Скажите же мне, что она здорова,— не унимался мистер Пексниф.— Скажите мне, что она здорова, дорогой мой!

— Она не больна,— возразил Джонас, высвобождаясь из его объятий.— Ничего с ней не случилось.

— Ничего с ней не случилось! — воскликнул мистер Пексниф, опускаясь на ближайший стул и ероша рукой волосы.— Мне стыдно за мою слабость. Никак не могу удержаться, Джонас. Благодарю вас. Мне теперь лучше. Как поживает другая моя дочь, моя старшая, моя Черриверри-чиго? — спросил мистер Пексниф, который тут же изобрел для нее это шутливое прозвище, почувствовав, что на сердце у него снова становится легко.

— Да все так же, как и раньше,— ответил мистер Джонас.— Все такой же уксус, как и была. Вы, я думаю, знаете, что она обзавелась поклонником?

— Я об этом слышал из первоисточника,— сказал мистер Пексниф,— от нее самой. Не стану отрицать, это заставило меня подумать о том, что скоро я потеряю и последнюю дочь. Джонас, боюсь, что все мы, родители,

эгоисты; боюсь, что мы... но делом моей жизни было воспитать их для домашнего очага, а это такая сфера, которую Черри украсит.

— Ей не мешает украсить какую-нибудь сферу,— заметил его зять,— потому что сама-то она не бог знает какое украшение.

— Мои девочки теперь обеспечены,— сказал мистер Пексниф.— К счастью, они теперь обеспечены, и я трудился недаром!

Совершенно то же самое сказал бы мистер Пексниф, если бы одна из его дочерей выиграла тридцать тысяч фунтов в лотерею, а другая нашла бы на улице кошелек с золотом, по всей видимости никому не принадлежащий. И в том и в другом случае он весьма торжественно призвал бы отеческое благословение на главу счастливицы и поставил бы это событие себе в заслугу, словно предвидел его, когда она была еще в колыбели.

— А не поговорить ли нам о чем-нибудь другом для разнообразия? — сухо заметил Джонас.— Согласны, что ли?

— Вполне,— сказал мистер Пексниф.— Ах вы шутник, проказник вы этакий! Вы смеетесь над стареньким любящим папой. Что ж, он это заслужил. И он не обижается, потому что в чувствах своих находит себе награду. Вы погостите у нас, Джонас?

— Нет. Со мной приятель,— сказал Джонас.

— Приводите и приятеля! — воскликнул мистер Пексниф в порыве гостеприимства.— Приводите сколько вам угодно приятелей!

— Это не такой человек, чтобы его приводить,— презрительно заметил Джонас.— Я думаю, забавно было бы видеть, как это я его «приведу». Спасибо все-таки, но он для этого слишком высокопоставленное лицо, Пексниф.

Добродетельный человек насторожил уши: любопытство его пробудилось. Для мистера Пекснифа быть высокопоставленным — значило быть великим, добрым, благочестивым, мудрым, гениальным, а лучше сказать — избавляло от необходимости быть всем этим и само по себе стояло неизмеримо выше всего этого. Если человек имел право смотреть на Пекснифа сверху вниз, то

последний не мог взирать на него иначе, как снизу вверх, и притом почтительно согнув спину, в избытке смирения. Так всегда бывает с великими людьми.

— Я вам скажу, что вы можете сделать, если хотите,— сказал Джонас,— можете прийти пообедать с нами в «Драконе». Этой ночью мы приехали в Солсбери по делу, а утром я заставил его отвезти меня сюда в своей карете, то есть не в своей, потому что она сломалась нынче ночью, а в наемной, но это все равно. Так смотрите, знаете ли, ведите себя поосторожнее. Он не привык якшаться с кем попало, вращается только в самом лучшем обществе.

— Какой-нибудь молодой вельможа, который занимает у вас деньги под большие проценты, не так ли? — сказал мистер Пексниф, игриво грозя ему пальцем.— Буду в восторге познакомиться с юным гулякой.

— Занимает! — отозвался Джонас.— Как бы не так! Если у вас имеется хоть двадцатая часть его капиталов, можете уходить на покой! Мы с вами были бы богачи, если б могли вскладчину купить его мебель, серебро и картины. Станет такой человек занимать деньги! Да, с тех пор как мне подвернулся случай (и, кстати сказать, хватило ума) обзавестись паем в страховом обществе, которого он председатель, я нажил... неважно, впрочем, сколько я нажил,— сказал Джонас, как будто вспомнив обычную свою осторожность.— Вы меня отлично знаете, я о таких вещах не болтаю. Но, ей-богу, кое-что я приобрел.

— Право, дорогой мой Джонас,— с большой горячностью воскликнул мистер Пексниф,— такому джентльмену следует оказать внимание. Может быть, он захочет осмотреть церковь? Или, если он имеет вкус к изящным искусствам — в чем я не сомневаюсь,— я могу послать ему несколько папок с чертежами. Солсберийский собор, дорогой мой Джонас,— в связи с упоминанием о папках, а также стремясь выказать себя с наилучшей стороны, мистер Пексниф перешел на обычный для него в таких случаях цветистый слог,— есть здание, освященное для нас вековыми традициями и внушающее самые возвышенные чувства. Здесь мы созерцаем работу прошлых веков. Здесь мы слушаем раскаты органа, прогуливаясь

под гулкими сводами. У нас имеются чертежи этого прославленного здания с севера, с юга, с востока, с запада, с юго-востока, с северо-запада...

Во время этого лирического отступления и даже во время всего диалога Джонас покачивался на стуле, засунув руки в карманы и с хитрым видом склонив голову набок. Теперь он смотрел на своего собеседника так издевательски, что мистер Пексниф остановился и спросил, что он хочет сказать.

— Ей-богу, Пексниф,— ответил он,— если б я знал наверное, кому вы собираетесь оставить свой капитал, то помог бы вам удвоить его в самое короткое время. Недурно было бы использовать такой случай в кругу своего семейства. Но ведь вы хитрец!

— Джонас! — расчувствовавшись, воскликнул мистер Пексниф. — Я не дипломат, душа у меня нараспашку. Большая часть тех незначительных сбережений, какие мне удалось скопить в течение моей, надеюсь не бесчестной и не бесполезной, жизни, уже отдана, передана и завещана (поправьте меня, дорогой Джонас, если я неточно изъясняюсь) со всеми выражениями доверия, которых я не стану повторять, и в ценностях, о которых нет надобности здесь упоминать, лицу, имя которого я не могу, не хочу и считаю излишним называть здесь.— Тут он горячо пожал зятю руку, словно хотел прибавить: «Благослови вас бог, берегите их хорошенько, когда получите!»

Мистер Джонас только покачал головой и засмеялся и, казалось переменив намерения, сказал, что «нет, лучше уж он сохранит это в секрете». Но когда он сообщил, что пойдет прогуляться, мистер Пексниф настоял на том, чтобы сопровождать его, заметив, что по дороге он забросит мистеру Монтегю свою визитную карточку, которая послужит ему рекомендацией при встрече. Что он и сделал.

На прогулке мистер Джонас хранил ту строгую сдержанность, которая давеча заставила его спохватиться и прервать разговор. Он не делал никаких попыток задобрить мистера Пекснифа, а наоборот, был груб и неотесан более обыкновенного, и потому мистер Пексниф, вовсе не подозревая его намерений, позволил захватить себя врасплох. Ибо взломщик всегда склонен думать,

что у другого взломщика имеется такой же набор отмычек, каким орудует он сам; зная, как он сам поступил бы в подобном случае, мистер Пексниф думал: «Если бы этому молодому человеку было что-нибудь от меня нужно, он вел бы себя вежливо и почтительно».

Чем больше Джонас увиливал от его намеков и расспросов, тем больше старался мистер Пексниф проникнуть в золотые тайны, которые приоткрылись ему нежданно-негаданно. Для чего эти холодные и официальные отношения между родственниками? Что такое жизнь без доверия? Если избранник его дочери, человек, которому он отдал ее с такой гордостью и надеждой, с такой волнующей, безоблачной радостью,— если он не являет собой оазиса в бесплодной пустыне жизни, то где же искать этот оазис?

Мистер Пексниф и не подозревал, на какой предательский зеленый островок он ставит ногу в это мгновение! Уверяя, что «все на свете лишь прах», он и не предвидел, что в самом скором времени расстанется со своим капиталом!

Шаг за шагом, сохраняя на лице все ту же ворчливую и недóвольную мину, ибо надежда поразить мистера Пекснифа в самое уязвимое место — в карман, который так ужасно пострадал у самого Джонаса, заставляла его с особенно злобным увлечением проделывать все свои штуки — шаг за шагом и даже, можно сказать, дюйм за дюймом, Джонас скорее нехотя раскрывал блестящие перспективы Англо-Бенгальской компании, чем ослеплял ими своего внимательного слушателя. И, продолжая разговор в том же скряжническом духе, он предоставил мистеру Пекснифу сделать вывод,— если тот пожелает (а тот, разумеется, пожелал),— что, не будучи наделен от природы красноречием и обходительностью, он, Джонас, намерен, чтобы восполнить этот недостаток, познакомить мистера Монтегю с человеком, богато одаренным в этом отношении, поставив такое посредничество себе в заслугу. Иначе, пробормотал он недовольно, он послал бы своего возлюбленного тестя куда подальше, вместо того чтобы нянчиться с ним.

Подготовленный так ловко, мистер Пексниф явился к обеду, доведя свою учтивость, благожелательность, весе-

лость, благовоспитанность и сердечность до такой высокой степени, какой даже ему еще никогда не удавалось достигнуть. Чистосердечие провинциального джентльмена, утонченность художника, благодушная снисходительность светского человека — все это отражалось на лице мистера Пекснифа, когда он пожимал руку великого прожектера и капиталиста.

— Добро пожаловать в наше скромное селенье, уважаемый сэр! — сказал мистер Пексниф.— Мы захолустные жители, первобытная деревенщина, мистер Монтегю, но мы высоко ценим честь, оказанную нам вашим посещением, что может засвидетельствовать мой дорогой зять. Очень, очень странно,— сказал мистер Пексниф, почти благоговейно пожимая ему руку,— но мне кажется, что я вас знаю. Этот высокий лоб, дорогой мой Джонас,— заметил мистер Пексниф в сторону,— эти вьющиеся кудри... я, должно быть, видел вас, уважаемый сэр, где-нибудь в самом избранном обществе.

Ничего не могло быть вероятней, согласились все.

— Я бы желал,— сказал мистер Пексниф,— иметь честь представить вас почтенному патриарху, обитающему в моем доме,— дядюшке нашего друга. Мистер Чезлвит, сэр, действительно высоко оценил бы честь пожать вам руку.

— Этот джентльмен теперь здесь? — спросил Монтегю, густо краснея.

— Да, здесь,— сказал мистер Пексниф.

— Вы ничего про это не говорили, Чезлвит.

— Я не думал, что вам это будет интересно,— возразил Джонас.— Для вас в таком знакомстве ничего нет приятного.

— Джонас! Дорогой мой Джонас! — запротестовал мистер Пексниф.— Что это вы, право!

— Ну да, хорошо вам распинаться за него,— огрызнулся Джонас.— Он теперь у вас в руках. Получите от него капиталец.

— Ого! Вот откуда ветер дует? — воскликнул Монтегю.— Ха-ха-ха! — И тут все они рассмеялись, а пуще всех мистер Пексниф.

— Нет, нет! — сказал Пексниф, игриво похлопывая зятя по плечу.— Не следует верить всему, что говорит

мой молодой родственник, мистер Монтегю. Можно верить ему в официальных делах, можно полагаться на него в официальных делах, но не надо придавать значения полетам его фантазии.

— Клянусь жизнью, мистер Пексниф,— заметил Монтегю,— я придаю величайшее значение его последним словам. Думаю и надеюсь, что они справедливы. Обычным путем деньги оборачиваются недостаточно быстро, мистер Пексниф. Приходится строить наше благосостояние на слабостях человеческого рода.

— Фу-фу-фу, как не стыдно! — воскликнул мистер Пексниф. Но все опять рассмеялись, а пуще всех мистер Пексниф.

— Даю вам честное слово, что мы так и делаем,— сказал Монтегю.

— Фу-фу! — воскликнул мистер Пексниф.— Вы очень остроумны. Я уверен, что этого за вами не водится, этого за вами не водится! Как *можно,* знаете ли?

Опять все дружно рассмеялись, и опять мистер Пексниф смеялся громче всех.

Это было в самом деле очень приятно. Столько непринужденности, откровенности, доверия — и вместе с тем ничто не мешало мистеру Пекснифу оставаться в некотором роде ментором всего общества. Лучшие произведения кулинарного искусства, какими мог блеснуть «Дракон», были поставлены перед ними на стол; самые старые и выдержанные вина из погреба «Дракона» увидели свет по этому случаю; тысячи воздушных пузырьков, указывавших на богатство и влиятельность мистера Монтегю, постоянно всплывали на поверхность беседы; словом, все трое веселились от души, как и полагается веселиться честным людям. Мистер Пексниф выразил сожаление, что мистер Монтегю так презрительно относится к человечеству и его слабостям. Мистера Пекснифа это до крайности тревожило; он все время об этом думал; он то и дело возвращался к этому предмету; он еще надеется обратить мистера Монтегю, говорил он. И каждый раз как мистер Монтегю повторял свое изречение насчет того, чтобы обогащаться за счет слабостей человечества, прибавляя откровенно: «Так *мы* и делаем!», мистер Пексниф неизменно восклицал: «Фу-фу, как не

стыдно! Я уверен, что ничего подобного нет. Как *можно,* знаете ли?» — особенно напирая на последние слова.

Неоднократное повторение этого шутливого вопроса заставило, наконец, и мистера Монтегю отвечать в том же шутливом тоне, но, перекинувшись с ним двумя-тремя шутками, мистер Пексниф снова стал серьезен и чуть не прослезился, заметив, что, с позволения мистера Монтегю, выпьет за здоровье своего молодого родственника, мистера Джонаса; он от души поздравляет его с новым, высокоценным и выдающимся знакомством и в то же время завидует, признаться, его полезной для человечества деятельности. Ибо, насколько он убедился — при самом поверхностном знакомстве,— задачи того общества, в которое мистер Джонас вступил совсем недавно — и весьма удачно,— направлены к тому, чтобы делать добро; что же касается самого мистера Пекснифа, если б он мог этому способствовать, то каждый вечер опускал бы голову на подушку в полной уверенности, что уснет немедленно.

От этого случайного замечания (оно было совершенно случайное и сорвалось у мистера Пекснифа от полноты души) легко было перейти к деловому обсуждению вопроса. Книги, бумаги, отчеты, таблицы, вычисления всякого рода были вскоре развернуты перед ними, и так как все это имело в виду одну цель, то не удивительно, что и било оно в одну точку. Но все же, как только мистер Монтегю начинал распространяться насчет прибылей общества, утверждая, что оно будет процветать до тех пор, пока на свете не перевелись простаки, мистер Пексниф кротко замечал на это «фу, как не стыдно!»,— он даже поспорил бы с ним, если бы не был уверен, что тот шутит. Мистер Пексниф был в этом совершенно уверен, иначе он бы так не говорил.

Никогда еще не бывало и никогда больше не представится такого случая выгодно поместить значительную сумму (чем больше сумма, тем больше выгоды), как в настоящую минуту. Единственное время, которое хоть сколько-нибудь приближалось к теперешнему, было тогда, когда Джонас вступал в общество, оттого-то он и злобствовал и выискивал то тут, то там сомнительные места и недостатки и ворчливо советовал мистеру Пекснифу

подумать как следует. Сумма, которая требовалась для того, чтобы стать владельцем пая в этом заманчивом предприятии, равнялась почти всему состоянию Пекснифа — то есть не считая мистера Чезлвита, на которого Пексниф смотрел как на капитал в банке, обладание коим еще больше подзадоривало его пожертвовать своей собственной килькой для уловления такого кита, какого расписывал ему мистер Монтегю. Доходы начинали поступать почти немедленно и были колоссальны. Словом, кончилось тем, что мистер Пексниф согласился стать последним компаньоном и пайщиком Англо-Бенгальской компании, а также уговорился пообедать послезавтра с мистером Монтегю в Солсбери и там завершить сделку.

Чтобы довести переговоры до этой стадии, понадобилось так много времени, что было уже около полуночи, когда они расстались. Сойдя вниз, мистер Пексниф натолкнулся на миссис Льюпин, которая стояла в дверях, глядя на небо.

— Ах, мой добрый друг,— сказал он,— вы еще не легли! Любуетесь звездами, миссис Льюпин?

— Прекрасная звездная ночь, сэр.

— Прекрасная звездная ночь,— сказал мистер Пексниф, поднимая глаза кверху.— Воззрите на планеты, как они сияют! Воззрите на... а эти две личности, которые были здесь нынче утром, надеюсь, оставили ваш дом, миссис Льюпин?

— Да, сэр, они уехали.

— Рад это слышать,— сказал мистер Пексниф.— Воззрите на чудеса небосвода, миссис Льюпин! Какое великолепное зрелище! Когда я гляжу на эти блистающие светила, мне кажется, что все они подмигивают друг другу, намекая на тщету людских помыслов. Мои собратья люди! — воскликнул мистер Пексниф, сожалительно качая головой.— Вы сильно заблуждаетесь, жалкие мои сородичи, вы совершаете ошибку! Звезды вполне довольствуются (так я полагаю) каждая своей сферой. Почему же и вам не быть довольными? О, не стремитесь и не старайтесь обогатиться или превзойти один другого, мои заблудшие друзья, но воззрите на небеса вместе со мною!

Миссис Льюпин покачала головой, подавляя вздох. Это было очень трогательно.

— Воззрите на небеса вместе со мной! — повторил мистер Пексниф, простирая руку.— Вместе со мною, простым смертным, таким же ничтожеством, как и вы сами. Разве серебро, золото или драгоценные камни могут сверкать, подобно этим созвездиям? Думаю, что нет. Поэтому не алкайте серебра, золота и драгоценных камней, но воззрите на небеса вместе со мной.

С этими словами добродетельный человек похлопал миссис Льюпин по руке, словно прибавив: «Подумайте об этом, добрая моя женщина!» — и удалился в восхищении, доходящем до экстаза, держа шляпу под мышкой.

Джонас сидел в той же позе, в какой мистер Пексниф его оставил, угрюмо глядя на своего друга, который обложился ворохами бумаг и что-то писал на продолговатом листке.

— Вы, значит, намерены оставаться в Солсбери до послезавтра? — спросил Джонас.

— Вы слышали наш уговор,— ответил Монтегю, не поднимая глаз.— Во всяком случае, я должен остаться, чтобы присмотреть за ним.

Они, казалось, опять поменялись местами: Монтегю был в превосходном настроении, а Джонас мрачен и угнетен.

— Я вам больше не нужен, полагаю? — спросил Джонас.

— Мне нужно, чтобы вы подписались вот здесь,— ответил Монтегю, с улыбкой взглядывая на Джонаса,— как только я заполню гербовый лист. Мне может, кроме того, понадобиться ваша расписка на этот добавочный капитал. Это все, что мне требуется. Если вы хотите уехать домой, я и один управлюсь с мистером Пекснифом. Мы как нельзя лучше с ним поладим.

Джонас хмуро глядел на него, пока он писал. Покончив с этим и промокнув написанное промокательной бумагой, Монтегю поднял глаза и перебросил ему гусиное перо.

— Как, ни одного дня отсрочки, никакого доверия, а? — злобно сказал Джонас.— После всех трудов, какие я понес нынче ночью?

— То, что было нынче ночью, входит в наш уговор,— ответил Монтегю,— но и вот это тоже.

— Вы много запрашиваете,— сказал Джонас, подходя к столу.— Ну, да вам видней. Давайте сюда!

Монтегю подал ему бумагу. Помедлив немного, словно никак не решаясь подписать ее, Джонас торопливо окунул перо не в ту чернильницу и начал писать. Но, едва коснувшись пером бумаги, он отшатнулся в ужасе.

— Как, что за чертовщина? — сказал он.— Тут кровь!

Джонас, как выяснилось, окунул перо в красные чернила, но, неизвестно почему, придал необычайно важное значение этой ошибке. Он спросил, как они сюда попали, кто их принес, для чего принес, и прежде всего посмотрел на Монтегю, словно думая, что тот подшутил над ним. Даже взяв другое перо и другие чернила, Джонас сначала попробовал сделать несколько штрихов на клочке бумаги, словно боясь, что и они покраснеют.

— На этот раз достаточно черно,— сказал он, передавая расписку Монтегю.— Прощайте.

— Уже уходите! Как же вы думаете выбраться отсюда?

— Рано утром, прежде чем вы встанете, я дойду до большой дороги и сяду в дневной дилижанс. Прощайте!

— Вы торопитесь?

— У меня есть дело,— сказал Джонас.— Прощайте!

Он вышел, и его друг долго смотрел ему вслед, сначала удивленно, а потом с удовольствием и чувством облегчения.

— Ну что ж, тем лучше. Только этого я и хотел. Обратно я еду один.

ГЛАВА XLV,

в которой Том Пинч с сестрой развлекаются, но совсем по-домашнему и без всяких церемоний

После разыгравшейся на пристани сцены, уже известной читателю, Тому Пинчу пришлось расстаться с сестрой сразу же, как только оттуда разошлись остальные действующие лица; оба они спешили по своим делам, и им

так и не удалось поговорить. Однако и Том в своей уединенной конторе и Руфь у себя в треугольной гостиной весь день только и думали о случившемся; и когда приблизился час их вечерней встречи, они, разумеется, были полны этим.

Между ними существовал маленький уговор, чтобы Том всегда возвращался из Тэмпла одной дорогой, а именно мимо фонтана. Проходя через Фаунтен-Корт, он должен был посмотреть на лестницу, ведущую в сад, и хорошенько оглядеться по сторонам; и если Руфь шла ему навстречу, он сразу же мог ее увидеть,— она не прохаживалась, как вы понимаете, чтобы не привлечь внимание клерков, но быстро шла ему навстречу, и на ее губах играла самая приятная легкая улыбка, соперничая с игрой фонтана и совершенно затмевая его. Ибо в пятидесяти случаях против одного Том искал ее совсем не там, где следует, и уже терял надежду встретиться с ней; тогда как она с самого начала направлялась прямо к нему, позванивая ключами в сумочке, чтобы привлечь его рассеянное внимание.

Достаточно ли сохранилось жизни в тощей растительности Фаунтен-Корта, для того чтобы закопченные кусты могли чувствовать присутствие самой жизнерадостной и чистой сердцем девушки на свете, надо спросить у садовников и у тех, кто изучает любовь у растений. Но что для этого мощеного двора было радостью, когда по его плитам порхало такое грациозное маленькое существо, что оно, словно улыбка, озаряло на мгновение скучные старые дома и истоптанные каменные плиты и после его ухода они становились еще скучнее, темнее, суровее прежнего,— в этом не может быть никакого сомнения. Казалось, фонтан Тэмпла готов был взметнуться на двадцать футов в вышину, приветствуя живой родник юности, который, сверкая, пробился в сухом и пыльном русле Закона; неугомонные воробьи, гнездившиеся в стенах Тэмпла, казалось вот-вот умолкнут, слушая воображаемых жаворонков, когда мимо них проходило такое свежее, юное создание; пыльные ветви, которые давно утратили прежнюю гибкость, готовы были склониться так же грациозно, как она, благословляя ее очаровательную головку; старые любовные письма, запертые в желез-

ных сундуках соседних контор, затерявшиеся в грудах семейных документов, с которыми их смешали случайно и с которыми они сравнялись в своем упадке, готовы были зашевелиться и встрепенуться, на минуту взволнованные воспоминанием о былой нежности, когда Руфь легкой походкой проходила мимо. Словом, ради Руфи многое могло бы случиться, чего никогда не было и не будет.

Кое-что случилось все же в тот вечер, о котором повествует наша история. Не нарочно ради Руфи. О нет! Совсем нечаянно, и без всякого отношения к ней.

Она ли пришла немножко пораньше, или Том немножко запоздал — вообще она была так точна, что рассчитывала время до полминуты,— но Тома не было. Ну так что ж! Разве здесь был кто-нибудь другой, что она покраснела так густо и, осмотревшись по сторонам, сбежала вниз по ступенькам с такой необычайной быстротой?

Дело в том, что в эту минуту по двору проходил мистер Уэстлок. Двор Тэмпла проходной: на воротах, может быть, и написано, что нет, но, пока ворота не запрут, он проходной и останется проходным, и мистер Уэстлок имел такое же право быть здесь, как и всякий другой. Но почему же она убежала? Не потому, что была плохо одета,— для этого она была слишком аккуратна. Так почему же она все-таки убежала? Каштановые локоны выбились из-под шляпки, и один дерзкий искусственный цветок льнул к ним, похваляясь такой вольностью перед всеми мужчинами; но не из-за этого же она убежала, ведь это было очаровательно. О глупенькое, трепетное, испуганное сердечко, почему же она убежала?

Весело журчал фонтан, и весело сверкала рябь на его освещенной солнцем поверхности. Джон Уэстлок поспешил за Руфью. Тихо падала и разбивалась лепечущая вода, и лукаво мигала рябь, в то время как он шел по пятам за Руфью.

О глупенькое, трепетное, робкое сердечко, почему же она сделала вид, что не замечает его приближения? Почему ей захотелось очутиться далеко-далеко, когда здесь она чувствовала себя такой взволнованно счастливой?

— Я так и знал, что это вы,— сказал Джон, догнав ее в святилище Гарден-Корта.— Я был уверен, что не ошибся.

Она очень удивилась.

— Вы ждете вашего брата,— сказал Джон.— Позвольте мне побыть с вами.

Так легко было застенчивое прикосновение маленькой ручки, что он опустил глаза, не веря, что она лежит на его рукаве. Но его взгляд, погрузившись на мгновение в ее ясные глаза, утонул в них и не пошел дальше.

Они прошлись взад и вперед три-четыре раза, разговаривая о Томе и его таинственной службе. Предмет, конечно, самый естественный и невинный. Тогда почему же Руфь, едва подняв глаза, немедленно опускала их, ища взглядом бесчувственную мостовую? Ведь это были не такие глаза, чтобы бояться света, не такие глаза, которые нужно прятать, чтобы придать им цену. Это были слишком искренние и доверчивые глаза, они не нуждались в таких уловках. Может быть, кое-кто на них любовался?

Однако они разыскали Тома довольно скоро. Эти глаза увидели его издали, едва он появился. Как обычно, он глядел во все стороны, кроме той, куда следовало, и так упрямо не смотрел на них, словно делал это нарочно. Было ясно, что, предоставленный самому себе, он уйдет домой, и потому Джон побежал, чтобы остановить его.

Бедной маленькой Руфи было чрезвычайно неловко подходить к ним одной. А тут еще и Том проявлял крайнее удивление (этот Том бывал поразительно ненаходчив в иных случаях), и Джон пытался сделать вид, что их встреча ровно ничего не значит, что не помешало ему пуститься в совершенно излишние объяснения; оба они глядели на Руфь, а она подходила к ним, сознавая, что ужасно краснеет, но стараясь поднимать брови как можно беззаботнее и надувать розовые губки так, словно она была самая невозмутимая и самая спокойная из маленьких женщин.

Весело плескался и плескался фонтан, пока чешуйки ряби не соединились в одну общую улыбку, разлившись по всей поверхности бассейна.

— Какая необычайная встреча! — удивился Том.— Вот уж никогда не воображал увидеть вас вместе.

— Совершенно случайная,— едва слышно пробормотал Джон.

— Вот именно! — воскликнул Том.— Это-то я и хотел сказать. Если б она не была случайная, в ней не было бы ничего замечательного.

— Разумеется,— сказал Джон.

— И надо же вам было встретиться в таком невероятном месте,— продолжал Том в совершенном восторге.— Вам это совсем не по дороге, Джон!

Джон был с этим не согласен. Напротив, он считал, что ему как раз по дороге. Он всегда тут проходит. Он не удивился бы, если б они встретились тут еще раз. Он удивлялся только одному, что этого не случилось раньше.

Тем временем Руфь успела подойти к брату и взять его под руку с другой стороны. Теперь она слегка пожимала эту руку, словно говоря: «Неужели ты собираешься простоять здесь весь день, милый, старый ротозей Том?»

Том ответил на это пожатие так, как если бы то была целая речь.

— Джон,— сказал он,— возьмите мою сестру под руку, так чтобы она была между нами, и пойдем дальше. Мне нужно рассказать вам один любопытный случай. Мы встретились как нельзя более кстати.

Весело метался и плясал фонтан, и весело подмигивала смеющаяся рябь и расходилась все шире и шире, пока не разбилась о края бассейна и не исчезла.

— Том,— сказал его друг, как только они свернули на шумную улицу,— я хочу вам кое-что предложить. Что, если бы вы с вашей сестрой — может быть, она согласится оказать честь жилищу бедного холостяка — сделали мне большое удовольствие и пообедали у меня?

— Как! Сегодня? — воскликнул Том.

— Да, сегодня. Это совсем рядом, вы знаете. Прошу вас, мисс Пинч, уговорите его. Это будет чистейшее самопожертвование, потому что мне нечем вас угощать.

— Не верь этому, Руфь,— сказал Том.— Для холостяка он самый замечательный хозяин, какого я знаю. Ему бы надо быть лорд-мэром *. Ну, как ты скажешь? Пойдем?

— Если ты хочешь, Том,— отвечала послушная маленькая сестра.

— Я хочу сказать,— заметил Том, глядя на нее с восхищенной улыбкой,— может быть, тебе надо еще что-нибудь надеть, кроме того, что на тебе имеется? Я ничего в этом не смыслю. Джон, ей, может быть, нельзя даже снять шляпку, почем я знаю.

Этому очень смеялись, и Джон Уэстлок наговорил кучу комплиментов — то есть не комплиментов, так по крайней мере утверждал он сам (и был действительно прав), а самых бесспорных, простых, очевидных истин, которых никто не мог бы отрицать. Руфь засмеялась, но не возражала; и таким образом уговор состоялся.

— Если бы я знал об этом немножко раньше,— сказал Джон,— я заказал бы пудинг,— не из соперничества, но для того, чтобы прославить тот, знаменитый. Я, конечно, ни за что не стал бы делать его на говяжьем сале.

— Почему же? — спросил Том.

— Потому что поваренная книга рекомендует сало, а у нас он был сделан из муки и яиц.

— О боже мой! — воскликнул Том.— Наш был сделан из муки с яйцами, вот как? Ха-ха-ха! Мясной пудинг из муки с яйцами! Да кто же этому поверит? Я и то не поверю! Ха-ха-ха!

Нет надобности напоминать, что Том присутствовал при изготовлении пудинга и был его убежденным сторонником с самого начала. Но Том был так рад подшутить над своей хлопотуньей-сестрой и до такой степени развеселился, что ему пришлось остановиться посреди Тэмпл-Бара, чтобы нахохотаться вдоволь; на брань и толчки недовольных прохожих он обращал не больше внимания, чем какой-нибудь столб, и все восклицал с неизменным добродушием: «Из муки с яйцами! Мясной пудинг из муки с яйцами!» — до тех пор, пока Джон Уэстлок и Руфь не убежали от него, оставив его досмеиваться в одиночестве. Он так и сделал, а потом пустился их догонять через улицу, полную народа, с лицом, сияющим такой кротостью и лаской — благослови его бог (ведь он шутил очень добродушно, этот Том)! — что от одного его вида очистился бы воздух, если бы

стены Тэмпл-Бара украшал ряд гниющих человеческих голов, как в доброе старое время.

В Тэмпле имеются уютные квартирки, где живут холостяки; и для таких удрученных одиночеством людей, какими они прикидываются, живут весьма и весьма недурно. Джон с большим чувством рассказывал о своей унылой жизни и о жалких выдумках и ухищрениях, на которые ему приходится пускаться; однако же на деле оказалось, что он устроился очень удобно. Во всяком случае, квартира у него была само совершенство в смысле чистоты и комфорта; и если ему чего-то не хватало, то квартира была тут, конечно, ни при чем.

Не успел он ввести Тома с сестрой в свою парадную комнату (где на столе стояла красивая ваза свежих цветов, приготовленная для Руфи,— словно он ее ждал, заметил Том), как, схватив шляпу, опять заторопился куда-то с самым энергическим видом и скоро вернулся — что им видно было в полуоткрытую дверь — в сопровождении огненнолицей матроны в крахмальном чепце с длинными, болтающимися по спине завязками, вместе с которой он немедленно принялся накрывать стол скатертью, собственноручно перетирать бокалы для вина, полировать рукавом серебряную крышку перечницы, откупоривать бутылки и наливать графины с положительно ошеломляющей ловкостью и быстротой. И, перетирая и полируя все на столе, он словно заодно потер волшебную лампу или магическое кольцо, которому рабски повинуются не меньше чем двадцать тысяч духов, ибо перед ними вдруг появилось существо в белом жилете и с салфеткой под мышкой, а за ним другое существо, с продолговатым ящиком на голове, откуда был извлечен и поставлен на стол с пылу горячий обед.

Лососина, баранина, горошек, невинный молодой картофель, свежий салат, огурцы ломтиками, нежная молодая утка и сладкий пирог — все было тут. Все это появилось в свое время. Откуда появилось — неизвестно, но продолговатый ящик то и дело циркулировал взад и вперед, давая знать о своем появлении человеку в белом жилете скромным стуком в дверь, ибо после первого раза никто больше не видел ящика. Он был невозмутим, этот человек; он, казалось, нисколько не удивлялся необыкно-

венным вещам, которые находил в ящике, но вынимал их с непроницаемым и решительным выражением лица и ставил на стол. Это был любезный человек с мягкими манерами, проявлявший большой интерес к тому, что они ели и пили. Это был образованный человек, который знал назубок все соуса, какие имелись у Джона Уэстлока, и описывал их качества негромко и с чувством, подавая одну бутылочку за другой. Это был серьезный человек и очень тихий человек; ибо, подав обед и поставив на стол вино и фрукты, он исчез вместе с ящиком, словно его никогда и не бывало.

— Ну, не говорил ли я, что он замечательно хозяйничает? — воскликнул Том.— Господи, это прямо изумительно!

— Ах, мисс Пинч,— сказал Джон,— такие события скрашивают жизнь, которую мы здесь ведем. Это была бы в самом деле унылая жизнь, если бы в ней не было таких просветов, как сегодня.

— Не верь ни единому его слову! — заявил Том.— Он живет здесь по-царски и ни за что на свете не переменил бы своего образа жизни. Он только притворяется, будто недоволен.

Нет, Джон, по-видимому, нисколько не притворялся, ибо стал доказывать с необыкновенной серьезностью, что ему живется так скучно, одиноко и невесело, как это только возможно для самого несчастного молодого человека на свете. Это жалкая жизнь, говорил он, никуда не годная жизнь. Он хочет разделаться со своей квартирой как можно скорей и намерен в самом непродолжительном времени вывесить на окнах билетик.

— Ну,— сказал Том Пинч,— я, право, не знаю, куда вы можете переехать, Джон, чтобы вам было еще удобнее,— вот и все, что я могу сказать. А ты что скажешь, Руфь?

Руфь, играя вишнями на своей тарелке, отвечала, что, по ее мнению, мистер Уэстлок должен быть вполне счастлив, и, без сомнения, так оно и есть.

Ах, глупое, трепетное, испуганное сердечко, как робко она это пролепетала!

— Но ты собирался что-то рассказать... о том, что случилось нынче утром,— прибавила она тут же.

— Да, совсем из головы вон,— ответил Том.— Мы так много говорили на другие темы, что мне некогда было даже вспомнить об этом. Я сейчас вам расскажу, Джон, пока не позабыл окончательно.

Когда Том сообщил, что произошло на пристани, его друг был очень удивлен и проявил к его словам большой интерес, не совсем понятный для Тома. Оказалось, что он знал ту старуху, с которой они познакомились на пристани; судя по описанию, ее фамилия Гэмп. Но какого рода было то сообщение, которое Тому пришлось передать так неожиданно для себя, почему ему было поручено передать его, как случилось, что действующие лица сошлись все вместе, и какая тайна здесь скрывалась,— все это представлялось Джону загадкой. Том был уверен, что его друг до некоторой степени заинтересуется этим делом, но никак не ожидал, что заинтересуется так сильно. Даже после того как Руфь вышла из комнаты, Джон Уэстлок все еще расспрашивал об этом случае, и по всему видно было, что для него это не просто разговор, а нечто гораздо более важное.

— Я, конечно, поговорю с моим хозяином,— сказал Том,— хотя это очень странный, скрытный человек, и вряд ли я добьюсь от него толку, даже если он и знает, что было в письме.

— Можете поклясться, что знает,— прервал его Джон.

— Вы так думаете?

— Уверен в этом.

— Хорошо,— сказал Том,— я спрошу его, когда увижу (он приходит и уходит как-то незаметно, но завтра утром я постараюсь его поймать), для чего он навязал мне такое неприятное поручение; и я думаю, Джон, что если я зайду завтра утром к этой миссис... как бишь ее... в Сити, куда я уже заходил раньше, да вы знаете — к миссис Тоджерс,— то, пожалуй, застану там бедную Мерси Пексниф и смогу объяснить ей, каким образом я в это впутался.

— Вы правы, Том,— ответил его друг после недолгого размышления.— Это будет самое лучшее. Мне совершенно ясно, в чем бы ни заключалось дело, что ничего хорошего тут нет, и поскольку для вас желательно

выпутаться из этой истории, чтобы не было даже видимости вашего добровольного участия в ней, я посоветовал бы вам встретиться с ее мужем, если возможно, и объясниться с ним, откровенно рассказав всю суть. У меня есть подозрение, что тут творятся какие-то темные дела. Почему, я вам скажу в другой раз, когда сам разузнаю побольше.

Для Тома Пинча все это звучало очень таинственно. Однако, зная, что он может положиться на своего друга, Том решил последовать его совету.

Ах, как хорошо было бы иметь шапку-невидимку, чтобы посмотреть на маленькую Руфь, когда Джон с ее братом уселись разговаривать за бутылкой вина, предоставив ее самой себе! С какой деликатностью она пыталась втянуть в разговор огненнолицую матрону в крахмальном чепце, которая сделала отчаянную попытку принарядиться, облачившись в полинялое платье с желтыми цветами по желтому полю, похожими на мозаику из кусочков масла. Ничего не могло быть приятней! С какой свирепой, чисто церберовской непреклонностью * огненнолицая матрона в крахмальном чепце отклоняла пленительные авансы, исходившие от враждебной и опасной державы, которой тут нечего делать, разве только отбивать у нее клиентов или наводить их на мысль, куда же девается столько чая, сахара и прочей бакалеи. На это стоило бы посмотреть! С каким застенчивым, пленительным, милым любопытством Руфь после ухода огненнолицей разглядывала книги и безделушки, разбросанные по комнате, особенно заинтересовавшись красиво нарезанными полосками бумаги для растопки и удивляясь, кто бы мог их нарезать. На это очень стоило бы посмотреть. И на то, как она дрожащей рукой связала цветы в букетик, стыдливо любуясь своим отражением в зеркале, приколола их себе на грудь и, склонив голову, то решала убрать их, то оставить там, где они есть. Это было восхитительно!

Как видно, и Джону все это казалось восхитительным, потому что, вернувшись вместе с Томом пить чай, он смотрел на нее как очарованный. А когда убрали чайную посуду и Том, усевшись за фортепьяно, с головой ушел в свои старые органные мелодии, Джон устроился рядом с ней у открытого окна любоваться сумерками.

В Фэрнивелс-Инне почти не на что смотреть. Это тихое тенистое место, где эхо повторяет шаги прохожих, которые бывают здесь только по делу,— место довольно унылое и мрачное в летние вечера. Что же находили они в нем такого пленительного, чтобы оставаться у окна, так же не замечая времени, как и мечтатель Том, снова окруженный мелодиями, столько раз умиротворявшими его душу в былое время? Какая сила вливала в блекнущий свет, в надвигающиеся сумерки, в зажигающиеся там и сям звезды, в вечерний воздух, в отдаленный городской шум и гам, в перезвон старых церковных колоколов такое тонкое очарование, что самые райские уголки земли не могли бы приковать их к себе более крепкой цепью, если бы возникли у них перед глазами?

Тени всё сгущались и сгущались, и в комнате стало совсем темно. Но пальцы Тома все еще блуждали по клавишам, а пара у окна все еще не вставала с места.

Наконец, почувствовав на своем плече руку сестры и на своем лбу ее дыхание, Том очнулся от задумчивости.

— Боже мой! — воскликнул он, бросая играть и вскакивая.— Боюсь, что я был очень невнимателен и невежлив.

Ему и в голову не приходило, какую он проявил вежливость и внимательность!

— Спой нам что-нибудь, милая,— сказал Том.— Дай нам услышать твой голос.

Джон Уэстлок присоединился к его просьбе с такой настойчивостью, что только каменное сердце могло бы устоять против него. У нее сердце было не каменное. О, вовсе нет! Далеко не каменное.

Итак, она села за фортепьяно и приятным голосом начала петь баллады, которые так любил Том. Старинные рифмованные предания, с паузой тут и там, для того чтобы певец старых времен мог взять на арфе несколько простых аккордов, припоминая содержание полузабытой легенды; слова старых поэтов, уложенные в такой размер, что мелодия казалась дыханием певца, облекающего свою мысль в слова и звуки; а не то песня лилась радостно и весело, и нельзя было поверить, что певица способна грустить, пока она не впадала снова в элегический тон (о коварная маленькая певица!), надрывая сердце слуша-

телям. Такими простыми средствами она развлекала их. А что эти простые средства имели успех и она действительно доставила им удовольствие — пусть будет тому свидетелем темная комната, которую давно следовало осветить.

Принесли, наконец, свечи, и пора было отправляться домой. Небольшая задержка вышла из-за того, что надо было аккуратно отрезать бумаги, чтобы обернуть те самые цветы; но и это было сделано, и Руфь была готова.

Джон решил проводить их.

— Нет, нет. Не надо,— сказал Том.— Какие пустяки! Мы отлично дойдем и одни. Я вовсе не собираюсь тащить вас из дому.

Но Джон сказал, что ему хочется пройтись.

— Вы уверены, что хочется? — спросил Том.— Боюсь, что вы это говорите только из вежливости.

Однако Джон выразил полную уверенность в этом и подал руку Руфи. Огненнолицая, которая опять явилась прислуживать, приветствовала ее уход таким небрежным книксеном, что его едва можно было заметить, а Тому не поклонилась вовсе.

Джон пожелал пройти с ними всю дорогу, не слушая никаких уговоров Тома. Счастливая пора, счастливая прогулка, счастливое расставанье, счастливые сны! Но бывают такие сладкие мечты, сны наяву, перед которыми тускнеют и видения ночи.

Фонтан в Тэмпле без отдыха журчал в лунном свете, пока Руфь спала, поставив рядом свои цветы, а Джон Уэстлок набрасывал по памяти портрет — но чей же?

ГЛАВА XLVI,

где мисс Пексниф кокетничает, мистер Джонас гневается, миссис Гэмп разливает чай, а мистер Чаффи делает дело

На следующий день, покончив с официальными обязанностями, Том, не теряя времени, поспешил домой и после обеда и недолгого отдыха снова вышел из дому в

сопровождении Руфи, чтобы, как предполагалось, нанести визит миссис Тоджерс. Том взял с собою Руфь не только потому, что ее общество всегда доставляло ему большое удовольствие, но и для того, чтобы она приласкала и утешила бедную Мерри,— к чему Руфь стремилась и сама, услышав от Тома горестную историю молодой женщины.

— Она мне так обрадовалась,— сказал Том,— что, я уверен, будет рада видеть и тебя. Твое сочувствие ей, во всяком случае, покажется гораздо приятней и ближе, чем мое.

— Я далеко в этом не уверена, Том,— ответила она,— и, право же, ты к себе несправедлив. Право так. Но я надеюсь ей понравиться, Том.

— Ну, конечно, ты ей понравишься! — убежденно воскликнул Том.

— Какое множество друзей было бы у меня, если бы все думали по-твоему, не правда ли, Том, милый? — сказала сестричка, ущипнув его за щеку.

Том засмеялся и сказал, что в данном случае Мерри, конечно, окажется его единомышленницей, он нисколько не сомневается.

— Потому что вы, женщины,— пояснил он,— вы, женщины, дорогая моя, необыкновенно добры и в своей доброте необыкновенно тонко все понимаете; вы так умеете незаметно проявлять любовь и заботу, без всякой навязчивости; ваша чуткость похожа на прикосновение ваших рук — оно такое легкое и нежное, что позволяет вам неслышно касаться душевных ран, так же как и телесных. Вы такие...

— Боже мой, Том! — прервала его сестра.— Тебе нужно немедленно влюбиться!

Том добродушно отмахнулся от этого замечания, однако же стал заметно серьезней; и скоро оба они оживленно болтали о чем-то другом.

Когда они проходили по одной из улиц Сити, неподалеку от резиденции миссис Тоджерс, Руфь остановила Тома перед окном большого мебельного и обойного магазина, чтобы обратить его внимание на нечто великолепное и весьма замысловатое, выставленное на соблазн восхищенной публики. Том пустился в самые нелепые и


ORATER
UPHOLDER
WIVES
MARRY
FUN
PER

сумасбродные догадки насчет цены этого предмета и от души смеялся над своей ошибкой вместе с сестрой, как вдруг, сжав ей руку, он указал на парочку рядом с ними, которая глядела на ту же витрину, особенно интересуясь комодами и столами.

— Тише! — прошептал Том.— Это мисс Пексниф и молодой человек, который собирается на ней жениться.

— Отчего же у него такой вид, будто он собирается лечь в могилу, Том? — спросила его сестричка.

— Мне кажется, он по натуре очень мрачный молодой человек,— сказал Том,— зато вежливый и безобидный.

— Они, должно быть, обставляют квартиру,— шепнула Руфь.

— Да, по-моему тоже,— ответил Том.— Нам лучше не заговаривать с ними.

Однако они не могли не глядеть на заинтересовавшую их пару, тем более что где-то впереди произошла заминка в уличном движении и это их задержало на некоторое время. У мисс Пексниф был такой вид, будто она взяла в плен несчастного Модля и повлекла его к мебельной витрине, словно агнца на заклание. Он не сопротивлялся, напротив — был совершенно покорен и тих, но в повороте его поникшей головы и в унылой позе чувствовалась глубокая меланхолия; и хотя в окне перед ними красовалась двуспальная кровать с балдахином, у него на глазах дрожали такие крупные слезы, что вряд ли он ее видел.

— Огастес, любовь моя,— сказала мисс Пексниф,— спросите, сколько стоят эти восемь стульев розового дерева и ломберный столик.

— Может быть, они уже заказаны,— отвечал Огастес.— Может быть, они принадлежат другому.

— Если заказаны, можно сделать еще такие же,— возразила мисс Пексниф.

— Нет, нет, нельзя,— воскликнул Модль,— это невозможно!

Казалось, он был совершенно подавлен и ошеломлен перспективой будущего счастья; однако взял себя в руки и вошел в лавку. Он возвратился немедленно и доложил тоном полного отчаяния:

— Двадцать четыре фунта десять шиллингов!

Мисс Пексниф, обернувшись, чтобы выслушать это сообщение, заметила, что Том Пинч с сестрой наблюдают за ней.

— Ах, право! — вскрикнула мисс Пексниф, оглядываясь по сторонам, словно в поисках места, где было бы всего удобней провалиться сквозь землю.— Честное слово, я... вот уж никогда... подумать только, до чего... Мистер Огастес Модль, мисс Пинч.

Мисс Пексниф была очень милостива к мисс Пинч при этом триумфальном представлении, чрезвычайно милостива. Мало сказать милостива: она была любезна и сердечна. Воспоминание ли о прежней услуге, которую оказал ей Том, стукнув по голове Джонаса, произвело в ней эту перемену; разлука ли с родителем примирила ее с человечеством или хотя бы с той, большей частью человечества, которая не водила с ним дружбы; или же радость приобрести новую знакомую, которой можно будет рассказать о своем интересном будущем, пересилила все прочие соображения,— но мисс Пексниф была сердечна и любезна. И дважды поцеловала мисс Пинч в щеку.

— Огастес, это мистер Пинч, вы же знаете. Милая моя девочка,— шепнула мисс Пексниф ей на ухо.— Мне никогда в жизни не было так совестно.

Руфь просила ее не придавать этому значения.

— Вашего брата я стесняюсь меньше, чем других,— жеманилась мисс Пексниф.— Но все-таки неприятно: такой случай и вдруг встретить знакомого джентльмена! Огастес, дитя мое, вы спросили?..

Тут мисс Пексниф стала шептать ему на ухо. Страдалец Модль повторил:

— Двадцать четыре фунта десять шиллингов!

— Глупенький, я вовсе не про них,— сказала мисс Пексниф.— Я говорю про...

Тут она опять пошептала ему на ухо.

— Если полог с рисунком, как на витрине, тогда тридцать два фунта двенадцать шиллингов шесть пенсов,— ответил Модль со вздохом,— это очень дорого.

Но мисс Пексниф, зажав Огастесу рот ладонью, не позволила ему вдаваться в дальнейшие объяснения и

выказала стыдливое замешательство. После чего спросила Тома Пинча, куда он идет.

— Я шел к вашей сестре,— ответил Том,— мне нужно ей сказать несколько слов. Мы собирались зайти к миссис Тоджерс, где я уже имел удовольствие видеть ее.

— Тогда вам не стоит идти дальше,— заметила Черри,— мы только что оттуда, и я знаю, что ее там нет. Но я провожу вас к сестре домой, если хотите. Мы с Огастесом, то есть, я хочу сказать, с мистером Модлем, идем туда пить чай. Насчет *него* не беспокойтесь,— прибавила она, кивая головой, словно заметила некоторое колебание со стороны мистера Пинча,— его нет дома.

— Вы в этом уверены? — спросил Том.

— Вполне уверена. Я больше не желаю мстить,— выразительно произнесла мисс Пексниф.— Но, право, я попрошу вас двоих пройти вперед, а мы с мисс Пинч пойдем сзади. Милая моя, никогда в жизни меня не заставали так врасплох!

Соответственно этому целомудренному распорядку, Модль подал руку Тому, а мисс Пексниф подхватила под руку Руфь.

— Конечно, милочка моя,— сказала мисс Пексниф,— после того, что вы видели, было бы бесполезно скрывать, что я скоро должна выйти замуж за того джентльмена, который идет рядом с вашим братом. Было бы напрасно это скрывать. Что вы о нем думаете? Пожалуйста, скажите мне откровенно ваше мнение.

Руфь дала понять, что, насколько ей кажется, это очень приличная партия.

— Мне хотелось бы знать,— продолжала мисс Пексниф с фамильярной болтливостью,— не показалось ли вам, вернее — не успели ли вы заметить за это время, что он довольно меланхолического нрава?

— За такое короткое время! — взмолилась Руфь.

— Ничего, ничего, это ничего не значит,— возразила мисс Пексниф.— Мне любопытно услышать, что вы скажете.

Руфь призналась, что на первый взгляд он показался ей «довольно грустным».

— Нет, в самом деле? — спросила мисс Пексниф,— Ну это просто поразительно! Все говорят то же самое. Миссис Тоджерс говорит то же самое; а Огастес мне рассказывал, что в пансионе это сделалось просто ходячей шуткой. Право, если бы я ему не запретила самым положительным образом, дело у них дошло бы до огнестрельного оружия, и не один раз. Как вы думаете, отчего он кажется таким унылым?

Руфь перебрала в уме несколько причин: его пищеварение, его портной, его матушка и тому подобное; но, не решаясь остановиться ни на одной из этих догадок, она так и не высказала своего мнения.

— Дорогая моя,— сказала мисс Пексниф,— мне бы не хотелось, чтобы это стало всем известно, но вам я могу рассказать, потому что мы столько лет знакомы с вашим братом... Я три раза отказывала Огастесу. Это самая нежная и чувствительная натура — он всегда готов проливать слезы, только взгляните на него, это просто очаровательно! — и он так и не оправился после моей жестокости. Это было очень жестоко,— говорила мисс Пексниф с ангельским чистосердечием, которое могло бы сделать честь ее папаше.— Тут нечего и сомневаться. Я просто краснею, вспоминая свое поведение. Мне он всегда нравился. Я чувствовала, что для меня он совсем не то, чем была вся толпа поклонников, делавших мне предложение, но что-то совершенно другое. Какое же право имела я отказывать ему три раза?

— Это было суровое испытание его верности, разумеется,— сказала Руфь.

— Дорогая моя,— возразила мисс Пексниф,— это было несправедливо. Но таковы капризы и легкомыслие нашего пола! Пусть это послужит вам предостережением. Не испытывайте того, кто будет просить вашей руки, как я испытывала Огастеса. Если только вы будете чувствовать к человеку то же самое, что я чувствовала к Огастесу в то время, когда доводила его до отчаяния, не скрывайте этого чувства, когда он бросится к вашим ногам, как Огастес Модль бросился к моим. Подумайте,— продолжала мисс Пексниф,— что́ мне пришлось бы пережить, если б я довела его до самоубийства и об этом напечатали бы в газетах!

Руфь заметила, что ее, конечно, терзали бы угрызения совести.

— Угрызения совести! — воскликнула мисс Пексниф, упиваясь ролью кающейся грешницы.— Невозможно вам передать, как совесть терзает меня и сейчас, после того как я уже загладила свою вину, приняв его предложение! Вспоминая свое легкомыслие теперь, когда я остепенилась и стала осмотрительнее, вступив на стезю брака, я оглядываюсь на свое прошлое и трепещу, просто трепещу! Каковы последствия моего поведения? Пока Огастес не повел меня к алтарю, он во мне не уверен. Я истерзала и иссушила его сердце до такой степени, что он уже не может мне верить. Я вижу, что это гнетет его душу и подтачивает его силы. О, как упрекает меня совесть, когда я вижу, до чего довела любимого человека!

Руфь попыталась выразить свою благодарность за такое безграничное и лестное доверие и высказала предположение, что свадьба будет скоро.

— Да, очень скоро,— ответила мисс Пексниф,— как только у нас в доме все будет готово. Мы теперь спешим закупить обстановку.

И в приливе откровенности мисс Пексниф перечислила по порядку все вещи, которые уже были куплены, и те, которые предстояло еще купить; в каком платье она собирается венчаться, и где состоится эта церемония; короче говоря, сообщила мисс Пинч самые интересные и животрепещущие новости, связанные с этим событием.

Пока все это происходило в тылу, Том с мистером Модлем шли впереди рука об руку в полном молчании, которое Том прервал наконец, после того как долго придумывал, что́ бы такое сказать, не опасаясь нарушить душевное спокойствие мистера Модля.

— Удивляюсь,— заметил Том,— почему на этих переполненных народом улицах так редко давят прохожих.

Мистер Модль ответил с мрачным взглядом:

— Кучера не хотят.

— Вы думаете?..— начал Том.

— Есть такие люди,— прервал его Модль с горьким смехом,— которым никак не удается попасть под лошадь. Они словно заколдованы. Фургоны с углем объезжают их

за милю, и даже кэбы отказываются их переехать. Да! — произнес Огастес, заметив удивление Тома.— Бывают такие люди! Один из них — мой друг.

«Честное слово,— подумал Том,— состояние этого молодого человека таково, что в самом деле внушает опасения!» Бросив всякие попытки вести разговор, он не отваживался больше произнести ни слова и только старался как можно крепче держать Огастеса под руку, чтобы тот не бросился на дорогу и не устроил маленького жертвоприношения Джагернауту на глазах у своей нареченной. Том до такой степени боялся, как бы он не покончил с собой, что почувствовал большое душевное облегчение, когда они благополучно прибыли к дому Джонаса Чезлвита.

— Входите, пожалуйста, мистер Пинч,— сказала мисс Пекснифф, видя, что Том нерешительно остановился в дверях.

— Сомневаюсь, будут ли мне рады,— ответил Том,— лучше сказать, у меня на этот счет нет сомнений. Я, пожалуй, пошлю записку.

— Ну, что за пустяки! — возразила мисс Пекснифф, отводя Тома в сторону.— Его нет дома, я в этом уверена — я знаю, что нет; а Мерри не имеет ни малейшего понятия о том, что вы его...

— Нет, конечно,— прервал ее Том.— Да я бы и не хотел, чтобы она знала, ни в коем случае. Уверяю вас, я вовсе не так горжусь этой дракой.

— Ах, ведь вы известный скромник,— улыбаясь, ответила мисс Пекснифф.— Но входите же, прошу вас. Если вы не хотите, чтобы она это знала, и все же хотите с ней поговорить, почему же вам не зайти. Входите, мисс Пинч. Не стойте тут.

Том все еще колебался, чувствуя, что попал в неловкое положение. Но в эту минуту Черри решительно прошла мимо него и повела его сестру вверх по лестнице; и так как парадная дверь тут же закрылась, Том последовал за ними, сам не зная, разумно или неразумно он поступает.

— Мерри, милочка моя! — сказала прелестная мисс Пекснифф, отворяя дверь в знакомую ей гостиную,— мистер Пинч с сестрой пришли повидать тебя! Я так и

думала, что вас мы тоже здесь застанем, миссис Тоджерс! Как поживаете, миссис Гэмп? А как вы поживаете, мистер Чаффи? Хотя, я знаю, бесполезно задавать вам этот вопрос!

Осчастливив каждого из тех, к кому она обращалась, кислой улыбкой, мисс Чарити представила мистера Модля.

— Кажется, ты видела его и раньше,— любезно заметила она сестре.— Огастес, милое дитя мое, подайте мне стул.

Милое дитя сделало, как ему было приказано, и собиралось забиться в уголок, чтобы втайне предаться горю, когда мисс Чарити, назвав его довольно громким шепотом «котик», позволила ему подойти ближе и сесть с ней рядом. В интересах всего человечества надо надеяться, что нигде еще не видано было такой меланхолии, какую выказал мистер Модль, повинуясь этому зову. Он так упал духом, что ничем не выдал радостной дрожи, когда мисс Пексниф вложила свою лилейную ручку в его руку, прикрыв ее уголком шали, чтобы чей-нибудь пошлый взгляд не заметил этой милости. В самом деле, вид у него был еще более плачевный, чем прежде, и, сидя навытяжку на своем стуле, он оглядывал общество полными слез глазами, которые, казалось, говорили без слов: «О боже милостивый, взгляните на меня! Неужели ни одна добрая душа не заступится за меня?»

Зато восторгов миссис Гэмп хватило бы за глаза на двадцатерых влюбленных: в особенности ее воодушевляло присутствие Тома Пинча и его сестры. Миссис Гэмп была дама того счастливого темперамента, которому свойственно приходить в восторг без всякой иной побудительной причины, кроме желания обзавестись большим и полезным знакомством. Она каждодневно прибавляла не одну тетиву к своему луку, так что превратила его в настоящую арфу; и на этом-то инструменте она и принялась теперь разыгрывать импровизированный концерт.

— Ах, боже мой, миссис Чезлвит! — воскликнула она.— Кто бы мог подумать, что я увижу в этом самом благословенном доме — мисс Пексниф, милая моя барышня, ведь я отлично знаю, что таких домов немного, то-то и беда, а хотелось бы, чтоб было побольше, тогда у

нас, мистер Чаффи, была бы не юдоль, а райский сад,— кто бы мог подумать, что я увижу под этой самой крышей не кого иного, как вас, мистер Пинч (вы уж извините, что обращаюсь, не имея чести быть знакомой), а также, смею вас уверить, самое приятное личико, с самой приятной улыбкой, не считая вашей, миссис Чезлвит, милая моя дамочка, и вашей нареченной, мистер Модль, сэр, если позволено будет сказать прямо о том, что и так ясно для всякого, не правда ли, миссис Тоджерс, потому что не надо особой проницательности, чтобы разглядеть то, что написано на лбу. Тут никому обиды нету, дамы и господа; надеюсь, никто и не обиделся. Так кто бы мог подумать, что я вижу то самое приятное личико, которое мы с одной моей приятельницей заметили у Лондонского моста, в таком неподходящем месте,— вот уж сервиз действительно!

Ухитрившись так удачно уделить каждому из своих слушателей равную долю внимания и вызвать в них личную заинтересованность ее речью, миссис Гэмп несколько раз присела перед Руфью и, с улыбкой покачивая головой, продолжала свой монолог:

— Ну, сколько же собралось у нас красавиц в этот радостный день, можно сказать! Я знаю одну даму, Гаррис ее фамилия, не стану вас обманывать, миссис Чезлвит, еще у нее брат, то есть у ее мужа, ростом в шесть футов три дюйма, и на левой руке у него родинка — бешеный бык в веллингтоновских сапогах, оттого что его дорогую мамашу бык загнал в башмачную лавку, когда она была в таком положении; и счастливчик тот, у кого прибавляется семейство, сколько раз я это говорила мужу, когда, бывало, поругаемся из-за расходов; и часто я, бывало, говорю миссис Гаррис: «Ах, миссис Гаррис, сударыня! Личико у вас прямо ангельское!» Оно и было бы ангельское, кабы не прыщи. «Нет, Сара Гэмп,— говорит она,— хорошая вы женщина, и трудолюбивая, и расторопная, лучше не найдешь, сколько вам ни плати, все будет мало, а вам всегда недоплачивают, но только оно не ангельское, ничего подобного. Гаррис перед свадьбой заказал мой портрет за десять шиллингов шесть пенсов,— говорит она,— и с любовью носил на сердце, пока все краски не слиняли, ну только денег обратно так и не

отдали, ничего нельзя было поделать. Но даже и он никогда не говорил, будто оно ангельское, Сара, что́ бы он ни думал». Если бы муж миссис Гаррис был сейчас тут,— сказала миссис Гэмп, обводя всех взглядом и с умильной улыбкой делая общий книксен,— он бы сказал откровенно свое мнение, да и его дорогая женушка никогда бы его не осудила. Потому что если есть на свете женщина, которая понятия не имеет, что значит завидовать красавицам, да оно ей и ни к чему при таком муже, так вот у миссис Гаррис именно такой ангельский характер.

С этими словами почтенная женщина, которая вела себя так, словно она зашла на чашку чая, желая выказать деликатное внимание хозяевам, а не находилась в доме как должностное лицо, подошла к мистеру Чаффи, который сидел в своем уголке, как и прежде, и потрясла его за плечо.

— Очнитесь же, откройте глаза! Ну! — сказала миссис Гэмп.— У нас гости, мистер Чаффи!

— Как же быть,— отозвался мистер Чаффи, смиренно обводя взглядом комнату.— Я знаю, что мешаю всем. Простите меня, мне некуда больше деваться. Где она?

Мерри подошла к нему.

— А, вот она! — сказал старик, гладя ее по щеке.— Вот она, вот она! Она никогда не обижает бедного старика Чаффи. Бедный старик Чаффи!

Усевшись на низкий стул рядом со стариком, так что он мог достать ее рукой, Мерри взглянула один раз и на Тома. Это был грустный взгляд, хотя на ее лице трепетала слабая улыбка. Это был красноречивый взгляд, и Том понимал, что он говорит: «Вы видите, что горе изменило меня. Теперь я знаю, что чувствует зависимый человек, и ценю его привязанность».

— Да, да! — воскликнул Чаффи примирительно.— Да, да, да! Не обращайте на него внимания! Трудно вытерпеть, но ничего. Он умрет в один прекрасный день. В году триста шестьдесят пять дней, триста шестьдесят шесть в високосном году,— и он может умереть в любой из этих дней.

— Вы надоедливый старикашка, и это святая правда,— сказала миссис Гэмп, окидывая далеко не

милостивым взглядом старика, продолжавшего что-то бормотать.— Жалко, что вы сами не понимаете, что говорите, а ежели бы понимали, вам бы первому надоело до смерти, тогда и нам дали бы свободно вздохнуть.

— Его сын,— бормотал старик, поднимая кверху руку.— Родной сын!

— Ну конечно,— сказала миссис Гэмп,— вы опять за свое, мистер Чаффи. Понравилось, видно. А вот я сама никак за это не поручилась бы, гроша ломаного не дала бы, хоть вы все это так прекрасно знаете. Туда же, старье этакое, чему вздумал учить! Много вы смыслите в сыновьях, да и в дочерях тоже! Может, вы нам и про двойняшек что-нибудь расскажете, сударь? Будьте так любезны, не стесняйтесь!

Злобная и негодующая ирония, вложенная миссис Гэмп в эти слова, решительно пропала даром для ничего не сознававшего Чаффи; казалось, он так же мало понимал, кому предназначены эти шпильки, как и то, что он обидел миссис Гэмп. Но не так легко было усмирить эту благородную женщину, ревниво оберегавшую права своей профессии; она вообразила, будто мистер Чаффи изрек предсказание относительно сыновей вообще, тогда как всякое предсказание этого рода должно было исходить прежде всего от нее, как от единственно законного авторитета, или по крайней мере нуждалось в ее одобрении и сочувствии. Она не переставала злобно коситься на мистера Чаффи и вызывать его на бой, осыпая множеством колких замечаний, произносимых с тем шипением, которое обозначает сдержанное негодование, пока ее не привели в себя появление чайного подноса и просьба миссис Джонас перейти к боковому столику и разливать чай для неожиданных гостей. Тут она опять заулыбалась и принялась помогать хозяйке с особенной, свойственной только ей учтивостью.

— И есть для кого разливать чай: целое семейство,— заметила миссис Гэмп,— ах, какое это удовольствие! Милая моя девушка,— обратилась она к служанке,— может, кто-нибудь захочет скушать свеженькое яичко, а то и пару, только в мешочек. Не мешает тоже поджарить хлеб ломтиками, корочку лучше сперва срезать, потому что зубы уже не так крепки, да и тех мало осталось;

покойник Гэмп подвыпил как-то, да и вышиб целых четыре одним ударом, миссис Чезлвит,— два передних и два коренных; миссис Гаррис взяла их себе на память и до сих пор носит в кармане вместе с куриной вилочкой, кусочком имбиря и теркой в виде детского башмачка с каблучком, куда кладется мускатный орех: я сама сколько раз терла орех для подогретого вина, пока за ней ходила.

Миссис Гэмп выполняла возложенные на нее обязанности с необыкновенным благодушием и любезностью, ибо место за чайным столиком, помимо небольшого преимущества сидеть ближе к поджаренному хлебу и выпивать две чашки, пока другие выпьют по одной, да еще в самую критическую минуту — то есть перед тем как чайник дольют свежей водой и после того как он постоит некоторое время,— давало еще и возможность видеть перед собой все общество и обращаться к нему словно с кафедры. Иногда, держа блюдце на растопыренных пальцах и поставив локоть на стол, она делала передышку между двумя глотками, чтобы осчастливить всех собравшихся улыбкой, подмигиваньем, кивком головы или другим знаком внимания; и в такие минуты ее физиономия настолько оживлялась и приобретала настолько осмысленное выражение, что затруднительно было приписать это чему-либо, кроме благотворного действия кипяченой воды.

Если бы не миссис Гэмп, собрание было бы до странности молчаливым. Мисс Пексниф говорила только со своим Огастесом, и то шепотом. Огастес не разговаривал ни с кем, зато вздыхал за всех и время от времени так звучно хлопал себя по лбу, что миссис Тоджерс, особа весьма нервная, подскакивала на стуле с невольным восклицанием. Сама миссис Тоджерс углубилась в вязанье и почти все время молчала. Бедняжка Мерри держала за руку веселую маленькую Руфь и с явным удовольствием слушала все, что та говорила, но редко вставляла слово сама, и то улыбалась, то целовала ее в щеку, то отворачивалась в сторону, чтобы скрыть слезы, навернувшиеся на глаза. Том был так поражен совершившейся в ней переменой и так радовался, видя, как ласково обращается с нею Руфь и как та отвечает ей, что у него духу не



хватало подняться с места и уйти, хотя он давно уже сказал все, что хотел сказать.

Пока маленькое общество было занято каждый своим, старый конторщик впал в обычное состояние и молчал, погруженный в свои сны, каковы бы они ни были, едва задевавшие его дремлющее сознание. Содержание этих снов, молчаливое чаепитие вокруг и смутное воспоминание о другом пиршестве, которому он не так давно был свидетелем, подсказали ему странный вопрос. Озираясь по сторонам, он спросил вдруг:

— Кто это умер и лежит наверху?

— Никто,— ответила Мерри, обернувшись к нему.— Что это вы спрашиваете? Мы все здесь.

— Все здесь! — воскликнул старик.— Все здесь! А где же тогда мой старый хозяин, мистер Чезлвит, у которого был единственный сын? Где он?

— Тише, тише! — сказала Мерри, ласково уговаривая его.— Это случилось очень давно. Разве вы не помните?

— Не помню! — отвечал старик с горестным стоном.— Как будто я мог забыть! Как будто я могу когда-нибудь забыть!

На минуту он закрыл лицо рукой и повторил, озираясь совершенно так же, как прежде:

— Кто это умер и лежит наверху?

— Никто! — сказала Мерри.

Сначала он взглянул на нее сердито, как на чужого человека, который хочет его обмануть, но, всмотревшись в лицо Мерри и видя, что это в самом деле она, старик покачал головой горестно и сочувственно.

— Вы думаете, никто? Они вам не говорят. Да, да, бедняжка, вам не говорят. Кто они такие, и почему они пируют здесь, если никто не умер? Дело нечисто! Подите посмотрите, кто там лежит!

Она сделала всем знак не разговаривать с ним, к чему, сказать по правде, никто не обнаруживал ни малейшей склонности, и замолчала сама. Он тоже замолчал, но ненадолго, и вскоре повторил все тот же вопрос с настойчивостью, которая особенно пугала в нем.

— Кто-то умер здесь,— сказал он,— или умирает, и я хочу знать, кто это. Подите посмотрите, подите же! Где Джонас?

— Его нет в городе,— ответила молодая женщина.

Старик посмотрел на Мерри, словно сомневаясь в ее словах или не слыша их, и, поднявшись со стула, побрел через комнату наверх, шепча на ходу: «Дело нечисто!» Вскоре его шаги раздались у них над головой, приближаясь к тому углу комнаты, где стояла кровать (на ней умер старик Энтони); и сейчас же вслед за этим стало слышно, что он спускается вниз. Его фантазия была не настолько сильна и необузданна, чтобы нарисовать ему то, чего не было в пустой спальне; он вернулся гораздо спокойнее, и, казалось, тревога его улеглась.

— Вам не говорят,— сказал он Мерри своим дрожащим голосом, усаживаясь на место и гладя ее по голове.— И мне тоже не говорят, но я слежу, я слежу. Они вас не обидят, не бойтесь. Когда вы не спите, я тоже не сплю и стерегу. Да, да, стерегу! — пискнул он, сжимая в кулак слабую сморщенную руку.— Каждую ночь я наготове!

Он говорил это задыхаясь, с судорожными паузами и, ревниво оберегая свою тайну, наклонился так близко к ее уху, что гости не поняли ничего или почти ничего. Но они видели и слышали достаточно, чтобы встревожиться, и все, вскочив с места, собрались вокруг старика, тем самым предоставив миссис Гэмп, профессиональную невозмутимость которой не так-то легко было потревожить, прекрасную возможность сосредоточить все силы своего мощного организма на яичнице, гренках с маслом и чае. Она набросилась на эти яства с таким усердием, что к тому времени, когда она сочла нужным вмешаться (так как есть и пить было уже нечего), ее лицо пылало огнем.

— Это еще что такое, сударь? — воскликнула миссис Гэмп.— Вот как вы себя ведете? Опрокинуть на вас кувшин холодной воды — так небось опомнитесь; будь на моем месте Бетси Приг, она бы так и сделала, мистер Чаффи, смею вас уверить. Шпанские мушки — больше ничем из вас эту дурь не вытянешь; и если бы кто-нибудь тут хотел вам добра по-настоящему, так поставил бы вам мушку на затылок, а горчичник на спину. Кто умер? Вот уж действительно! Не много бы мы потеряли, если бы кто-нибудь и умер, так я думаю!

— Он уже успокоился, миссис Гэмп,— сказала Мерри.— Не трогайте его.

— Да ну его, старого враля, миссис Чезлвит,— отвечала ретивая сиделка.— Никак его к рукам не приберешь. Вы уж очень его распустили. Надоедливый старикашка, мучитель этакий!

Несомненно, для того чтобы перейти от слов к делу и «прибрать к рукам» надоедливого старикашку, как в прямом, так и в переносном смысле, миссис Гэмп ухватила его за шиворот и раз десять встряхнула хорошенько; это упражнение считалось у сиделок школы Бетси Приг (а таких очень немало среди дам этой профессии) чрезвычайно успокоительным и высокополезным для нервной системы. В данном случае у пациента все поплыло перед глазами и до того спуталось в голове, что он не мог больше выговорить ни слова, а миссис Гэмп сияла, видя в этом торжество своего искусства.

— Ну вот! — сказала она и тут же распустила галстук своему пациенту, заметив, что он даже почернел в лице от такого умелого обращения.— Теперь, надеюсь, вы успокоились. А ежели совсем ослабнете, мы вас сумеем оживить, сударь, за это я поручусь. Укусить его за руку или ломать ему пальцы,— произнесла миссис Гэмп, улыбаясь от сознания, что и развлекает слушателей и в то же время поучает их,— небось вскочит как встрепанный, господь с ним!

Так как этой превосходной женщине в свое время поручили заботиться о мистере Чаффи, то ни миссис Джонас, ни другие не решились вмешаться в ее систему ухода за больным, хотя все присутствующие (а особенно Том Пинч и его сестра), по-видимому, расходились с ней во взглядах; уж такова дерзость профанов, что они нередко ратуют за всякие отвлеченные принципы, вроде гуманности, любви к ближнему или другой блажи, упорно не желая считаться с существующими правилами и обычаями, и даже отваживаются отстаивать свою точку зрения против тех лиц, которые создали эти правила и установили обычаи и потому являются самыми авторитетными и беспристрастными судьями в этом деле.

— Ах, мистер Пинч,— сказала мисс Пексниф,— всему виной этот несчастный брак. Если бы моя

сестра не поторопилась и не соединила свою судьбу с этим негодяем, никакого мистера Чаффи не было бы в доме.

— Тише! — остановил ее Том.— Она вас услышит.

— Мне будет очень жаль, если она меня услышит, мистер Пинч,— сказала Черри, слегка повышая голос,— потому что не в моем характере делать неприятности тому, кто и так уж наказан судьбой, а всего менее родной сестре. Я знаю, что такое сестринский долг, мистер Пинч, и, надеюсь, всегда доказывала это на деле. Огастес, милое дитя, найдите мой носовой платок и подайте его мне.

Огастес повиновался, а потом отвел миссис Тоджерс в сторону, чтобы излить свое горе на ее дружеской груди.

— По-моему, мистер Пинч,— сказала Чарити, глядя вслед своему нареченному, а потом переводя взгляд на сестру,— мне надо бога благодарить за все то, чем он меня наградил и еще наградит в будущем. Когда я сравниваю Огастеса,— тут она потупилась и смутилась,— этот образец кротости, мягкости и преданности — вам я это могу сказать не стесняясь,— с тем отвратительным человеком, за которого вышла моя сестра, и когда я думаю, что при распределении жребиев на небесах могло получиться и наоборот, мне есть за что быть благодарной, есть отчего чувствовать смирение и довольство своей судьбой.

Довольство судьбой она могла чувствовать, но смирения в ней было решительно незаметно. Ее лицо и вся манера были так далеки от смирения, что Том не мог не понять всей ее низости и невольно почувствовал презрение к ней. Он отвернулся и сказал Руфи, что им пора домой.

— Я напишу вашему мужу,— сказал он Мерри,— и объясню ему, как объяснил бы, встретив здесь, что если ему пришлось из-за меня пережить что-либо неприятное, то, передавая ему письмо, я был виноват в этом столько же, сколько почтальон, приносящий дурные вести.

— Благодарю вас,— сказала Мерри.— Может быть, ваша записка все уладит.

Она нежно простилась с Руфью, и та вместе с братом выходила уже из комнаты, когда внизу послышался скрип

отпираемой двери, а вслед за тем — быстрые шаги по коридору. Том остановился и взглянул на Мерри.

— Это Джонас,— сказала она робко.

— Мне, пожалуй, лучше не встречаться с ним на лестнице,— сказал Том, беря сестру под руку и делая шаг или два назад.— Я подожду его тут.

Не успел он договорить, как дверь открылась и вошел Джонас. Жена пошла ему навстречу, но он отстранил ее и сказал ворчливо:

— Я не знал, что у тебя гости.

Случайно или намеренно, он взглянул при этом на мисс Пексниф, а та, обрадовавшись случаю завести с ним ссору, мгновенно пришла в негодование.

— Ах, боже мой,— произнесла она, вставая,— пожалуйста, мы вовсе не собираемся мешать вашему семейному счастью! Это было бы так жалко. Мы тут пили чай без вас, но, если вы будете любезны прислать нам счет всех расходов за вашей подписью, мы с удовольствием по нему уплатим. Огастес, ангел мой, идемте, пожалуйста. Миссис Тоджерс, если вы не хотите оставаться здесь, мы будем рады проводить вас домой. Право, было бы жалко омрачать то блаженство, которое этот джентльмен приносит всюду, а особенно к себе в дом!

— Чарити, Чарити! — умоляла ее сестра с таким волнением, словно заклинала ее проявить ту христианскую добродетель, чье имя она носила.

— Мерри, дорогая моя, очень тебе признательна за совет,— возразила мисс Пексниф с величественным презрением,— кстати сказать, ей никаких советов не давали,— но я не раба его...

— И не стала бы рабой, даже если б могла,— прервал ее Джонас.— Это нам давно известно.

— Что вы сказали, сэр? — резко взвизгнула мисс Пексниф.

— А вы разве не слышали? — отвечал Джонас, развалясь на стуле.— Я повторять не собираюсь. Хотите остаться, оставайтесь. Хотите уйти — уходите. Только если остаетесь, будьте повежливей.

— Скотина! — вскричала мисс Пексниф, проносясь мимо него.— Огастес, он не стоит вашего внимания! — Огастес расслабленно протестовал, потрясая кулаком.—

Идемте, я вам приказываю! — взвизгнула мисс Пекс-ниф.

Визг был вызван тем, что Огастес проявил намерение вернуться и сцепиться с Джонасом. Но мисс Пексниф потянула за собой пылкого юношу, а миссис Тоджерс подтолкнула его сзади, и все втроем они выкатились за дверь, под аккомпанемент пронзительных упреков мисс Пексниф.

До сих пор Джонас не замечал Тома с сестрой; они стояли почти за дверью, когда он открыл ее, а во время пререканий с мисс Пексниф он сидел к ним спиной и нарочно глядел на улицу, чтобы своим кажущимся равнодушием еще пуще раздразнить оскорбленную девицу. Теперь его жена пролепетала, что мистер Пинч давно его дожидается, и Том выступил вперед.

Увидев его, Джонас вскочил с места и, неистово выругавшись, поднял над головой стул, словно собираясь хватить им своего врага; и он, без сомнения, так и сделал бы, если б не растерялся от удивления и ярости, дав таким образом возможность высказаться Тому, сохранившему присутствие духа.

— Вам незачем прибегать к насилию, сэр,— начал Том.— Хотя то, что я собираюсь сказать, относится к вашим делам, я ничего о них не знаю и не желаю знать.

Джонас был до того взбешен, что не мог говорить. Он распахнул дверь настежь и, топнув ногой, указал Тому выход.

— Вы не можете предполагать,— сказал Том,— что я пришел сюда для того, чтобы мириться с вами или для собственного удовольствия, и потому мне совершенно все равно, как вы меня примете и как со мной проститесь. Выслушайте то, что я хочу сказать, если вы не сумасшедший. Я передал вам письмо на днях, когда вы собирались уехать за границу.

— Передал, вор ты этакий! — ответил Джонас.— Я тебе еще заплачу за эту передачу, да и по старому счету кстати. Заплачу, не беспокойся!

— Тише, тише,— сказал Том,— незачем тратить на ветер бранные слова и праздные угрозы. Я хочу, чтобы вы ясно поняли,— именно потому, что я намерен держаться как можно дальше от вас и от всего, что вас ка-

сается, а вовсе не оттого, чтобы я хоть сколько-нибудь боялся вас, это было бы позорной трусостью... Так вот, поймите меня, я не имею никакого отношения к этому письму; я ничего не знаю о нем, не знал даже, кому именно я должен передать его, а получил я его от...

— Клянусь богом! — крикнул Джонас, в ярости хватая стул.— Я размозжу тебе голову, если ты скажешь еще хоть слово.

Том, однако, упорствовал в своем намерении и уже открыл было рот, собираясь заговорить снова, как Джонас набросился на него, словно дикарь, и, конечно, несдобровать бы Тому, который был безоружен и не мог защищаться, тем более что сестра уцепилась за него, если бы Мерри не бросилась между ними, умоляя гостей уйти, ради всего святого. Мучения этой бедняжки, испуг Руфи, а также то, что Том не мог заставить себя выслушать и не мог противостоять напору миссис Гэмп, которая навалилась на него, как перина, и всей своей тяжестью вытолкала за дверь, так что ему пришлось пятиться с лестницы,— все это оказалось сильнее Тома. Он отряс прах от ног своих и ушел, так и не назвав имени Неджета.

Если бы это имя было произнесено; если бы Джонас своей наглостью и низостью не принудил однажды Тома дать ему смелый отпор, за что потом и возненавидел его со свойственной ему злобой (а вовсе не за последнюю обиду); если бы Джонас узнал от Тома,— а в тот день он мог бы это узнать,— какой нежданный соглядатай следит за ним,— он был бы спасен и не совершил бы злого дела, которое уже близилось к своей мрачной развязке. Но этот роковой исход был делом его собственных рук; яма была вырыта им самим; мрак, сгущавшийся вокруг него, был тенью, которую отбрасывала его собственная жизнь.

Его жена закрыла дверь и тут же у порога бросилась перед ним на колени. Она протягивала к нему руки, умоляя сжалиться над ней, ибо она вмешалась, только боясь кровопролития.

— Так, так! — сказал Джонас, глядя на нее сверху вниз и с трудом переводя дыхание.— Вот с кем ты водишь компанию, когда меня нет дома. Ты в заговоре с этими людьми, да?

— Право же, нет! Я ничего не знаю о ваших тайнах, не знаю, что все это значит. После того как я уехала из дому, я видела мистера Пинча всего один раз — нет, всего два раза — до сегодня.

— Ага! — насмехался Джонас, придравшись к этой оговорке.— Всего раз, или всего два? Что же верней? Может, два раза да один раз? Три раза! А еще сколько, лживая ты дрянь?

Он сделал сердитое движение рукой, и она боязливо отшатнулась: красноречивое движение, таившее в себе жестокую правду!

— А еще сколько раз? — повторил он.

— Ни одного. В то утро и сегодня, и еще один раз.

Он собирался уже ответить ей, когда начали бить часы. Он вздрогнул, остановился и прислушался, казалось вспомнив какое-то дело или тайный замысел, сокрытый в его груди и вновь вызванный к жизни этим напоминанием об уходящих часах.

— Не валяйся! Встань!

После того как он помог ей подняться, дернув ее за руку, он продолжал:

— Слушайте меня, молодая особа, да не хнычьте без причины, а не то я вам ее доставлю. Если я еще раз застану его в моем доме или узнаю, что ты его где-нибудь видела, ты в этом раскаешься. Если ты не будешь глуха и нема во всем, что касается моих дел, пока я не позволил тебе говорить и слушать, ты в этом раскаешься. Если ты не исполнишь всего, что я прикажу, ты в этом раскаешься. Теперь слушай. Который час?

— Минуту назад пробило восемь.

Он пристально вгляделся в нее и сказал, старательно и раздельно выговаривая слова, будто заучил их наизусть:

— Я был в дороге день и ночь и очень устал. Я потерял деньги, и от этого мне не легче. Принеси мне ужин в пристройку внизу и приготовь складную кровать. Я буду спать там сегодня, а может быть и завтра; если я просплю весь завтрашний день, тем лучше, мне надо заспать все это, если только я смогу. Старайся, чтобы в доме было тихо, и не буди меня. И не позволяй никому будить меня. Дай мне покой.

Она ответила, что сделает, как он велит. И это все?

— Как! Тебе надо везде лезть и обо всем расспрашивать? — злобно отозвался он.— Что еще тебе нужно знать?

— Я ничего не хочу знать, Джонас, кроме того, что ты говоришь мне сам. Я давно потеряла всякую надежду на откровенность между нами.

— Еще бы, я думаю! — проворчал он.

— Но если ты скажешь мне, чего ты хочешь, я все сделаю, чтобы угодить тебе. И я не считаю это заслугой, отец с сестрой мне не друзья, и я очень одинока. Я смирилась и во всем покорна тебе. Ты сказал, что сломаешь мою волю,— и сломал. Не растопчи же моего сердца!

Говоря это, она отважилась положить руку ему на плечо. Он ей позволил, торжествуя, и вся низкая, презренная, корыстная, жалкая душонка этого человека глядела на нее в эту минуту его злыми глазами.

Только в эту минуту: ибо, снова вспомнив о чем-то своем, он ворчливо приказал ей слушаться и немедленно исполнить все, что он велел. После того как она ушла, он несколько раз прошелся из угла в угол, все время не разжимая правой руки, словно держа в ней что-то, хотя в ней ничего не было. Наскучив этим, он бросился в кресло и засучил правый рукав, по-видимому размышляя о том, хватит ли в ней силы, и все так же держа ее стиснутой в кулак. Он сидел в кресле, задумавшись и уставясь глазами в землю, когда пришла миссис Гэмп сказать, что маленькая комнатка во флигеле готова. Не будучи вполне уверена в том, как ее примут после вмешательства в ссору, миссис Гэмп решила задобрить своего патрона, проявив трогательное участие к мистеру Чаффи.

— Как он себя чувствует, сэр? — спросила она.

— Кто? — отозвался Джонас, воззрившись на нее.

— Ну, разумеется! — отвечала почтенная матрона, улыбаясь и приседая.— О чем я только думаю? Вас же не было тут, сэр, когда на него нашло. Никогда в жизни не видывала, чтобы на них, бедняжек, так находило, кроме разве одного больного тех же лет, за которым я приглядывала: служил он в таможне, а по фамилии был родной отец миссис Гаррис, и так прекрасно пел, мистер Чезлвит, что вряд ли вам доводилось слышать, а голос —

совершенно как губная гармоника на басах; бывало, вшестером его никак не удержат в это время, а пена бьет — просто ужас!

— Чаффи, да? — равнодушно спросил Джонас, видя, что она подходит к старику и глядит на него.— Гм!

— Голова у бедняжки такая горячая, утюг нагреть можно. И ничего нет удивительного, разумеется; вспомнить только, что он тут говорил!

— Говорил? — отозвался Джонас.— Что же он говорил?

Миссис Гэмп приложила руку к сердцу, чтобы унять волнение, и, закатив глаза, ответила слабым голосом:

— Самые ужасные вещи, мистер Чезлвит, каких я просто не слыхивала! Вот папаша миссис Гаррис, так тот ничего не говорил, когда на него находило,— кто говорит, а кто и нет,— разве когда опомнится, спросит, бывало: «Где же Сара Гэмп?» Ну, право же, сэр, когда мистер Чаффи вдруг спрашивает, «кто лежит мертвый наверху...»

— Кто лежит мертвый наверху? — повторил Джонас, вскакивая в ужасе.

Миссис Гэмп кивнула и, сделав вид, будто проглотила что-то, продолжала:

— Кто лежит мертвый наверху, так он и сказал, прямо как в библии, и где мистер Чезлвит, у которого единственный сын; а потом пошел наверх, заглянул во все кровати, обыскал все комнаты, приходит сюда и шепчет тихонько себе под нос, что дело нечисто и все такое, и до того это меня перевернуло, не стану врать, мистер Чезлвит, что ежели бы не капелька спиртного, а я его и в рот почти не беру, только всегда лучше знать, где оно стоит, на всякий случай, мало ли что может стрястись, ничего на свете нет верного.

— Да он рехнулся, старый дурак! — воскликнул Джонас, сильно встревожившись.

— Я тоже так думаю, сэр,— сказала миссис Гэмп,— не стану вас обманывать. По-моему, сэр, за мистером Чаффи надо приглядывать (осмелюсь сказать), а не оставлять на свободе, чтобы он никого не беспокоил и не досаждал вашей милой женушке, как сейчас.

— Ну, кто его слушает! — возразил Джонас.

— Все-таки от него беспокойство, сэр,— сказала миссис Гэмп.— Никто его не слушает, а все-таки нехорошо.

— Ей-богу, ваша правда,— сказал Джонас, глядя с сомнением на предмет их разговора.— Пожалуй, надо бы запереть его.

Миссис Гэмп улыбнулась, потирая руки, покачала головой и выразительно потянула носом воздух, словно чуя поживу.

— Не возьметесь ли вы... не возьметесь ли вы ходить за этим слабоумным, в какой-нибудь из свободных комнат наверху? — спросил Джонас.

— Мы вдвоем с моей приятельницей — одна дежурит, другая свободна — могли бы за ним ходить, мистер Чезлвит,— ответила сиделка.— Берем мы недорого, рады бы дешевле, да никак нельзя, ну да по знакомству можно сделать скидку. Мы с Бетси Приг, сэр, возьмем за мистера Чаффи недорого,— говорила миссис Гэмп, склонив голову набок и разглядывая мистера Чаффи, словно он был тюком товара, из-за которого она торговалась,— а уж ходить будем — останетесь довольны. Бетси Приг сколько выходила полоумных, знает наизусть все их повадки: когда капризничают, самое верное средство посадить их поближе к огню, мигом успокоятся.

Пока миссис Гэмп рассуждала в этом духе, Джонас опять принялся расхаживать взад и вперед, исподтишка поглядывая на дряхлого конторщика. Вдруг он остановился и сказал:

— Надо за ним присматривать, конечно, а то он мне наделает бед. Что вы на это скажете?

— Похоже на то! — отвечала миссис Гэмп.— Сколько было таких случаев в моей практике, сэр, могу вас уверить.

— Ну, так походите за ним пока, а потом — позвольте! — да, дня через три приводите и ту, другую женщину, тогда посмотрим, может и договоримся. Скажем, вечером, часов в девять или десять. А пока что не спускайте с него глаз да держите язык за зубами. Он совсем из ума выжил, скоро на людей бросаться начнет.

— Еще бы! — поддакнула миссис Гэмп.— Даже хуже!

— Так вот, глядите за ним, заботьтесь, чтобы он не натворил чего-нибудь, да помните, что я вам сказал.

Предоставив миссис Гэмп повторять все, что было ею сказано, и приводить в доказательство своей надежности и памятливости множество похвал, почерпнутых среди самых замечательных изречений знаменитой миссис Гаррис, он спустился в приготовленную для него комнатку и, стянув с себя верхнее платье и сбросив сапоги, выставил их за дверь, потом запер ее. После этого он позаботился повернуть ключ в замке так, чтобы любопытным неповадно было заглядывать в замочную скважину; приняв эти предосторожности, он уселся ужинать.

— Ну, мистер Чафф, — проворчал он, — с вами нетрудно будет справиться. Нет никакого смысла останавливаться на полдороге, и пока я еще здесь, я уж позабочусь о вас. Когда меня не будет, можете говорить что хотите. Однако это чертовски странно, — прибавил он, отодвигая нетронутую тарелку и угрюмо шагая из угла в угол, — что именно сейчас его бредни приняли такой оборот.

Несколько раз пройдясь по комнатке из угла в угол, он сел на другой стул.

— Я говорю «именно сейчас», а почем я знаю, может быть он и всегда нес такую же чепуху. Старый пес! Заткнуть бы тебе глотку!

Он опять зашагал по комнате все так же беспокойно и неуверенно, потом сел на кровать, опершись подбородком на руку и глядя на стол. Он глядел на него очень долго, потом, вспомнив про свой ужин, снова пересел на стул возле стола и с жадностью набросился на еду, но не как голодный, а словно решив, что так нужно. Он и пил основательно, но вдруг, остановившись на половине глотка, то вскакивал и принимался ходить, то пересаживался на другое место и опять вскакивал и принимался ходить, то снова подбегал к столу и набрасывался на еду с жадностью.

Уже темнело. По мере того как ложилась вечерняя мгла, сгущаясь в ночь, другая тень, таившаяся в нем самом, надвигалась на его лицо и изменяла его — не сразу, но медленно-медленно; оно становилось все темней и темней, все резче и резче; тень омрачала его все больше

и больше, пока не сгустилась черная тьма и в нем и вокруг него.

Комната, в которой он заперся, была на первом этаже, с задней стороны дома. Она освещалась грязным люком, и дверь в стене вела в крытый переход, или тупик, где после пяти или шести часов вечера было мало прохожих, да и в другое время им редко пользовались. Этот тупик выходил на соседнюю улицу.

Участок, на котором стояла пристройка, был прежде двором, а после его застроили и помещение отвели под контору. Но надобность в ней миновала по смерти человека, который ее построил; и помимо того, что она служила изредка вместо спальни для гостей и что старый конторщик занимал ее когда-то (но это было много лет назад), как присвоенный ему апартамент. Энтони Чезлвит и Сын мало ею пользовались. Это была грязная, вся в пятнах и подтеках развалина, похожая на погреб; по ней проходили водопроводные трубы, которые по ночам, в самое неожиданное время, вдруг начинали всхлипывать и хрипеть, словно захлебываясь.

Дверь, ведущая в темный тупик, очень давно не отпиралась, но ключ всегда висел на месте, висел он там и сейчас. Джонас так и полагал, что он заржавел, и потому принес в кармане пузырек с маслом и перо, которым старательно смазал ключ и замок. Он был все время без сюртука и в одних носках. Он тихонько забрался в постель и, ворочаясь с боку на бок, смял белье и подушку. В его беспокойном состоянии сделать это было нетрудно.

Поднявшись с постели, он достал из чемодана, который сразу же по возвращении велел принести сюда, пару грубых башмаков и надел их на ноги; сверху натянул кожаные гамаши с ремешками, какие носят в деревне. Он застегивал их не торопясь. Наконец вынул простую бумажную блузу из темной грубой ткани, которую надел прямо на белье, а также поярковую шляпу — свою он нарочно оставил наверху. Потом сел у дверей, с ключом в руках, и стал ждать.

Света он не зажигал. Время тянулось долго и тоскливо до ужаса. На соседней колокольне упражнялись в своем искусстве звонари, и колокола дребезжали, раздра-

жая его до сумасшествия. Черт бы побрал эти горластые колокола! Они как будто знают, что он сидит у дверей и слушает, и своим многоголосым звоном оповещают о том весь город! Неужто они никогда не уймутся?

Они умолкли наконец, и наступившая тишина была такой неожиданной и пугающей, что казалась прелюдией к какому-то страшному шуму. Шаги во дворе! Двое прохожих. Он отступил от двери на цыпочках, словно они могли его видеть сквозь деревянную панель.

Они прошли мимо, разговаривая (он слышал все от слова до слова) о скелете, который вырыли вчера на каких-то земляных работах поблизости и который был, как полагали, скелетом убитого. «Так что убийство, как видите, не всегда раскрывается»,— сказал один другому, когда они заворачивали за угол.

Т-с-с!

Он вставил ключ в замок и повернул его. Дверь поддалась не сразу, но потом все же открылась, и к ощущению жара и сухости во рту примешался вкус ржавчины, пыли, земли и гниющего дерева. Он выглянул за дверь, вышел и запер ее за собой.

Путь был свободен и все спокойно, когда он крадучись вышел из дому.

ГЛАВА XLVII

Конец предприятия мистера Джонаса и его друга

Неужели люди, шагавшие по темным улицам, не вздрагивали безотчетно, когда он неслышно приближался к ним сзади? Когда он крался мимо, неужели ни один спящий ребенок не чувствовал смутно, что тень злодея, падая на его кроватку, тревожит его невинный сон? Неужели не выла собака и не рвалась, гремя цепью, растерзать его? И не скреблась крыса, почуяв задуманное им и силясь прогрызть себе ход туда, где она могла бы жадно пожирать приготовленное ей пиршество? А сам он разве не оглядывался через плечо, желая увериться, не оставляют ли следов на пыльной мостовой его торопли-

вые шаги и нет ли на ней уже сейчас мокрых и вязких пятен той красной жижи, которой были обагрены босые ноги Каина? *

Он направлялся к большой дороге, идущей на запад, и скоро достиг ее, проехав часть пути; затем высадился и опять пошел пешком. Значительное расстояние он ехал на империале дилижанса, который нагнал его по дороге; когда дилижанс свернул в сторону, он заплатил кучеру обратной почтовой кареты, чтобы тот подвез его; потом свернул в поле и пустился наперерез, сократив расстояние мили на две, прежде чем опять выйти на дорогу. Наконец, как и было им задумано, он нагнал тяжелый, медленно тащившийся ночной дилижанс, который останавливался везде где только можно и теперь стоял перед харчевней, покуда возница и кондуктор там закусывали.

Он сторговал себе наружное место и занял его. И не сходил до тех пор, пока не очутился в нескольких милях от цели своего путешествия.

Всю ночь! Обыкновенно думают, будто природа спит по ночам. И напрасно думают, ибо кому же лучше знать, как не ему?

Рыбы дремали, быть может, в холодных, прозрачных, сверкающих ручьях и речках, птицы притихли на ветвях деревьев, стада успокоились на пастбищах и в хлевах, уснули и люди. Но что из того, если мрачная ночь была на страже, если она не смыкала глаз, если тьма подстерегала его так же, как и свет! Величественные деревья, луна и сияющие звезды, тихо веющий ветер, осененная тенью тропинка, широкие, светлые поля — все они были на страже! Не было ни одной травинки, ни одного колоса, которые не следили бы за ним, и казалось, чем тише они стояли, тем зорче и пристальнее они наблюдали за ним.

И все же он уснул. Проезжая мимо этих божьих стражей, он спал; он так и не изменил своего намерения. Стоило ему забыться тревожным сном, как воспоминание о нем возвращало его к действительности. Но совесть не проснулась в нем и не заставила бросить задуманное.

Ему приснилось, будто он лежит спокойно в своей кровати и думает о лунной ночи и о шуме колес, как вдруг

старый конторщик просунул голову в дверь и кивнул ему. Повинуясь этому знаку, он немедленно вскочил — уже одетый в то самое платье, которое было на нем,— и вошел за стариком в какой-то чужой город, где названия улиц были написаны на стенах незнакомыми ему буквами; но это его не удивило и не встревожило, ибо он припомнил во сне, что бывал здесь и раньше. Хотя улицы круто поднимались в гору и, чтобы попасть с одной на другую, надо было спускаться с большой высоты по слишком коротким лестницам и по канатам, которые были протянуты к гулким колоколам и раскачивались и дрожали, когда за них цеплялись, однако после первого невольного трепета опасность перестала страшить его, его беспокоила лишь одежда, совсем не подходившая для празднества, которое должно было скоро начаться и в котором он принимал участие. Народ уже начал заполнять улицы, множество людей стекалось отовсюду, рассыпая цветы и давая дорогу всадникам на белых конях, как вдруг из толпы вырвался кто-то страшный, крича, что настал конец света. Крик разнесся повсюду, все стремглав бросились на Страшный суд, и началась такая давка, что Джонас со своим спутником (который постоянно менялся и даже две минуты сряду не бывал одним человеком, хотя он и не замечал, как уходит один и приходит другой) спрятался под воротами, со страхом наблюдая за толпой, где было много знакомых ему лиц и много таких, которых он не знал, но во сне думал, что знает; и вдруг над толпой, пробившись с трудом, поднялась голова — безжизненная и бледная, но все та же, какой он ее знал,— и упрекнула его в том, что по его вине настал этот грозный день. Они бросились друг на друга. Силясь высвободить руку, в которой он держал дубину, и нанести удар, который так часто представлялся ему в мыслях, он проснулся, чтобы увидеть восход солнца и вспомнить о своем замысле наяву.

Солнцу он обрадовался. И шум, и движение, и встрепенувшийся мир — все это отвлекало внимание днем. Недреманного ока ночи — бодрствующей, бдительной, молчаливой и зоркой ночи, у которой столько досуга подслушивать его преступные мысли,— он страшился больше всего. Ночью ничто не слепит глаз. Даже ореол славы

меркнет ночью на усеянном телами поле битвы. Каким же покажется тогда кровный родич славы — незаконнорожденное убийство?

Да! Теперь он шел прямо к цели и не прятался сам от себя. Убийство! Он приехал для того, чтобы совершить убийство.

— Дайте мне сойти здесь,— сказал он.

— Не доезжая до города? — заметил кучер.

— Я могу сойти, где мне угодно, надеюсь?

— Вы сели, где вам было угодно, и можете сойти, когда угодно. Мы без вас не умрем с горя, не умерли бы, если б и сроду вас не видали. Слезайте поживей — вот и все.

Кондуктор тоже сошел и дожидался на дороге, чтобы получить с него за проезд. В своем недоверии и подозрительности ко всему окружающему Джонас подумал, что кондуктор смотрит на него не просто, а с любопытством.

— Чем это я вам понравился? — спросил он.

— Вот то-то, что ничем,— ответил кондуктор.— Если хотите знать свою судьбу, я вам погадаю: вы не утонете. Утешайтесь этим.

Не успел он ответить или хотя бы отвернуться, как кучер велел ему убираться ко всем чертям и положил конец разговорам, стегнув его бичом на прощанье. В ту же минуту кондуктор вскочил на подножку, и они укатили с громким хохотом, оставив его посреди дороги грозить им вслед кулаком. Одумавшись, он был скорее доволен тем, что его приняли за неотесанного деревенского мужлана, и даже поздравлял себя, увидев в этом доказательство того, как удачно он переоделся.

Зайдя в рощицу при дороге — не в *том месте,* а двумя-тремя милями дальше,— он выломал себе толстую, крепкую, сучковатую дубину и, сидя под стогом, коротал время, строгая ее, очищая от коры, подравнивая ножом макушку.

День проходил. Утро, полдень, вечер. Закат.

В эту ясную и мирную пору из города по уединенной дороге выехали в двуколке двое людей. Это был тот самый день, когда мистер Пексниф собирался пообедать с Монтегю. Он сдержал слово и теперь возвращался домой.

Гость провожал его, рассчитывая вернуться удобной дорогой через поля, которую мистер Пексниф вызвался ему показать. Джонасу был известен этот план. Он торчал во дворе гостиницы, пока они обедали, и слышал, как они давали распоряжения.

Оба седока разговаривали громко и весело, и их было слышно довольно далеко, несмотря на стук колес и топот копыт. Двуколка с шумом подъехала туда, где от каменной ограды начиналась тропа и где им надлежало расстаться. Здесь они остановились.

— Увы, вот оно, это место, к сожалению,— произнес мистер Пексниф,— слишком, слишком скоро, дорогой мой. Так держитесь тропинки, а когда дойдете до опушки, ступайте прямо через лесок. Тропинка там становится у́же, но пропустить ее невозможно. Когда мы с вами опять увидимся? Надеюсь, скоро?

— Надеюсь, что да,— ответил Монтегю.

— Всего хорошего!

— Всего хорошего. И приятной поездки!

Пока мистер Пексниф еще не скрылся из виду и то и дело оборачивался, чтобы помахать ему шляпой, Монтегю стоял посреди дороги, улыбаясь и делая ручкой. Но как только его новый компаньон исчез за поворотом и это притворство стало уже не нужно, он сел на каменную ступеньку с таким изменившимся лицом, словно вдруг постарел лет на десять.

Он раскраснелся от вина, но был невесел. Его план удался, но незаметно было, чтобы он торжествовал. Быть может, его утомила необходимость выдерживать трудную роль перед своим собеседником; возможно, что вечер нашептывал что-то его совести; а возможно (и так оно и было), что пелена мрака окутывала его, угашая все мысли, кроме смутного предчувствия и предвидения неизбежной развязки.

Если существуют жидкости,— а мы знаем, что они есть,— которые перед ветром, дождем или морозом сжимаются и уходят в стеклянные артерии, то отчего же более сложному раствору крови не чуять, в силу присущих ей свойств, что уже подняты руки, для того чтобы расточить и пролить ее, и не холодеть, замедляя свой бег в жилах, как холодела его кровь в этот час?

Она так похолодела, хотя воздух был теплый, и так замедлила свой бег, что он поднялся на ноги, весь дрожа, и поспешно зашагал снова. И сразу же остановился, не зная, идти ли ему по уединенной и безлюдной тропинке, или вернуться на дорогу.

Он выбрал тропинку.

Сияние уходящего солнца било ему в лицо. Хоры птиц звучали у него в ушах. Душистые лесные цветы пестрели вокруг. Соломенные кровли бедных домиков виднелись вдали, и ветхая серая колокольня, осененная крестом, вставала между ним и надвигающимся мраком.

Он никогда не понимал урока, заключавшегося во всем этом; он всегда равнодушно отворачивался и насмехался над этим; но, прежде чем спуститься в низину, он еще раз с грустью взглянул на вечернее небо. Потом стал спускаться все ниже, и ниже, и ниже в долину.

Она привела его к лесу — частому, густому, тенистому лесу, по которому шла, извиваясь, тропа, превращаясь постепенно в еле заметную тропинку. Он остановился на опушке, прежде чем войти, потому что тишина этого леса пугала его.

Последние лучи солнца освещали его искоса, ложась золотой дорожкой среди стволов и ветвей, и начинали гаснуть у него на глазах, послушно уступая место подползавшим сумеркам. Было до такой степени тихо, что мягкий, скрадывавший звуки мох на стволах старых деревьев, казалось, вырастал из этой тишины и был ее порождением. Те деревья, которые в зимнее время поддались ветрам и пошатнулись, но не упали на землю, а прислонились к другим, лежали сухие и голые в их густолиственных объятиях, словно не желая нарушать общий покой шумом своего падения. Молчаливые прогалины уходили в чащу леса, в его самую потаенную глубь, вначале похожие то на придел храма, то на монастырь, то на руины, лишенные кровли,— дальше они терялись в полной шорохов и мрака таинственной глуши, где искалеченные пни, кривые сучья, оплетенные плющом стволы, дрожащая листва и лишенные коры старые деревья, вытянувшиеся на земле во весь рост, перемешались в живописном беспорядке.

Но как только угас солнечный свет и вечер спустился над лесом, он решился войти туда. Раздвигая то тут, то там кусты терновника или ветви, нависшие над тропой, он все больше углублялся в лес и вскоре скрылся в его чаще. Время от времени в узком просвете мелькала его фигура или резкий треск тонкого сучка отмечал его путь — и после этого его больше никто не видел.

Не видел никто — кроме одного человека. Этот человек, раздвигая руками листву и ветви, вскоре вынырнул на другом конце леса, близ того места, где тропинка опять выходила на дорогу.

Что такое оставил он в лесу, если выбежал из него опрометью, как из ада?

Тело убитого человека. В глухом, безлюдном месте оно лежало на прошлогодних листьях, дубовых и буковых, лежало так же, как упало, ничком. Смачивая и окрашивая листья, служившие убитому подушкой, впитываясь в болотистую почву, словно стремясь скрыться от людских глаз, растекаясь между свернувшимися листьями, словно даже они, лишенные жизни, отстранялись и отрекались от него и сжимались от ужаса,— расходилось темное, темное пятно, обагрившее всю летнюю ночь от земли до небес.

Совершивший это деяние выбежал из леса так стремительно, что вокруг него градом посыпались зеленые ветки, сорванные им на бегу, и с размаху повалился на траву. Но скоро он вскочил на ноги и, держась поближе к изгороди, побежал к дороге, согнувшись в три погибели. Как только он добрался до дороги, он перешел на быстрый шаг, направляясь к Лондону.

Он не жалел о том, что сделал. Он пугался, когда думал об этом,— а когда он об этом не думал! — но ни о чем не жалел. Он испытывал страх и ужас перед лесом, пока был в нем, но, выйдя из лесу, он странным образом перенес все свои страхи на ту темную комнату, которую оставил запертой у себя дома. Теперь, на обратном пути, она казалась ему несравненно более мрачной и пугала больше, чем лес. Там была заперта гнусная тайна, и все страхи поджидали его там; ему представлялось, что именно там, а вовсе не в лесу. Он прошел около десяти миль, потом остановился в кабачке, чтобы

дождаться дилижанса, который, как он знал, должен был скоро пройти мимо, направляясь в Лондон; он знал также, что это не тот дилижанс, с которым он приехал из Лондона, тот шел из другого места. Он сел на скамью перед дверью, рядом с человеком, курившим трубку. Заказав себе пива и отхлебнув из кружки, он предложил выпить своему соседу; тот поблагодарил и принял угощение. Джонас не мог не подумать, что, если бы этот человек только знал, он вряд ли стал бы с таким удовольствием пить из одной кружки с ним.

— Хороший вечер, хозяин! — сказал этот прохожий.— И редкий закат.

— Я его не видел,— торопливо ответил Джонас.

— Не видели? — спросил прохожий.

— Как же, к черту, мог я его видеть, если я спал?

— Спали! Да, да.— Он был, по-видимому, удивлен такой внезапной раздражительностью и больше не заговаривал, предпочитая курить свою трубку молча. Они просидели так не очень долго, когда в доме послышался стук.

— Это что такое? — вскрикнул Джонас.

— Право, не могу сказать,— ответил прохожий.

Больше он не стал расспрашивать, потому что вопрос вырвался у него помимо воли. Но в ту минуту он думал о запертой комнате; о том, что, быть может, кто-нибудь постучится в дверь по какому-нибудь непредвиденному случаю; что домашние встревожатся, не получив ответа, взломают замок, найдут комнату пустой, запрут дверь, выходящую в тупик, и ему нельзя будет войти в дом, не показавшись всем в этом одеянии; это поведет к болтовне, болтовня к разоблачению, разоблачение — к смерти. И в эту-то минуту, как нарочно, по какому-то странному стечению обстоятельств, раздался стук.

Стук все не умолкал, словно предостерегающее эхо ужасной действительности, вызванной им из небытия. Не в состоянии больше сидеть и прислушиваться, он заплатил за пиво и снова пустился в путь. И оттого что он прятался весь день в незнакомых ему местах, шел всю ночь по безлюдной дороге, в необычном платье, и оттого что в голове у него все спуталось и начиналось что-то

вроде бреда, он не раз останавливался, озираясь по сторонам, в надежде, что все это только снится ему.

И все-таки он ни о чем не жалел. Нет. Он слишком ненавидел этого человека и слишком долго и отчаянно стремился от него избавиться. Если бы все это могло повториться еще раз, он еще раз убил бы его. Его озлобленные и мстительные чувства не так легко было усмирить. Теперь в нем было не больше раскаяния или угрызений совести, чем в то время, когда он замышлял убийство.

Страх овладел им до такой степени, что он и сам не ожидал, и он просто не в силах был с собой справиться. Он до потери рассудка боялся этой дьявольской комнаты. Боялся не только *за себя* — мрачно, люто, до бешенства, но боялся и *себя,* того, что он был как бы неотделим от этой комнаты, того, что он должен быть там, но отсутствует,— и он погружался в ее таинственные ужасы и, рисуя в своем воображении эту отвратительную, обманчиво тихую комнату во все темные часы двух последних ночей, со смятой постелью, где его не было, хотя все думали, что он там, он становился как бы собственным двойником и призраком, одновременно гонителем и гонимым.

Когда подошел дилижанс, что произошло довольно скоро, Джонас занял наружное место и помчался дальше, по направлению к дому. И тут, очутившись среди пассажиров,— это были по большей части местные фермеры,— он сперва вообразил со страха, будто они слыхали про убийство и станут ему рассказывать, что тело уже найдено, хотя он отлично знал, что этого не могло еще случиться, если принять во внимание, когда и где совершено было убийство. Но, хотя он знал и понимал, что это в порядке вещей, их неосведомленность все же ободрила его — до того даже, что он поверил, будто тела никогда не найдут, и стал размышлять о такой возможности. Полагаясь на нее и измеряя время быстрым полетом своих преступных мыслей, ходом событий до того, как он пролил кровь, и лихорадочной сменой осаждавших его бессвязных и беспорядочных видений, к рассвету он стал смотреть на это убийство, как на дело далекого прошлого, и уже считал себя в относительной безопас-

ности, раз оно до сих пор не раскрыто. До сих пор! Когда вот это солнце, заглянувшее в лес и позолотившее своим рассветным лучом лицо убитого, не далее как вчера вечером, при заходе, видело его живым и старалось вернуть к мысли о небесах!

Но вот и снова лондонские улицы. Т-с-с!

Было всего пять часов. У него оставалось достаточно времени, чтобы добраться до дома незамеченным, прежде чем на улицах станет людно, если только за эти сутки не случилось ничего, что грозило бы ему разоблачением. Он спрыгнул с дилижанса, не беспокоя кучера просьбой остановить лошадей, торопливо перебежал дорогу и, нырнув сначала в один переулок, потом в другой и все время избирая окольный путь, очутился, наконец, по соседству с собственным жилищем. Тут он стал особенно осторожен: то и дело останавливался и оглядывал лежащую перед ним улицу, потом быстро пробегал ее и опять останавливался, чтобы оглядеть следующую, и так далее.

Темный тупик был пуст, когда в него заглянуло лицо убийцы. Он подкрался к двери на цыпочках, словно боясь потревожить свой воображаемый покой.

Он прислушался. Ни звука. Как только он повернул ключ дрожащей рукой и тихонько толкнул дверь коленом, безумный страх овладел им.

А что, если он сейчас увидит перед собой убитого!

Он обвел комнату боязливым взглядом. Но нет, здесь ничего не изменилось.

Он вошел, запер за собой дверь, старательно извалял ключ в отсыревшей золе очага и повесил на старое место. Он снял свое маскарадное одеяние, связал его в узел, чтобы еще до ночи вынести и потопить в реке, и запер его в шкаф. Приняв эти предосторожности, он разделся и лег в постель.

Мучительная жажда, огонь, пожиравший его, когда он накрылся с головой одеялом, и страх перед комнатой, еще усилившийся оттого, что он не мог ее видеть из-под одеяла; нечеловеческое напряжение, с которым он прислушивался ко всякому звуку, воображая, что каждый, даже самый незначительный шум является предвестием того стука, который разгласит тайну; дрожь, с какой он вскакивал с постели и подбегал к зеркалу, воображая,

что преступление написано у него на лице, а потом опять укладывался и хоронился под одеяло, слушая, как его собственное сердце отстукивает: убийца, убийца, убийца! — какими словами можно описать подобный ужас!

Близилось утро. В доме раздавались шаги. Он слышал, как поднимали шторы и открывали ставни, как кто-то крадучись, на цыпочках, несколько раз подходил к его двери. Он пытался подать голос, но во рту у него пересохло, словно он был полон песку. Наконец он сел на кровати и крикнул:

— Кто там?

Это была его жена.

Он спросил ее, который час. Девять.

— Никто... никто не стучался ко мне вчера? — едва выговорил он.— Я, кажется, слышал стук, но от меня нельзя было добиться ответа, разве что вышибли бы дверь.

— Нет, никто,— ответила она. Это было хорошо. Он ждал ее ответа, затаив дыхание. Это принесло ему облегчение, если что-нибудь могло его принести.

— Мистер Неджет хотел тебя видеть,— продолжала она,— но я сказала ему, что ты устал и просил тебя не беспокоить. Он ответил, что это не так важно, и ушел. А сегодня, очень рано утром, когда я открывала окно, чтобы проветрить комнату, я увидела его на улице; но к нам он больше не заходил.

Видела его на улице этим утром! Очень рано! Джонас задрожал при мысли, что он и сам чуть было не наткнулся на Неджета — того Неджета, который постоянно избегал людей и старался проскользнуть незамеченным, чтобы не выдать своей тайны, на того Неджета, который никогда никого не замечал.

Он велел жене приготовить завтрак и собрался идти наверх, переодевшись в платье, которое снял, войдя в эту комнату, и которое с тех пор так и висело за дверью. Всякий раз при мысли о встрече с домашними впервые после того, что он совершил, его охватывал тайный страх, и он мешкал у дверей под разными предлогами, чтобы они могли увидеть его, не глядя ему в лицо; одеваясь, он оставил дверь приоткрытой и приказывал то распахнуть настежь окна, то полить мостовую, приучая их к своему

голосу. Но сколько он ни оттягивал время всеми способами, так, чтобы успеть перевидать их всех и поговорить со всеми, он долго не мог набраться храбрости и выйти к ним и все стоял у двери, прислушиваясь к отдаленному шуму их голосов.

Но нельзя же было оставаться тут вечно, и в конце концов он вышел к ним. Бросив последний взгляд в зеркало, он понял, что лицо выдаст его, но это могло быть и потому, что он гляделся в зеркало с такой тревогой. Он не смел ни на кого взглянуть, боясь, что все следят за ним, но ему показалось, что сегодня они уж очень молчаливы.

И как он ни держал себя в руках, он не мог не прислушиваться и не мог скрыть того, что все время прислушивается. Вникал ли он в их разговор, старался ли думать о другом, говорил ли сам, или молчал, или с решимостью отсчитывал глухое тиканье часов за своей спиной, он вдруг забывал обо всем и начинал прислушиваться словно завороженный. Ибо он знал, что *это* должно прийти; а пока его кара, и мука, и отчаяние заключались в том, чтобы прислушиваться и ждать, когда оно придет.

Т-с-с!

ГЛАВА XLVIII

содержит известия о Мартине и Марке, равно как и о третьем лице, уже знакомом читателю. Показывает сыновнюю преданность в самом непривлекательном виде и проливает сомнительный свет на одно очень темное место

Том Пинч с сестрою сидели за ранним завтраком у открытого окна, которое Руфь сама уставила горшками с цветочной рассадой. Она вдела Тому в петлицу цветок герани, для того чтобы придать его туалету по-летнему свежий и нарядный вид (пришлось приколоть цветок, иначе этот славный Том непременно потерял бы его). По всей улице сновали продавцы цветов, выкрикивая свой товар; заблудившаяся пчела, попав между двумя оконными рамами, билась головой о стекло, стремясь вы-

рваться на волю и воображая себя околдованной, оттого что это ей не удается. А утро было такое ясное, какое редко приходится видеть; благорастворенный воздух ласкал Руфь и веял вокруг Тома, словно говоря: «Как поживаете, мои милые? Я прилетел издалека, нарочно для того, чтобы поздороваться с вами». Словом, это был один из тех радостных дней, когда у нас является, или должно явиться, желание, чтобы все на земле были счастливы, ловили проблески летней поры в сердце и наслаждались прелестью летнего утра.

Завтрак был даже приятнее обыкновенного, хотя он и всегда бывал приятен. Маленькая Руфь теперь занималась с двумя ученицами, с каждой по три раза в неделю и по два часа каждый раз; а кроме того, она разрисовала несколько экранов и бюваров для визитных карточек и, тайком от Тома (может ли быть что-нибудь восхитительнее!), зашла в одну лавку, торговавшую такими вещами, не один раз заглянув сначала в окно, и, набравшись храбрости, спросила хозяйку, не купит ли она ее работу. Хозяйка не только купила, но и заказала еще. И сегодня Руфь призналась в этом брату и передала ему деньги в маленьком кошельке, нарочно для того связанном. Оба они взволновались, а быть может, и прослезились от радости (во всяком случае, известные нам источники этого не опровергают), но теперь все уже улеглось, и светлое солнце с тех самых пор, как зашло вчера, не видывало лица светлее, чем у Тома или чем у Руфи.

— Милая моя девочка,— сказал Том, так неожиданно переходя к новой теме, что даже не успел отрезать себе кусок хлеба, и нож у него застрял в ковриге,— какой чудак наш хозяин! По-моему, он ни разу не был дома, после того как запутал меня в эту неприятную историю. Я начинаю думать, что он больше никогда не вернется домой! Какую загадочную жизнь ведет этот человек!

— Очень странную, не правда ли, Том?

— Действительно,— сказал Том,— надеюсь, что она только странная. Надеюсь, что в ней нет ничего худого. Иногда я начинаю в этом сомневаться. Мне надо будет с ним объясниться,— продолжал Том, кивая головой, как будто это была самая страшная угроза,— когда я его поймаю!

Два коротких стука в дверь прогнали с лица Тома угрожающее выражение, которое тут же сменилось удивлением.

— Вот так-так! — сказал Том.— Раненько для гостей! Это, наверно, Джон.

— Я... мне кажется, это не его стук,— заметила сестричка Тома.

— Нет? — сказал Том.— Но это, конечно, и не мой наниматель; не может быть, чтобы он приехал неожиданно в город, был направлен сюда мистером Фипсом и пришел за ключом от конторы. Это кто-то спрашивает меня, вот что! Войдите, пожалуйста!

Но едва посетитель вошел, Том Пинч, вместо того чтобы сказать: «Вы желали говорить со мной, сэр?», или «Моя фамилия Пинч, сэр, разрешите спросить, что вам угодно?», или вообще обратиться к нему с подобными сдержанными выражениями, воскликнул: «Боже милостивый!» — и схватил его за обе руки, живейшим образом выражая радость и изумление.

Гость был тронут не меньше Тома, и оба они без конца пожимали друг другу руки, причем ни с той, ни с другой стороны не сказано было больше ни слова. Том опомнился первый.

— И Марк Тэпли тоже! — воскликнул Том, подбегая к порогу и пожимая руку кому-то еще.— Дорогой Марк, входите же. Как вы поживаете, Марк? Он все такой же, как был в «Драконе», ничуть не постарел. Так как же вы поживаете, Марк?

— Необыкновенно весело, сэр, благодарю вас,— ответил мистер Тэпли.— Надеюсь, что вы в добром здоровье, сэр?

— Боже милостивый! — воскликнул Том, ласково похлопывая его по спине.— Какая это радость опять услышать его голос! Дорогой Мартин, садитесь. Моя сестра, Мартин. Мистер Чезлвит, душа моя! Марк Тэпли из «Дракона», милая. Боже правый, вот это так сюрприз! Садитесь. Господи помилуй!

Том был до такой степени взволнован, что ни минуты не мог посидеть спокойно, но все время бегал от Марка к Мартину, пожимая попеременно руки то тому, то другому и снова и снова представляя их своей сестре.

— Я помню день, когда мы расстались, Мартин, так ясно, как будто это было вчера,— воскликнул Том.— Какой это был день! И в какой вы были горячке! А помните, как я нагнал вас по дороге, Марк, когда я ездил за ним в двуколке, а вы ходили искать места? А вы, Мартин, помните, как мы с вами обедали в Солсбери вместе с Джоном Уэстлоком, а? Боже ты мой милостивый! Руфь, дорогая,— мистер Чезлвит. Марк Тэпли, голубка,— из «Дракона». Еще две чашки с блюдечками, пожалуйста. Помилуй бог, как же я рад видеть вас обоих!

И тут он (как в свое время Джон Уэстлок при его появлении) бросился готовить для них бутерброды, но, не намазав маслом и одного куска хлеба, вспомнил еще что-то и побежал опять рассказывать; потом снова начал пожимать им руки, затем снова представил их своей сестре; потом снова проделал все то, что уже сделал однажды; но что бы он ни делал и что бы ни говорил — все это не могло и вполовину выразить его радость по поводу их благополучного возвращения.

Мистер Тэпли успокоился первым. По прошествии самого непродолжительного времени выяснилось, что он каким-то образом определил себя в официанты или в прислужники для всего общества, что было обнаружено, когда он отлучился на время в кухню и быстро вернулся с котелком кипящей воды, из которого налил чайник с невозмутимостью, свойственной ему одному.

— Сядьте и позавтракайте, Марк,— сказал Том.— Заставьте его сесть и позавтракать, Мартин.

— Я давно махнул на него рукой, он неисправим,— ответил Мартин.— Он все делает по-своему, Том. Вы бы извинили его, мисс Пинч, если бы знали ему цену.

— Она знает, господь с вами! — сказал Том.— Я ей рассказал про Марка Тэпли все, все решительно! Ведь рассказал, Руфь?

— Да, Том.

— Нет, не все,— возразил Мартин, понизив голос.— Самое лучшее о Марке Тэпли известно только одному человеку; и если б не Марк, он вряд ли остался бы жив, чтобы рассказать об этом.

— Марк! — настойчиво сказал Том Пинч.— Если вы не сядете сию минуту, я с вами поссорюсь!

— Что ж, сэр,— возразил мистер Тэпли,— уж лучше я послушаюсь, чем вас до этого доводить. Когда человека так хорошо встречают, это просто посягательство на его веселость; но глагол есть часть речи, которая обозначает существование, действие или страдание (вот и все, чему меня учили из грамматики, да и того много), и если есть на свете живой глагол, то это я. Потому что я всегда существую, иногда действую и постоянно страдаю.

— Пока еще не веселы? — с улыбкой спросил Том.

— Не скажите, за морем я был довольно-таки весел, сэр,— отвечал мистер Тэпли,— и не без заслуги с моей стороны. Но человеческая природа в заговоре против меня, сэр; тут уж ничего не поделаешь. Придется завещать, сэр, чтобы на моей могиле написали: «Он был такой человек, что мог бы показать себя при случае, только случая ему не представилось».

Облегчив таким образом душу, мистер Тэпли ухмыльнулся и обвел всех взглядом, а затем набросился на завтрак с аппетитом, который отнюдь не свидетельствовал о погибших надеждах или неодолимой тоске.

Мартин тем временем, придвинув стул поближе к Тому Пинчу и его сестре, рассказал им обо всем, что произошло в доме мистера Пекснифа, а также вкратце упомянул о тех невзгодах и разочарованиях, которые ему пришлось пережить после отъезда из Англии.

— За ту верность, с какой вы исполнили возложенное на вас поручение, Том,— сказал он,— и за всю вашу доброту и бескорыстие я никогда не смогу отблагодарить вас... Прибавьте благодарность Мэри к моей...

Ах, Том! Вся кровь отхлынула у него от щек и так бурно прилила к ним вновь, что чувствовать это было мучительно; но боль эта не могла сравниться с той, которая терзала его сердце.

— Прибавьте благодарность Мэри к моей,— продолжал Мартин,— и это будет единственное, чем мы можем выразить нашу признательность; но если б вы знали, что мы чувствуем, вы бы оценили ее, Том.

А если б они знали, что чувствует Том,— но этого не знала ни одна живая душа,— они тоже оценили бы его; без сомнения, оценили бы.

Том перевел разговор на другое. Он очень жалел, что не в силах говорить на тему, которая доставляла Мартину такое удовольствие, но в эту минуту он просто не мог. Ни капли зависти или горечи не было в его душе, но он был не в силах произнести твердым голосом ее имя.

Он спросил, что думает делать Мартин.

— Уже не покровительствовать вам,— отвечал Мартин,— но как-нибудь самому стать на ноги. Я пытался однажды в Лондоне, Том, и потерпел неудачу. Если вы мне поможете дружеским советом и руководством, то, я думаю, мне это удастся лучше. Я готов делать все, лишь бы своим трудом заработать себе на хлеб. Мои надежды не заходят дальше этого.

Великодушный, благородный Том! Огорченный тем, что смирилась гордость его старого товарища, и тем, что в его голосе слышались теперь совсем другие ноты, он сразу же, сразу преодолел слабость, мешавшую ему справиться с глубоким волнением, и заговорил мужественно.

— Ваши надежды не заходят дальше этого? — воскликнул Том.— В том-то и дело, что заходят. Как вы можете говорить так? Вы будете счастливы с нею, Мартин. Они воспаряют к тому времени, когда вы сможете предъявить на нее права, Мартин. К тому времени, когда вы первый откажетесь верить, что когда-то падали духом и знали бедность, Мартин. Дружеский совет и руководство! Ну, разумеется. Но у вас будет совет и руководство лучше моих (хотя и не более дружеские). Вы посоветуетесь с Джоном Уэстлоком. Мы к нему отправимся немедленно. Сейчас еще так рано, что я успею отвести вас к нему на квартиру, перед тем как идти на службу,— это мне по дороге,— и оставлю вас там, чтобы вы поговорили с ним о своих делах. Так пойдемте же, пойдемте. Я теперь, знаете ли, человек занятой,— сказал Том с самой приятной из своих улыбок,— и не могу попусту терять время. Ваши надежды не заходят дальше этого? А по-моему, заходят. Я вас очень хорошо знаю, Мартин. Они скоро зайдут так далеко, что оставят всех нас позади.

— Да, но я, быть может, немножко изменился с тех пор, как вы меня знали, Том,— сказал Мартин.

— Что за пустяки! — вскричал Том.— С какой стати вам меняться? Вы говорите точно старик. Никогда не

слыхал ничего подобного! Идем к Джону Уэстлоку, идем! Идемте, Марк Тэпли. Это все Марк виноват, и сомневаться нечего; и поделом вам, зачем брали такого брюзгу в компаньоны!

— С вами поневоле будешь веселым, мистер Пинч,— отвечал Марк Тэпли, у которого по всему лицу пошли морщинки от смеха.— С вами и приходский доктор будет веселым. Побывав у вас, человеку нетрудно стать веселым, разве только его опять понесет нелегкая в Соединенные Штаты!

Том засмеялся и, простившись с Руфью, поскорей повел Марка и Мартина на улицу, а затем и к Джону Уэстлоку — ближней дорогой, потому что ему пора было отправляться на службу, а он гордился тем, что всегда приходил вовремя.

Джон Уэстлок был дома, но, удивительное дело, сильно смутился, увидав их, а когда Том хотел войти в комнату, где он завтракал, сказал, что у него сидит незнакомый человек. Это был, по-видимому, весьма загадочный незнакомец, потому что Джон закрыл дверь и повел их в другую комнату.

Однако он очень обрадовался, увидев Марка Тэпли, и принял Мартина со свойственным ему радушием. Впрочем, Мартин чувствовал, что не внушает хозяину особенной симпатии, и раза два подметил, что он смотрит на Тома с сомнением, чтобы не сказать с жалостью. Он подумал, что знает этому причину, и покраснел при этой мысли.

— Я опасаюсь, что вы заняты,— сказал Мартин, когда Том рассказал, зачем они пришли.— Если вы назначите мне другое время, более для вас удобное, я буду очень рад.

— Да, я занят,— отвечал Джон не совсем охотно,— но дело это такого рода, сказать по правде, что требует скорее вашего вмешательства, чем моего.

— Вот как? — отозвался Мартин.

— Оно касается одного из членов вашей семьи и носит весьма серьезный характер. Если вы будете так добры подождать, я с удовольствием сообщу вам с глазу на глаз, в чем оно заключается, чтобы вы могли судить, насколько оно важно для вас.

— А я тем временем должен уйти отсюда, нимало не задерживаясь,— сказал Том.

— Неужели ваше дело такое спешное, что вы не можете побыть с нами хоть полчаса? — спросил Мартин.— Я бы очень этого хотел. Что у вас за работа, Том?

Теперь настал черед Тома смутиться, но после недолгого колебания он ответил прямо:

— Я не могу сказать, в чем она заключается, Мартин, хотя, надеюсь, в скором времени это будет можно, да и сейчас у меня нет никакой другой причины молчать, кроме просьбы моего хозяина. Положение самое неприятное,— продолжал Том, испытывая неловкость оттого, что могло показаться, будто он не доверяет своему другу,— и я это чувствую каждый день, но сделать тут ничего не могу; правда, Джон?

Джон Уэстлок подтвердил это, и Мартин, выразив полное свое удовлетворение, просил Тома больше не упоминать об этом, хотя про себя не мог не подивиться, что за странная должность у Тома и почему он бывает так скрытен, смущен и непохож на себя, как только речь заходит о его службе. Он не раз возвращался к этой мысли и после ухода Тома, который удалился сразу же, как только окончен был этот разговор, и захватил с собой мистера Тэпли, заметив с улыбкой, что он может беспрепятственно сопровождать его до Флит-стрит.

— А что собираетесь делать вы, Марк? — спросил Том, когда они вышли вместе на улицу.

— Собираюсь делать, сэр? — переспросил мистер Тэпли.

— Да. Какую часть вы себе избрали?

— Что ж, сэр,— ответил мистер Тэпли,— сказать по правде, я подумывал насчет супружества, сэр.

— Да что вы говорите, Марк? — воскликнул Том.

— Да, сэр, была у меня такая мысль.

— И кто же ваша нареченная, Марк?

— Моя кто, сэр? — спросил мистер Тэпли.

— Нареченная. Да будет вам! Вы не хуже моего понимаете, о чем я говорю,— возразил Том, смеясь.

Мистер Тэпли сдержал разбиравший его смех и ответил с одним из самых лукавых своих взглядов:

— А разве так уж трудно догадаться, мистер Пинч?

— Как же это можно? — сказал Том.— Право, я не знаю ни одной вашей симпатии, кроме миссис Льюпин.

— Что ж, сэр! — возразил мистер Тэпли.— А если предположить, что это она?

Том остановился посреди улицы, чтобы взглянуть на него, но мистер Тэпли предъявил его взорам в высшей степени невозмутимую и лишенную всякого выражения физиономию — совершенно как глухая стена. Однако, с поразительной быстротой открывая в ней окно за окном и зажигая в них свет как бы для полной иллюминации, он выразительно повторил:

— А если предположить, хотя бы просто ради спора, что это она, сэр?

— Но я думал, что такая партия вам ни в коем случае не подойдет, Марк! — воскликнул Том.

— Что ж, сэр, я и сам так думал когда-то,— сказал Марк.— Но теперь я в этом не уверен. Милая, приятная женщина, сэр!

— Милая, приятная женщина! Разумеется,— отозвался Том.— Но ведь она и всегда была милая и приятная, разве нет?

— Конечно! — согласился мистер Тэпли.

— Так почему же вы не женились на ней с самого начала, Марк, вместо того чтобы скитаться по заграницам и терять время, оставляя ее одну, чтобы к ней сватались другие?

— Да что ж, сэр,— возразил мистер Тэпли, настроившись на безграничное доверие,— я вам расскажу, как это вышло. Вы меня знаете, мистер Пинч; ни одна живая душа не знает меня лучше. Вам известны мои склонности, и вам известны мои слабости. Моя главная склонность — быть веселым; а моя слабость — желать, чтобы это считали заслугой. Очень хорошо, сэр. В таком расположении я забираю себе в голову, будто она смотрит на меня... как говорится, благосклонно,— правда, сэр? — сказал мистер Тэпли после некоторого деликатного колебания.

— Без сомнения,— ответил Том.— И мы с вами это отлично знали, когда разговаривали на эту тему давным-давно, еще до того, как вы ушли из «Дракона».

Мистер Тэпли кивнул в знак согласия.

— То-то и оно, сэр! Но, будучи в то время полон самых радужных надежд, я пришел к заключению, что никакой заслуги не будет в том, чтобы вести такую жизнь, когда все приятности, так сказать, сами идут к вам в руки. Словом, при моей склонности видеть жизнь в розовом свете, я рассчитывал, что меня ожидает много всяких несчастий; тут-то, думалось мне, я и смогу как следует показать себя и быть веселым при таких обстоятельствах, когда это можно считать заслугой. Пустился я по свету, сэр, настроенный весьма жизнерадостно, и что же вышло? Сначала я попадаю на корабль и очень скоро обнаруживаю (оттого, что мне нетрудно быть веселым, заметьте), что особенно хвалиться нечем. Я бы мог это счесть за предостережение и бросить, да вот не счел. Приезжаю в Соединенные Штаты, и тут, не стану отрицать, в первый раз чувствую, что есть заслуга в том, чтобы не падать духом. И что же? Только бы мне развернуться и показать себя, уже дело совсем дошло до этого, и вдруг мой хозяин меня подвел.

— Быть не может! — вскричал Том.

— Проще говоря, надул меня,— подтвердил мистер Тэпли, весь сияя,— бросил прежние свои замашки, так что служить стало легко, и этим посадил меня на мель без всяких объяснений. В таком состоянии я возвращаюсь домой. Очень хорошо. Все мои надежды разбиты, и, видя, что нет такого уголка в мире, где я мог бы показать себя, я говорю, махнув на все рукой: «Так сделаю же то, в чем никакой заслуги нету: женюсь на милой, приятной женщине, которая меня очень любит,— и которую я тоже очень люблю,— заживу мирно и весело и перестану сопротивляться судьбе, раз она устраивает мое счастье».

— Хоть ваша философия, Марк,— сказал Том, от души смеявшийся этой речи,— и самая необыкновенная, о какой я слышал, она от этого не становится менее мудрой. Миссис Льюпин, разумеется, ответила согласием?

— Да нет, сэр,— возразил мистер Тэпли,— до этого дело еще не дошло. Главным образом потому, я думаю, что я ее не спрашивал. Но мы с ней очень хорошо поговорили, можно сказать, договорились в тот вечер, когда я вернулся. Все как полагается, сэр.

— Ну,— сказал Том, останавливаясь у ворот Тэмпла,— поздравляю вас, Марк, от всего сердца. Мы с вами еще увидимся сегодня, я думаю. Всего хорошего пока что.

— Всего хорошего, сэр! Всего хорошего, мистер Пинч,— прибавил Марк уже в качестве монолога, глядя ему вслед,— хоть вы и камень преткновения для благородного честолюбия. Вы, сами того не зная, первый разбили мои надежды. У Пекснифа я вознесся бы до небес, а ваш кроткий характер тянет меня вниз. Всего хорошего, мистер Пинч!

Пока Том Пинч с Марком беседовали по душам, Мартин с Джоном Уэстлоком были заняты совсем иным делом. Как только они остались вдвоем, Мартин сказал с видимым затруднением:

— Мистер Уэстлок, мы с вами виделись всего один раз, но вы давно знаете Тома и оттого кажетесь мне старым знакомым. И я не буду в состоянии говорить с вами свободно, пока не выскажу того, что гнетет меня. Мне больно видеть, что вы не доверяете мне и считаете меня способным злоупотребить бескорыстием Тома, или его добротой, или другими его хорошими свойствами.

— Я не хотел произвести на вас такое впечатление,— ответил Джон,— и очень жалею, что так вышло.

— Но я верно вас понял?

— Вы спрашиваете настолько прямо и решительно,— ответил Джон,— что я не стану отрицать,— да, я привык думать, что вы — не по злой воле, а просто по беспечности — мало считаетесь с его натурой и уважаете его меньше, чем он того заслуживает. Гораздо легче пренебрегать Томом, чем оценить его.

Это было сказано без всякой запальчивости, но с достаточной силой, ибо не было другого предмета на свете (кроме одного), который Джон принимал бы ближе к сердцу.

— Я узнавал Тома постепенно, по мере того как становился взрослым,— продолжал он,— и научился его любить как человека, который бесконечно лучше меня самого. Когда мы с вами встретились, мне показалось, что вы его не понимаете. Мне показалось, что вы и не

очень хотите его понять. Примеры, которые мне пришлось наблюдать, да и самые случаи, дававшие повод к таким наблюдениям, были очень незначительны и безобидны. Но мне они бросились в глаза и были неприятны; а ведь я не подстерегал их, поверьте. Вы скажете,— прибавил Джон с улыбкой, впадая в более привычный для него тон,— что я отнюдь не любезен с вами. Могу только уверить вас, что сам я ни в коем случае не начал бы этого разговора.

— Начал его я,— сказал Мартин,— и вовсе не в обиде на вас; напротив, я высоко ценю ту дружбу, которую вы питаете к Тому и которую много раз ему доказывали. Зачем бы я стал таиться от вас,— однако он густо покраснел при этом,— да, действительно, я не понимал Тома и не старался понять, когда был его товарищем, и теперь искренне сожалею об этом.

Это было сказано с такой прямотой, так скромно и так мужественно, что Джон протянул Мартину руку, словно еще не здоровался с ним; Мартин так же открыто подал ему свою, и всякая натянутость между молодыми людьми исчезла.

— А теперь прошу вас,— сказал Джон,— если вам надоест меня слушать, вспомните, что всему есть конец, а в конце-то и заключается вся суть моего рассказа.

После такого предисловия он рассказал обо всем, что было связано с болезнью и медленным выздоровлением пациента, который лежал в гостинице под вывеской «Бык», а также обо всем, что Том Пинч видел на пристани. Мартин был немало озадачен, когда Джон дошел до конца, оставив его, как говорится, в потемках, ибо между тем и другим, по-видимому, не было никакой связи.

— Если вы извините меня на минуту,— сказал Джон, вставая,— я сейчас же вернусь и попрошу вас пройти в соседнюю комнату.

С этими словами он оставил Мартина одного, в полном недоумении, и скоро вернулся, чтобы исполнить свое обещание. Войдя за ним в соседнюю комнату, Мартин нашел там третье лицо — без сомнения, того незнакомца, на которого Джон сослался, когда они с Томом пришли сюда.

Это был молодой человек с черными как уголь волосами и глазами. Он был худ и бледен и, по-видимому, только недавно оправился от тяжелой болезни. Он стоял, когда молодые люди вошли, но снова сел по просьбе Джона. Его глаза были опущены, и, бросив один лишь взгляд на Джона и Мартина, смиренный и умоляющий, он уже не поднимал их более и сидел молча и совершенно не двигаясь.

— Фамилия этого человека Льюсом,— сказал Джон Уэстлок,— я вам уже говорил, что он слег в гостинице по соседству и перенес тяжелую болезнь. С тех пор как он начал поправляться, ему пришлось пережить очень многое, но, как вы видите, теперь он здоров.

Молодой человек не пошевельнулся и не произнес ни слова, и так как в разговоре наступила пауза, Мартин, не найдя ничего лучшего, сказал, что он очень этому рад.

— Я бы желал, мистер Чезлвит, чтобы вы выслушали из его собственных уст краткое сообщение,— продолжал Джон, пристально глядя на черноволосого юношу, а не на Мартина,— которое он впервые сделал мне вчера и повторил сегодня утром, без каких-либо существенных изменений. Я уже говорил вам, что еще до того, как мистера Льюсома увезли из гостиницы, он заявил, что хочет открыть мне тайну, которая тяжко гнетет его душу. Но, находясь на пороге выздоровления и колеблясь между желанием облегчить душу и боязнью нанести себе непоправимый вред, если он раскроет эту тайну, мистер Льюсом до вчерашнего дня молчал о ней. Я не принуждал его говорить (не зная, в чем заключается и насколько важна эта тайна и имею ли я на это право), пока, несколько дней тому назад, не убедился, получив от него письмо с добровольным признанием, что она имеет отношение к человеку, которого зовут Джонас Чезлвит. Думая, что это может пролить свет на загадочную историю, которая время от времени тревожит Тома, я указал на это мистеру Льюсому и услышал из его уст то, что теперь услышите вы. Следует сказать, что, находясь при смерти, мистер Льюсом изложил все это письменно, запечатал бумагу и адресовал мне, однако никак не мог решиться передать ее из рук в руки. Я думаю, она и сейчас спрятана у него на груди.

Молодой человек поспешно поднес руку к груди, как бы в подтверждение этих слов.

— Было бы, пожалуй, лучше, если б вы доверили ее нам,— сказал Джон,— но сейчас это не так важно.

Он поднял руку, чтобы привлечь внимание Мартина. Но последний и без того не сводил глаз с молодого человека, который, помолчав немного, сказал тихим, слабым, глухим голосом:

— Кем приходится вам мистер Энтони Чезлвит, который...

— Который умер — кем он приходится мне? — спросил Мартин.— Это брат моего деда.

— Боюсь, что он умер не своей смертью,— он был убит!

— Боже мой! — сказал Мартин.— Кем же?

Молодой человек, Льюсом, взглянул ему в лицо и, снова опустив глаза, ответил:

— Боюсь, что мною.

— Вами! — вскричал Мартин.

— Не мною непосредственно, но боюсь, что с моей помощью.

— Говорите же,— сказал Мартин,— и говорите правду.

— Боюсь, что это и есть правда.

Мартин хотел снова прервать его, но Джон Уэстлок сказал тихонько: «Пусть рассказывает по-своему»,— и Льюсом продолжал:

— Я готовился стать хирургом и последние годы работал помощником у одного врача в Сити. Будучи у него на службе, я познакомился с Джонасом Чезлвитом. Он и есть главный виновник.

— Что вы хотите этим сказать? — сурово спросил Мартин.— Знаете ли вы, что он сын того, о ком вы только что говорили?

— Знаю,— ответил Льюсом.

Он помолчал с минуту, потом продолжал с того места, где остановился:

— Мне ли этого не знать, когда я много раз слышал, как он желает отцу смерти, как жалуется, что старик ему надоел, сделался для него обузой. У него вошло в привычку клясть отца всякий раз, когда мы собирались по

вечерам втроем или вчетвером. Ничего хорошего там не было,— можете судить сами, когда я вам скажу, что он считался у нас первым коноводом. Лучше бы мне было умереть и не видеть всего этого!

Он снова умолк и продолжал снова:

— Мы сходились пить и играть — не на большие деньги, но для нас они были большие. Он обыкновенно выигрывал. Но выигрывал или нет, он всегда давал проигравшим взаймы под проценты; и таким образом, хотя все мы втайне его ненавидели, он приобрел над нами власть. Чтобы задобрить его, мы подшучивали над его отцом — в первую голову его должники, я был одним из них — и пили за скорый конец для старика и за наследство для сына.

Льюсом опять замолчал.

— Однажды вечером он явился сильно не в духе. Старик в этот день ему очень докучал, по его словам. Мы сидели вдвоем, и он сердито рассказывал мне, что старик впал в детство, что он одряхлел, ослаб, выжил из ума, стал в тягость себе и другим и было бы просто милосердием убрать его. Он клялся, что нередко думает о том, не подсыпать ли ему в лекарство от кашля чего-нибудь такого, что помогло бы ему умереть легкой смертью. Ведь приканчивают людей, укушенных бешеной собакой, говорил он; так почему же отказывать в этой милости старикам, которые сильно зажились, почему не избавить их от страданий? Он смотрел мне прямо в глаза, говоря это, и я смотрел ему в глаза, но дальше в тот вечер не пошло.

Он еще раз остановился и молчал так долго, что Джон Уэстлок сказал ему: «Продолжайте». Мартин не отрывал глаз от его лица; он был так потрясен, что не мог говорить.

— Быть может, спустя неделю, а быть может, немного раньше или позже,— но когда именно, я не могу вспомнить, хотя все это дело не выходит у меня из головы,— он заговорил со мной снова. Мы опять были одни, потому что не наступил еще час, когда обычно собиралась компания. Мы не уговаривались, но я искал встречи с ним и знаю, что он тоже искал встречи со мной. Он явился первым. Когда я вошел, он читал газету и кивнул мне, не

поднимая глаз и не отрываясь от чтения. Я сел против него, очень близко. Он тут же сказал мне, что ему нужно достать двух сортов лекарство: одно такое, чтобы действовало мгновенно,— этого ему нужно было совсем немного; и такое, которое действует медленно, не внушая подозрений,— этого ему нужно было больше. Говоря со мной, он делал вид, будто читает газету. Он говорил «лекарство» и ни разу не назвал его другим словом. Я — тоже.

— Все это совпадает с тем, что я уже слышал,— заметил Джон Уэстлок.

— Я спросил, для чего ему нужны лекарства. Он сказал, что вреда никому не будет, лекарства — для кошки, а впрочем, какое мне до этого дело? Ведь я уезжаю в отдаленную колонию (я тогда только что получил назначение, которое, как известно мистеру Уэстлоку, потерял по болезни и которое одно могло меня избавить от гибели), так какое же мне до этого дело? Он мог бы достать их в сотне мест и помимо меня, но достать через меня ему гораздо проще. Это была правда. Они, может быть, и совсем ему не понадобятся, говорил он, во всяком случае сейчас он не думает пускать их в ход, но ему хочется иметь их под рукой. И все это время он не отрывал глаз от газеты. Мы сговорились о цене. Он готов был простить мне маленький долг — я был совершенно в его власти — и заплатить пять фунтов; и тут мы оставили этот разговор, потому что пришли другие. Но на следующий вечер, при точно таких же обстоятельствах, я передал ему лекарства, после того как он сказал, что глупо с моей стороны думать, будто он употребит их комунибудь во вред, и заплатил мне деньги. С тех пор мы больше не встречались; я знаю только, что бедный его старик отец в скором времени умер, и именно так, как должен был умереть при данных обстоятельствах, и что я после этого терпел и сейчас терплю невыносимые страдания. Никакие слова,— прибавил он, простирая вперед руки,— не могут описать моих страданий! Они заслужены мной, но ничто не может передать их.

Тут он повесил голову и умолк. Он был так измучен и жалок, что не стоило осыпать его упреками, к тому же бесполезными.

— Пусть останется под рукой,— сказал Мартин, отворачиваясь от него,— но только уберите его куда-нибудь, ради бога!

— Он останется здесь,— шепнул Джон.— Идемте со мной! — Выйдя из комнаты и тихонько повернув ключ в замке, он повел Мартина в соседнюю комнату, где они сидели раньше.

Мартин был настолько потрясен и ошеломлен рассказом Льюсома, что прошло немало времени, прежде чем ему удалось собраться с мыслями и привести все слышанное в какой-то порядок, понять соотношение отдельных частей и охватить все подробности. Когда он составил себе ясное представление о деле, Джон Уэстлок высказал догадку, что преступление Джонаса, по всем вероятиям, известно и другим людям, которые пользуются этим в своих целях и держат его в повиновении, чему Том Пинч был случайным свидетелем и невольным помощником. Оба они согласились, что, верно, так и есть, но, вместо того чтобы облегчить им решение задачи, эта догадка еще больше запутала дело.

Но кто же эти лица, которые держат Джонаса в своей власти? Единственным, кого они более или менее знали, был хозяин Тома. Однако они не имели никакого права его расспрашивать, даже если бы разыскали, что, по словам Тома, было не так легко сделать. Но если даже допустить, что они его спросят и он ответит им (а это значило допустить очень много), разве он не мог сказать относительно происшествия на пристани, что его послали за Джонасом, который понадобился по какому-то важному делу, и тем бы кончился разговор.

Кроме того, было чрезвычайно затруднительно предпринять что-либо. Рассказ Льюсома мог оказаться неверным; при таком болезненном состоянии все могло быть сильно преувеличено его расстроенным воображением; и если даже допустить, что это чистая правда, старик все же мог умереть своей смертью. Мистер Пексниф гостил у них в то время,— как сразу вспомнил Том, который, вернувшись в середине дня, принял участие в совещании,— и никакой тайны тогда из этого не делали. Одному только дедушке Мартина принадлежало право решить, как тут действовать; но узнать его мнение было

невозможно, ибо он, конечно, согласится с мистером Пекснифом. А какого мнения мистер Пексниф о собственном зяте, предугадать нетрудно.

Помимо этих соображений, для Мартина была невыносима мысль, что он, по видимости, готов ухватиться за это чудовищное обвинение против своего родича и воспользоваться им как ступенью к милостям дедушки. Он отлично знал, что такова будет видимость: стоит ему явиться к дедушке в дом мистера Пекснифа, для того чтобы сообщить об этом, и уж мистер Пексниф не упустит случая изобразить его поведение в самом непривлекательном свете. С другой стороны, располагать таким показанием и не принять никаких мер к расследованию дела было равносильно сообщничеству в преступлении, которое разоблачил Льюсом.

Словом, они были совершенно неспособны найти такой выход из лабиринта, который не вел бы через дебри новых осложнений. И хотя тайну вскоре доверили мистеру Тэпли и богатое воображение этого джентльмена измыслило множество рискованных средств, которые, надо отдать ему должное, он был готов немедленно пустить в ход под своей личной ответственностью, все же эти предложения ничему не помогли и только дали выход рвению мистера Тэпли.

При таком положении дел рассказ Тома о странном поведении дряхлого конторщика за вечерним чаепитием приобрел особенную важность и в конце концов убедил друзей в том, что самым верным шагом для установления истины было бы узнать, в какой мере можно положиться на умственные способности старика и на его память. Удостоверившись сначала, что Льюсом и мистер Чаффи никогда прежде не виделись и что подозрения старика возникли из другого источника, они единогласно решили, что старый конторщик и есть тот человек, который им нужен.

Но, как это часто бывает с единодушными решениями, вынесенными на общественных собраниях и провозглашающими, что то или иное притеснение невозможно терпеть ни минуты долее, а его тем не менее приходится терпеть еще лет сто или двести, и притом без всяких послаблений, они достигли этим только одного: вывода,

что между ними нет разногласий. Что они нуждались в мистере Чаффи было одно дело, а как до него добраться — совсем другое; а между тем добраться до Чаффи, не встревожив его самого, не встревожив Джонаса и не убоявшись трудности сыграть на таком расстроенном и давно вышедшем из употребления инструменте то самое, что им требовалось,— эта цель была от них все так же далека, как и прежде.

Затем встал вопрос, кто из окружавших в тот вечер старого конторщика имел на него больше влияния? Несомненно, его молодая хозяйка, сказал Том. Но и Тома и всех остальных отталкивала мысль обмануть молодую женщину, сделав ее невольной причиной гибели своего жестокого мужа. Разве никого больше нет? Как же, конечно есть. Совершенно в другом роде, сказал Том, но влияние на Чаффи имела и миссис Гэмп, та сиделка, у которой он одно время был под началом.

Они сразу ухватились за эту мысль. Это был новый выход, продиктованный обстоятельствами, которых они до сих пор не принимали в расчет. Джон Уэстлок знал миссис Гэмп. Он давал ей работу: ему было известно, где она живет, так как добрая женщина любезно вручила ему при расставании целую кипу своих визитных карточек для раздачи знакомым. Было решено, что к миссис Гэмп надо подойти со всей осторожностью, но нимало не откладывая, и разузнать, что этой благоразумной матроне известно относительно мистера Чаффи и способов сообщения с ним.

Мартин с Джоном Уэстлоком решили заняться этим нынче же вечером, посетив миссис Гэмп сначала на дому, в надежде застать ее среди отдохновений частной жизни; в случае же неудачи разыскать ее вне дома, при исполнении профессиональных обязанностей. Том вернулся в Излингтон, чтобы не упустить случая повидаться с мистером Неджетом и быть на месте, если он вдруг появится. А мистер Тэпли остался на время в Фэрнивелс-Инне приглядывать за Льюсомом, которого, однако, вполне можно было предоставить самому себе, поскольку у него и мысли не было улизнуть от них.

Прежде чем разойтись с разными поручениями, они заставили его прочесть вслух ту бумагу, которая была

при нем, а также и приписку, гласившую, что все это написано им на случай смерти, добровольно и по велению совести. А после того как он прочел бумагу, все подписались и, взяв ее, заперли с его согласия в сохранном месте.

По совету Джона, Мартин тут же написал письмо попечителям пресловутой начальной школы, где отважно заявил, что план, имевший такой успех, принадлежит ему, и где он обвинял мистера Пекснифа в подлоге. Этим делом Джон также горячо заинтересовался, заметив с обычной своей непочтительностью, что мистер Пексниф всю свою жизнь был удачливым мошенником и что его, Джона, очень порадует, если он поможет Пекснифу получить по заслугам, хотя бы дело шло о пустяках.

Хлопотливый день! Но Мартину было еще негде жить, и, как только они обо всем договорились, он ушел на поиски квартиры, отказавшись пообедать с Джоном Уэстлоком. После долгих трудов ему удалось найти две чердачных комнатки для себя и Марка в одном из дворов на Стрэнде, неподалеку от Тэмпла. Багаж, дожидавшийся их в конторе дилижансов, он переправил в это новое убежище, а после того стал прохаживаться взад и вперед по двору Тэмпла, закусывая мясным пирогом вместо обеда и весь сияя от радости,— которой он в прошлом никогда не испытывал и не понимал, будучи отъявленным эгоистом,— от радости, что он избавил Марка от стольких трудов.

ГЛАВА XLIX,

в которой миссис Гаррис при содействии чайника является причиной раздора между подругами

Квартира миссис Гэмп на Кингсгейт-стрит в Верхнем Холборне облачилась, выражаясь образно, в парадное одеяние. Ее подмели и прибрали для приема гостьи. Эта гостья была Бетси Приг — миссис Приг, от Бартлеми, или, как говорят некоторые,— Барклеми, или, как говорят

другие,— Бардлеми; под всеми этими ласковыми и фамильярными прозвищами лица той профессии, украшением которой являлась миссис Приг, подразумевали больницу св. Варфоломея.

Квартира миссис Гэмп была не так велика, но человеку невзыскательному и чулан кажется дворцом; и, возможно, комната на втором этаже, с окнами на улицу, в доме мистера Свидлпайпа представлялась фантазии миссис Гэмп величественным чертогом. Пусть это было не совсем так с точки зрения людей капризных и привередливых, зато комната совмещала в себе столько удобств, сколько можно было ожидать от помещения таких размеров, не доводя оптимизм до крайности. Не забывайте только про кровать, и вы останетесь целы и невредимы. В этом и заключалась вся суть. Если ни на минуту не забывать о кровати, можно было даже наклониться и поискать под круглым столиком какую-нибудь оброненную вещь, не рискуя очень сильно ушибиться о комод, или, свалившись в камин, попасть на излечение к св. Варфоломею.

Стараниям гостей неустанно помнить о кровати очень помогали размеры этого предмета обстановки, которые были весьма обширны. Это была не складная кровать, и не французская кровать, и не кровать с четырьмя колонками, а то, что поэтически именуется кроватью с пологом; матрац был сильно продавлен и отвис, так что сундук миссис Гэмп входил под кровать только наполовину, угрожая ногам, а также душевному спокойствию непривычного посетителя. Раму, которая должна была поддерживать балдахин и занавеси, ежели бы они имелись, украшали точеные деревянные шишки, которые падали от малейшего сотрясения, а нередко и без всякого повода, наводя неописуемый страх на мирного гостя.

Самая кровать была застлана лоскутным одеялом глубокой древности; а у изголовья, с той стороны, что поближе к дверям, висела жиденькая занавесочка в синюю клетку, препятствуя зефирам, гулявшим по Кингсгейт-стрит, навещать миссис Гэмп слишком уж бесцеремонно. Порыжелые платья и другие принадлежности туалета этой дамы висели над кроватью; от долгого ношения они настолько верно повторяли ее формы, что не один нетер-

пеливый муж, стремительно вбегая к ней в сумерки, на мгновение останавливался как вкопанный, вообразив, будто миссис Гэмп повесилась. Некий джентльмен, пришедший с обычной экстренной просьбой, выразился даже так, будто эти платья похожи на ангелов, охраняющих ее сон. Но это, как заметила миссис Гэмп, «был у него первенький», и после того он ни разу не повторил своего комплимента, хотя его визиты повторялись часто.

Кресла в квартире миссис Гэмп были очень большие, с очень широкими спинками, и по этой более чем достаточной причине их было всего два. Это были старинные кресла с подлокотниками, оба красного дерева, и отличались они главным образом скользкостью сидений, первоначально обитых волосяной материей, а теперь —какой-то лоснящейся тканью синеватого оттенка, с которой гость начинал в ужасе скатываться, еще не успев как следует усесться. Недостаток в стульях восполнялся у миссис Гэмп изобилием картонок, которых у нее набралась целая коллекция; и употреблялись они для хранения самых разнообразных ценностей, отнюдь не находившихся, однако, в такой сохранности, как приятно было воображать этой доброй женщине; ибо, хотя все картонки были тщательно закрыты крышками, ни у одной из них не имелось дна, почему хранившаяся в каждой из них собственность была как бы прикрыта гасильником. Маленький комод, которому предназначалось стоять на другом комоде, большом, оставшись сам по себе, выглядел очень мизерно и казался каким-то карликом; зато по части сохранности вещей у него имелось большое преимущество перед картонками, ибо все ручки у него давным-давно отлетели и потому добраться до содержимого было нелегко. Это можно было проделать только двумя способами: или наклонив все сооружение вперед, пока все ящики не вывалятся разом, или же открывая их поодиночке ножом, как устрицы.

Все свои припасы миссис Гэмп хранила в маленьком шкафчике рядом с камином, начиная с угля — в самом низу (как и в природе) и кончая спиртным — на самом верху, которое она из скромности держала в чайнике. Каминную полку украшал небольшой календарь

с собственноручными пометками миссис Гэмп возле тех чисел, когда должна была разродиться какая-нибудь из ее клиенток. Кроме того, тут же красовались три портрета: один, акварельный, изображал самое миссис Гэмп в молодости; другой, бронзированный, какую-то даму в перьях — как предполагалось, миссис Гаррис в бальном туалете; и третий, сделанный тушью, изображал покойного мистера Гэмпа. Последний был нарисован во весь рост; для того чтобы сделать сходство более убедительным и явным, художник изобразил и деревянную ногу.

Ручные мехи, деревянные башмаки, вилка для поджаривания хлеба, котелок, мисочка для бульона, ложка для дачи лекарства упрямым больным и, наконец, зонтик миссис Гэмп, выставленный напоказ, как вещь особенно редкая и ценная, завершали убранство каминной полки и соседней стены. К этим-то предметам миссис Гэмп с удовлетворением обратила взоры, накрыв столик к чаю и закончив все приготовления к приему миссис Приг, вплоть до поставленных на стол двух фунтов сильно промаринованной ньюкаслской лососины.

— Ну вот! Теперь только вы не копайтесь, Бетси, прах вас возьми! — сказала миссис Гэмп, обращаясь к отсутствующей приятельнице.— Я терпеть не могу ждать, наперед говорю. Куда бы я ни нанималась, сервиз у меня один: «Угодить мне нетрудно, и нужно мне немного, только чтоб оно было самый первый сорт и подавалось бы минута в минуту, а то мы с вами не разойдемся похорошему, так, как бы мне хотелось».

Сама она приготовила угощение только первого сорта, которое состояло из мягкого свежего хлеба, тарелки со сливочным маслом, сахарницы с лучшим белым сахаром и всего прочего в том же роде. Даже нюхательный табак, которым она теперь освежалась, был такого отборного качества, что она взяла еще одну понюшку.

— Вот и колокольчик звонит,— сказала миссис Гэмп, выбегая на лестничную площадку и заглядывая вниз.— Бетси Приг, милая... Да ведь это, кажется, несносный Свидлпайп?

— Да, это я,— ответил слабым голосом цирюльник.— Я только что пришел.

— И всегда-то он или только что пришел, или только что вышел,— проворчала миссис Гэмп.— Никакого терпения не хватит с этим человеком!

— Миссис Гэмп,— сказал цирюльник.— Послушайте, миссис Гэмп!

— Ну, что такое? — нетерпеливо отозвалась миссис Гэмп, спускаясь с лестницы.— Темза горит, что ли, и рыба в ней варится? Батюшки, где же это он был и что с ним такое приключилось? Он весь белый как мел!

Вопросительное предложение она произнесла, уже спустившись вниз и увидев, что мистер Свидлпайп сидит в кресле для клиентов, бледный и расстроенный.

— Помните вы,— спросил Полли,— помните вы молодого...

— Неужто молодого Вилкинса? — ахнула миссис Гэмп.— И не говорите мне, что это молодой Вилкинс. Если жену молодого Вилкинса схватило...

— Да никакую не жену! — воскликнул маленький брадобрей.— Бейли, молодого Бейли!

— Ну, так что вы этим хотите сказать? Чего там натворил этот мальчишка? — сердито отвечала миссис Гэмп.— Вздор и чепуха, мистер Свидлпайп!

— Ничего он не натворил! — возразил бедный Полли в совершенном отчаянии.— Можно ли так приставать с ножом к горлу, когда вы видите, что я до того расстроен, даже и говорить не в состоянии? Больше он уж ничего не натворит. С ним все кончено. Помер. В первый раз, как я увидел этого мальчика,— продолжал брадобрей,— я взял с него лишнее за реполова. Запросил полтора пенни вместо одного, боялся, что он станет торговаться. А он и не стал. А теперь он умер, и даже если собрать все паровые машины и электрические токи в эту лавочку и заставить их работать вовсю, этих денег все равно не вернешь, хоть их и было всего полпенни.

Мистер Свидлпайп отвернулся и вытер полотенцем глаза.

— А какой был умница! — продолжал он.— Какой удивительный мальчик! Как говорил! И сколько всего знал! Брился вот в этом самом кресле — так, забавы ради, сам все и затеял, такой был шутник. И подумать только, что никогда уж ему не бриться по-настоящему!

Лучше бы все птицы до единой передохли, пускай их,— воскликнул маленький брадобрей, оглядываясь на клетки и опять хватаясь за полотенце,— чем узнать такую новость!

— Откуда же вы узнали? — спросила миссис Гэмп.— Кто вам сказал?

— Я пошел в Сити,— ответил маленький брадобрей,— чтоб повидаться на бирже с одним охотником, ему нужны самые неповоротливые голуби для практики в стрельбе; а договорившись с ним, я зашел выпить глоточек пива, там и услышал разговор про это. В газетах напечатано.

— Вы что-то совсем расстроились, мистер Свидлпайп,— сказала миссис Гэмп, качая головой,— по-моему, было бы не лишнее поставить вам с полдюжины пиявок к вискам, помоложе и попроворней, вот что я вам скажу. О чем же был разговор, и что было в газетах?

— Да все о том же! — отозвался брадобрей.— О чем же еще, как вы думаете? У них с хозяином опрокинулась по дороге карета, его перевезли в Солсбери, и он был уже при смерти, когда заметку сдали на почту. Он так и не сказал ничего, ни единого слова. Это для меня всего горше, но это еще не все. Его хозяина нигде не найдут. Другой директор их конторы в Сити — Кримпл, Дэвид Кримпл — сбежал с деньгами, его ищут, объявления расклеены на стенах, обещают награду. Мистера Монтегю, хозяина бедняжки Бейли (ах, какой был мальчик!) тоже ищут. Одни говорят, что он удрал и встретится со своим приятелем за границей; другие говорят, что он еще тут, и ищут его по всем местам. В конторе у них разгром; сущие оказались мошенники! Но что такое контора страхования жизни по сравнению с жизнью вообще, а тем более с жизнью молодого Бейли!

— Он родился в юдоли,— сказала миссис Гэмп с философическим спокойствием,— и жил в юдоли; ну и должен мириться со всеми последствиями, раз существует такое положение. А разве про мистера Чезлвита вы так-таки ничего не слыхали?

— Нет,— ответил Полли,— ничего особенного. Его фамилия не была напечатана в списке директоров, но думают, что будет. Кто говорит, что его надули, а кто — будто он надувал других; как бы оно там ни было, улик

против него никаких нет. Нынче утром он сам явился к лорд-мэру или еще к кому-то из городского начальства и подал жалобу, что его разорили и что эти двое мошенников сбежали, обобрав его, и что он совсем недавно узнал, будто фамилия Монтегю вовсе не Монтегю, а какая-то другая. И говорят, будто он был похож на мертвеца, так расстроился. Господи помилуй! — воскликнул брадобрей, возвращаясь к своему личному горю.— Ну какое мне дело, на что он был похож? Да хоть бы он пятьдесят раз помер! Пускай себе, никогда мне его не будет так жалко, как Бейли!

В это время зазвонил маленький колокольчик, и басистый голос миссис Приг вмешался в разговор.

— Ах, вы тоже об этом разговариваете, вот как! — заметила она.— Ну, я надеюсь, вы уже все переговорили, потому что сама я этим не интересуюсь.

— Драгоценная моя Бетси,— сказала миссис Гэмп,— как же вы поздно!

Почтенная миссис Приг ответила довольно сурово, что «ежели упрямые люди помирают, когда никто этого не ждет, то она тут ни при чем». И далее, что «и без того неприятно, когда до смерти хочется чаю и тебя задерживают, а тут опять приходится слушать все про то же».

Миссис Гэмп, догадавшись по этим колким репликам о состоянии чувств миссис Приг, немедленно повела ее наверх, надеясь, что один вид маринованной лососины произведет в ней смягчающую перемену.

Однако Бетси Приг рассчитывала на лососину. Очевидно рассчитывала, потому что, взглянув на стол, первым долгом заметила:

— Так я и знала, что огурцов к ней не будет!

Миссис Гэмп изменилась в лице и села на кровать.

— Господи помилуй, Бетси Приг, ваша правда. Совсем позабыла!

Миссис Приг, глядя в упор на свою приятельницу, запустила руку в карман и с выражением угрюмого торжества вытащила оттуда переросший салат или недоросший кочан капусты,— во всяком случае такую пышную и таких благодатных размеров овощь, что ее пришлось сперва свернуть, как зонтик, и после того только удалось вытащить. Кроме того, она извлекла горсточку кресс-салата и

горчицы, немножко травы, именуемой одуванчиком, три пучка редиски, луковицу покрупнее средней репы, три порядочных куска резаной свеклы и коротенький развилок или отросток сельдерея. Вся эта зелень еще совсем недавно была выставлена в лавке под названием двухпенсового салата и куплена миссис Приг с условием, что продавец уложит все это к ней в карман, что и было успешно выполнено в Верхнем Холборне и наблюдалось с захватывающим интересом соседней извозчичьей биржей. Миссис Приг придавала так мало значения своей предусмотрительности, что даже не улыбнулась, но, поправив карман и вернув его на место, посоветовала только мелко покрошить эти произведения природы и обильно полить уксусом для немедленного потребления.

— Да не насыпьте туда нюхательного табаку,— сказала миссис Приг.— В кашице, бараньем бульоне, ячменном отваре и яблочном компоте это еще не беда. Даже подбадривает больных. А сама я до него не охотница.

— Что вы, Бетси Приг! — воскликнула миссис Гэмп.— Как вы можете так говорить!

— А что ж, разве ваши больные, чем бы они ни хворали, не чихают от вашего табаку так, что того и гляди голова оторвется? — сказала миссис Приг.

— Ну и что ж, что чихают? — спросила миссис Гэмп.

— Ничего, пускай их,— ответила миссис Приг.— Только не отпирайтесь, Сара.

— Кто же отпирается, Бетси? — вопросила миссис Гэмп.

Миссис Приг ничего на это не ответила.

— Кто же отпирается, Бетси? — еще раз вопросила миссис Гэмп. И снова повторила свой вопрос, но только в обратном порядке, заметно усилившем его жуткую торжественность: — Бетси, кто же отпирается?

Словом, обе дамы были уже близки к размолвке; но в данную минуту миссис Приг гораздо больше хотелось закусывать, чем ссориться, и пока что она ответила только:

— Никто, если вы не отпираетесь, Сара,— и приготовилась к чаепитию. Ибо ссора может и подождать, а лососина, да еще в таком ограниченном количестве, ждать не может.

Ее туалет был несложен. Она только сбросила капор и шаль на кровать, дернула себя за волосы, один раз справа, другой раз слева, как будто звонила в колокола, и все было готово. Чай был уже заварен, миссис Гэмп недолго возилась с салатом, и скоро пиршество было в полном разгаре.

Обе дамы сразу смягчились, как только сели за стол. После того как с едой было покончено (что заняло довольно много времени) и миссис Гэмп, убрав со стола, достала с верхней полки чайник вместе с двумя рюмками, обе дамы настроились совсем дружелюбно.

— Бетси,— сказала миссис Гэмп, налив себе рюмку и передавая ей чайник,— я теперь предложу тост. За мою постоянную компаньонку Бетси Приг!

— Согласна и выпью со всем моим расположением, только переменив имя на Сару Гэмп,— ответила миссис Приг.

С этой минуты носы обеих дам, а быть может, и чувства тоже, начали обнаруживать признаки воспламенения, несмотря на то, что с виду все обстояло благополучно.

— Ну, Сара,— сказала миссис Приг,— чтоб соединить приятное с полезным, к какому это больному вы меня приглашаете?

И так как по лицу миссис Гэмп можно было заметить, что она намерена ответить уклончиво, Бетси прибавила:

— Не к миссис Гаррис?

— Нет, Бетси, не к ней,— ответила миссис Гэмп.

— Что ж,— заметила миссис Приг с коротким смехом,— во всяком случае, и то хорошо.

— Чему же тут радоваться, Бетси? — горячо возразила миссис Гэмп.— Вы ее не знаете, разве только понаслышке, так чего же вы радуетесь? Если вы имеете что-нибудь против миссис Гаррис,— а дурного про нее никто сказать не может — ни за глаза, ни в глаза и вообще никак, это уж я знаю,— так говорите, Бетси. Я познакомилась с этой самой милой, самой приятной женщиной,— продолжала миссис Гэмп, покачивая головой и утирая слезы,— еще тогда, когда она должна была произвести на свет своего первенца, а мистер Гаррис, который был очень робкого характера, убежал и залез в пустую собачью конуру и уши заткнул, да так и сидел

с заткнутыми ушами, пока ему не показали новорожденного; бедняга кричал криком, а доктор взял его за шиворот, уложил на каменный пол и велел сказать, чтобы она не беспокоилась насчет крика,— это у него легкие. Я с ней была знакома, Бетси Приг, когда он ее разобидел до слез, сказав, будто девятый ребенок им лишний, да, может, и восьмой тоже, а эта ангельская душка гугукает себе, и ведь какой крепыш вырос, даром что кривоногий; только я никак не могу понять, чему тут радоваться, Бетси, если миссис Гаррис вас не приглашает. И не пригласит никогда; не надейтесь, потому что она, как только заболеет, всегда твердит одно и то же: «Пошлите за Сарой!»

В продолжение этой трогательной речи миссис Приг, ловко прикинувшись жертвой той особой рассеянности, которая нападает на человека, когда все его внимание поглощено одним предметом, то и дело наливала себе из чайника, по-видимому сама этого не замечая. Миссис Гэмп, однако, заметила ее маневр и потому раньше времени закончила свою речь.

— Ну, так, значит, это не она,— холодно отозвалась миссис Приг,— кто же тогда?

— Вы, должно быть, слышали от меня, Бетси,— ответила миссис Гэмп, бросив особенно выразительный и зоркий взгляд на чайник,— про больного, за которым я ходила, когда мы с вами по очереди дежурили около этого горячечного в «Быке»?

— Это про старого табачника? — заметила миссис Приг.

Сара Гэмп покосилась на нее огненным глазом, увидев в этой обмолвке еще один злостный и преднамеренный намек на ту слабость или привычку, невеликодушное упоминание о которой со стороны Бетси уже нарушило в этот вечер согласие между обеими дамами. Она увидела это еще яснее, когда на ее вежливое, но твердое напоминание о том, что пациента зовут Чаффи, миссис Приг ответила демоническим смехом.

У самых лучших из нас имеются свои слабости, и надо сознаться, что если светлый образ миссис Приг омрачало какое-нибудь пятнышко, то оно заключалось в привычке изливать на пациентов далеко не всю язвительность и кис-

лоту, находившиеся в ее распоряжении (как это сделала бы всякая истинно добродушная женщина), но оставлять порядочный запас того и другого для своих приятельниц. Крепко промаринованная лососина и салат с уксусом, сами по себе достаточно кислые, возможно способствовали развитию этой слабости миссис Приг, как способствовало каждое новое обращение к чайнику, ибо друзья этой почтенной дамы неоднократно замечали, что в повышенном настроении она становилась особенно несговорчива. Во всяком случае, верно то, что выражение ее лица стало насмешливым и вызывающим и что она сидела, сложив руки на животе и прищурив один глаз, с довольно оскорбительным по своей наглости видом.

Заметив это, миссис Гэмп сочла тем более необходимым поставить миссис Приг на место и дать ей понять, что она птица невысокого полета и многим обязана миссис Гэмп. Поэтому, приняв значительный и покровительственный вид, она удостоила миссис Приг особенно пространным ответом.

— Как вы знаете, Бетси,— сказала миссис Гэмп,— мистер Чаффи страдает слабоумием. Позволю себе заметить, что он, может, вовсе не так слабоумен, как люди о нем думают, а может, и люди не считают его таким слабоумным: что я знаю, то знаю, а чего вы не знаете, того не знаете, так что и не спрашивайте меня, Бетси. Ну так вот, друзья мистера Чаффи пожелали, чтоб за ним был присмотр, и говорят мне: «Миссис Гэмп, не возьметесь ли вы за это? Мы, говорят, и подумать не можем, чтобы доверить его кому-нибудь, кроме вас, Сара, потому что вы, говорят, чистое золото. Так не возьметесь ли вы сами ходить за ним днем и ночью, а цена — какую назначите».— «Нет, говорю, не возьмусь. И не надейтесь. Для одной только женщины на свете, говорю, я бы пошла на такие условия, и ее фамилия Гаррис. Но есть, говорю, у меня одна знакомая, зовут ее Бетси Приг, могу ее рекомендовать, и она мне поможет. На Бетси, говорю, всегда можно положиться, ежели она будет у меня под началом».

Тут миссис Приг, нисколько не меняя своей обидной манеры, опять напустила на себя рассеянность и протянула руку к чайнику. Этого миссис Гэмп не могла стер-

петь. Она схватила миссис Приг за руку и произнесла с большим чувством:

— Нет, Бетси! Хоть пейте по-честному, как бы там ни было.

Миссис Приг, получив такой отпор, откинулась на спинку кресла и, прищурив тот же глаз еще более выразительно и сжав руки еще крепче, позволила себе покачать головой из стороны в сторону, озирая свою приятельницу с пренебрежительной улыбкой.

Миссис Гэмп продолжала:

— Миссис Гаррис, Бетси...

— А ну ее, вашу миссис Гаррис! — сказала Бетси Приг.

Миссис Гэмп взглянула на нее изумленно и негодующе, не веря своим ушам, а миссис Приг, еще больше прищурив глаз и еще крепче сжав руки, произнесла следующие невероятные и достопамятные слова:

— По-моему, такой особы и вовсе на свете нет!

Разразившись этой фразой, она наклонилась вперед и щелкнула пальцами — раз, два, три, — с каждым разом все ближе к лицу миссис Гэмп, потом поднялась и стала надевать капор, словно сознавая, что между ними теперь легла пропасть, которой ничто заполнить не может.

Потрясение от этого удара было так сильно и неожиданно, что миссис Гэмп сидела, разинув рот и вытаращив глаза, до тех пор, пока Бетси Приг не надела капор и шаль и не запахнула ее на груди. Тут миссис Гэмп восстала — и в прямом и в переносном смысле — и обличила ее.

— Как! — произнесла миссис Гэмп. — Низкая ты тварь! Я знаю миссис Гаррис вот уже тридцать пять лет, а ты мне говоришь, что ее вовсе нет на свете! Для того ли я была ей верным другом и опорой во всех ее несчастьях, больших и малых, чтобы в конце концов дошло до этого; и как только хватает наглости говорить такие бесстыдные слова, когда ее собственный портрет висит у вас перед глазами! Можете не верить, ежели угодно, можете говорить, будто ее совсем на свете нет, она и глядеть-то на вас не захочет; сколько раз я от нее слышала, когда поминала при ней ваше имя, и чем грешна, к великому

моему сожалению: «Как, Сара Гэмп? Вы унижаетесь до нее?» — Да подите вы вон!

— Ухожу, сударыня, не видите, что ли? — сказала миссис Приг, останавливаясь.

— Да, уж лучше уходите, сударыня,— сказала миссис Гэмп.

— А вы знаете, с кем разговариваете, сударыня? — спросила гостья.

— Как будто бы,— сказала миссис Гэмп, презрительно обводя ее взглядом с головы до ног,— с Бетси Приг. Как будто бы так. Знаю ее. Как нельзя лучше. Подите вон!

— И это вы собирались мной командовать! — воскликнула миссис Приг, в свою очередь озирая миссис Гэмп с головы до ног.— Это вы-то, вы? Подумаешь, осчастливила! Да черт бы побрал ваше нахальство! — закричала миссис Приг, мгновенно переходя от насмешки к ярости.— Как вы смеете?

— Убирайтесь вон! — произнесла миссис Гэмп.— Я за вас краснею.

— Уж кстати покраснели бы и за себя хоть немножко! — сказала миссис Приг.— Ох уж вы, с вашим Чаффи! Так, значит, несчастный старикашка вовсе не такой слабоумный? Ага!

— Он скоро и совсем бы рехнулся, если б вас к нему приставить,— сказала миссис Гэмп.

— Так для этого я вам и понадобилась, вот оно что? — торжествующе воскликнула миссис Приг.— Да? Ну, не рассчитывайте. Шага я к нему не сделаю. Посмотрим, как-то вы без меня обойдетесь. Я с ним никакого дела иметь не хочу.

— И не будете — вот уж это вы правду сказали! — заметила миссис Гэмп.— Убирайтесь вон!

Несмотря на живейшее желание миссис Гэмп видеть своими глазами, как миссис Приг уйдет из ее комнаты, ей это не удалось, потому что Бетси Приг, удаляясь, в сердцах так сильно толкнула кровать, что сверху посыпались деревянные шишки и три-четыре из них очень больно стукнули миссис Гэмп по голове, а когда она опомнилась после деревянного града, миссис Приг уже ушла.

Она тем не менее испытала удовольствие услышать на

лестнице, в коридоре и даже на улице басистый голос Бетси, которая осыпала ее бранью и выражала твердую решимость не иметь ничего общего с мистером Чаффи, после чего с удивлением увидела у себя в квартире вместо Бетси Приг мистера Свидлпайпа с двумя джентльменами.

— Господи помилуй, что тут такое случилось? — воскликнул маленький брадобрей.— Ну и шум вы обе подняли, миссис Гэмп! Вот эти господа почти все время стояли на лестнице за дверью и никак не могли к вам достучаться, пока у вас там шла баталия, такой был шум и гром! Как бы не подох маленький щегол в лавке, тот, что качает себе воду. От испуга он прямо из сил выбился, столько накачал воды, что ему и в год не выпить. Должно быть, подумал, что пожар!

Миссис Гэмп тем временем опустилась в кресло и, закатив слезящиеся глаза и сжимая руки, разлилась в горестных жалобах:

— Ах, мистер Свидлпайп, и мистер Уэстлок тоже, если глаза меня не обманывают, да еще и с приятелем, которого я не имею удовольствия знать! Что я вынесла от Бетси Приг за этот вечер, ни одной душе не известно! Если б она ругала только меня в нетрезвом виде — мне даже и показалось, будто от нее пахнет, когда она пришла, только не верилось как-то, потому что сама я не имею этого обыкновения,— миссис Гэмп, кстати сказать, нагрузилась порядком, и благоухание от чайника распространялось по всей комнате,— я бы это перенесла с кротостью. Но что она говорила про миссис Гаррис, этого и ягненок бы не мог простить. Нет, Бетси! — произнесла миссис Гэмп с необыкновенным чувством.— Даже и червяк не стерпел бы.

Маленький брадобрей почесал в затылке, покачал головой, покосился на чайник и, осторожно пятясь, вышел из комнаты. Джон Уэстлок, придвинув кресло, сел рядом с миссис Гэмп. Мартин, усевшись в ногах кровати, стал поддерживать ее с другой стороны.

— Вы, должно быть, хотите знать, что нам нужно? — заметил Джон.— Я вам скажу, когда вы придете в себя. Это не к спеху, несколько минут можно подождать. Как вы себя чувствуете? Лучше?

Миссис Гэмп, заливаясь слезами, покачала головой и едва слышно пролепетала имя миссис Гаррис.

— Выпейте немножко...— Джон замялся, не зная, как назвать содержимое чайника.

— Чаю,— подсказал Мартин.

— Это не чай,— прошептала миссис Гэмп.

— Какое-нибудь лекарство,— отозвался Джон.— Выпейте немножко.

Миссис Гэмп уговорили выпить стаканчик.

— С одним условием,— расчувствовавшись, заметила она,— что Бетси Приг от меня никогда не получит никакой работы.

— Разумеется, нет,— сказал Джон.— Уж за собой я ей ходить не позволю, ни в коем случае.

— Подумать только,— сказала миссис Гэмп,— что она ходила за этим вашим другом и могла услышать такие вещи, ах!

Джон посмотрел на Мартина.

— Да,— сказал он.— Могла выйти большая неприятность, миссис Гэмп!

— Уж действительно, что неприятность! — отвечала она.— Только то одно, что я дежурила ночью и слушала его бредни, а она — днем, только это и спасло. Чего бы она ни наговорила и чего бы ни сделала, если бы знала то, что я знаю, двуличная дрянь! Боже ты мой милостивый! — воскликнула Сара Гэмп, в гневе попирая ногами пол вместо отсутствующей миссис Приг.— И я еще должна выслушивать от такой женщины то, что она говорит про миссис Гаррис!

— Не обращайте внимания,— сказал Джон.— Вы же знаете, что все это неправда.

— Неправда! — воскликнула миссис Гэмп.— И еще какая неправда! Ведь я же знаю, что она, моя милая, ждет меня в эту самую минуту, мистер Уэстлок, и смотрит в окно на улицу, а на руках у нее маленький Томми Гаррис, который зовет меня своей Гэмми, и правильно зовет, сохрани господь его пестрые ножки (точь-в-точь кентерберийская ветчина, говорит его родной папаша, да так оно и есть), с тех пор как я застала его, мистер Уэстлок, с красным вязаным башмачком во рту; засунул его туда, играя, и уж захлебывается, бедный птенчик; они

посадили ребенка на полу в гостиной и ищут башмак по всему дому, а он уж совсем задыхается! Ах, Бетси Приг, и показала же ты себя нынче вечером! Ну, да уж больше я тебя и на порог не пущу, змея ползучая!

— А вы еще были всегда так добры к ней! — сочувственно заметил Джон.

— Вот это-то и обидно. Вот это мне всего больней,— отвечала миссис Гэмп, машинально подставляя стакан Мартину, который его наполнил.

— Вы взяли ее в помощницы ходить за мистером Льюсомом! — сказал Джон.— Приглашали ее себе в помощницы ходить за мистером Чаффи!

— Приглашала, да больше уж не приглашу! — отозвалась миссис Гэмп.— Никогда Бетси Приг не будет моей компаньонкой, сэр!

— Нет, нет,— сказал Джон.— Никуда это не годится.

— Не годится, и никогда не годилось, сэр,— отвечала миссис Гэмп с торжественностью, присущей известной степени опьянения.— Теперь, когда марка,— под этим миссис Гэмп подразумевала маску,— сорвана с лица этой твари, я думаю, что оно и вообще никогда не годилось. Бывают причины, мистер Уэстлок, почему семейство держит что-нибудь в тайне, и когда имеешь дело только с тем, кого знаешь, то и можешь на него положиться. Но кто же теперь может положиться на Бетси Приг, после того что она говорила про миссис Гаррис, сидя вот в этом самом кресле!

— Совершенно верно,— сказал Джон,— совершенно верно. Надеюсь, у вас будет время подыскать себе другую помощницу, миссис Гэмп?

Негодование и чайник лишили миссис Гэмп способности понимать, что ей говорят. Она глядела на Джона слезящимися глазами, шепча памятное имя, которое оскорбила своими сомнениями Бетси Приг,— словно это был талисман против всех земных печалей — и, как видно, уже ничего не соображала.

— Надеюсь,— повторил Джон,— у вас будет время найти другую помощницу.

— Времени мало, это верно,— отозвалась миссис Гэмп, возводя кверху посоловелые глаза и сжимая руку мистера Уэстлока с материнской лаской.— Завтра вече-

ром, сэр, я обещала зайти к его друзьям. Мистер Чезлвит назначил от девяти до десяти, сэр.

— От девяти до десяти,— сказал Джон, выразительно глядя на Мартина,— а после того за мистером Чаффи будут как следует присматривать, не так ли?

— За ним и нужно присматривать как следует, будьте уверены,— возразила миссис Гэмп с таинственным видом.— Не я одна счастливо избавилась от Бетси Приг. Не понимала я этой женщины. Она не умеет держать под замочком то, что знает.

— Не удержит под замком мистера Чаффи, вы думаете? — сказал Джон.

— Думаю? — возразила миссис Гэмп.— Тут и думать нечего!

Чисто сардонический характер этой реплики был усилен тем, что миссис Гэмп медленно кивнула головой и еще более медленно поджала губы. Задремав на минуту, она сразу же очнулась и прибавила чрезвычайно величественно:

— Но я задерживаю вас, джентльмены, а время дорого.

Под влиянием этой мысли, а также и чайника, который внушал ей, будто бы ее посетители желают, чтобы она куда-то немедленно отправилась, и вместе с тем хитро избегая упоминания предметов, которых она только что коснулась в разговоре, миссис Гэмп встала, убрала чайник на обычное место, очень торжественно заперла шкафчик и стала готовиться к нанесению профессионального визита.

Приготовления эти были весьма несложны, так как не требовали ничего другого, кроме протабаченного черного капора, протабаченной черной шали, деревянных башмаков и неизбежного зонтика, без которого ей невозможно было ни принимать младенцев, ни обмывать покойников. Облачившись во все эти доспехи, миссис Гэмп возвратилась к креслу и, усевшись на него, объявила, что она совсем готова.

— Большое все-таки счастье знать, что можешь принести пользу им, бедняжкам,— заметила она.— Не всякий это может. Какие мучения им приходится терпеть от Бетси Приг, просто ужас.

Закрыв при этих словах глаза от невыносимого сострадания к пациентам Бетси Приг, она не открывала их, пока не уронила деревянный башмак. Ее сон прерывался еще не раз, подобно легендарному сну монаха Бэкона *, сначала падением второго деревянного башмака, потом падением зонтика. Зато, избавившись от этих мешавших ей предметов, она безмятежно уснула.

Оба молодых человека переглянулись — положение было довольно забавное,— и Мартин, с трудом удерживаясь от смеха, шепнул на ухо Джону Уэстлоку:

— Что же нам теперь делать?

— Оставаться здесь,— ответил он.

Слышно было, как миссис Гэмп пробормотала во сне: «Миссис Гаррис».

— Можете рассчитывать,— прошептал Джон, осторожно поглядывая на миссис Гэмп,— что вам удастся допросить старика конторщика, хотя бы вам пришлось поехать туда под видом самой миссис Гаррис. Во всяком случае, мы теперь знаем достаточно, чтобы заставить ее делать по-нашему,— знаем благодаря этой ссоре, которая подтверждает старую поговорку о том, что, когда мошенники ссорятся, честным людям радость. Ну, Джонас Чезлвит, берегись теперь! А старуха пускай себе спит сколько ей угодно. Придет время, мы своего добьемся!

ГЛАВА L

повергает в изумление Тома Пинча и сообщает читателю, какими признаниями Том обменялся со своей сестрой

На следующий вечер, перед чаем, Том с сестрой сидели, по обыкновению, у себя, спокойно разговаривая о многих вещах, но только не об истории Льюсома и ни о чем относящемся к ней; ибо Джон Уэстлок — поистине Джон был один из самых заботливых людей на свете, невзирая на свою молодость,— настоятельно посоветовал Тому пока что не рассказывать об этом сестре, чтобы не беспокоить ее. «А я бы не хотел, Том,— прибавил он

после некоторого колебания,— омрачить ее счастливое личико или потревожить ее кроткое сердце даже за все богатства и почести мира!» Поистине Джон отличался необыкновенной добротой, до чрезвычайности даже. Если б Руфь была его дочерью, говорил Том, и тогда он не мог бы проявить к ней больше внимания.

Но, хотя Том с сестрой были необыкновенно разговорчивы, они все же были менее оживлены и веселы, чем всегда. Том не догадывался, что причиной этому была Руфь, и приписывал все тому, что сам он настроен довольно невесело. Да так оно и было, ибо самое легкое облачко на ясном небе ее души бросало свою тень и на Тома.

А на душе у маленькой Руфи лежало облачко в этот вечер. Да, действительно. Когда Том смотрел в другую сторону, ее ясные глаза, украдкой останавливаясь на его лице, то сияли еще ярче обыкновенного, то заволакивались слезой. Когда Том умолкал, глядя в окно на летний вечер, она иногда делала торопливое движение, словно собираясь броситься ему на шею, а потом вдруг останавливалась и, когда он оборачивался, улыбалась ему и весело с ним заговаривала. Когда ей нужно было что-либо передать Тому или за чем-нибудь подойти близко, она бабочкой порхала вокруг него и, застенчиво касаясь его плеча, отстранялась с видимой неохотой, словно стремясь показать, что у нее есть на сердце нечто такое, что в своей великой любви к брату она хочет сказать ему, но никак не может собраться с духом.

Так они сидели вдвоем — она с работой, но не работая, а Том с книгой, но не читая, когда в дверь постучался Мартин. Зная наперед, кто стучится, Том пошел открывать дверь и вернулся в комнату вместе с Мартином. Том был удивлен, потому что на его сердечное приветствие Мартин едва ответил ему. Руфь также заметила в госте что-то странное и вопросительно посмотрела на Тома, словно ища у него объяснения. Том покачал головой и с таким же безмолвным недоумением посмотрел на Мартина.

Мартин не сел, но подошел к окну и стал глядеть на улицу. Минуту спустя он повернул голову и хотел заговорить, и снова отвернулся к окну, так и не заговорив.

— Что случилось, Мартин? — тревожно спросил Том.— Какие дурные вести вы принесли?

— Ах, Том! — возразил Мартин с упреком.— Ваш притворный интерес к тому, что со мной случилось, еще обиднее, чем ваше недостойное поведение.

— Мое недостойное поведение, Мартин! Мое...— Том не мог выговорить больше ни слова.

— Как вы могли, Том, как могли вы допустить, чтобы я так горячо и искренне благодарил вас за вашу дружбу, и не сказали, как подобает мужчине, что вы покидаете меня? Разве это по-дружески? Разве это честно? Разве это достойно вас — такого, каким вы были прежде, каким я вас знал,— вызывать меня на откровенность, когда вы перешли к моим врагам? Ах, Том!

В его голосе слышалась такая горячая обида и в то же время столько скорби о потере друга, в которого он верил, в нем выражалось столько былой любви к Тому, столько печали и сожаления о его предполагаемой непорядочности, что Том на минуту закрыл лицо руками, чувствуя себя не в силах оправдываться, словно он в самом деле был чудовищем лицемерия и вероломства.

— Скажу по чистой совести,— продолжал Мартин,— что я не столько сержусь, вспоминая свои обиды, сколько горюю о потере друга, каким я вас считал. Только в такое время и после таких открытий мы познаем полную меру нашей былой привязанности. Клянусь, как ни мало я это выказывал, Том, я любил вас, как брата, даже тогда, когда не проявлял должного уважения к вам.

Том уже успокоился и отвечал Мартину словно сам дух истины в будничном обличье,— этот дух нередко носит будничное обличье, слава богу!

— Мартин,— сказал он,— я не знаю, откуда у вас эти мысли, кто повлиял на вас, кто внушил их вам и с какой чудовищной целью. Но все это сплошная ложь. В том впечатлении, какое у вас создалось, нет ни капли правды. Это заблуждение с начала до конца; и предупреждаю вас, вы будете глубоко сожалеть о своей несправедливости. Честно скажу, что я не изменял ни вам, ни себе. Вы будете глубоко сожалеть об этом. Да, будете глубоко сожалеть, Мартин.

— Я и сожалею,— ответил Мартин, качая головой.— Мне кажется, я впервые узнал, что значит сожалеть всем сердцем.

— Во всяком случае,— сказал Том,— если бы я даже был таким, каким вы считаете меня, и не имел права на ваше уважение, и то бы вы должны были мне сказать, в чем заключается мое предательство и на каком основании вы меня обвиняете. Вот почему я не прошу вас об этом как о милости, но требую как своего права.

— Мои свидетели — это мои глаза,— возразил Мартин.— Должен ли я им верить?

— Нет,— спокойно сказал Том,— не должны, если они обвиняют меня.

— Ваши собственные слова, ваше поведение,— продолжал Мартин.— Должен ли я им верить?

— Нет,— спокойно отвечал Том,— не должны, если они обвиняют меня. Но этого просто не может быть. Тот, кто истолковал их так ложно, оскорбил меня почти столь же глубоко,— тут спокойствие едва не изменило ему,— как это сделали вы.

— Но ведь я пришел сюда,— сказал Мартин,— и обращаюсь к вашей милой сестре с просьбой выслушать меня...

— Только не к ней,— прервал его Том.— Прошу вас, не обращайтесь к ней. Она никогда вам не поверит.

Говоря это, он взял ее под руку.

— Как же я могу верить этому, Том?!

— Нет, нет,— вскричал Том,— конечно, не можешь. Я так и сказал. Ну, перестань же, перестань. Какая же ты глупенькая!

— Я никогда не думал,— поторопился сказать Мартин,— восстанавливать вас против вашего брата. Не считайте меня настолько малодушным и жестоким. Я хочу одного: чтобы вы меня выслушали и поняли, что я пришел сюда не с упреками — они тут неуместны,— но с глубоким сожалением. Вы не можете знать, с каким горьким сожалением, потому что не знаете, как часто я думал о Томе, как долго, находясь в самом отчаянном положении, я надеялся на его дружескую поддержку и как твердо я верил в него и доверял ему.

— Подожди,— сказал Том, видя, что она собирается заговорить.— Он ошибается; он обманут. Зачем же обижаться? Это недоразумение — оно рассеется в конце концов.

— Благословен тот день, когда оно рассеется,— воскликнул Мартин,— если только он придет когда-нибудь!

— Аминь! — сказал Том.— Он придет!

Мартин помолчал, затем сказал смягчившимся голосом:

— Вы сами сделали выбор, Том, разлука будет для вас облегчением. Мы расстаемся не в гневе. С моей стороны нет гнева.

— С моей стороны его тоже нет,— сказал Том.

— Это именно то, к чему вы стремились и на что положили немало стараний. Я повторяю, вы сами сделали выбор. Вы сделали выбор, какого можно было ожидать от большинства людей в вашем положении, но какого я от вас не ожидал. В этом, быть может, я должен винить скорее собственное суждение, чем вас. С одной стороны — богатство и милость, которой стоит добиваться; с другой — никому не нужная дружба всеми покинутого, лишенного опоры человека. Вы были свободны выбирать между ними и выбрали; сделать это было нетрудно. Но тем, у кого не хватило духу противиться искушению, следует иметь смелость и признаться, что они не устояли; и я порицаю вас за то, что вы встретили меня с такой теплотой, вызвали на откровенность, заставили вам довериться и притворились, будто вы можете быть мне другом, когда на самом деле вы предались моим врагам. Я не верю,— с чувством продолжал Мартин,— дайте мне высказаться от души — я не могу поверить, Том, сейчас, когда стою лицом к лицу с вами, что вы, при вашем характере, могли бы причинить мне зло, хоть я и узнал случайно, у кого вы на службе. Но я бы мешал вам; заставлял бы вас и далее проявлять двоедушие; подверг бы вас риску лишиться милости, за которую вы так дорого заплатили, променяв на нее самого себя; и если я узнал то, что вам так хотелось сохранить в тайне, это лучше для нас обоих.

— Будьте справедливы,— сказал Том, который с самого начала этой речи не отводил кроткого взгляда от

лица Мартина,— будьте справедливы даже в вашей несправедливости, Мартин. Вы забыли, что еще не сказали мне, в чем вы меня обвиняете.

— Зачем говорить? — произнес Мартин, махнув рукой и направляясь к выходу.— Вы и так это знаете, без моих слов, и хотя дело не в словах и они ничего не меняют, но мне все же кажется, что лучше обойтись без лишних объяснений. Нет, Том, не будем вспоминать о прошлом. Я расстаюсь с вами сейчас, здесь, где вы были так добры и радушны, с такой же любовью, хотя и с бо̀льшим унынием, чем после первой нашей встречи. Желаю вам всего лучшего, Том! Я...

— Вы так расстаетесь со мной? Неужели вы можете так расстаться со мной? — воскликнул Том.

— Я... вы... Вы сами сделали выбор, Том! Я... я надеюсь, что это был необдуманный выбор,— выговорил, запинаясь, Мартин.— Я так думаю. Я уверен в этом! Прощайте!

И он ушел.

Том подвел сестру к стулу и сел на свое место. Он взялся за книгу и стал читать, или сделал вид, что читает. Но вскоре он произнес довольно громко, перевертывая страницу: «Он пожалеет об этом». И по его щеке скатилась слеза и упала на страницу.

Руфь опустилась рядом с ним на колени и, прижавшись к нему, обняла его за шею.

— Не надо, Том! Нет, нет! Успокойся! Милый Том!

— Я уже совсем... успокоился,— сказал Том.— Это недоразумение, оно рассеется когда-нибудь.

— Так жестоко, так дурно отплатить тебе! — воскликнула Руфь.

— Нет, нет,— сказал Том.— Он в самом деле этому верит. Не могу понять — почему. Но это недоразумение рассеется.

Еще тесней прижалась она к нему и заплакала так, словно у нее надрывалось сердце.

— Не плачь, не плачь! — утешал ее Том.— Что же ты прячешь от меня лицо, дорогая?

И тут, заливаясь слезами, она высказалась наконец.

— Ах, Том, милый Том, я знаю тайну твоего сердца. Я узнала ее, тебе не удалось скрыть от меня правду.

Зачем же ты не сказал мне? Тебе стало бы легче, если б ты сказал! Ты любишь ее, Том, нежно любишь!

Том сделал движение рукой, словно хотел в первый миг отстранить сестру; но вместо того крепко сжал ее руку. Вся его нехитрая история была написана в этом движении, все ее трогательное красноречие было в этом безмолвном пожатии.

— И несмотря на это,— сказала Руфь,— ты был так предан и добр, милый Том; несмотря на это, ты был верен дружбе, ты забывал о себе и боролся с собой; ты был так кроток, внимателен и ровен, что я никогда не видела раздраженного взгляда, не слышала недоброго слова. И все же ты жестоко ошибся! Ах, Том, милый Том, или и это недоразумение? Так ли это, Том? Неужели ты всегда будешь носить в груди свою скорбь — ты, который заслуживаешь счастья! — или есть какая-то надежда?

И все же она прятала лицо от Тома, обняв его, и плакала о нем, и изливала свое сердце и душу, скорбя и радуясь.

Прошло не очень много времени, и они с Томом уже сидели рядом, и Руфь глядела ему в глаза серьезно и спокойно. И тогда Том заговорил с ней — бодрым, но грустным тоном:

— Я очень рад, милая, что это произошло между нами. Не потому, что я еще больше уверился в твоей нежности и любви (я и раньше был в них уверен), но потому, что это сняло большую тяжесть с моей души.

Глаза Тома просияли, когда он говорил о ее любви к нему, и он поцеловал сестру в щеку.

— Дорогая моя девочка,— продолжал Том,— какие бы чувства я ни питал к ней (оба они, словно по взаимному уговору, избегали называть ее имя), я давно уже — можно сказать, с самого начала — отношусь к этому, как к мечте, как к чему-то такому, что могло бы осуществиться при других условиях, но чего никогда не будет. А теперь скажи мне, какую беду ты хотела бы поправить?

Она бросила на Тома такой многозначительный взгляд, что ему пришлось удовольствоваться им вместо ответа.

— По своему собственному выбору и добровольному согласию, голубка моя, она стала невестой Мартина; и была ею задолго до того, как оба они узнали о моем существовании. А тебе хотелось бы, чтоб она была моей невестой?

— Да,— прямо ответила Руфь.

— Да,— возразил Том,— но от этого могло бы стать только хуже, а не лучше. Или ты воображаешь,— печально улыбаясь, продолжал Том,— что она влюбилась бы в меня, даже если бы никогда не видела его?

— Почему же нет, милый Том?

Том покачал головой и опять улыбнулся.

— Ты думаешь обо мне, Руфь,— сказал он,— и с твоей стороны это очень естественно — как о герое из какой-нибудь книжки, и желаешь, чтобы в силу поэтической справедливости я в конце концов, вопреки всякому вероятию, женился бы на девушке, которую люблю. Но существует справедливость гораздо выше поэтической, моя дорогая, и она предопределяет ход событий, руководствуясь иными основаниями. Бывает, конечно, что люди, начитавшись книжек и вообразив себя героями романа, считают своим долгом напустить на себя мрачность, разочарованность и мизантропию и даже не прочь возроптать, только потому, что не все идет так, как им нравится. Ты хочешь, чтобы я стал таким, как эти люди?

— Нет, Том. Но все-таки я знаю,— прибавила она робко,— что для тебя это горе, как бы ты ни рассуждал.

Том хотел было спорить с ней. Но передумал, ибо это было бы сущим безумием.

— Моя дорогая,— сказал Том,— я отплачу за твою любовь правдой, чистой правдой. Для меня — это горе. Иногда, не скрою, оно дает себя знать, хоть я и стараюсь с ним бороться. Но если умрет дорогой тебе человек, тебе ведь может присниться, что ты на небесах, вместе с его отлетевшей душой, и тогда для тебя будет горем проснуться к земной жизни, хотя она не стала тяжелее, чем была, когда ты засыпала. Мне горько думать о моей мечте, а между тем я всегда знал, что это — мечта, даже тогда, когда она впервые явилась мне; но тут действительность ни в чем не виновата. Она все та же, что

и была. Моя сестра, моя кроткая спутница, присутствие которой так украшает мою жизнь, разве она меньше привязана ко мне, чем была бы, если бы это видение никогда меня не смущало? А мой старый друг Джон, который мог отнестись ко мне холодно и небрежно, разве он стал менее сердечен со мной? Разве меньше стало хорошего в окружающем меня мире? Так неужели я должен говорить резко и глядеть озлобленно, неужели мое сердце должно очерстветь, оттого что на моем пути встретилось доброе и прекрасное создание,— ведь если б не эгоистическое сожаление о том, что я не могу назвать ее своей, эта девушка могла бы сделать меня счастливей и лучше, как и все другие добрые и прекрасные создания, каких человек встречает на своем пути! Нет, милая сестра, нет,— решительно говорил Том.— Вспоминая все, чем я могу быть счастлив, я вряд ли смею называть эту беглую тень горем; но какое бы имя она ни носила, я благодарю бога за то, что она делает меня восприимчивее к любви и привязанности и смягчает меня на тысячу ладов. Она не отнимает счастья, не отнимает счастья, Руфь!

Сестра не в силах была заговорить с ним, но чувствовала, что любит его так, как он того заслуживает. Именно так, как он того заслуживал, она любила его.

— Она откроет глаза Мартину,— говорил Том горячо и с гордостью,— и недоразумение рассеется, потому что это и в самом деле недоразумение. Я знаю, никто не может убедить *ее* в том, что я изменил ему. Но она откроет ему глаза, и он будет очень сожалеть о своей ошибке. Наша тайна, Руфь, принадлежит только нам, она будет жить и умрет вместе с нами. Не думаю, чтобы я решился когда-нибудь сказать тебе это сам,— улыбаясь, заключил Том,— но как же я рад, что ты догадалась!

Никогда еще у них не бывало такой приятной прогулки, как в этот вечер. Том рассказывал ей все так свободно и просто и так стремился ответить на ее нежность полным доверием, что они гуляли гораздо дольше положенного и, вернувшись домой, засиделись до позднего часа. А когда они простились на ночь, у Тома было такое спокойное, прекрасное выражение лица, что она

никак не могла наглядеться на него и, подкравшись на цыпочках к дверям его комнаты, стояла, любуясь им, до тех пор, пока он ее не заметил, а потом, еще раз поцеловав его, ушла к себе. И в ее молитвах и во сне — хорошо, когда о тебе вспоминают с такой нежностью, Том! — его имя первым приходило ей на уста.

Оставшись один, Том немало размышлял об ее открытии, очень удивляясь, как она проникла в его тайну. «Потому что,— думал Том,— я ли не старался — хотя это было ненужно и даже неумно, как я теперь понимаю, когда мне стало гораздо легче оттого, что она все знает,— я ли не старался скрыть это от нее. Разумеется, я видел, какая она умная и живая, и потому особенно остерегался, но ничего подобного просто не ожидал. Я уверен, что все это произошло совершенно случайно. Но боже мой,— удивлялся Том,— какая необычайная проницательность!»

Эти мысли никак не выходили у Тома из головы. Они не покинули его и тогда, когда он опустил голову на подушку.

«Как она дрожала, когда призналась мне, что обо всем догадывается,— думал Том, припоминая все мельчайшие подробности и обстоятельства,— и как разгорелось ее лицо! Но это было естественно, о, вполне естественно! Тут нечему удивляться».

Тому и не снилось, насколько это было естественно. Ему и не снилось, что в собственном сердце Руфи совсем не так давно поселилось то чувство, которое помогло ей угадать его тайну. Ах, Том! Он так и не понял, о чем шепчет фонтан в Тэмпле, хотя проходил мимо него каждый день.

Кто другой был так оживлен и весел, как хлопотливая Руфь на следующее утро! Ее легкие шаги и ранний стук в дверь Тома были бы музыкой для него, даже если бы она не заговорила. Но она сказала, что сегодня самое ясное утро, какое только можно себе представить, и так оно и было, а если б даже было иначе, все равно Том поверил бы ей.

Когда он спустился вниз, она уже приготовила ему скромный завтрак, достала шляпку для утренней про-

гулки и рассказала ему так много нового, что Том только диву давался. Словно она всю ночь не ложилась, собирая для него новости. И про то, что мистер Неджет до сих пор не возвращался домой; и про то, что хлеб подешевел на один пенни; и про то, что чай нынче вдвое крепче, чем прошлый раз; и про то, что муж молочницы вышел из госпиталя и совсем здоров; и про то, что кудрявый мальчик из дома напротив пропадал вчера целый день; и про то, что она хочет наварить всех сортов варенья, а в доме нашлась подходящая для этого кастрюлька; и что она прочла ту книжку, которую Том принес прошлый раз, всю до конца, хотя читать ее было очень скучно; и что ей столько нужно ему рассказать, вот почему она первая кончила завтракать. Потом она надела шляпку, заперла чай и сахар, положила ключи в сумочку, вдела, как всегда, цветок в петлицу брата и совсем собралась проводить его, прежде чем Том понял, что она собирается. Словом, как сказал Том,— с такой уверенностью в справедливости своего мнения, что это звучало как вызов обществу,— никогда еще не было на свете такой хозяюшки, как она.

Она заставила Тома разговориться. Устоять против нее было невозможно. Она с таким увлечением расспрашивала его — о книгах, органах, старых церквах, о Тэмпле и о чем только возможно. В самом деле, идти вместе с нею было настолько веселее (и на сердце у Тома тоже становилось веселей), что Тэмпл показался ему совсем неинтересным и пустынным, когда он расстался с нею у ворот.

«Я полагаю, знакомый мистера Финса не придет и сегодня»,— подумал Том, поднимаясь по лестнице.

Пока еще не пришел во всяком случае, потому что дверь была заперта, как обычно, и Том открыл ее своим ключом. Книги он уже привел в полный порядок, подклеил рваные страницы, исправил поврежденные переплеты и заменил аккуратными ярлыками стершиеся надписи. Комнату трудно было узнать, такая тут была чистота и порядок. Том с гордостью любовался трудами своих рук, хотя некому было хвалить или порицать его за это.

Теперь он был занят перепиской набело своего каталога, а так как торопиться было некуда, Том не пожалел труда и пустил в ход все то уменье и трудолюбие, которое он вкладывал в карты и чертежи у мистера Пекснифа. Это было истинное чудо, а не каталог; Тому нередко казалось, что деньги слишком легко ему достаются, и про себя он решил потратить часть своего досуга на составление этого документа.

Так он проработал целое утро, орудуя то пером, то линейкой, то циркулем, то резинкой, то карандашом, то черной и красной тушью. Он много думал о Мартине и о вчерашнем свидании с ним; у него стало бы гораздо легче на душе, если б он решился довериться своему другу Уэстлоку и узнать его мнение на этот счет. Но Джон, как ему было известно, не оставил бы этого так, а ведь Джон помогал теперь Мартину в очень важном деле, и лишить Мартина помощи в такую критическую минуту — значило бы нанести ему серьезный ущерб.

— Так что придется держать это про себя,— сказал Том со вздохом,— придется держать про себя.

И, стараясь забыться за работой, он принялся за нее еще усерднее прежнего, орудуя попеременно пером, линейкой, резинкой, карандашом, черной и красной тушью.

Он проработал еще час или около того, когда внизу у входа послышались чьи-то шаги.

— Ага,— сказал Том, взглядывая на дверь,— было время, и еще не так давно, когда эти шаги заставили бы меня насторожиться. Но теперь я это бросил.

Шаги слышались все выше по лестнице.

— Тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь,— считал Том.— Теперь ты остановишься. Никто не поднимается выше тридцать восьмой ступеньки.

Посетитель и в самом деле остановился, но только для того, чтобы перевести дыхание, потом шаги послышались снова. Сорок, сорок один, сорок два, и так далее.

Шаги приближались. Дверь была открыта настежь, и Том с любопытством и нетерпением поглядывал на нее. Когда на площадке показалась фигура и, остановившись

на пороге, посмотрела на него, он вскочил со стула, думая, что видит привидение.

Старый Мартин Чезлвит! Тот самый, которого он оставил у мистера Пекснифа дряхлым и все более и более слабеющим стариком!

Тот самый? Нет, не тот самый; этот старик был хотя и стар, но полон жизни, и опирался на трость сильной рукой, другой рукой делая знак Тому, чтоб он молчал. Один взгляд на решительное лицо, живые глаза, на руку, сжимавшую трость, на выражение энергии и настойчивости во всей фигуре — и Тома мгновенно озарило.

— Вам долго пришлось меня ждать,— сказал Мартин.

— Мне сказали, что мой патрон скоро приедет,— ответил Том,— но...

— Я знаю. Вам не сказали, кто он такой. Это было по моему желанию. Я собирался повидаться с вами гораздо ранее. Я думал, что время уже настало. Я думал, что не узнаю о нем ничего больше и ничего хуже, чем в тот день, когда мы с вами виделись в последний раз. Но я ошибся.

Он подошел к Тому и пожал ему руку.

— Я жил у него в доме, Пинч, и терпел его подлое раболепие долгие дни, недели, месяцы. Вы это знаете. Я позволил ему сделать меня своим орудием. Вы это знаете: вы видели меня там. Я вытерпел в тысячу раз больше, чем мог бы вытерпеть, будь я тем жалким, дряхлым стариком, каким он считал меня. Вы это знаете. Я замечал, как он навязывается Мэри со своим вниманием. Вы это знаете: кому лучше знать, кому, как не вам, верное сердце! Его низкая душонка разоблачалась передо мной день за днем, и я ни разу не выдал себя. Я бы ни за что не вытерпел такую муку, если бы не надеялся, что придет час расплаты.

Он остановился посреди своей страстной речи, если можно назвать страстной такую решительную и твердую речь, чтобы еще раз пожать Тому руку. Потом сказал в сильном волнении:

— Закройте дверь, закройте же дверь! Он с минуты на минуту должен явиться сюда за мной; боюсь, как бы он не пришел слишком скоро. Близится время,— сказал старик торопясь, однако лицо и глаза его сияли,— кото-



рое вознаградит всех. Даже за миллион золотых монет я не хотел бы, чтоб он умер или повесился! Закройте дверь!

Том закрыл ее, сам не зная, во сне или наяву он это видит.

ГЛАВА LI

проливает новый, яркий свет на весьма темное место и рассказывает, что воспоследовало из предприятия мистера Джонаса и его друга

Настал тот вечер, когда старый конторщик должен был поступить под надзор своих сторожей. Доведенный чуть ли не до сумасшествия мыслями о своем злодеянии, Джонас все же не позабыл об этом.

Терзаясь страхом, он не мог этого не помнить, ибо от настойчивости в выполнении задуманного зависела собственная его безопасность. Один намек, одно слово старика, пойманное в такую минуту настороженным слухом, могло повлечь за собой целую цепь подозрений и погубить его. Он зорко следил за всеми путями, ведущими к раскрытию его вины, и эта зоркость обострялась вместе с сознанием опасности, которая грозила ему. С преступлением на совести, терзаясь бесчисленными тревогами и страхами, не дававшими ему покоя ни днем ни ночью, он совершил бы убийство еще раз, если б увидел, что этот путь ведет к спасению. В этом и была его кара, на это и была обречена его преступная душа.

Страх принуждал его совершить снова то самое дело, которое внушало ему такой невыносимый страх.

Однако достаточно будет держать Чаффи взаперти, как он решил. Джонас собирался бежать, когда уляжется первое волнение и тревога и когда его попытка не возбудит ни в ком подозрения. А тем временем сиделки уймут старика; да если б ему и вздумалось поговорить, их ничем не удивишь. Известно, что такое сиделки.

И все же он не на ветер сказал, что старику надо заткнуть рот. Он решил, что заставит его молчать, и ему

важно было добиться этой цели, все равно какими средствами. Всю жизнь он был резок, груб и жесток с беднягой Чаффи, и насилие казалось ему вполне естественным по отношению к старику. «Ему заткнут рот, если он будет говорить, и свяжут руки, если он будет писать,— говорил про себя Джонас, глядя на старика, когда они сидели вдвоем.— Для этого он достаточно полоумный, а я ни перед чем не остановлюсь!»

Тс-с!

Он все прислушивался! К каждому звуку. Он прислушивался с тех самых пор, но *этого* еще не было. Банкротство страхового общества; бегство Кримпла и Буллами с награбленным добром, в том числе, как он и опасался, с его собственным векселем, которого он не нашел в бумажнике убитого и который вместе с деньгами мистера Пекснифа был, очевидно, переслан тому или другому из этих надежных друзей для помещения в банк; понесенные им огромные потери и до сих пор висевшая над ним угроза быть привлеченным к ответственности в качестве одного из директоров обанкротившейся фирмы — мысли об этом возникали в его уме постоянно, но он не мог на них сосредоточиться. Он знал, что они тут, но в ярости, замешательстве и отчаянии думал только об одном — когда же найдут мертвое тело в лесу.

Он пытался — он непрестанно пытался — не то чтобы забыть, что оно лежит там,— забыть об этом было невозможно,— но не мучить себя яркими картинами, возникавшими в воображении: вот он бродит вокруг, всё вокруг тела, тихонько ступая по листьям, видит его в просвет между ветвями и подходит все ближе и ближе, спугивая мух, которые густо усеяли его, точно кучками сушеной смородины. Он неотвязно думал о минуте, когда тело будет найдено, и напряженно прислушивался к каждому стуку, к каждому крику, к шуму шагов, то приближавшихся, то удалявшихся от дома, следил в окно за прохожими на улице, боясь выдать себя словом, взглядом или движением. И чем больше его мысли сосредоточивались на той минуте, когда тело будет найдено, тем сильнее приковывало их оно само, одиноко лежащее в лесу. Он словно показывал его всем и каждому, кого видел: «Слушайте! Вы знаете про это? Уже нашли?

И подозревают меня?» Если бы его приговорили носить это тело на руках и повергать для опознания к ногам каждого встречного, то и тогда оно не могло бы находиться при нем более неотлучно и не занимало бы его мыслей с таким неотвязным упорством.

И все же он ни о чем не жалел. Ни раскаяние, ни угрызения совести не тревожили его: он только опасался за себя. Смутное сознание, что, решившись на убийство, он погубил себя, только разжигало его злобность и мстительность и придавало еще больше цены тому, чего он добился. Тот человек убит: ничто не могло этого изменить. Он все еще торжествовал при этой мысли.

Он ревниво следил за Чаффи с самого дня убийства, оставляя его редко и только в силу необходимости, да и то лишь на самое короткое время. Теперь они были одни. Спускались сумерки, и назначенное время подходило все ближе. Джонас расхаживал взад и вперед по комнате. Старик сидел в своем привычном уголке.

Всякий пустяк становился для убийцы источником тревоги, и на этот раз его беспокоило отсутствие жены, которая ушла из дому еще днем и до сих пор не вернулась. Не привязанность к ней была тому причиной: он опасался, как бы ее не задержали по дороге и не принудили сказать что-нибудь такое, что изобличит его, когда вести об *этом* дойдут до Лондона. Почем знать, она, быть может, стучалась к нему в дверь, когда его не было, и догадалась о его замысле. Черт бы взял эту дуру с ее постной рожей, с нее станет шляться взад и вперед по всему дому! Где она сейчас?

— Она пошла к своему доброму другу, миссис Тоджерс,— ответил старик, когда он задал ему этот вопрос, злобно выбранившись.

Ну да, так и есть! Вечно таскается потихоньку к этой старухе. Ему-то она не друг. Почем знать, какую дьявольскую штуку они там высидят вместе? Пускай немедленно приведут ее домой.

Старик, тихонько бормоча что-то, поднялся с места, словно собираясь идти сам; но Джонас с нетерпеливой бранью толкнул его обратно в кресло и кликнул служанку. Отослав ее с этим поручением, он опять стал расхаживать взад и вперед и не останавливался до тех пор,

пока она не вернулась, что произошло довольно скоро — дорога была недальняя, да и девушка очень торопилась.

— Ну, так где же она? Вернулась?

— Нет; она вот уже три часа как ушла оттуда.

— Ушла оттуда! Одна?

Посланница не спросила, думая, что это само собой разумеется.

— Этакая дура, черт бы вас побрал! Принесите свечи!

Не успела она выйти из комнаты, как старый конторщик, который необычайно внимательно следил за Джонасом с тех пор, как тот спросил про жену, неожиданно напал на него.

— Оставьте ее! — кричал старик.— Слышите! Отдайте ее мне! Скажите мне, что вы с ней сделали? Сейчас же! На этот счет я ничего не обещал. Скажите мне, что вы с ней сделали?

Он схватил Джонаса за шиворот, вцепился в него — и очень крепко.

— Вы не уйдете от меня! — кричал старик.— У меня хватит сил позвать соседей, и я их позову, если вы ее не отдадите. Оставьте ее!

Застигнутый врасплох Джонас так растерялся, что у него недостало духу разжать руки старика, и он стоял, глядя на него, в потемках, не смея шевельнуть и пальцем. Единственное, на что он отважился,— это спросить Чаффи, что с ним такое.

— Я хочу знать, что вы с ней сделали! — настаивал Чаффи.— Вы ответите за каждый волосок на ее голове. Бедняжка! Где она?

— Что с вами, полоумный вы старик! — дрожащими губами выговорил Джонас.— Или вы рехнулись?

— Можно было рехнуться от всего, что я видел в этом доме! — воскликнул Чаффи.— Где мой старый хозяин? Где его единственный сын, которого я качал на коленях ребенком? Где она, та, что была последней? Та, что таяла на моих глазах день за днем и плакала во мраке ночи? Она была последней, последним моим другом! Помоги мне, господи, она была последним моим утешением!

Видя, что слезы катятся по его лицу, Джонас набрался храбрости: он оторвал от себя его руки и отшвырнул его, прежде чем ответить.

— Вы слышали, что я спрашивал про нее! Вы видели, что я посылал за ней! Как же я могу отдать вам то, чего у меня нет, вы, идиот? Ей-богу, я бы с радостью отдал ее вам, если б мог, отличная бы вышла парочка!

— Если с ней что-нибудь случилось,— вскричал Чаффи,— берегитесь! Я стар и выжил из ума, но иногда память возвращается ко мне, и если с ней что-нибудь случилось...

— Подите вы к черту,— прервал его Джонас, не повышая голоса,— что с нєй могло случиться, по-вашему? Я, так же как и вы, не знаю, куда она девалась, а хотел бы знать. Подождите, пока она вернется домой, тогда увидите: теперь она скоро должна прийти. Довольно с вас этого?

— Берегитесь! — воскликнул старик.— За каждый волосок на ее голове, за каждый волосок вы ответите мне! Я этого не потерплю. Я... я слишком долго терпел, Джонас. Я молчу, но... но... но могу и заговорить. Я... я... я могу и заговорить,— заикаясь, бормотал старик, с трудом волоча ноги к креслу и обратив на Джонаса угрожающий, хотя и потухший взгляд.

«Ты можешь заговорить, вот как? — подумал Джонас.— Ну-ну, так мы заткнем тебе глотку. Хорошо еще, что я узнал об этом вовремя. Лучше предупредить болезнь, чем лечить ее».

Он то пробовал запугать Чаффи, то старался его задобрить и в то же время так боялся старика, что крупные капли пота выступили у него на лбу и стояли не просыхая. Необычный для него тон и беспокойные движения достаточно ясно показывали, что он боится, но особенно это видно было по его лицу теперь, когда внесли свечи, и он зашагал по комнате, то и дело поглядывая на Чаффи.

Он остановился у окна в раздумье. Лавка напротив была освещена, и торговец с покупателем склонились над стойкой, читая какое-то печатное объявление. Это зрелище мгновенно вернуло его к мысли, о которой он на время позабыл: «Слушайте! Вы знаете про это? Уже нашли? И подозревают меня?»

Чей-то стук в дверь.

— Что такое?

— Приятный вечер,— произнес голос миссис Гэмп,— хотя и жарко, но чего же другого ожидать, мистер Чезлвит, господь с вами, когда огурцы по два пенса за тройку. Как чувствует себя нынче мистер Чаффи, сэр?

Говоря это, миссис Гэмп держалась что-то уж очень близко к дверям и приседала чаще обыкновенного. Казалось, она чувствовала себя далеко не так свободно, как всегда.

— Отведите старика в его комнату,— сказал Джонас ей на ухо, подойдя к ней поближе.— Он заговаривается нынче вечером, совсем рехнулся. Не говорите при нем ничего, а потом опять приходите сюда.

— Ах он, мой голубчик! — воскликнула миссис Гэмп необыкновенно ласково.— Весь дрожит!

— Как же ему не дрожать,— заметил Джонас,— после такого буйного припадка. Ведите его наверх.

Миссис Гэмп помогла старику подняться на ноги.

— Вот так, дорогой мой старичок! — приговаривала миссис Гэмп голосом, который был в одно и то же время и успокоительным и ободряющим.— Вот так, миленький мой мистер Чаффи! Ну пойдем, пойдем в вашу комнатку, сударь, вы там полежите немножко на постельке, а то ведь вы весь трясетесь, будто ваши драгоценные косточки ходят на пружинах. Вот так, мой хороший! Пойдем вместе с Сарой.

— Она вернулась домой? — спросил старик.

— Она сию минуту вернется,— отвечала миссис Гэмп.— Идемте с Сарой, мистер Чаффи. Идемте со своей родной Сарой!

Добрая женщина не имела в виду никого в особенности; обещая скорое возвращение той особы, о которой беспокоился мистер Чаффи, она сболтнула это для того, чтобы успокоить старика. Однако ее слова оказали свое действие, он позволил себя увести, и оба они ушли из комнаты вместе.

Джонас опять подошел к окну. В лавке напротив все еще читали печатное объявление, и теперь вместе с теми двумя читал кто-то третий. Что это могло быть, отчего они так заинтересовались?

Они о чем-то заспорили или начали обсуждать что-то, так как все разом подняли голову от бумаги, и один из троих, который заглядывал через плечо другому, отступил назад, объясняя или показывая что-то жестом.

О, ужас! Как это похоже на тот удар, что он нанес в лесу!

Он отпрянул от окна, словно удар нанесли ему самому. Шатаясь, опустился он в кресло, думая о перемене в миссис Гэмп, которая выражалась в новоявленной нежности к ее пациенту. Неужели это оттого, что нашли? Оттого, что она уже знает? Оттого, что она подозревает его?

— Мистера Чаффи я уложила,— сказала миссис Гэмп, возвратившись,— может, и польза ему от этого будет, мистер Чеззлвит; вреда не будет, а польза может быть, не беспокойтесь!

— Сядьте,— хрипло сказал Джонас,— и давайте покончим с этим делом. Где другая женщина?

— Другая особа теперь с ним,— отвечала она.

— Ну и правильно,— сказал Джонас.— Его нельзя оставлять одного. Ведь он на меня набросился нынче — вцепился вот сюда, в воротник — прямо как бешеная собака. Хоть он и старый и сил у него нет в обыкновенное время, а тут я его еле оторвал. Вы... Тс-с! Нет, нет, ничего... Вы говорили мне, как зовут другую женщину? Я позабыл.

— Я упоминала Бетси Приг,— сказала миссис Гэмп.

— На нее ведь можно положиться?

— Никак нельзя! — сказала миссис Гэмп.— Да я ее и не привела, мистер Чеззлвит. Я привела другую, вот эта уж действительно подходящая во всех отношениях.

— Как ее зовут? — спросил Джонас.

Миссис Гэмп посмотрела на него довольно странным взглядом, ничего не отвечая, хотя, по-видимому, поняла вопрос.

— Как ее фамилия? — повторил Джонас.

— Ее фамилия,— сказала миссис Гэмп,— Гаррис.

Удивительное дело, каких усилий стоило миссис Гэмп выговорить фамилию, которая в другое время не сходила у нее с языка. Она раза три или четыре раскрывала рот, прежде чем ей удалось произнести ее; а после того как

выговорила, прижала руку к груди и закатила глаза, словно собиралась упасть в обморок. Но, зная, что она подвержена целому легиону всяких болезней, при которых время от времени требуется глоточек спиртного для поддержания ее жизни и которые проявляются с особенной силой, когда этого лекарства нет под руками, Джонас подумал только, что у страдалицы, должно быть, как раз такой приступ.

— Ну,— сказал он торопливо, чувствуя, что совершенно неспособен сосредоточить свое рассеянное внимание на этом предмете,— так вы с ней вдвоем беретесь ходить за ним?

Миссис Гэмп ответила утвердительно и еле-еле выговорила обычную свою фразу: «По очереди: одна дежурит, другая свободна». Но она говорила таким дрожащим голосом, что сочла необходимым прибавить: «Нервы у меня нынче что-то так разошлись, никакими словами не описать!»

Джонас вдруг насторожился, прислушиваясь; затем поспешно сказал:

— Из-за условий мы с вами не поссоримся. Пускай будут такие же, как раньше. Держите его взаперти и не давайте ему болтать. Его надо приструнить. Нынче вечером он забрал себе в голову, что моя жена умерла, и набросился на меня, как будто я ее убил. Это... это бывает с полоумными, вообразят себе эдакое про самых своих близких, верно?

Миссис Гэмп выразила согласие коротким стоном.

— Так держите его под замком, а не то он мне наделает бед во время такого припадка. И не верьте ни единому его слову, потому что он всего больше завирается в такое время, когда кажется всего разумнее. Но это вы уже знаете. Позовите ко мне другую.

— Другую особу, сэр? — спросила миссис Гэмп.

— Да! Ступайте к нему и пришлите другую. Скорей! Мне некогда.

Миссис Гэмп попятилась шага на два, на три к порогу и остановилась там.

— Значит, вы желаете, мистер Чезлвит,— произнесла она дрожащим голосом, похожим на хриплое карканье,— видеть другую особу, да?

Но страшная перемена в Джонасе без слов сказала ей, что он уже увидел другую особу. Прежде чем она успела оглянуться на дверь, ее отстранила рука старого Мартина, а вместе с ним вошли Чаффи и Джон Уэстлок.

— Не выпускайте никого из дома,— сказал Мартин.— Этот человек — сын моего брата, воспитанный во зле и обреченный злу. Если он только тронется с места или повысит голос, откройте окно и зовите на помощь!

— Кто вам дал право распоряжаться в этом доме? — едва слышно спросил Джонас.

— Это право дало мне ваше преступление. Войдите сюда!

Неудержимое восклицание сорвалось с губ Джонаса, когда Льюсом вошел в комнату. Это был не стон, не вопль, не какое-нибудь слово, но звук, какого еще не доводилось слышать присутствующим; он выражал все происходившее в преступной душе Джонаса с почти нечеловеческой силой.

И ради этого он совершил убийство! Ради этого обрек себя на опасности, душевные муки, бесчисленные страхи! Он спрятал свою тайну в лесу, вдавил, втоптал ее в окровавленную землю; а она появилась тут, нежданно-негаданно, за много миль от того места, известная многим, разглашенная устами старика, к которому, словно чудом, вернулись крепость и сила, чтобы эта тайна могла поднять голос против Джонаса!

Он положил руку на спинку стула и обвел всех взглядом. Напрасно старался он глядеть презрительно или с обычной своей дерзостью. Он упал бы, если б не держался за стул, но все же он не сдавался.

— Я знаю этого молодца,— сказал он, переводя дыхание на каждом слове и указывая дрожащим пальцем на Льюсома.— Таких вралей свет не создавал. Что он там еще придумал? Ха-ха! Да и вы тоже хороши! Ведь этот мой дядюшка впал в детство, хуже чем мой отец в старости, хуже чем вот этот самый Чаффи. За каким чертом вы вломились ко мне,— прибавил он, злобно глядя на Джона Уэстлока и Марка Тэпли (который вошел в комнату вместе с Льюсомом),— для чего вы сюда притащились и привели с собой этих двух идиотов и мошенников? Эй, вы! Откройте дверь! Гоните чужих вон!

— Вот что я вам скажу,— объявил мистер Тэпли, выступая вперед,— если бы только не ваша фамилия, я бы сам вас поволок по улицам, один, без помощников, да! Так бы и сделал! И не старайтесь глядеть на меня так, словно съесть хотите. Ничего у вас не выйдет! А теперь продолжайте, сэр,— обратился он к старому Мартину.— Поставьте этого изверга на колени! Если ему хочется шума, пожалуйста: я подниму такой крик, что сбежится полгорода; и это так же верно, как то, что он весь дрожит с головы до пяток. Продолжайте, сэр! Пусть только сунется ко мне, увидит тогда, умею я держать слово или нет.

После этой тирады Марк скрестил руки и уселся на подоконнике, выражая своей позой полную готовность ко всему решительно; по-видимому, он нисколько не задумался бы сам выпрыгнуть в окошко или вышвырнуть в него Джонаса, стоило только намекнуть, что это желательно собравшимся.

Старый Мартин повернулся к Льюсому.

— Тот ли это человек,— спросил он, простирая руку к Джонасу,— или нет?

— Вам достаточно взглянуть на него, чтобы убедиться в этом и в правдивости моих слов,— ответил тот.— Он мой свидетель.

— Ах, брат! — воскликнул старый Мартин, сжимая руки и возводя глаза к небу.— Ах, брат, брат! Разве для того мы полжизни чуждались друг друга, чтобы ты породил такого негодяя, а я обратил жизнь в пустыню, иссушив все цветы вокруг себя? И неужели к этому свелся весь смысл твоей и моей жизни, что ты растил, воспитывал, обучал и берег негодяя и заботился о нем; а я стал орудием его казни, когда уже ничто не может вернуть упущенного?

С этими словами он опустился в кресло и, отвернувшись в сторону, умолк на минуту. Потом продолжал с новой силой:

— Но наши заблуждения дали всходы, и пагубная жатва должна быть вытоптана. Пока еще не поздно. Вы на очной ставке с этим человеком, с этим извергом, не для того, чтобы щадить его, но чтобы поступить с ним по справедливости. Выслушайте, не поддавайтесь, стойте на своем, делайте, что хотите — мое решение останется

неизменным. Что ж, приступим! А вы,— обратился он к Чаффи,— расскажите, что знаете, из любви к вашему старому другу, добрый человек!

— Я молчал из любви к нему! — воскликнул старик.— Он так просил меня. На смертном одре он заставил меня обещать ему это. Я бы никогда не рассказал, если б вы без меня не узнали так много. Ведь я все думал об этом с тех самых пор — не мог не думать; иной раз мне все это представлялось как во сне, только днем, а не ночью. Разве бывают такие сны? — спросил Чаффи, тревожно глядя в лицо старому Мартину.

Тот сказал ему что-то ободряющее, и Чаффи, внимательно прислушивавшийся к его голосу, улыбнулся.

— Да, да! — воскликнул он.— Вот и он так же говорил со мной. Мы с ним вместе учились в школе. Я не мог пойти против его сына,— против его единственного сына, мистер Чезлвит!

— Жаль, что не вы были его сыном! — воскликнул Мартин.

— Вы говорите так похоже на моего доброго старого хозяина,— отозвался старик с детской радостью,— что мне кажется, будто я его слышу. Я слышу вас почти так же хорошо, как, бывало, слышал его. Я будто опять молодею. Он ни разу не сказал мне недоброго слова, и я всегда его понимал. И всегда его видел, хоть глаза у меня стали слабы. Так, так! Он умер, да, умер. Он был очень добр ко мне, мой дорогой старый хозяин!

Старик печально покачал головой, склонившись к руке его брата. В эту минуту Марк, смотревший в окно, вышел из комнаты.

— Я не мог пойти против его единственного сына,— повторил Чаффи.— Он не раз почти доводил меня до этого; вот и сегодня чуть не довел. А! — вскрикнул старик, вдруг вспомнив, из-за чего это вышло.— Где же она? Она не вернулась домой!

— Вы говорите про его жену? — спросил мистер Чезлвит.

— Да.

— Я увез ее отсюда. Она на моем попечении и пока не знает о том, что происходит здесь. Она и без этого видела слишком много горя.

Джонас, услышав это, пал духом. Он понимал, что его преследуют по пятам, и видел, что они решили погубить его. Пядь за пядью почва уходила у него из-под ног; все теснее и теснее сжимался погибельный круг, угрожая сомкнуться и раздавить его.

И тут он услышал голос своего сообщника, который, ничего не тая и ни о чем не умалчивая, называл место и время и, воскрешая подробности события, говорил ему в лицо всю правду, без гнева и возмущения. Ту правду, которой ничто не могло скрыть, которая не захлебнулась в крови и не ушла под землю; ту правду, чье страшное дыхание превращало дряхлых стариков в людей полных силы и на чьих грозных крыльях примчался к нему и низринулся на него тот, кого он считал чуть ли не на краю света.

Он пытался отрицать свою вину, но язык не слушался его. У него мелькнула отчаянная мысль бежать, вырваться на улицу, однако ноги так же плохо повиновались его воле, как и застывшее, неподвижное, окаменелое лицо. И все это время голос продолжал обличать его. Словно у каждой капли крови в том лесу был голос, чтобы глумиться над ним.

Когда он умолк, другой продолжал рассказ, но тут все услышали нечто неожиданное: ибо старый конторщик, который следил за всем происходящим, ломая руки, как если бы он знал всю правду и мог открыть ее миру, прервал Льюсома такими словами:

— Нет, нет, нет! Вы ошибаетесь, ошибаетесь — все вы ошибаетесь! Имейте терпение, правда известна только мне!

— Как это возможно,— возразил брат его старого хозяина,— после того что мы слышали? Вы же только что сами сказали наверху, когда я сообщил вам, в чем его обвиняют, что вы это знаете и что он убийца своего отца.

— Да, да! Он и есть убийца! — исступленно крикнул старик.— Но не так, как вы полагаете, не так, как вы полагаете. Постойте! Дайте мне минутку подумать. У меня всё это тут, всё тут! Это было гнусно, гнусно, жестоко, бесчеловечно; но не так, как вы думаете. Стойте! Стойте!

Он схватился руками за голову, словно от боли или биения в висках, и долго озирался по сторонам с растерянным и отсутствующим видом, пока глаза его не остановились на Джонасе, и тогда в них засветилось разумное выражение, словно он вдруг вспомнил о чем-то.

— Да! — крикнул старик Чаффи.— Да! Вот как это было. Теперь я все помню. Перед смертью мой хозяин поднялся с постели, он, видно, хотел сказать сыну, что прощает ему, и сошел вместе со мной в эту комнату. Но когда он увидел его, своего единственного, любимого сына, язык у него отнялся. Он так и не мог сказать ему, что знает,— и никто не понял его тогда, кроме меня. Но я понял, я понял!

Старый Мартин глядел на него в изумлении, его спутники тоже. Миссис Гэмп, которая ни слова еще не сказала, но держалась на две трети за дверью, готовясь бежать, и на одну треть в комнате, готовясь поддержать победившую сторону, выдвинулась немножко вперед и заметила, всхлипнув, что мистер Чаффи «милый старичок».

— Он купил это зелье,— продолжал Чаффи, простирая руку к Джонасу, и непривычный огонь заблистал в его глазах и осветил все лицо,— он купил это зелье, как вы и слышали, и принес его домой. Он смешал яд — посмотрите, какие у него глаза! — с вареньем в банке, точно так же, как смешивалось для его отца лекарство от кашля, и убрал в ящик, вон в тот ящик в конторке, он знает, про какой ящик я говорю! Там он и держал эту банку, под замком. Но у него не хватило смелости или сердце у него смягчилось — боже мой! Надеюсь, что смягчилось сердце! Ведь это был его единственный сын! — и он не поставил яд на обычное место, откуда мой старый хозяин брал бы его по двадцать раз на дню!

Старик весь дрожал от овладевшего им сильного волнения. Но с этим светом, горевшим в его глазах, с простертой вперед рукой и с волосами, вставшими дыбом, он словно вырос, на него словно снизошло вдохновение. Джонас избегал смотреть на него и сидел, весь съежившись, на том самом стуле, за спинку которого держался прежде. Казалось, эта грозная правда заставила бы заговорить и немого...

— Теперь я помню все, все могу вам сказать! — воскликнул Чаффи.— Все до последнего слова! Он убрал банку в тот ящик, как я уже говорил вам. Он так часто туда заглядывал, и все тайком, что отец это заметил, и однажды, когда Джонас ушел из дому, отпер ящик. Мы вместе отперли и нашли эту смесь — я и мистер Чезлвит. Он взял ее к себе и даже вида не подал, что огорчен, а ночью подошел к моей кровати со слезами и сказал мне, что родной сын задумал отравить его. «О Чафф, милый мой Чафф! Я нынче ночью слышал голос, и этот голос открыл мне, что от меня пошло это преступление. Оно началось, когда я учил его больше всего в жизни ценить деньги, которые я ему оставлю; я превратил ожидание наследства в дело всей его жизни!» Это были его слова — да, его подлинные слова! Если он и бывал прижимист иногда, то ради своего единственного сына. Он любил своего сына и всегда был добр ко мне!

Джонас слушал все внимательнее. Надежда закрадывалась в его сердце.

— «Ему не придется ждать моей смерти, Чафф»,— вот что он сказал еще,— продолжал старый конторщик, утирая глаза,— вот что он сказал еще, плача, как малый ребенок. «Ему не придется ждать моей смерти, Чафф. Он все получит теперь же. Он женится, на ком захочет, Чафф, хотя бы мне это и было не по сердцу; а мы с вами уедем и будем жить на самую малость. Я всегда его любил; может, и он тогда меня полюбит. Ужасно, когда родное дитя жаждет твоей смерти. Но я мог бы это предвидеть. Что посеешь, то и пожнешь. Он поверит, что я принимаю лекарство; а когда я увижу, что он горюет, получив все, чего хотел, я скажу ему, что догадался, и прощу его. Он воспитает своего сына лучше, и сам, быть может, станет лучше, Чафф».

Бедный Чаффи умолк, опять вытирая глаза. Старый Мартин закрыл лицо руками. Джонас прислушивался еще напряженней, и его грудь вздымалась, как море во время прилива,— но от надежды, от растущей надежды.

— На следующий день мой дорогой хозяин сделал вид,— продолжал Чаффи,— будто он случайно открыл ящик одним из ключей в связке (мы заказали такой ключ и надели на кольцо) и будто бы очень удивился,

найдя в нем новый запас лекарства от кашля, но решил, что его поставили туда второпях, когда ящик стоял открытым. Мы сожгли лекарство, но сын думал, что отец его принимает,— он знает, что думал так. Однажды мистер Чезлвит, чтобы испытать сына, собрался с духом и сказал, что у лекарства странный вкус; он сейчас же встал и вышел из комнаты.

Джонас кашлянул сухим, коротким кашлем и, переменив позу на более удобную, скрестил руки на груди; он ни на кого не глядел, хотя все они теперь могли видеть его лицо.

— Мистер Чезлвит написал ее отцу, я хочу сказать, отцу той бедняжки, которая стала его женой,— продолжая Чаффи,— и заставил его приехать, чтобы ускорить свадьбу. Но от горя он немножко повредился в уме, как и я, а потом у него надорвалось сердце. Он стал слабеть и очень изменился после той ночи, когда приходил ко мне, и больше не мог смотреть людям в глаза. Прошло всего несколько дней, но прежде десятки лет не могли так изменить его. «Пощади его, Чафф! — сказал он перед смертью.— Пощади его, Чафф!» Я обещал ему. Я пытался щадить его. Ведь это его единственный сын.

При воспоминании о последних минутах жизни его старого друга голос бедного Чаффи, звучавший все слабее и слабее, совсем изменил ему. Сделав движение рукой, словно желая сказать, что Энтони взял его за руку и так и умер, он удалился в уголок, где обычно прятал свое горе, и замолчал.

Джонас был теперь в силах смотреть на собравшихся и смотрел злорадно.

— Ну,— сказал он после некоторого молчания,— вы довольны? Или у вас имеются еще какие-нибудь интриги в запасе? Этот ваш Льюсом может выдумать вам еще хоть десяток. Это все? Больше у вас ничего нет?

Старый Мартин пристально смотрел на него.

— То ли вы, чем казались у Пекснифа, или совсем другое, и к тому же еще и шут гороховый, я не знаю и знать не хочу,— сказал Джонас, глядя в землю и улыбаясь,— но вы мне не нужны. Вы здесь так часто бывали при жизни вашего брата, так любили его (ведь вы с вашим любезным братцем только что не колотили

друг друга, ей-богу), оно и не удивительно, что вы так привязались к дому; только дом-то в вас не нуждается, и чем скорей вы его оставите, тем лучше, а то как бы вам не опоздать. А что касается моей жены, старик, так отошлите ее домой немедленно, не то ей же будет хуже. Ха-ха! Вы круто повернули дело! Но за это еще не повесят человека, что он держал у себя для собственной надобности на пенни яда, который украли два старых дурака, а потом разыграли целую комедию. Ха-ха! Видите: вон дверь!

Его подлое злорадство, боровшееся с трусостью, стыдом и сознанием вины, было так гнусно, что все отвернулись от него, словно он был бесстыдной и грязной гадиной, омерзительной на вид. И тут на нем сказалось пагубное действие его последнего темного дела. Если б не это, рассказ старого конторщика, быть может, тронул бы его хоть сколько-нибудь, если б не это, быть может даже и в нем произошла бы благотворная перемена,— оттого, что с души свалилась такая тяжесть. Но, совершив злодеяние, он накликал на себя бессмысленную, неотвратимую опасность, и теперь в самом его торжестве слышалось отчаяние — исступленное, неукротимое, бешеное отчаяние, сокрушение о том, что напрасно он подверг себя такому риску; и это сокрушение ожесточало его, лишало рассудка, заставляло скрежетать зубами в минуту ликования.

— Мой добрый друг! — сказал Мартин, кладя руку на плечо Чаффи.— Вам не хорошо здесь оставаться. Идемте со мной.

— Совершенно как он! — воскликнул Чаффи, глядя ему в лицо.— Мне почти верится, что это ожил мистер Чезлвит. Да, возьмите меня с собой! Хотя подождите, подождите!

— Чего же? — спросил Мартин.

— Я не могу оставить ее, бедняжку! — сказал Чаффи.— Она была очень добра ко мне. Я не могу ее бросить, мистер Чезлвит. Благодарю вас от всего сердца. Я останусь здесь. Мне уже недолго ждать; это не так важно.

Произнося эти слова благодарности, он кротко покачал седой головой; и миссис Гэмп, которая теперь втиснулась в комнату вся без остатка, растрогалась до слез.

— Прямо счастье,— сказала она,— что такой милый, хороший, почтенный старичок не попался в когти Бетси Приг, а он обязательно попался бы, ежели бы не я; факт налицо, с этим не поспоришь.

— Вы слышали, что я вам сейчас сказал, старик,— обратился Джонас к своему дяде.— Я не потерплю, чтобы подкупали моих людей, будь то мужчина или женщина. Вы видите эту дверь?

— А вы сами видите эту дверь? — ответил голос Марка из-за порога.— Взгляните на нее.

Он взглянул, и глаза его приковались к двери. Роковой, зловещий, оскверненный порог. Его омрачила смерть старика отца и скорбная поступь молодой жены; сколько раз на него ложилась тень дряхлого конторщика; ноги убийцы попирали его! Но что это за люди стоят там, в дверях?

Неджет впереди всех.

Чу! Вот оно близится, бушуя, как море! Продавцы газет бегут по улице, крича об этом направо и налево; окна распахиваются настежь, и обитатели домов выглядывают из них; люди останавливаются на мостовой и на тротуаре и слушают; колокола, те самые колокола, начинают звонить — мечутся в пляске один над другим, шумно радуясь этой вести (так же звучали они в его расстроенном воображении), сотрясая свою воздушную арену.

— Вот этот человек,— сказал Неджет,— у окна.

Трое других вошли в комнату, схватили его и заковали. Заковали так быстро, что не успел он отвести глаз от сыщика, как руки его были в кандалах.

— Убийство,— сказал Неджет, оглядываясь на изумленных зрителей.— Пусть никто не вмешивается.

Разноголосая улица повторила: убийство, варварское и ужасное убийство, убийство, убийство, убийство! Слово катилось от дома к дому, эхо передавало его от камня к камню, пока голоса, всё затихая, не слились в отдаленный гул, казалось твердивший то же слово.

Все стояли молча, глядя друг на друга и прислушиваясь к уходящему вдаль шуму.

Мартин заговорил первым.

— Что это за ужасная история? — спросил он.

— Спросите его,— сказал Неджет.— Вы его друг, сэр.

Он может вам сказать, если захочет. Он знает больше меня, хотя и я знаю многое.

— Откуда же вы столько узнали?

— Недаром же я следил за ним так долго,— возразил Неджет.— Я никогда ни за одним человеком не следил так внимательно, как за ним.

Еще одно из призрачных воплощений грозной правды! Еще один из многих образов, в которых она являлась ему, возникая из пустоты. Этот человек, последний, кого он мог заподозрить, шпионил за ним; этот человек, сбросив с себя личину притворной застенчивости, ограниченности и слепоты, обернулся зорким врагом! Мертвец, восставший из гроба, поразил бы и ужаснул бы его менее!

Игра была окончена; погоня завершилась; веревка на его шею была уже готова. Если бы каким-либо чудом ему удалось вывернуться, то, куда бы он ни обратился, в какую бы сторону ни побежал, везде перед ним возникнет новый мститель и преградит ему дорогу — младенец, возмужавший в один миг, или мгновенно помолодевший старец, или слепец, который прозрел, или глухой, к которому вернулся слух. Выхода не было. Он бессильной грудой сполз по стене на пол и с этой минуты уже ни на что не надеялся.

— Я не друг ему, хотя на мою долю выпал позор быть его родственником,— сказал мистер Чезлвит.— Расскажите, где вы за ним следили и что вы видели?

— Я следил за ним повсюду,— отвечал Неджет,— ночью и днем. Я следил за ним до последнего времени, не зная ни сна, ни отдыха,— его осунувшееся лицо и налитые кровью глаза подтверждали это.— Я и не подозревал, к чему это приведет, так же не подозревал, как и он, когда он выскользнул отсюда ночью, в том платье, которое потом, связав в узелок, бросил в воду с Лондонского моста!

Джонас корчился, лежа на полу, как человек под пыткой. Он испустил сдавленный стон, словно его ранило острым лезвием, и так рванул железные кандалы на своих руках, словно готов был разорвать себя самого, будь его руки свободны.

— Тише, родственник! — сказал старший из полицейских.— Не буяньте.

— Кого это вы зовете родственником? — сурово спросил старый Мартин.

— Вас, между прочим,— ответил тот.

Мартин испытующе посмотрел на него. Тот лениво сидел верхом на стуле, облокотясь на спинку, и грыз орехи, бросая скорлупу за окно, чем и продолжал заниматься во все время разговора.

— Да,— сказал он, угрюмо кивнув,— вы вольны до самой своей смерти отрекаться от племянников, но Чиви Слайм есть Чиви Слайм, где бы он ни находился. А не кажется ли вам, однако, что для вашей родни зазорно служить в полиции? Меня можно выкупить.

— Везде эгоизм! — воскликнул Мартин.— Эгоизм, эгоизм! Каждый из них думает только о себе!

— А вы бы избавили их от этого труда и подумали бы о других, а не только о себе,— возразил его племянник.— Посмотрите на меня! Неужели вы можете видеть человека, принадлежащего к вашей семье, человека, у которого в мизинце больше таланта, чем у других в голове, одетым в полицейскую форму? Неужели вы можете видеть его и не устыдиться? Я взялся за это ремесло нарочно, для того чтобы пристыдить вас. Хотя я не думал, что мне придется производить аресты в кругу нашей семьи.

— Если ваше беспутство и беспутство ваших близких друзей довело вас до этого занятия,— ответил старик,— я еще не вижу тут большой беды. Вы честно зарабатываете свой хлеб, и этого уже достаточно.

— Не придирайтесь к моим друзьям,— возразил Слайм,— они были когда-то и вашими друзьями. Не говорите мне, что вы не нанимали моего друга Тигга, вам меня не провести. Мы с ним из-за этого поссорились.

— Я нанимал его,— возразил мистер Чезлвит,— и я платил ему.

— Хорошо, что вы это сделали вовремя,— сказал его племянник,— а не то было бы слишком поздно. Сам он сполна рассчитался за все, хотя и не по своей воле.

Старик взглянул на него, словно любопытствуя, что это значит, но не пожелал продолжать разговор.

— Я так и думал, что встречусь с ним, дело мое такое,— сказал Слайм, доставая из кармана новую горсть

орехов,— но только я полагал, что его поймают на каком-нибудь мошенничестве. Мне и в голову не приходило, что я получу приказ задержать его убийцу.

— Его убийцу! — воскликнул мистер Чезлвит, переводя глаза с одного из присутствующих на другого.

— Его убийцу — или убийцу мистера Монтегю,— сказал Неджет.— Это, как говорят, один и тот же человек. Я обвиняю этого человека в убийстве мистера Монтегю, труп которого нашли вчера вечером в лесу. Вы спросите меня, почему я обвиняю его, как уже спрашивали, почему я столько знаю? Извольте, я вам скажу. Все равно, это не может долго оставаться тайной.

Господствующая страсть этого человека сказалась даже и тут, в тоне сожаления, которым он говорил об огласке, угрожающей его тайне.

— Я сказал вам, что следил за ним,— продолжал он.— Мне это было поручено мистером Монтегю, у которого я некоторое время находился на службе. У нас были свои подозрения на его счет, и вы знаете, в чем они заключались: вы говорили об этом, пока мы ждали за дверью. Если хотите, я скажу вам, теперь это дело прошлое, с чего начались наши подозрения (кстати, повод к ним дал он сам — неосторожным намеком): с тяжбы между ним и другой конторой, где была застрахована жизнь его отца и где это дело вызвало такие сомнения и подозрения, что он пошел с ними на мировую и взял половину денег, да и тому был рад. Мало-помалу я раскопал новые улики против него, много улик. Потребовалось терпение, но такова уж моя профессия. Я разыскал сиделку — она тут и подтвердит мои слова,— я разыскал доктора, я разыскал гробовщика, я разыскал его помощника. Я узнал, как вел себя на похоронах вот этот старичок, мистер Чаффи; узнал, о чем говорил в бреду вот этот человек,— он дотронулся до руки Льюсома.— Я узнал, как мистер Джонас вел себя перед смертью отца и после смерти, записал все это и тщательно сопоставил,— словом, я собрал довольно доказательств, чтобы мистер Монтегю мог обвинить его в преступлении, которое он будто бы совершил (как он и сам думал до сегодняшнего вечера). Я был при том, как ему предъявили

обвинение. Вы видите его теперь. Он только стал еще хуже, чем был тогда.

О, жалкий, жалкий глупец! О, невыносимая, мучительная пытка! Увидеть наяву и во плоти — и главным участником всего — мозг и правую руку той тайны, которую он стремился задушить! Ведь в них, хотя бы он силой волшебства замуровал убитого в скалу, она продолжала бы жить и разгласилась бы по всему свету! Он пытался заткнуть себе уши скованными руками, чтобы не слышать ничего больше.

Он сидел, скорчившись на полу; все отшатнулись от него, словно от зачумленного. Один за другим отступили они из того угла комнаты, оставив его одного. Даже те, у кого он был под стражей, избегали его и держались поодаль (кроме Слайма, который по-прежнему грыз орехи).

— Из этого чердачного окна напротив,— продолжал Неджет, показывая на ту сторону узкой улицы,— я целыми днями и ночами следил за этим домом и за ним. Из этого чердачного окна я видел, как он возвратился один из путешествия, в которое отправился вместе с мистером Монтегю. Это был для меня знак, что мистер Монтегю достиг цели и я могу спокойно оставаться на своем посту, хотя и не должен уходить с него, пока мой хозяин меня не отпустит. Однако, стоя в двери напротив его дома, вечером, когда уже стемнело, я увидел, как из боковой двери, через двор, вышел крестьянин, который раньше туда не входил. Я немедленно пошел за ним и потерял на Западной дороге его след, который вел дальше на запад.

Джонас на мгновение поднял на него глаза и выбранился шепотом.

— Я не мог понять, что это значит,— продолжал Неджет,— но, увидев так много, я решил увидеть все, до самого конца. И увидел. Узнав у него дома, от миссис Чезлвит, что муж ее, как предполагали домашние, спит в той самой комнате, откуда он на моих глазах вышел, и что им отдан строгий приказ его не беспокоить, я понял, что он должен вернуться и стал дожидаться его возвращения. Я дежурил на улице — под воротами и в других подобных местах — всю ночь напролет; у того же окна — весь следующий день; а когда настала ночь, опять на улице. Я знал, что он вернется, так же как ушел,

в такое время, когда в этой части города будет пусто. Он так и сделал. Рано утром тот же самый крестьянин тихонько, тихонько, тихонько вернулся домой.

— Поосторожнее! — вмешался Слайм, кончив грызть орехи.— Рассказывать об этом не полагается, мистер Неджет!

— Я не отходил от окна весь день,— продолжал Неджет, не обращая на него внимания.— Думаю, что я ни на минуту не сомкнул глаз. Ночью я увидел, что он выходит с узлом. Я опять последовал за ним. Он спустился по лестнице у Лондонского моста и утопил узел в реке. Тогда у меня появились серьезные подозрения, я заявил в полицию, и полицейские этот узел...

— Выудили,— прервал Слайм.— Поживей, мистер Неджет!

— В узле было платье, которое я на нем видел,— продолжал Неджет,— измазанное в глине и запачканное кровью. Сообщение об убийстве было получено в городе прошлой ночью. Еще раньше стало известно, что человека в таком платье видели в тех местах, что он прятался где-то по соседству и сошел с дилижанса, возвращавшегося оттуда примерно в то самое время, когда я видел его входящим к себе домой. Распоряжение об аресте было выдано, и эти полицейские дежурят вместе со мной уже несколько часов. Мы выжидали и, увидев, что вы вошли, а этот человек стоит у окна...

— Подали ему знак,— вмешался Марк, услышав намек на себя,— чтобы он отпер дверь, что он и сделал с удовольствием.

— Вот и все покамест,— заключил Неджет, пряча в карман большую записную книжку, которую он достал без всякой надобности, по привычке, приступая к своим откровениям, и все время держал в руке,— но ожидается еще гораздо больше. Вы спрашивали меня насчет фактов: все, что было, я рассказал, и незачем дольше задерживать этих господ. Вы готовы, мистер Слайм?

— Мало сказать готовы! — отвечала эта знаменитость, вставая.— Если вы дойдете до участка, мы там будем в одно время с вами. Том, ступай за каретой!

Полицейский, к которому он обращался, вышел из комнаты. Старый Мартин помедлил несколько секунд,

словно хотел сказать что-то Джонасу, но, увидев, что тот по-прежнему сидит на полу и бессмысленно раскачивается взад и вперед, он взял под руку Чаффи и вышел вслед за Неджетом. Джон Уэстлок и Марк Тэпли замыкали шествие. Миссис Гэмп, пошатываясь, вышла из комнаты первая, изображая обморок на ходу, ибо в распоряжении миссис Гэмп имелись обмороки всех разрядов, на разные вкусы, как похороны у мистера Моулда.

— Ну-ну! — пробормотал Слайм, глядя им вслед.— Честное слово, совершенно не понимает, что это позор — иметь племянника в такой должности, как не понимал раньше, что я краса и гордость семьи! Вот какая награда за то, что я смирил свой гордый дух — такой дух, как мой! — и сам зарабатываю себе средства к жизни, а?

Он встал со стула и негодующе отшвырнул его ногой.

— И какие уж это средства! Когда сотни людей, которые в подметки мне не годятся, разъезжают в колясках и живут на доходы с собственных капиталов. Честное слово, хорошо же устроен мир!

Он встретился глазами с Джонасом, который упорно смотрел на него и шевелил губами, словно что-то шепча.

— А? — спросил Слайм.

Джонас взглянул на его подручного, который стоял к нему спиной, и, сделав неловкое движение скованными руками, показал на дверь.

— Гм! — задумчиво произнес Слайм.— Мне нечего и надеяться его опозорить по-настоящему, когда вы так далеко меня опередили. Я и позабыл.

Джонас повторил тот же взгляд и движение.

— Джек! — сказал Слайм.

— Здесь! — ответил подручный.

— Ступайте к двери дожидаться кареты. Скажете, когда она подъедет. Пожалуй, там вы мне нужней. Ну,— прибавил он, торопливо обернувшись к Джонасу, когда тот ушел,— в чем дело?

Джонас попытался встать.

— Погодите минутку,— сказал Слайм.— Это нелегко, когда кисти рук связаны вместе. Ну вот! Так! В чем дело?

— Суньте руку ко мне в карман. Сюда! В грудной карман слева! — сказал Джонас.

Он сунул руку и вытащил кошелек.

— В нем сто фунтов,— сказал Джонас; его слов было почти невозможно разобрать, так же как его лицо, бледное, искаженное мукой, нельзя было назвать человеческим.

Слайм взглянул на него, вложил кошелек ему в руку и покачал головой.

— Я не могу. Не смею. Да если б и посмел, нельзя. Эти люди внизу...

— Бежать невозможно,— сказал Джонас.— Я это знаю. Сто фунтов — за пять только минут в соседней комнате.

— Для чего это? — спросил Слайм.

Лицо арестованного, когда он подвинулся ближе к Слайму, чтобы шепнуть ему что-то на ухо, заставило того невольно отшатнуться. Однако он выслушал его. Всего несколько слов, но его лицо изменилось, когда он их услышал.

— Он при мне,— сказал Джонас, поднося руку к горлу, словно то, о чем он говорил, было спрятано в его шейном платке.— Почему вы могли это знать? С какой стати вам это знать? Сто фунтов за пять только минут в соседней комнате! Время уходит. Говорите же!

— Это было бы гораздо... гораздо почетнее для семьи,— дрожащими губами произнес Слайм.— Напрасно вы мне столько наговорили. Поменьше и для вашей цели было бы удобней. Могли бы оставить это про себя.

— Сто фунтов за пять минут в соседней комнате! — в отчаянии крикнул Джонас.

Тот взял кошелек. Джонас неверной, спотыкающейся походкой отошел к двери.

— Стойте! — воскликнул Слайм, хватая его за полы.— Я ничего об этом не знаю. Но тем и должно кончиться, к тому идет в конце концов. Виновны вы?

— Да! — сказал Джонас.

— Улики именно таковы, как только что говорили?

— Да,— сказал Джонас.

— Не хотите ли... не хотите ли... прочесть молитву, или что-нибудь такое? — заикнулся Слайм.

Джонас вырвался от него, ничего не ответив, и закрыл за собой дверь.

Слайм стал прислушиваться у замочной скважины. Затем отошел на цыпочках как можно дальше и в страхе уставился на перегородку. Его отвлекло прибытие кареты, подножку которой опустили с грохотом.

— Собирает вещи,— сказал он, высунувшись в окно, двоим полицейским, стоявшим на свету под уличным фонарем.— Приглядывайте там за черным ходом, кто-нибудь один, проформы ради.

Один из полицейских ушел во двор. Другой, усевшись на подножку кареты, вступил в разговор с высунувшимся в окно Слаймом, который, быть может, стал его начальством в силу своего уменья изворачиваться и всегда быть ко всему готовым, чем так восхищался его покойный друг. Полезная привычка для теперешней его профессии.

— Где он? — спросил полицейский.

Слайм заглянул на секунду в комнату и мотнул головой, как бы говоря: «Тут, близко; я его вижу».

— Его дело дрянь,— заметил полицейский.

— Крышка,— согласился Слайм.

Они посмотрели друг на друга, потом направо и налево по улице. Полицейский на подножке кареты снял шапку, опять надел, посвистел немножко.

— Послушайте! Чего ж он там копается? — запротестовал он.

— Я ему дал пять минут,— сказал Слайм.— Хотя прошло больше. Сейчас приведу.

Он отошел от окна и подкрался на цыпочках к стеклянной перегородке. Прислушался. За перегородкой не слышно было ни звука. Он переставил свечу ближе к ней, чтобы свет проникал за стекло.

Оказалось, что вовсе не так легко собраться с духом и отворить дверь. Однако он распахнул ее со стуком и отступил назад. Заглянув туда и еще послушав, он вошел.

Он отпрянул в испуге, когда его глаза встретились с глазами Джонаса, который стоял в углу и глядел на Слайма остановившимся взглядом. На шее у него не было платка, лицо стало землисто-бледным.

— Вы слишком рано,— малодушно захныкал Джонас.— Я не успел. Я никак не мог... Еще пять минут... еще две минуты... хоть одну!

Слайм не ответил ему, но, сунув кошелек обратно ему в карман, позвал своих людей.

Он и выл, и рыдал, и сыпал бранью, и упрашивал их, и вырывался, и слушался — все это сразу — и не мог держаться на ногах. Однако они втащили его в карету и усадили на сиденье; скоро он со стоном повалился в солому на пол кареты и остался там.

С ним были двое полицейских — Слайм сел на козлы с кучером,— но они не стали поднимать его. Проезжая мимо лавки фруктовщика, дверь которой была еще открыта, невзирая на поздний час, хотя лавка уже не торговала, один из них заметил, как сильно пахнет персиками.

Другой согласился, но потом встревожился и, быстро нагнувшись, посмотрел на арестованного.

— Остановите карету! Он отравился! Пахнет от пузырька у него в руке!

Рука сжимала его крепко — той окостенелой хваткой, какой ни один живой человек в расцвете сил и энергии не мог бы держать завоеванную им награду.

Они выволокли его на темную улицу; но ни присяжные, ни судьи, ни палач уже ничего не могли сделать, и вообще им нечего теперь было делать. Умер, умер, умер!

ГЛАВА LII,

в которой роли совершенно меняются

Осуществление заветных замыслов старого Мартина, которые он так долго таил в душе и которым так часто грозила опасность быть раньше времени раскрытыми, если бы прорвалось негодование, копившееся в нем, пока он жил у мистера Пекснифа, задержалось описанными выше событиями, хотя всего на несколько часов. Как ни был он ошеломлен — сначала известием о предполагаемой причине смерти его брата, которое дошло до него через Тома Пинча и Джона Уэстлока; как ни был затем подавлен рассказом Чаффи и Неджета и всеми событиями, закончившимися смертью Джонаса, о которой ему немедленно сообщили; как ни расстроило его планов и на-

дежд нагромождение всех этих происшествий, вставших между ним и его целью,— однако самая их напряженность и размах придали ему силы быстро и решительно выполнить задуманное. В каждом отдельном случае, было ли то предательство, трусость или жестокость, он видел ростки все того же дурного семени. Эгоизм — жадный, упорный, ограниченный и вместе с тем безудержный эгоизм, влачивший за собою длинную цепь подозрений, обмана, хитростей, вожделений и всего, что из них вырастает,— был корнем этого ядовитого древа. Мистер Пексниф так показал себя перед стариком, что он, этот добрый, снисходительный, многотерпеливый Пексниф, стал для него воплощением всякого эгоизма и вероломства; и чем гнуснее были формы, в каких воплощались перед ним эти пороки, тем непреклоннее становилось его решение воздать должное мистеру Пекснифу,— ему, а также и его жертвам.

В это дело он вложил не только энергию и решимость, присущие его характеру (который, как читатель мог заметить еще в начале знакомства с ним, отличался сильным развитием этих свойств), но и весь запас сил, накопленных искусственно, путем долгого их подавления. И оба эти потока, слившись воедино, понеслись вперед так стремительно и бурно, что Джон Уэстлок и Марк Тэпли (тоже люди довольно энергичные) едва могли поспеть за ним.

Он послал за Джоном Уэстлоком сразу же по приезде, и Джон, в сопровождении Тома Пинча, явился к нему. Сохранив живое воспоминание о Марке Тэпли, он немедленно заручился его услугами через Джона; и, таким-то образом, как мы уже видели, они все вместе отправились в Сити. Но своего внука он не пожелал видеть до завтра, когда мистеру Тэпли было поручено привести его в Тэмпл к десяти часам утра. Тому Пинчу он не стал ничего поручать, чтобы не вызывать против него напрасных подозрений; однако Том принимал участие во всем и оставался вместе с ними до поздней ночи и, только после того как узнал о смерти Джонаса, ушел домой, чтобы рассказать обо всех этих чудесах маленькой Руфи и подготовить ее к завтрашнему визиту в Тэмпл вместе с ним, соответственно личному наказу мистера Чезлвита.

Для старого Мартина и для его планов, которые он предначертал себе с такой определенностью, было характерно, что он ничего не сообщил о них другим, хотя можно было думать, что мистеру Пекснифу готовится возмездие,— стоило только вспомнить ту роль, какую старик играл в его доме, и увидеть, каким огнем загорались его глаза всякий раз, когда произносили имя Пекснифа. Даже Джону Уэстлоку, к которому мистер Чезлвит, по-видимому, был склонен питать большое доверие (как, в сущности, и все остальные), он не объяснил ровно ничего. Он только попросил его прийти утром; и все они, вынужденные удовольствоваться этим, оставили его одного, когда ночь была уже на исходе.

События такого дня могли бы изнурить тело и дух даже и человека гораздо моложе годами, однако старый Мартин сидел в глубоком и тягостном раздумье, пока не просияло утро. Но даже и после этого он не лег отдыхать, а только продремал в кресле до семи часов, когда мистеру Тэпли назначено было явиться,— и он явился, свежий, ясный и веселый, как само утро.

— Вы очень точны,— сказал мистер Чезлвит, открывая дверь в ответ на легкий стук, который сразу разбудил его.

— Мое желание, сэр,— ответил мистер Тэпли, чьи мысли, как будет видно из дальнейшего, сосредоточены были на венчальном обряде,— любить, почитать и повиноваться. Часы как раз бьют, сэр.

— Войдите!

— Благодарю вас, сэр,— отвечал мистер Тэпли,— чем я могу вам услужить для начала?

— Вы передали мое поручение Мартину? — спросил старик, обращая на него взгляд.

— Передал, сэр,— ответил Марк,— и никогда в жизни мне не приходилось видеть, чтобы джентльмен так удивился.

— Что еще вы ему сказали? — осведомился мистер Чезлвит.

— Да что ж, сэр,— улыбаясь, ответил мистер Тэпли,— я бы рад был рассказать ему побольше; но, находясь и сам в неизвестности, сэр, я ему ничего не говорил.

— Но сообщили ему все, что знаете?

— Да ведь это очень немного, сэр,— возразил мистер Тэпли.— Насчет вас я не мог почти ничего сообщить ему, сэр. Я только высказал свое мнение, что мистер Пекснифф сильно ошибся, сэр, и что вы сами тоже ошиблись, и что он тоже ошибся, сэр.

— В чем же? — спросил мистер Чезлвит.

— Это вы насчет него, сэр?

— И насчет него и насчет себя.

— Как же, сэр,— сказал мистер Тэпли,— в тех мыслях, какие у вас были друг о друге. Что до него, сэр, и до его мыслей, так он совсем переменился. Я понял это задолго до вашего с ним разговора на днях, и я должен это сказать. Никто его не знает так, как я. И не может знать. В нем всегда было много хорошего, только оно немножко очерствело сверху. Трудно сказать, кто в этом виноват, но только...

— Продолжайте,— сказал Мартин.— Что ж вы замолчали?

— Только... да что ж, сэр. Прошу прощения, сэр, я думаю, что, может быть, и вы виноваты. Без намерения, но все-таки, может быть, и вы. Я думаю, что вы оба были несправедливы друг к другу. Ну вот и с плеч долой! — произнес мистер Тэпли с какой-то отчаянностью в голосе.— Не могу я больше об этом молчать, и так едва вытерпел. Вчера целый день терпел. А тут — взял да и сказал. Не мог удержаться. Очень сожалею. Только не наказывайте его за это, вот и все.

Марк, по-видимому, ожидал, что его немедленно выгонят, и совсем приготовился к этому.

— Так вы думаете,— сказал Мартин,— что я отчасти виноват в его прежних недостатках, да?

— Что ж, сэр,— возразил мистер Тэпли,— мне очень жаль, но сказанного не вернешь. Вряд ли справедливо с вашей стороны, сэр, допекать этим необразованного человека, но я так думаю. Я к вам отношусь почтительно, сэр, как нельзя более, но я так думаю.

Мартин внимательно посмотрел на него, не отвечая, и слабая улыбка осветила его лицо, пробившись сквозь застывшую суровость.

— Однако вы необразованный человек, как вы говорите,— заметил он после долгого молчания.

— Совершенно верно,— ответил мистер Тэпли.

— А я, по-вашему, ученый, высокообразованный человек?

— Тоже верно,— подтвердил мистер Тэпли.

Старик, охватив подбородок рукой, прошелся раза два по комнате, прежде чем возобновить разговор:

— Вы виделись с ним сегодня утром?

— Прямо от него пришел сюда, сэр.

— Зачем, как он думает?

— Он не знает, что и думать, сэр, так же как и я. Я передал ему только то, что было вчера, сэр, что вы мне сказали: «Можете ли вы прийти к семи часам утра?», и что вы спрашиваете его через меня: «Может ли он прийти к десяти часам утра?», и что я ответил согласием за нас обоих. Вот и все, сэр.

Его искренность была настолько неподдельной, что это явно было все.

— Пожалуй,— сказал Мартин,— он может подумать, что вы хотите бросить его и перейти ко мне на службу?

— Моя служба ему была такого рода, сэр,— отвечал Марк, нисколько не теряя своей невозмутимости,— и мы с ним были такого рода товарищами в несчастье, что он этому ни на секунду не поверит. Не больше вашего, сэр.

— Не поможете ли вы мне одеться и не принесете ли завтрак из гостиницы? — спросил Мартин.

— С удовольствием, сэр,— сказал Марк.

— И между прочим,— продолжал Мартин,— так как я вас попрошу остаться здесь, не возьмете ли вы на себя отворять вот эту дверь, то есть впускать посетителей, когда они постучатся?

— Разумеется, сэр,— сказал мистер Тэпли.

— Вам нет надобности выражать изумление, когда они появятся,— намекнул Мартин.

— О, что вы, сэр,— сказал мистер Тэпли,— ровно никакой!

Хотя он поручился за себя очень уверенно, однако он и сейчас не мог опомниться от удивления. Мартин, как видно, заметил это; не укрылось от него и то, что мистер Тэпли выглядел довольно комично в столь затруднительных обстоятельствах: ибо, несмотря на то, что голос его

был ровен и лицо серьезно, оно подчас выдавало недоумение. Впрочем, энергично принявшись за порученные ему дела и занятый хлопотами, Марк вскоре отвлекся и перестал выражать свое изумление столь заметным образом.

Но после того как он привел в порядок платье мистера Чезлвита и старик оделся и сел завтракать, изумление овладело мистером Тэпли с прежней силой и, стоя за его стулом с салфеткой под мышкой (для Марка было так же легко и естественно изображать дворецкого в Тэмпле, как поступить коком на пароход), он никак не мог удержаться от искушения и частенько посматривал искоса на мистера Чезлвита. Да нет, удержаться было совершенно невозможно, и он уступал этому побуждению так часто, что старик ловил его на этом раз пятьдесят. Есть основание полагать, что те необыкновенные фокусы, которые мистер Тэпли проделывал со своим лицом, когда его заставали врасплох,— он то вдруг принимался почесывать себе глаз, или нос, или подбородок; то с глубокомысленным видом погружался в раздумье; то начинал интересоваться нравами и обычаями мух на потолке или воробьев за окном; то пытался скрыть свое смущение, с необычайной учтивостью подавая старику булочки,— что эти фокусы смешили даже Мартина Чезлвита, при всем его умении владеть собой.

Однако старик сидел совершенно спокойно и завтракал не торопясь — вернее, делал вид, что завтракает, потому что он почти ничего не ел и не пил и очень часто погружался в задумчивость. После того как он откушал, Марк сел за тот же самый стол, а мистер Чезлвит все так же молча принялся расхаживать взад и вперед по комнате.

Когда время стало подходить к десяти, Марк убрал со стола и выдвинул кресло, где старик и расположился, опираясь на трость, крепко стиснув руками набалдашник и положив на них подбородок. Все его нетерпение и задумчивая рассеянность теперь исчезли; и, глядя, как он сидит, устремив проницательные глаза на дверь, Марк невольно подумал, какое у него твердое, решительное, сильное лицо, и порадовался при мысли о том, что мистеру Пексницу, чересчур затянувшему игру в шары со своим партнером, предстоит, по-видимому, проиграть партию-другую.

Уже одних сомнений насчет того, что́ тут должно произойти и кто с кем и как будет разговаривать, было достаточно, чтобы Марк положительно не находил себе места. А так как он знал к тому же, что молодой Мартин должен прийти и что он вот-вот явится, то ему было особенно трудно оставаться спокойным и молчать. Однако, если не считать того, что время от времени он позволял себе кашлянуть глухим и неестественным кашлем, он держал себя с большим достоинством все эти десять минут, самые долгие, какие только ему пришлось пережить.

Стук в дверь. Мистер Уэстлок. Марк Тэпли, впуская его, поднял брови насколько возможно выше, давая этим понять, что считает свое положение незавидным. Мистер Чезлвит принял молодого человека весьма учтиво.

Тем временем Марк поджидал у дверей Тома Пинча с сестрой, которые поднимались по лестнице. Старик вышел им навстречу, взял обе руки молодой девушки в свои и поцеловал ее в щеку. Все это не предвещало ничего плохого, и мистер Тэпли благосклонно улыбнулся.

Мистер Чезлвит снова уселся в кресло в ту самую минуту, когда вошел молодой Мартин. Почти не глядя на него, старик указал ему место как можно дальше от себя. Это не предвещало ничего хорошего, и мистер Тэпли снова упал духом.

Новый стук отозвал его к дверям. Он не вздрогнул, не крикнул, не споткнулся при виде Мэри Грейм и миссис Льюпин, но только глубоко вздохнул и посмотрел на собравшихся с таким выражением, которое говорило, что больше его уже ничто не удивит и что он даже рад, что навсегда покончил с удивлением.

Старик встретил Мэри не менее ласково, чем сестру Тома. С миссис Льюпин он обменялся взглядом, полным дружеского понимания, что свидетельствовало о существовании между ними какого-то уговора. Но это уже не вызвало изумления в мистере Тэпли: ибо, как он заметил впоследствии, он вышел из фирмы и продал свои акции.

Но растерялся не один только мистер Тэпли — все присутствующие так удивились и растерялись, увидев друг друга, что никто не отваживался заговорить. Один мистер Чезлвит нарушил молчание.

— Отоприте дверь, Марк,— сказал он,— и сейчас же возвращайтесь.

Марк повиновался.

Теперь на лестнице раздались шаги последнего из приглашенных. Все их узнали. Это были шаги мистера Пекснифа, и мистер Пексниф явно торопился, он бежал вверх по лестнице с такой необычайной быстротой, что споткнулся раза два или три.

— Где же мой почтенный друг? — возопил он на верхней площадке, после чего влетел в комнату с распростертыми объятиями.

Старый Мартин только посмотрел на него, но мистер Пексниф отпрянул назад, словно от разряда электрической батареи.

— Мой почтенный друг здоров? — воскликнул мистер Пексниф.

— Вполне здоров.

Это, казалось, успокоило тревогу вопрошавшего. Он молитвенно сложил руки и, возведя очи кверху с благочестивой набожностью, без слов выразил свою благодарность небесам; потом обвел взором собравшихся и с упреком покачал головой — для такого человека сурово, очень сурово.

— О алчные пиявки! — возопил мистер Пексниф.— О кровопийцы! Неужели вам мало того, что вы отравили жизнь человеку, не имеющему себе равных в жизнеописаниях великодушных героев, неужели теперь, именно теперь, когда он сделал свой выбор и доверился смиренному, но по крайней мере искреннему и бескорыстному родственнику,— неужели вы хотите, кровопийцы и прихлебатели (сожалею, что приходится употреблять такие сильные выражения, досточтимый, но бывают времена, когда нет сил сдержать честное негодование), неужели вы хотите теперь, приживалы и кровопийцы (не могу не повторить!), воспользоваться его беззащитным состоянием и, слетевшись отовсюду, как волки и коршуны и другие животные крылатой породы, собраться вокруг — не скажу падали или трупа, ибо мистер Чезлвит есть нечто совершенно обратное, но вокруг своей добычи, для того чтобы обирать, и грабить, и набивать свою прожорливую утробу, и пятнать свой омерзительный клюв всем, что может радовать плотоядных?

Остановившись, для того чтобы сделать передышку, он весьма внушительно замахал на них руками.

— Стая противных естеству грабителей и разбойников! — продолжал он.— Оставьте его, оставьте его, говорят вам! Уйдите! Скройтесь! Бегите прочь! Рассейтесь по лицу земли, молодые люди, как и подобает таким бродягам, не смейте оставаться в том месте, которое освящено сединами престарелого патриарха, чьей немощной старости я имею честь быть недостойной, но, надеюсь, непритязательной поддержкой и опорой. А вы, мой нежный друг,— обратился мистер Пексниф к старику тоном кроткого увещания,— как могли вы покинуть меня, хотя бы на краткое время! Вы отлучились, не сомневаюсь, чтобы порадовать меня каким-нибудь знаком своего расположения, благослови вас бог за это! Но вам этого нельзя; не надо рисковать. Я бы, право, рассердился на вас, если б мог, друг мой.

Мистер Пексниф приближался с распростертыми объятиями, собираясь пожать старику руку. Но он не видел, что эта рука крепко стиснула увесистую палку. Как только он, улыбаясь, подошел ближе и очутился в пределах досягаемости, старый Мартин, весь горя негодованием, которое отразилось в каждой черточке и морщинке его лица и вылилось в одну бурную вспышку, вскочил и ударил его, свалив на пол.

Удар был так силен и так хорошо направлен, что мистер Пексниф повалился грузно, словно выбитый из седла лейб-гвардеец. Был ли он ошеломлен ударом, или только смутился от неожиданности и новизны столь теплого приема, но он даже не пробовал встать и лежал, озираясь по сторонам с растерянным и покорным выражением, которое было так невероятно смешно, что ни Марк Тэпли, ни Джон Уэстлок не могли удержаться от улыбки, хотя оба они подбежали к старику, боясь, как бы за первым ударом не последовал второй, что, судя по его сверкавшим глазам и энергичной позе, было как нельзя более вероятно.

— Оттащите его в сторону! Уберите его подальше,— сказал Мартин,— или я за себя не ручаюсь! Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич... Я не властен над собой, пока он так близко. Оттащите его!

Видя, что тот все не встает, мистер Тэпли, нимало не церемонясь, буквально так и сделал — оттащил его и посадил на пол, прислонив спиной к стене.

— Слушайте меня, негодяй! — обратился к нему мистер Чезлвит.— Я позвал вас, чтобы вы посмотрели на вашу собственную работу. Я позвал вас, зная, что смотреть на нее будет для вас горше полыни и желчи. Я позвал вас, зная, что видеть каждого из присутствующих для вас все равно что кинжал в сердце, в ваше низкое, вероломное сердце! Что? Поняли меня наконец?

Мистеру Пекснифу было отчего уставиться на него в изумлении: такое торжество выражалось в его лице, в голосе, во всей фигуре, что на это стоило посмотреть.

— Взгляните на него! — продолжал старик, указывая пальцем на мистера Пекснифа и обращаясь ко всем остальным.— Взгляните на него! А затем — поди ко мне, дорогой мой Мартин,— взгляните на нас, взгляните, взгляните! — При каждом повторении этого слова он все крепче прижимал к себе внука.

— Возмущение, которое я чувствовал, Мартин,— сказал он,— отчасти вылилось в ударе, только что нанесенном мною. Зачем мы расстались? Как могли мы расстаться? Как мог ты убежать от меня к нему?

Мартин хотел ответить, но он остановил его и продолжал:

— Я был виноват не меньше твоего. Марк сказал мне это сегодня, да я и сам давно это понял, хотя не так давно, как следовало. Мэри, голубка моя, подите сюда.

Она задрожала и сильно побледнела, и он усадил ее в свое кресло и стал рядом с ней, держа ее за руку, а Мартин стоял возле него.

— Проклятием нашей семьи,— сказал старик, ласково глядя на нее,— было себялюбие, всегда было себялюбие! Как часто я говорил это, не зная, что сам грешу этим не меньше других.

Он взял под руку Мартина и, стоя между ним и Мэри, продолжал так:

— Вы все знаете, что я воспитал эту сиротку для того, чтобы она ходила за мной. Однако никто из вас не знает, каким путем я пришел к тому, что стал смотреть на нее как на родную дочь: ибо она завоевала меня

своей самоотверженностью, своей любовью, своим терпением, всеми добрыми свойствами своей натуры, хотя — бог свидетель! — я не делал ничего, чтобы поощрять их. Они расцвели без ухода и созрели без тепла. Я не решаюсь сказать, что жалею об этом сейчас, иначе вон тот субъект опять поднимет голову.

Мистер Пексниф заложил руку за жилет и слегка качнул головой, словно давая понять, что он по-прежнему держит ее высоко.

— Есть такого рода эгоизм,— продолжал мистер Чезлвит,— я узнал это по собственному опыту,— который постоянно следит за проявлениями этого порока в окружающих и, держа их на расстоянии вечными подозрениями и недоверием, удивляется, почему они отдаляются, не откровенны с ним, и называет это эгоизмом. Так и я подозревал всех окружавших меня — не без причины вначале,— так я подозревал и тебя, Мартин.

— Также не без причины,— ответил Мартин.

— Слушайте, лицемер! Слушайте, сладкоречивый, раболепный, лживый мошенник! — воскликнул мистер Чезлвит.— Слушайте, вы, ничтожество! Как! Когда я искал его, вы уже расставили свои сети, вы уже ловили его, да? Когда я лежал больной у этой доброй женщины и вы, кроткая душа, просили за моего внука, вы уже завладели им, не так ли? Рассчитывая на возвращение любви, которую, как вам было известно, я питал к нему, вы предназначали его для одной из своих дочерей, не так ли? Или, если б это не удалось, вы, во всяком случае, собирались нажиться на нем, ослепив меня блеском вашего милосердия, и предъявить на меня свои права. Даже и тогда я вас понял и сказал вам это в лицо. Разве я не сказал вам, что понял вас даже тогда?

— Я не сержусь, сэр,— мягко ответил мистер Пексниф.— Я могу вынести от вас очень многое. Я не стану противоречить вам, мистер Чезлвит.

— Заметьте! — сказал мистер Чезлвит, обводя всех взглядом.— Я отдался в руки этому человеку на условиях, настолько постыдных и унизительных для него самого, насколько это можно выразить словами. Я изложил их ему при его дочерях, слово за словом, очень прямо и грубо, и так оскорбительно и недвусмысленно выразил

свое презрение к нему, как только можно выразить словами, не ограничиваясь выражением лица и тоном. Если бы лицо его покраснело от гнева, я бы поколебался в своем намерении. Если бы мне удалось уязвить его так, что он хотя бы на минуту стал человеком, я бы оставил его в покое. Если бы он сказал хоть одно слово в защиту моего внука, которого я, по его предположениям, собирался лишить наследства, если б он возражал хоть для приличия против моего требования выгнать юношу из дому и оставить его в нищете,— я, кажется, мог бы навсегда примириться с ним. Но — ни слова, ни единого слова! В его натуре было потворствовать худшим из человеческих страстей, и он остался верен себе!

— Я не сержусь,— заметил мистер Пексниф.— Я обижен, мистер Чезлвит, оскорблен в лучших своих чувствах, но я не сержусь, досточтимый.

Мистер Чезлвит продолжал:

— Однажды решившись испытать его, я хотел довести испытание до конца; но, поставив себе целью измерить глубину его двуличия, я заключил с самим собой договор, что дам ему возможность проявить сокрытую в нем искру добра, чести, терпимости — любой добродетели, какая еще теплится в его душе. С начала и до конца ничего подобного не было. Ни единого раза. Он не может сказать, что я не предоставлял ему для этого случаев. Он не может сказать, что я его принуждал. Он не может сказать, что я не давал ему свободы решительно во всем или что я не был послушным орудием в его руках, которым он мог пользоваться как для доброй, так и для дурной цели. А если и скажет, то солжет! И это также в его характере.

— Мистер Чезлвит,— прервал его Пексниф, утирая слезы,— я не сержусь, сэр; я не могу на вас сердиться. Но разве вы, досточтимый, не выразили желания, чтобы этот бессердечный молодой человек, который своими злобными происками на время лишил меня вашего доброго мнения — только на время,— чтобы ваш внук, мистер Чезлвит, был изгнан из моего дома? Вспомните сами, мой христианнейший друг.

— Я говорил это, не так ли? — сурово возразил старик.— Я не знал, насколько ваша вкрадчивость и лицемерие обманули его, и не видел лучшего пути открыть ему

глаза, как показав вас в вашем собственном лакейском обличье. Да, я выразил такое желание. А вы так и бросились мне навстречу и выгнали его, в одно мгновение отвернувшись от руки, которую только что лизали и мусолили, как только могут лизать такие негодяи. Вы поддержали и укрепили меня в моем намерении, всячески меня оправдывая.

Мистер Пексниф отвесил поклон — покорный, чтобы не сказать раболепный и униженный. Если б даже его восхваляли за упражнение в возвышенных добродетелях, он не мог бы поклониться так, как теперь.

— Этот несчастный человек, которого убили,— продолжал мистер Чезлвит,— тогда носивший фамилию...

— Тигг,— подсказал Марк.

— Да, Тигг ходил ко мне с просительными письмами от одного своего друга, а моего недостойного родственника; найдя, что это подходящий человек для моей цели, я нанял его собирать для меня вести о тебе, Мартин. От него я и узнал, что ты поселился у этого господина. Это он, встретившись с тобой однажды вечером здесь, в городе, ты помнишь где?..

— У закладчика,— сказал Мартин.

— Да, выследил тебя до твоей квартиры и дал мне возможность послать тебе деньги.

— Я никак не думал,— сказал очень тронутый Мартин,— что эти деньги от вас. Я никак не думал, что вы интересуетесь моей судьбой. Если б я знал...

— Если б ты знал,— печально ответил старик,— ты бы жестоко ошибся во мне, ибо я не был тем, чем казался. Я надеялся увидеть тебя, Мартин, раскаявшимся и покорным. Я надеялся довести тебя до отчаяния, чтобы ты вернулся ко мне. Как я ни любил тебя, я не мог признаться в своем поражении без того, чтобы ты не покорился первым. Вот каким образом я потерял тебя. Если я сыграл косвенным образом какую-нибудь роль в судьбе этого несчастного, позволив ему распоряжаться средствами, хотя бы и небольшими, пусть бог меня простит. Я мог бы, пожалуй, знать, что деньги не пойдут ему на пользу, что напрасно давать их ему и что, пройдя через его руки, они посеют только раздор. Но в то время мне и в голову не приходило считать его способным на круп-

ное мошенничество; я думал, он просто легкомысленный, праздный, беспутный гуляка, который больше вредит себе, чем другим, и ведет разгульную жизнь, потакая своим дурным страстям, на погибель себе одному.

— Прошу вашего прощения, сэр,— сказал мистер Тэпли, который теперь держал под руку миссис Льюпин, с полного ее согласия,— если я осмелюсь заметить, что, по моему мнению, вы совершенно правы, но только с ним все это вышло вполне естественно. Ведь сколько найдется на свете людей, сэр, которые, пока ходят на своих на двоих и ни на что больше рассчитывать не могут, особенного вреда никому не делают, а спускаются полегоньку под гору, прямо в грязь. Но дайте вы любому из них карету и лошадей — и просто удивительно, откуда у него сразу возьмется уменье править, откуда наберется полно пассажиров, и он помчится по самой середине дороги очертя голову прямо к черту в лапы! Господь с вами, сэр, да мимо вот этих ворот Тэмпла проходит каждый час сколько угодно Тиггов, и каждый из них только и ждет случая развернуться в самого махрового Монтегю.

— В вашей необразованности, как вы ее называете, Марк,— сказал мистер Чезлвит — гораздо больше ума, чем в образованности многих других, не исключая и меня. Вы правы, и это уже не в первый раз сегодня. А теперь выслушайте меня, дорогие мои; выслушайте и вы, потерявший не только доброе имя, но и состояние, если то, что мне сообщили, верно! А выслушав, оставьте этот дом и больше не показывайтесь мне на глаза!

Мистер Пексниф приложил руку к груди и снова поклонился.

— Послушание, которое я наложил на себя, живя у него в доме,— продолжал мистер Чезлвит,— очень часто наводило меня на такую мысль: если бы господу было угодно наказать меня на старости лет и сделать вправду таким немощным, каким я прикидывался, то я сам навлек бы на себя это несчастье. О вы, чье богатство, как и мое, было постоянным источником горя, ибо оно заставляло вас подозревать в вероломстве самых близких и дорогих друзей и заживо хоронить себя в одиночестве, чуждаясь людей и не веря им, берегитесь, чтобы, разогнав всех, кого вы могли привязать к себе узами любви,

не стать орудием такого же человека, как этот, и не пробудиться в ином мире, сознавая себя виновниками такого зла, которое огорчило бы даже небеса, если бы вам и содеянному вами был открыт туда доступ!

А затем он рассказал им, как иногда думал, еще вначале, что Мэри с Мартином могут полюбить друг друга; как ему приятно было воображать, что он, подметив зарождение этой любви, побранит их поодиночке, сделает вид, что встревожен, а потом признается, что давно лелеял этот замысел в своем сердце; сочувствуя им и щедро обеспечив их судьбу, он получит право на привязанность и уважение, которых ничто не сможет поколебать и которые на старости лет дадут ему радость и покой. Как при самом зарождении этого замысла, когда устраивать счастье других было еще ново и непривычно для него, Мартин пришел сказать ему, что уже выбрал себе невесту, зная, что дед питает какие-то намерения на этот счет, но не зная, кого он имеет в виду. Как он огорчился, узнав, что внук остановил свой выбор на Мэри, ибо рушился его замысел осчастливить их, а кроме того, открыв, что она отвечает Мартину взаимностью, он стал мучиться мыслью, что они, такие молодые, они, которых он облагодетельствовал, похожи на весь свет, ибо добиваются своих эгоистических и тайных целей. Как, ожесточившись под этим впечатлением и под влиянием всего пережитого, он стал упрекать Мартина,— позабыв, что сам он никогда не вызывал внука на откровенность и что тот еще ничем не провинился,— настолько резко, что они поссорились и разошлись в гневе. Как он тем не менее любил Мартина и надеялся, что внук к нему вернется. Как в ту ночь, когда он заболел в гостинице, он тайком писал о нем с нежностью, делая его своим наследником и позволяя ему жениться на Мэри; и как, повидавшись с мистером Пексинфом, он опять перестал верить Мартину и сжег завещание, терзаемый подозрениями, недоверием и сомнениями.

А потом он рассказал им, как, решившись проверить Пекснифа и испытать постоянство и преданность Мэри (по отношению к себе и к Мартину), он задумал и выполнил этот план; и как под влиянием ее кротости и терпения он смягчался все больше и больше, особенно же под влиянием доброты, простодушия, благородства и мужест-

венной верности Тома. И, заговорив о Томе, он призвал на него благословение; и слезы выступили у него на глазах, ибо, сказал он, Том, которого он недолюбливал вначале и которому не доверял, подействовал на его сердце, как летний дождь, и склонил его верить добру. И Мартин пожал Тому руку, и Мэри тоже, и Джон, его старый друг — особенно крепко, и Марк, и миссис Льюпин, и его сестра — маленькая Руфь. И покой, глубокий мир и покой снизошли на душу Тома.

Затем старик рассказал, с каким благородством мистер Пексниф выполнил свой долг перед обществом, уволив Тома; как, часто слыша из уст Пекснифа пренебрежительные отзывы о Джоне Уэстлоке и зная, что это близкий друг Тома, он пустился при содействии своего поверенного и стряпчего на хитрость, заставив Тома усиленно готовиться к прибытию неизвестного лондонского друга. И он опять обратился к мистеру Пекснифу (причем назвал его негодяем), напомнив, что он и тут не принуждал его делать зло, что на то была его собственная воля и желание и что он даже предостерегал его. И еще раз он обратился к мистеру Пекснифу (назвав его мошенником) и напомнил, как Мартин, возвратившись на родину новым человеком, просил прощения, которое давно ожидало его, и как он, Пексниф, оттолкнул Мартина, прочитав ему целую проповедь, и без всякой жалости помешал им обоим выразить хотя бы в малой мере их взаимную привязанность.— Из-за этого одного,— сказал старик,— если б надо было только шевельнуть пальцем, чтобы снять веревку с его шеи, я бы не пошевелился!

— Мартин,— прибавил он,— твой соперник был не слишком опасен, но миссис Льюпин все же играла роль дуэньи в течение нескольких месяцев, хотя не столько стерегла твою возлюбленную, сколько ее поклонника. Иначе этот вампир,— он с изумительной находчивостью подыскивал бранные прозвища мистеру Пекснифу,— не давал бы ей гулять, оскверняя своим дыханием чистый воздух. Что это такое? Ее рука отчего-то дрожит. Посмотрим, сумеешь ли ты удержать ее.

Удержать ее! Если он держал ее за руку хотя бы вполовину так крепко, как за талию... Ну, ну!.. Это опасная тема.

Но даже и в такую минуту, в расцвете удачи и сча-

стья, почти касаясь губами ее губ и держа в объятиях эту юную гордую красоту, он не позабыл протянуть другую руку Тому Пинчу.

— Том, милый Том! Я случайно увидел, как ты шел сюда. Прости меня!

— Простить! — воскликнул Том.— Я тебе не прощу во всю жизнь, если ты скажешь еще хоть слово. Поздравляю вас обоих! Поздравляю, дорогой мой, тысячу раз и желаю вам счастья.

Счастья! Не было такого блага на земле, которого Том не пожелал бы им. Не было такого блага на земле, каким он не наградил бы их, если б мог.

— Извините меня, сэр,— сказал мистер Тэпли, выступая вперед,— но вы только что упомянули одну леди, по фамилии Льюпин, сэр.

— Упомянул,— ответил старый Мартин.

— Да, сэр. Красивая фамилия, сэр?

— Очень хорошая фамилия,— сказал Мартин.

— Даже жалко менять такую фамилию на Тэпли, правда, сэр? — спросил Марк.

— Это зависит от самой леди. Какого она об этом мнения?

— Да вот, сэр,— сказал мистер Тэпли,— ее мнение такое, что фамилия, пожалуй, и не так хороша, зато ее владелец, может быть, окажется лучше; и потому, сэр, если ни у кого не найдется возражений или препятствий и так далее, то «Синий Дракон» будет теперь называться «Веселый Тэпли». Вывеска моего собственного изобретения, сэр. Очень новая, завлекательная и выразительная!

Все происходившее было так мало приятно мистеру Пекснифу, что он стоял, упорно глядя в пол и все время перебирая руками, словно его уже приговорили к каторжным работам. Не только вся его фигура как будто съежилась, но его поражение отразилось даже и на костюме. Платье у него казалось потертым, белье пожелтелым, волосы прямыми и слипшимися; даже сапоги — и те выглядели скверными и нечищеными, словно весь лоск сошел с них, как и с хозяина.

Скорее чувствуя, чем видя, что старик указывает ему на дверь, он поднял глаза, взял свою шляпу и обратился к нему со следующими словами:

— Мистер Чезлвит, сэр! Вы пользовались моим гостеприимством.

— И платил за него,— заметил тот.

— Покорно благодарю! В этом слышится,— тут мистер Пексниф полез в карман за носовым платком,— ваша прежняя прямота и откровенность. Вы платили за него. Я собирался об этом упомянуть. Вы обманули меня, сэр. Еще раз благодарю вас. Я этому рад. Видеть вас здоровым и в полном рассудке при любых условиях является достаточной наградой. Быть обманутым — значит быть доверчивым по натуре. Я благодарен за это богу. По мне, гораздо лучше иметь доверчивую натуру, сэр, чем подозрительную!

Тут мистер Пексниф поклонился и, скорбно улыбнувшись, утер слезу.

— Едва ли найдется хоть одно лицо среди присутствующих, мистер Чезлвит,— сказал мистер Пексниф,— кем я не был обманут. Я в ту же минуту простил этим лицам. Это был мой долг, и, разумеется, я его выполнил. Достойно ли было с вашей стороны пользоваться моим гостеприимством и играть роль, которую вы играли в моем доме,— это вопрос, сэр, который я предоставляю решить вашей собственной совести. И ваша совесть не оправдает вас — нет, сэр, нет!

Произнося эти последние слова громким и торжественным голосом, мистер Пексниф несколько увлекся собственным красноречием, однако не позабыл подвинуться ближе к двери.

— Меня ударили сегодня,— говорил мистер Пексниф,— ударили палкой — и я имею все основания думать, что эта палка была шишковатая,— по самой уязвимой и чувствительной части тела, какая имеется у человека,— по голове. Несколько ударов было нанесено мне без палки, сэр, в еще более уязвимую часть моего существа — в сердце. Вы упомянули, сэр, что я лишился моего состояния. Да, сэр, лишился. В силу неудачной спекуляции, сочетавшейся с предательством, я доведен до бедности в такое время, сэр, когда моя любимая дочь овдовела и несчастье и позор вошли в мою семью.

Тут мистер Пексниф снова отер слезу и слегка стукнул себя в грудь два или три раза, словно в ответ на такие же два-три стука изнутри, поданные звонким молот-

ком его чистой совести и означающие: «Не падай духом, дружище!»

— Я знаю человеческую душу, хотя и верю в нее. Это моя слабость. Неужели я не знаю, сэр,— тут он перешел на чрезвычайно жалобный тон и, как было замечено, взглянул на Тома Пинча,— что мои несчастия привели к такому обращению со мной! Неужели я не знаю, сэр, что, если б не они, мне никогда не пришлось бы выслушать то, что я выслушал сегодня? Неужели я не знаю, что в уединении и тишине ночи едва слышный голос станет шептать вам на ухо: «Это было дурно, это было дурно, сэр»? Подумайте об этом, сэр (если только вы будете так добры), отогнав от себя порывы страсти и отстранив все свойственное предубеждению,— я беру на себя смелость сказать это. И если вы когда-нибудь задумаетесь о безмолвной могиле, что кажется мне весьма сомнительным, судя по вашему поведению сегодня, если вы когда-нибудь задумаетесь о безмолвной могиле, сэр, вспомните обо мне. Если вы заметите, что приближаетесь к безмолвной могиле, сэр, вспомните обо мне. Если вы пожелаете, чтобы на вашей безмолвной могиле была начертана какая-нибудь надпись, то пусть начертают, что я — ах, мой раскаивающийся друг! — что я, то ничтожество, которое сейчас имеет честь вас упрекать, простил вам, что я простил вам, когда мои раны были еще свежи и когда моя грудь была только что растерзана. Сейчас вам, быть может, неприятно это слышать, сэр, но когда-нибудь вы найдете в этом утешение. Дай бог вам найти в этих словах утешение, когда вы будете в нем нуждаться! Всего хорошего, сэр!

Произнеся эту возвышенную речь, мистер Пексниф удалился. Однако эффект был сильно испорчен тем, что он тут же чуть не сшиб с ног какого-то невероятно взволнованного человечка в коротеньких плисовых штанах и очень высокой шляпе, который впопыхах взбежал по лестнице и ворвался прямо в комнату к мистеру Чезлвиту, словно сумасшедший.

— Есть тут кто-нибудь, кто его знает? — крикнул человечек.— Есть тут кто-нибудь, кто его знает? Ах, боже мой, есть тут кто-нибудь, кто его знает?

Все присутствующие переглянулись, ища друг у друга

объяснения, но никто ничего не понимал, кроме того, что появился взволнованный маленький человечек в очень высокой шляпе, который то вбегал, то выбегал из комнаты, так быстро перебирая ногами, что одна пара его ярко-синих чулок могла показаться по меньшей мере за дюжину, и все время твердил пронзительным голосом: «Есть тут кто-нибудь, кто его знает?»

— Если у вас в голове еще не все кверху дном, мистер Свидлпайп,— воскликнул другой голос,— то уймитесь и не кричите так, сударь, попрошу вас!

В то же время в дверях показалась миссис Гэмп, задыхаясь и страшно пыхтя от ходьбы по высокой лестнице, но все-таки приседая из последних сил.

— Извините уж его за слабость,— произнесла миссис Гэмп, глядя на мистера Свидлпайпа с большим негодованием.— Так я и знала, и можно было этого ожидать; лучше было бы утопить его в Темзе, чем вести сюда. Еще и часа не прошло, как он чуть не отрезал бритвой нос отцу такого замечательного семейства, мистер Чезлвит, где три раза подряд было по двойне; и начисто откромсал бы, да тот увидел в зеркало, к чему идет дело, и увернулся от бритвы. Никогда еще, мистер Свидлпайп, уверяю вас, сударь, я не понимала так хорошо, какое это несчастие быть с вами знакомой, а вот теперь понимаю и прямо так и скажу, сударь, без обмана!

— Прошу прощения, леди и джентльмены,— воскликнул маленький брадобрей, снимая шляпу,— и у вас тоже, миссис Гэмп... Но...— опять воскликнул он, смеясь и плача,— но нет ли тут кого-нибудь, кто его знает?

Не успел брадобрей произнести эти слова, как в комнату ввалилось некое существо в высоких сапогах с отворотами и с забинтованной головой и принялось ходить кругом, кругом, кругом по комнате, воображая, по-видимому, что идет прямо вперед.

— Посмотрите на него! — вскричал взволнованный брадобрей.— Вот он! Это у него скоро пройдет, он скоро опять будет в полном порядке. Вовсе он не помер, живой, не хуже меня! Еще как жив и здоров! Правда, Бейли?

— П-пожалуй, что и так, Полли,— ответил тот.

— Посмотрите-ка! — воскликнул маленький брадобрей, плача и смеясь в одно и то же время.— Когда

я останавливаю его, он не вертится. Вот! Теперь он в полном порядке. С ним ничего особенного нет, только он потрясен немножко и голова у него кружится. Так ведь, Бейли?

— П-пожалуй, что и кружится, Полли; пожалуй, что так! — сказал мистер Бейли.— Боже мой! Прелестная Сара! Вот вы где!

— Что за мальчик! — воскликнул мягкосердечный Полли, чуть не рыдая над ним.— В жизни не видывал такого мальчика! Ведь все это он шутит. Такой забавник. Он у меня войдет в дело. Уж я решил, что войдет. Мы будем Свидлпайп и Бейли. Он займется птицами (ах, хорош он будет для петушиных боев!), а я бритьем. Я ему передам всех птиц, как только он поправится. Отдам ему и маленького щегла в лавке, и всех остальных. Такой мальчик! Прошу прощения, леди и джентльмены, ведь я думал, что кто-нибудь здесь его знает!

Миссис Гэмп заметила, не без зависти, что относительно мистера Свидлпайпа и его юного друга у всех, повидимому, сложилось благоприятное мнение и что сама она отодвинулась из-за этого как бы на задний план. Поэтому она пробилась вперед и изложила свое дело.

— Это такая вещь, мистер Чезлвит,— сказала она,— что даже самой миссис Гаррис известна как нельзя лучше, ведь у нее в родне с материнской стороны есть один премиленький младенец (хоть она и не всем про это рассказывает), который сидит в банке со спиртом; и вдруг она видит этого самого младенца на Гриничской ярмарке, в одном балагане с красноглазой женщиной, карликом из Пруссии и живым скелетом; судите же сами, что она почувствовала, когда заиграла шарманка и вдруг ей показывают сыночка ее родной сестры,— а по вывеске никак нельзя было этого ожидать, там он был нарисован, совсем напротив, живехонький, куда больше ростом и так прелестно играет на арфе, а он, бедняжка, вовсе и не умел, да и где же ему было, когда он и прожил всего ничего, даже и говорить об этом не стоит! А миссис Гаррис, мистер Чезлвит, знает меня много лет и может подтвердить, что для дамы, которая овдовела, не найти никого лучше меня в услужение, вот я и надеюсь ей послужить. С позволения всего этого приятного общества, которое я здесь вижу.

— Так вот в чем ваше дело! — сказал мистер Чезлвит.— Этой доброй женщине заплатили за труды?

— Я заплатил ей, сэр,— ответил Марк Тэпли,— и очень щедро.

— Молодой человек говорит правду,— подтвердила миссис Гэмп,— очень вам благодарна.

— Тогда на этом наше знакомство прекращается, миссис Гэмп,— сказал мистер Чезлвит.— А вы — мистер Свидлпайп? Это, кажется, ваша фамилия?

— Да, это моя фамилия,— ответил Полли, с благодарностью принимая несколько звонких монет, которые старик сунул ему в руку.

— Мистер Свидлпайп, позаботьтесь, насколько возможно, о вашей жилице и время от времени не отказывайте ей в добром совете; например,— сказал старый Мартин, строго глядя на изумленную миссис Гэмп,— намекните ей, что не мешало бы пить поменьше и проявлять побольше человечности, поменьше заботиться о себе и побольше о пациентах, да и немножко честности тоже пришлось бы кстати. А если миссис Гэмп попадет в беду, мистер Свидлпайп, то лучше пусть это будет не в такое время, когда я окажусь поблизости от Олд-Бейли, а то как бы я не вызвался засвидетельствовать ее репутацию. Попробуйте, пожалуйста, внушить ей все это как-нибудь на досуге.

Миссис Гэмп всплеснула руками и, закатив глаза так, что их стало совсем не видно, сдвинула капор на затылок, чтобы освежить разгоряченный лоб, и произнесла слабым голосом:

«Пить поменьше, Сара Гэмп! Бутылку оставьте на каминной полке, чтобы можно было промочить горло, если вдруг вздумается»,— после чего впала в обморок на ходу и в этом плачевном состоянии была выведена мистером Свидлпайпом; у бедняги было довольно хлопот с двумя его пациентами — находящейся в столбняке миссис Гэмп и вращающимся мистером Бейли.

Старик оглядел всех с улыбкой и, остановив свой взгляд на сестре Тома Пинча, улыбнулся еще шире.

— Мы все вместе пообедаем здесь,— сказал он.— И так как вам с Мэри есть о чем поговорить, Мартин, то оставайтесь тут хозяйничать вместе с мистером и мис-

сис Тэпли. А я тем временем хочу посмотреть вашу квартиру, Том.

Том был в восторге. Руфь тоже. Она собралась идти вместе с ними.

— Благодарю вас, душа моя,— сказал мистер Чезлвит.— Но мне, к сожалению, надо будет еще зайти вместе с Томом по делу, это не совсем по дороге. Быть может, вы пойдете вперед, дорогая моя?

Хорошенькая Руфь с радостью согласилась и на это.

— Но не одна,— сказал Мартин,— не одна. Мистер Уэстлок, я думаю, проводит вас.

Ну как же не проводить! Да и что другое могло быть на уме у мистера Уэстлока? Какие непонятливые эти старики!

— Вы уверены, что свободны? — допытывался Мартин.

Свободен! Как будто он мог быть не свободен!

И они вышли рука об руку. Когда Том с мистером Чезлвитом спустя несколько минут вышли за ними, тоже рука об руку, последний все еще улыбался — и, право, для человека его склада довольно-таки проницательной улыбкой!

ГЛАВА LIII

Что сказал Джон Уэстлок сестре Тома Пинча; что сказала сестра Тома Пинча Джону Уэстлоку; что сказал Том Пинч им обоим и как все они провели остаток дня

Ярко сверкал на солнце фонтан Тэмпла, брызгами смеха рассыпалась его влажная музыка, весело плясали шаловливые капельки воды, то забавы ради взлетая над деревьями, то снова легко ныряя вниз и прячась, когда Руфь со своим спутником подходили к нему.

А зачем они вообще пошли к фонтану, совершенно непонятно, потому что им вовсе нечего было там делать. Это было им не по дороге, совсем не по дороге. До фонтана им было столько же дела, сколько, скажем, до любви, или еще до чего-нибудь в том же роде.

Тому с сестрой еще можно было назначать друг другу свидание у фонтана, но это совсем другая статья. Разумеется, когда ей нужно было подождать минутку-другую, было бы очень неудобно остановиться где-нибудь, кроме

самого тихого и уединенного места; а это и было именно такое уединенное место — лучше не подберешь. Но теперь, когда ее провожал Джон Уэстлок и она шла с ним под руку к себе домой (причем совершенно в обратную сторону), очень удивительно, что они вообще очутились поблизости от фонтана.

Тем не менее они оказались у фонтана. А еще того удивительнее, что они, как видно, пришли туда по взаимному согласию. Однако, попав туда, оба они немножко смутились; и это было самое странное, потому что в фонтане положительно нет ничего такого, отчего можно было бы смутиться. Всякому это известно.

— Какое прекрасное место,— сказал Джон; он и в самом деле находил его прекрасным.

— Удивительно приятное место,— отозвалась маленькая Руфь,— такое тенистое!

О маленькая проказница Руфь!

Они остановились, когда Джон начал расхваливать Тэмпл-Гарден. День выдался прелестный; и было вполне естественно — ничего не могло быть естественнее,— что, остановившись, они стали смотреть во двор, потому что двор выходит в сад, а сад выходит на реку, и в летний день нет ничего приятнее, и свежее, и блистательнее этого вида. Так почему же тогда, о маленькая Руфь, не смотреть на него смело? Зачем же засовывать такой крохотный, милый, прелестный башмачок в отбитый угол бесчувственной старой плиты на мостовой, да еще стараться, чтобы он уместился в этом уголке как можно аккуратнее?

Если бы огненнолицая матрона в измятом чепце могла видеть, как они возвращались оттуда, сколько отступного взяло бы Огненное лицо за свое место прачки у мистера Уэстлока в Фэрнивелс-Инне!

Они возвращались оттуда, но не по лондонским улицам! По какому-то волшебному городу, вымощенному облаками, где все грубые городские шумы смягчались в тихую музыку; где все казались счастливыми, где не существовало ни расстояния, ни времени. Им попались два добродушных дюжих возчика, которые спускали большие бочки пива в какой-то подвал, и когда Джон помог ей перешагнуть через канат, почти приподняв ее, такую

легкую, изящную, воздушную, они сказали, что Джон у них в долгу за то, что они доставили ему такой случай. Божественные возчики!

Зеленые пастбища летом, набитое соломой стойло зимой, вволю овса и клевера — и все это тому благородному коню, который упрямо становился на дыбы на тротуаре, с риском перевернуть кабриолет, и напугал ее до того, что она схватилась за плечо Джона обеими руками (обеими руками, так трогательно положив их одну на другую) и упросила его спрятаться от опасности в кондитерской; а после с такой робостью выглядывала из-за дверей; а потом, глядя на него своими милыми глазами, спрашивала, уверен ли он — да, уверен ли он,— что им можно без всякой опасности идти дальше? Хоть бы им попался целый табун вздыбившихся лошадей, хоть бы лев, хоть бы медведь или бешеный бык — что угодно, лишь бы эти ручки снова скрестились на его плече!

Они разговаривали, конечно. Они говорили о Томе, обо всех этих переменах, и что мистер Чезлвит привязался к нему, и какое блестящее будущее предстоит ему с таким другом, и о многом еще в том же роде. Чем больше они разговаривали, тем больше боялась маленькая Руфь каждой паузы; лишь бы не молчать, она готова была повторять одно и то же; а когда у нее не хватало на это храбрости или присутствия духа (сказать по правде, не хватало очень часто), она становилась в десять тысяч раз милей и привлекательней, чем была.

— Мартин теперь скоро женится, я думаю,— сказал Джон.

Она тоже предполагала, что скоро. Еще ни одна очаровательная маленькая женщина не высказывала своих предположений таким слабым голосом, как Руфь.

Однако, чувствуя, что приближается еще одна из пугавших ее пауз, она заметила, что у него будет красавица жена. А что думает мистер Уэстлок?

— Да, да,— сказал Джон,— о да!

Она высказала опасение, что на его вкус трудно угодить,— он говорил так равнодушно.

— Скажите лучше, что у меня другой вкус,— сказал Джон.— Я почти не видел ее. Мне не хотелось на нее смотреть. Мне было не до нее сегодня утром.

О боже милостивый!

Хорошо еще, что они дошли до места. Она не могла бы сделать и шагу дальше. Невозможно идти, когда так дрожишь.

Том еще не приходил. Они вошли в треугольную гостиную вместе, вдвоем. Огненное лицо, Огненное лицо, сколько же ты возьмешь теперь отступного?

Она села на маленький диванчик и развязала ленты у шляпки. Он сел рядом с ней и очень близко — очень, очень близко. О быстро бьющееся, переполненное, трепетное сердечко, ты знало, что это придет, и надеялось на это. Так зачем же биться так бурно?

— Дорогая Руфь! Милая Руфь! Если б я любил вас меньше, я давно мог бы сказать вам, что люблю вас. Я полюбил вас с первого взгляда. Никогда никого не любили так беззаветно, как люблю вас я, дорогая Руфь!

Она закрыла лицо руками. Нельзя было удержать хлынувших рекой слез радости, гордости, надежды и чистой любви. Они поднялись из ее переполненного юного сердца в ответ на его слова.

— Любовь моя! Если это не тягостно и не огорчительно для вас — я едва смею надеяться,— то не могу высказать, какое это для меня счастье! Милая Руфь! Моя добрая, кроткая, прелестная Руфь! Я знаю, чего стоит ваше сердце; надеюсь, я сумею оценить ваш ангельский характер. Позвольте мне доказать вам это, и вы сделаете меня счастливее, Руфь...

— Но не счастливее,— всхлипнула она,— чем вы сделали меня. Никто не может быть счастливее, Джон, чем вы сделали меня.

Огненное лицо, позаботьтесь о себе! Обычное жалованье — или обычное предупреждение. Все кончено, Огненное лицо! Мы в вас больше не нуждаемся.

Маленькие ручки могли ложиться одна на другую и без содействия вздыбленных коней. Не нужно было больше ни львов, ни медведей, ни бешеных быков. Все это выходило без их помощи и даже гораздо лучше. В оправдание не требовалось больше ни дюжих возчиков, ни бочек с пивом. Вообще не требовалось никаких предлогов. Нежная, легкая рука ложилась робко, но вполне

естественно, на плечо возлюбленного; гибкая талия, поникшая голова, краснеющая щека, милые глаза, прелестный ротик — все это было как нельзя более естественно. Если бы все лошади Аравии взбесились разом, дело не могло бы пойти лучше.

Скоро они опять заговорили о Томе.

— Надеюсь, он будет рад узнать это! — сказал Джон с разгоревшимися глазами.

Руфь немножко крепче сжала свои руки и серьезно взглянула ему в лицо.

— Я ведь не расстанусь с ним, да, милый? Я бы не могла расстаться с Томом. Я уверена, что ты это знаешь.

— Ты думаешь, я потребовал бы этого? — ответил он с... ну, не так важно, с чем именно.

— Я уверена, что нет,— отвечала она, и светлые слезы выступили у нее на глазах.

— И если хочешь, готов поклясться в этом, Руфь, голубка моя. Расстаться с Томом! Странно было бы начинать с этого. Расстаться с Томом, дорогая! Если мы с Томом не будем неразлучны и если Тома (благослови его бог!) не будут больше всех любить и уважать в нашем доме, моя милая жена, то такого дома нам не нужно! Крепче этой клятвы быть не может, Руфь!

Надо ли рассказывать, как она благодарила его? Да, надо. Во всей простоте, и невинности, и чистоте сердца, и все же застенчиво, грациозно и нерешительно, она запечатлела эту клятву розовой печатью, цвет которой разлился по всему ее лицу, до самых корней ее темно-каштановых волос.

— Том будет так счастлив и так горд и рад,— сказала она, стиснув свои маленькие ручки.— Он так удивится! Я думаю, ему это и в голову не приходило.

Разумеется, Джон немедленно спросил ее (ведь оба они были в таком состоянии, когда простительно очень многое), давно ли ей самой это пришло в голову, что немножко отвлекло их разговор в другую сторону,— отклонение очаровательное для них, но не очень интересное для нас,— после чего они снова вернулись к Тому.

— Ах, милый Том!..— сказала Руфь.— Мне кажется, теперь я должна всем с тобой делиться. Мне нельзя иметь от тебя секретов. Правда, Джон, милый?

Не стоит распространяться о том, как этот возмутительный Джон ответил ей, потому что на бумаге этого передать невозможно, хотя сам по себе такой ответ очень выразителен. А значил он: да, да, да, милая Руфь, или приблизительно так.

Тогда она рассказала великую тайну Тома — не говоря, как именно она узнала ее, но предоставив ему догадываться, если хочет; и Джон серьезно огорчился, услышав это, и преисполнился сочувствия и печали. Теперь они еще больше будут стараться, сказал он, чтобы Том был счастлив, развлекая его любимыми занятиями. И тут, со всей откровенностью, какая бывает в такие минуты, он рассказал ей, что ему представляется прекрасный случай вернуться к своей прежней профессии, уехав в провинцию, и как он думал, что если ему выпадет счастье, которое выпало теперь, — тут они опять немного отвлеклись, — он думал, что найдет занятие и Тому, и они будут жить все вместе, самым естественным образом, и Том нисколько не будет чувствовать себя в зависимости, и все они будут счастливы, как только возможно. Руфь обрадовалась, и они принялись так стараться для Тома, что успели купить ему избранную библиотеку и даже орган, на котором Том играл с величайшим удовольствием, в ту самую минуту, когда он постучался в дверь.

Хотя ей не терпелось рассказать брату о том, что произошло, бедная маленькая Руфь была сильно взволнована его приходом, тем более что он должен был прийти не один, а вместе с мистером Чезлвитом. И потому она прошептала, вся дрожа:

— Что мне делать, милый Джон? Я не вынесу, если он узнает об этом не от меня, и не могу сказать ему, пока мы не останемся вдвоем.

— Поступи так, голубка, как тебе подскажет минута, и я уверен, что все выйдет хорошо.

Он едва успел это произнести, а Руфь едва успела отсесть от него немножко подальше на диване, как вошли Том с мистером Чезлвитом. Сначала вошел мистер Чезлвит, а следом за ним и Том.

Руфь решила, что спустя несколько минут как-нибудь вызовет Тома наверх и все ему скажет в его тесной спаленке. Но как только она увидела его славное

лицо, сердце у нее не выдержало, она бросилась к нему в объятия, приникла головой к его груди и зарыдала:

— Благослови меня, Том! Милый мой брат!

Том поднял глаза в изумлении и увидел, что Джон Уэстлок стоит рядом, протягивая руку.

— Джон! — воскликнул Том.— Джон!

— Дорогой Том,— сказал его друг,— дай мне твою руку. Мы с тобой братья, Том.

Том изо всей силы стиснул его руку, горячо обнял сестру и передал ее в объятия Джона Уэстлока.

— Не говори со мной, Джон. Бог милостив к нам. Я...

Том осекся на полуслове и выбежал из комнаты; Руфь бросилась за ним.

А когда они вернулись, что произошло довольно скоро, Руфь казалась еще красивей, а Том добрей и благородней, чем всегда (если это возможно). И хотя Том даже и сейчас не мог говорить на эту тему, не привыкнув еще к новой радости, он пожал обеими руками обе руки Джона так выразительно, что это заменяло самую лучшую речь.

— Я рад, что вы выбрали этот день,— сказал мистер Чезлвит все с той же проницательной улыбкой,— я так и думал. Надеюсь, что мы с Томом мешкали достаточно долго. У меня давно не было опыта в делах этого рода, и я очень беспокоился, уверяю вас.

— На ваш опыт можно положиться, сэр,— с улыбкой ответил Джон,— если он позволил вам предвидеть то, что произошло сегодня.

— Скажем прямо, мистер Уэстлок,— сказал старик,— что для этого не нужно было быть большим пророком, стоило только посмотреть на вас с Руфью. Подите сюда, моя прелесть, посмотрите, что мы с Томом купили нынче утром, покуда вы обменивались ценностями вот с этим молодым негоциантом.

Старик, усадив ее рядом с собой, разговаривал с ней ласковым голосом, словно она была ребенок, но и этот тон и вся манера обращения старого чудака были очень кстати в разговоре с Руфью.

— Взгляните сюда,— сказал он, доставая футляр из кармана,— какое красивое ожерелье! Ах, как блестит! И серьги тоже, и браслеты, и пояс для вас! Этот гарнитур ваш, а у Мэри другой такой же. Том никак не мог

понять, для чего мне понадобились два. Какой непонятливый этот Том! Серьги, и браслеты, и пояс! Просто загляденье! Дайте-ка мы посмотрим, как это будет нарядно. Попросите мистера Уэстлока надеть их.

Не могло быть ничего милее Руфи, когда она протянула свою круглую белую ручку и Джон (о хитрый, хитрый Джон!) притворился, будто никак не может застегнуть браслет; не могло быть ничего милее Руфи, когда она стала сама надевать этот бесценный пояс и все-таки не могла обойтись без помощи, потому что пальцы у нее никак не слушались; ничего не могло быть милей улыбки и румянца, игравших на ее лице, словно искры света на драгоценных камнях; ничего милее вы не могли бы увидеть и за целый год обыкновенной жизни, будьте уверены.

— Драгоценности и их хозяйка так хорошо подходят друг к другу,— сказал старик,— что я не знаю, кто кого украшает. Мистер Уэстлок мог бы мне подсказать, конечно, но я его спрашивать не стану, он подкуплен. Носите их на здоровье, милая, и будьте счастливы, не забывайте только, что это вам на память от любящего друга!

Он потрепал ее по щеке и сказал Тому:

— Мне придется и здесь тоже играть роль отца, Том. Не много найдется отцов, которые в один день выдают замуж двух таких дочерей; но мы не посмотрим, что так не бывает, лишь бы исполнить стариковскую прихоть. На такое снисхождение я имею право,— прибавил он,— потому что, видит бог, немного было в моей жизни прихотей, направленных на то, чтобы одарять других!

Все это заняло так много времени, а потом между ними начался такой оживленный разговор, что оставалось всего четверть часа до обеда, когда они вспомнили о нем. Тем не менее наемный экипаж быстро довез их до Тэмпла, где все уже было готово к их приему.

Мистер Тэпли, которому были даны неограниченные полномочия по части заказывания обеда, так постарался ради гостей, что был сервирован целый банкет под соединенным руководством его самого и его нареченной. Мистер Чезлвит пожелал, чтобы они тоже сели вместе с гостями, и Мартин горячо поддержал его, но Марк никак не соглашался сесть за стол, отговариваясь тем, что, взяв на себя честь прислуживать им и заботиться об их удоб-

ствах, он и в самом деле чувствует себя хозяином «Веселого Тэпли», так что ему даже кажется, будто и прием происходит под кровлей «Веселого Тэпли».

Чтобы еще больше поощрить свою фантазию, мистер Тэпли взял на себя руководство лакеями из гостиницы, делая им разные указания насчет расстановки блюд и прочего; и так как его распоряжения обычно противоречили всем установленным порядкам и были очень комичны и по форме и по существу, то вызывали среди услужающих самое непринужденное веселье, в котором участвовал и мистер Тэпли, безгранично радуясь собственному остроумию. Он пользовался каждым случаем, чтобы позабавить их рассказами о своих странствиях, или же какой-нибудь комической стычкой с миссис Льюпин; так что взрывы смеха все время слышались из-за спинок стульев и со стороны буфета; а у старшего лакея (в пудре и коротких штанах, обыкновенно человека очень серьезного) лицо густо покраснело и во всеуслышание лопнули завязки на жилете.

Молодой Мартин сидел во главе стола, а Том Пинч в конце; и если чье лицо сияло весельем за этим столом, то конечно лицо Тома. Он был душой общества. Все пили за него, все смотрели на него, все думали о нем, все любили его. Стоило ему положить на стол ножик или вилку, как уж кто-нибудь непременно тянулся пожать ему руку. Перед обедом Мартин и Мэри отвели его в сторонку и дружески заговорили с ним о будущем, так горячо уверяя, что без него они не могут быть вполне счастливы — без его общества и самой тесной дружбы,— что Том был положительно тронут до слез. Он не мог этого вынести. Его сердце переполнено счастьем, сказал он. Да так оно и было. Том говорил чистую правду. Именно так. Как ни обширно твое сердце, милый Том Пинч, в этот день в нем не было места ничему, кроме счастья и сочувствия!

Тут же был и Фипс, старик Фипс из Остин-Фрайерс, тоже приглашенный к обеду и оказавшийся самым веселым собеседником, какой только запирался в темной конторе, наперекор собственной общительности. «Где же он?» — спросил Фипс, войдя в комнату. А потом набросился на Тома, сказав, что он жаждет вознаградить себя за прежнюю сдержанность: и, во-первых, пожал ему правую руку, а во-вторых, пожал ему левую руку, а в-треть-

их, ткнул его пальцем в жилет, а в-четвертых, сказал: «Как поживаете?» — и, кроме того, проделал еще много кое-чего в доказательство своего дружеского расположения и радости. И он пел песни, этот Фипс, и говорил речи, и молодецки опрокидывал стакан за стаканом,— словом, он показал себя настоящим молодчиной, этот Фипс!

Но какое же счастье возвращаться домой пешком — упрямица Руфь, она ни за что не хотела ехать! — возвращаться пешком, как в тот памятный вечер, когда они возвращались из Фэрнивелс-Инна! Какое счастье, что можно говорить об этом и поверять свое счастье друг другу! Какое счастье рассказать все свои маленькие планы Тому и увидеть, как его сияющее лицо просияет еще больше!

Когда они пришли домой, Том Пинч оставил сестру с Джоном в гостиной, а сам поднялся наверх, к себе в комнату, под предлогом, что ему нужно найти книгу. И Том даже подмигнул самому себе, поднимаясь по лестнице; ему казалось, что он ведет себя очень хитро.

«Им, конечно, хочется побыть вдвоем,— подумал Том,— а я ушел так незаметно; они, наверно, каждую минуту ждут, что я вот-вот вернусь. Отлично!»

Но он недолго просидел за книжкой, как услышал стук в дверь.

— Можно войти? — спросил Джон.

— О, конечно! — ответил Том.

— Не оставляйте нас, Том; не сидите один. Мы хотим, чтобы вы веселились, а не грустили.

— Мой милый друг,— сказал Том, весело улыбнувшись.

— Брат, Том, брат!

— Мой милый брат,— сказал Том,— нет никакой опасности, что я загрущу. Отчего же мне грустить, если я знаю, что вы с Руфью так счастливы вместе? Кажется, ко мне опять вернулся дар речи, Джон,— прибавил он после короткой паузы,— но я никогда не сумею высказать вам, какую невыразимую радость принес мне этот день. Было бы несправедливостью по отношению к вам говорить, что ваш выбор пал на бесприданницу, ведь я чувствую, что вы знаете ей цену, уверен, что вы знаете ей цену. И эта цена не упадет в вашем мнении, Джон, что могло бы случиться с деньгами.

— Что непременно случилось бы с деньгами, Том,— ответил он.— Я знаю ей цену! Но кто бы мог увидеть ее и не полюбить? Кто мог бы, обладая таким сокровищем, как ее сердце, охладеть к этому сокровищу? Кто мог бы чувствовать такое блаженство, какое я чувствую сегодня, и любить ее так, как я люблю, Том, не зная хоть в какой-то мере цены ей? Вашу радость нельзя выразить? Нет, Том, мою, мою!

— Нет, нет, Джон,— сказал Том,— мою, мою!

Их дружескому спору положила конец сама Руфь, подойдя и заглянув в дверь. И каким же чудесным взглядом, и гордым и застенчивым вместе, посмотрела она на Тома, когда возлюбленный привлек ее к себе! Словно говорила: «Да, Том, ты видишь, какой он. Но ведь он имеет на это право, ты сам знаешь, потому что я его люблю».

Что касается Тома, он был в полном восторге. Он мог бы целыми часами сидеть вот так и радоваться на них.

— Я говорил Тому, голубка, как мы с тобой решили, что мы не позволим ему убегать от нас,— ни за что не позволим! Как мы можем лишиться одного человека, а главное, такого человека, как Том, в нашем маленьком семействе, когда нас всего трое? Я ему так и сказал. Деликатность это в нем или только эгоизм, уж не знаю. Но деликатничать ему не нужно, он нас нисколько не стесняет. Правда ведь, дорогая Руфь?

Что ж, он, кажется, и в самом деле не особенно стеснял их, судя по тому, что последовало за этими словами.

Было ли неразумно со стороны Тома радоваться, что они не забывают о нем в такое время? Была ли неразумной их трогательная любовь, их милые ласки? Или их затянувшееся прощание? Разве со стороны Джона было так неразумно любоваться с улицы на ее окно, радуясь слабому лучу света больше, чем бриллиантам, а с ее стороны — повторять его имя, стоя на коленях, и изливать свое чистое сердце тому существу, которое дает нам такие сердца и такие чувства?

Если все это глупо, тогда пусть Огненное лицо блаженствует по-прежнему; а если нет, тогда ступай прочь, Огненное лицо! Ступай себе и заманивай своим измятым чепцом какого-нибудь другого холостяка, потому что этот потерян для тебя навсегда!

ГЛАВА LIV

особенно беспокоит автора. Ибо она последняя в книге

Пансион миссис Тоджерс был приятно взволнован, и усиленные приготовления к позднему завтраку происходили под его коммерческой сенью. Настало то счастливое утро, когда священные узы брака должны были соединить мисс Пексниф с Огастесом.

Настроение мисс Пексниф делало честь и ей самой и такому торжественному событию. Она была преисполнена снисходительности и всепрощения. Она приготовилась отплатить добром за зло своим врагам. Она не питала ни злобы, ни зависти в сердце своем — ни малейших.

Ссоры между родными, говорила мисс Пексниф, ужасная вещь; и хотя она не в силах простить своему дорогому папе, она готова принять остальных своих родственников. Они слишком долго чуждались друг друга, говорила она. Довольно уже этого одного, чтобы навлечь на семью какую-нибудь кару свыше. По ее мнению, смерть Джонаса и была такой карой, ниспосланной всему семейству за постоянные нелады между собой, и в этом мнении ее утверждало то, что сама она переносила испытание довольно легко.

Итак, жертвуя собой — не торжествуя, нет, отнюдь не торжествуя, а смирившись духом,— эта любезная молодая девица написала своей родственнице, особе с решительным характером, и сообщила, что ее свадьба состоится в такой-то день; что она долго огорчалась бессердечным поведением ее самой и ее дочерей и теперь надеется, что совесть не слишком их мучит; что, желая простить своим врагам и примириться со всеми перед вступлением в самый священный из союзов с самым нежным из возлюбленных, она теперь протягивает им руку в знак дружбы; и если решительная особа примет эту руку в том же духе, в каком она протянута ей, то она, мисс Пексниф, приглашает ее присутствовать на свадебной церемонии, а кроме того, приглашает трех красноносых старых дев, ее дочек (впрочем, насчет носов мисс Пексниф не распространялась), быть своими подружками.

Решительная особа отвечала, что и она сама и ее дочери в отношении совести пользуются завидным спокойствием и здоровьем, о чем, как она знает, будет приятно услышать мисс Пексниф; что она прочитала записку мисс Пексниф с непритворным удовольствием, потому что никогда не придавала никакого значения мелкой зависти и злобным нападкам, которым подверглась она сама и ее близкие, ибо, подумав хорошенько, она нашла в них не что иное, как источник невинного развлечения; что она с радостью приедет на свадьбу к мисс Пексниф и что ее три дочери будут счастливы присутствовать при таком интересном и совершенно неожиданном событии, причем слова «совершенно неожиданном» были подчеркнуты решительной особой.

Получив этот любезный ответ, мисс Пексниф распространила свое прощение и гостеприимство на мистера и миссис Спотлтоу, на мистера Джорджа Чезлвита — кузена холостяка, на одинокую родственницу, страдавшую зубной болью, и на волосатого молодого джентльмена с неопределенной физиономией — на всех оставшихся в живых из той компании, которая собралась когда-то в гостиной мистера Пекснифа. После чего мисс Пексниф заметила, что в выполнении долга есть какая-то сладость, которая смягчает горечь жизненной чаши.

Свадебные гости еще не собрались; впрочем, было еще так рано, что и сама мисс Пексниф одевалась не спеша, когда поблизости от Монумента остановилась коляска и Марк, соскочив с заднего сиденья, помог выйти мистеру Чезлвиту. Коляска осталась дожидаться, а также и мистер Тэпли. Мистер Чезлвит отправился в пансион миссис Тоджерс.

Недостойная преемница мистера Бейли проводила его в столовую, куда немедленно явилась миссис Тоджерс, так как этого визита ожидали.

— Вы, я вижу, одеты на свадьбу,— заметил он.

Миссис Тоджерс, которая совсем захлопоталась с приготовлениями, ответила утвердительно.

— Все это делается против моего желания, уверяю вас, сэр,— сказала миссис Тоджерс,— но мисс Пексниф уже решилась, да и действительно — мисс Пексниф пора выйти замуж. Этого нельзя отрицать, сэр.

— Да,— сказал мистер Чезлвит,— конечно. Ее сестра не принимает участия в торжестве?

— О, что вы, нет, сэр. Бедняжка! — шепотом сказала миссис Тоджерс, покачав головой.— С тех пор как она узнала самое страшное, она не выходит из моей комнаты — здесь рядом.

— Она может принять меня?

— Да, сэр.

— Тогда не будем терять времени.

Миссис Тоджерс проводила его в маленькую заднюю комнатку с видом на водяной бак, и там, печально изменившаяся с тех пор, как эта комнатка впервые стала ее жилищем, сидела бедная Мерри в черном вдовьем платье. Комнатка выглядела очень мрачно, и она сама тоже; но один друг был при ней, верный до конца,— старик Чаффи.

Когда мистер Чезлвит сел рядом с ней, она взяла его руку и поднесла к губам. Она была в большом горе. Старик тоже был взволнован,— он не видел ее с тех пор, как они простились на кладбище.

— Я судил о вас неосновательно,— сказал он тихим голосом.— Боюсь, что я судил о вас несправедливо. Позвольте мне надеяться, что вы простили меня.

Она еще раз поцеловала его руку и, удержав ее в своей, прерывающимся голосом поблагодарила старика за его доброту.

— Том Пинч,— сказал он,— рассказал мне о своем разговоре с вами, хотя в ту минуту он сам считал маловероятным, что ему представится случай передать ваше поручение. Поверьте, если мне еще когда-нибудь встретится неразумная, не знающая себя натура, скрывающая силу, которую она считает слабостью, я буду к ней внимательнее и милосерднее.

— Но ведь вы именно так относились ко мне,— ответила Мерри.— Теперь я это вижу. Слова, о которых вы говорите, вырвались у меня, когда мое горе было очень сильным, почти невыносимым, и я повторяю их теперь, прося за других; но о себе я не вправе говорить. Вы беседовали со мной, после того как видели меня и наблюдали за мной каждый день. Вы проявили много внимания ко мне. Вы могли бы говорить, быть может, ласковее; вам

легче было бы добиться моего доверия, если б вы говорили мягче; но от этого ничто не изменилось бы.

Он покачал головой с сомнением, как бы упрекая самого себя.

— Разве можно было надеяться,— продолжала она,— что ваше вмешательство окажет на меня влияние, когда я помню, какая я была упрямая? Я никогда ни о чем не думала; у меня не было ни ума, ни сердца, и мне казалось, что это и не нужно. Все это пришло потом, вместе с несчастьем. Это дало мне силы пережить мое несчастье. Я не хотела бы забывать о нем, каково бы оно ни было. Я знаю, оно ничтожно в сравнении с теми испытаниями, которые приходится терпеть каждый день сотням добрых людей,— но я не хотела бы забыть о нем завтра, даже если б могла. Оно было моим другом, и без него никто и ничто не изменило бы меня. Не смотрите на эти слезы, я не могу удержать их. Но в душе я благословляю свое несчастье, правда, благословляю!

— Правда, сэр! — сказала миссис Тоджерс.— Я в этом уверена.

— И я тоже! — сказал мистер Чезлвит.— А теперь слушайте меня, милая. Имущество вашего покойного мужа, если оно не уйдет на погашение большого долга обанкротившемуся обществу (документ, как бесполезный беглецам, был отослан ими в Англию, не столько ради кредиторов, сколько для того, чтобы насолить вашему мужу, которого они считают живым), будет конфисковано казной; ибо на него, как я узнал, могут предъявить права те, кто пострадал от спекуляции, в которой он участвовал. Состояние вашего отца поглотила целиком, или почти целиком, та же спекуляция. Если что-нибудь осталось, то и остаток будет точно так же конфискован. Дома у вас больше нет.

— Я не могла бы к нему вернуться,— сказала она, невольно намекая на то, что это отец принудил ее выйти замуж,— я не могла бы вернуться домой.

— Я знаю,— продолжал мистер Чезлвит,— потому я и пришел, что я это знаю. Поедемте со мной! Все окружающие меня встретят вас с радостью, поверьте; у нас был об этом разговор. Но до тех пор пока ваше здоровье не восстановится и вы не успокоитесь в достаточной мере, для того чтобы выдержать такую встречу, вы поживете

где-нибудь в тихом месте близ Лондона, по вашему собственному выбору; настолько близко, чтобы эта добрая женщина могла навещать вас, когда ей вздумается. Вы много страдали, но вы молоды, и перед вами лежит более светлое, счастливое будущее. Поедемте со мной! Ваша сестра к вам равнодушна, я знаю. Она торопится со свадьбой, трубит о ней в таком тоне, который едва ли уместен (чтобы не сказать более), не подобает ей как сестре, просто неприличен. Оставьте этот дом, прежде чем приедут ее гости. Она хочет вас обидеть. Избавьте ее от труда, поедемте со мной!

Миссис Тоджерс, хотя отнюдь не желала расставаться с ней, присоединилась к его уговорам. Присоединился даже бедный старик Чаффи, которого тоже, разумеется, посвятили в этот план. Мерри торопливо оделась и была совсем готова к отъезду, когда мисс Пексниф влетела в комнату.

Мисс Пексниф влетела так неожиданно, что оказалась в самом неловком положении. Хотя она закончила свой свадебный туалет в отношении прически и на голове у нее красовался вуаль с флердоранжем, во всех остальных отношениях он не был закончен, и на ней было наброшено весьма неказистое одеяние, нечто вроде канифасового шлафрока. Она влетела в комнату полуодетая для того, в сущности, чтобы утешить сестру видом этого самого флердоранжа, и так как она даже не подозревала о присутствии гостя, то была весьма неприятно изумлена, очутившись лицом к лицу с мистером Чезлвитом.

— Итак, молодая особа,— сказал старик, глядя на нее с сильнейшим неодобрением,— вы нынче выходите замуж!

— Да, сэр,— скромно ответила мисс Пексниф,— выхожу... Я... мой туалет... ну право же, миссис Тоджерс!

— Вы смущены, я вижу,— сказал старый Мартин.— Я этому ничуть не удивляюсь. Вы неудачно выбрали время для вашей свадьбы.

— Извините меня, мистер Чезлвит,— ответила Черри, мгновенно вспыхнув от злости,— но если вы желаете что-нибудь сказать на этот счет, я попрошу вас обратиться к Огастесу. Вряд ли вы сочтете приличным заводить ссору со мной, когда Огастес во всякое время готов поговорить с вами. Мне нет никакого дела до того, как

там обманывали моего папашу,— колко продолжала мисс Пексниф,— и поскольку я желаю быть в хороших отношениях со всеми в такой день, то была бы очень рада, если б вы оказали нам честь позавтракать с нами. Но я не стану вас приглашать — вижу, что другие уже завладели вами и восстановили вас против меня. Надеюсь, что я, как полагается, привязана к другим и, как полагается, жалею других; но я же не могу всегда подчиняться и подслуживаться к ним. Это было бы уж слишком. Думаю, что я достаточно уважаю для этого и себя и того человека, который сегодня назовет меня своей супругой.

— Так как ваша сестра — мне так кажется, сама она ничего на этот счет не говорила — видит очень мало внимания от вас, то она уезжает со мной,— сказал мистер Чезлвит.

— Я очень довольна, что ей, наконец, хоть в чем-нибудь повезло,— отвечала мисс Пексниф, вздернув нос.— Нисколько не удивляюсь, что такое торжественное событие не радует ее — нисколько не радует,— но я тут ничего не могу поделать, мистер Чезлвит: вина не моя.

— Довольно, мисс Пексниф,— спокойно сказал старик,— мне хотелось бы, чтобы вы при таких обстоятельствах простились с сестрой более ласково. Тогда я стал бы вам другом. В один прекрасный день вам может понадобиться друг.

— Все мои друзья, мистер Чезлвит, с вашего позволения, и все мои родные,— с достоинством возразила мисс Пексниф,— отныне заключаются в Огастесе. Пока Огастес принадлежит мне, я в друзьях не нуждаюсь. Со всякими разговорами о друзьях, сэр, я попрошу вас раз и навсегда обращаться к Огастесу. Таково мое мнение о том обряде, который свершится перед алтарем и соединит меня с Огастесом. Я ни к кому не питаю злобы, а тем более в минуту своего торжества, а тем более к родной сестре. Напротив, я поздравляю ее. Если вы не слышали, как я ее поздравляла, я не виновата. И так как ради Огастеса я не должна опаздывать в такой день, когда он, натурально, имеет право быть... быть нетерпеливым,— ах, в самом деле, миссис Тоджерс! — то я должна попросить у вас позволения уйти, сэр.

С этими словами подвенечная вуаль удалилась на-

столько торжественно, насколько это было совместимо с канифасовым шлафроком.

Старый Мартин подал руку младшей сестре и повел ее к выходу, не говоря ни слова. Миссис Тоджерс в парадном платье, развевавшемся по ветру, проводила их до кареты, при расставании бросилась Мерри на шею и, заливаясь слезами, побежала обратно в свой грязный дом. У нее, у миссис Тоджерс, было тощее, изможденное тело, но в нем жила здоровая душа. Быть может, добрый самаритянин тоже был худой и изможденный и жизнь давалась ему не легко. Почем знать!

Мистер Чезлвит пристально провожал ее взглядом и посмотрел на мистера Тэпли только тогда, когда она закрыла за собой дверь.

— Что с вами, Марк? — сказал он, едва взглянув на него.— В чем дело?

— Самый удивительный случай, сэр! — отвечал Марк, едва овладев своим голосом и с трудом выговаривая слова.— Такое совпадение, каких просто не бывает! Провалиться мне, если это не наши старые соседи, сэр!

— Какие соседи? — спросил старый Мартин, выглядывая в окно кареты.— Где?

— Я прогуливался взад и вперед, пяти шагов не будет отсюда,— волнуясь, говорил Марк,— и вдруг оба они идут прямо на меня, словно собственные призраки, да так я и подумал! Самый удивительный случай, сэр, прямо-таки небывалый! Меня теперь одним щелчком с ног свалить можно!

— Что вы этим хотите сказать? — воскликнул старый Мартин, который, глядя на Марка, и сам взволновался не меньше, чем этот чудак.— Соседи? Где?

— Здесь, сэр! — отвечал мистер Тэпли.— Здесь, в Лондоне! Здесь, на этой самой мостовой! Вот они, сэр! Разве я их не знаю! Благослови господи их милые лица! Разве я их не знаю!

Восклицая так, мистер Тэпли не только указывал на скромного вида мужчину и женщину, стоявших тут же, на площадке Монумента, но снова и снова бросался обнимать их по очереди, то одного, то другого.

— Соседи? Откуда? — кричал старик, безуспешно стараясь открыть дверцу кареты.

— Соседи из Америки! Соседи из Эдема,— кричал Марк.— Соседи на болоте, соседи в дебрях, соседи во время лихорадки! Ведь она ходила за нами! Ведь он помогал нам! Ведь мы оба умерли бы без них! Ведь они едва вырвались оттуда, и ни одного ребенка не осталось им в утешение! А вы говорите, какие соседи!

И он опять бросился обнимать их, совершенно обезумев от радости, и скакал вокруг них, и вертелся между ними, словно исполняя какую-то бешеную пляску диких.

Как только мистер Чезлвит понял, кто такие были эти люди, он все-таки ухитрился отворить дверцу кареты и соскочил к ним; и словно сумасшествие мистера Тэпли было заразительно, тоже немедленно принялся пожимать им руки и всячески проявлять живейшую радость.

— Садитесь сзади! — сказал он.— Садитесь на задние места! Поедем со мной. А вы садитесь на козлы, Марк. Домой! Домой!

— Домой! — крикнул мистер Тэпли, в порыве восторга хватая руку старика.— Именно то, что я думаю! Домой, и уже навсегда! Извините за вольность, сэр, никак не могу удержаться. Пожелаем успеха «Веселому Тэпли»! Все в доме к их услугам, ни в чем отказа не будет, кроме счета. Домой, конечно! Ура!

И, как только он опять усадил старика в карету, они покатили домой, погоняя вовсю; Марк по дороге нисколько не умерил своего пыла — напротив, давал ему волю, совершенно не стесняясь, словно находился посреди Солсберийской равнины.

Между тем в пансионе миссис Тоджерс начали собираться свадебные гости. Мистер Джинкинс, единственный приглашенный из постояльцев, явился первым. Он был с белым бантом в петлице и в новом с иголочки синем фраке саксонского сукна двойной ширины высшего качества (так он был описан в счете), с какими-то замысловатыми украшениями на карманах, придуманными искусником портным в честь такого события. Несчастный Огастес уже не восставал и против Джинкинса. У него не хватало на это душевных сил.

— Пускай его приходит,— сказал он в ответ мисс Пексниф, когда она настаивала на этом,— пускай приходит! Он всю жизнь был для меня камнем преткновения.

Может, так надо, чтоб он был тут. Ха-ха! Что ж! Пускай и Джинкинс приходит!

Джинкинс пришел с удовольствием; он не заставил себя ждать и явился первым. Несколько минут он оставался наедине с завтраком, который был сервирован в гостиной с необычайным вкусом и пышностью. Но скоро к нему присоединилась миссис Тоджерс, а потом кузен-холостяк, супруги Спотлтоу и волосатый молодой человек, прибывшие один вслед за другим.

Мистер Спотлтоу поощрил Джинкинса снисходительным поклоном.

— Рад познакомиться с вами, сэр. Поздравляю вас! — сказал он под впечатлением, что Джинкинс и есть счастливец.

Мистер Джинкинс объяснил ему. Он только принимает гостей вместо своего друга Модля, который не живет более в этом доме и еще не приехал.

— Еще не приехал, сэр! — воскликнул Спотлтоу с большим жаром.

— Нет, еще,— сказал мистер Джинкинс.

— Клянусь честью! — вскричал Спотлтоу.— Хорошо же он начинает! Клянусь жизнью и честью, хорошо же начинает этот молодой человек! Но я очень желал бы знать, почему это всякий, кто вступает в отношения с этой семьей, непременно должен грубо оскорблять ее? Черт! Еще не приехал. Не счел нужным встретить нас!

Племянник с неопределенной физиономией предположил, что он, может быть, заказал себе новые сапоги и они еще не готовы.

— Что вы мне толкуете про сапоги, сэр! — отрезал Спотлтоу с величайшим негодованием.— Он обязан явиться хотя бы в ночных туфлях; обязан явиться хоть босиком. Не оправдывайте вашего друга под таким жалким и уклончивым предлогом, как сапоги, сэр.

— Он мне не друг,— сказал племянник,— я его никогда не видел.

— Отлично, сэр,— возразил разъяренный Спотлтоу,— тогда не разговаривайте со мной!

Дверь распахнулась как раз в эту минуту, и вошла нетвердой стопой мисс Пексниф, ведомая тремя подружками. Решительная особа, которая нарочно не входила

до сих пор и дожидалась за дверью, чтобы испортить весь эффект, замыкала шествие.

— Как поживаете, сударыня? — вызывающим тоном обратился Спотлтоу к решительной особе. — Я думаю, вы видите миссис Спотлтоу, сударыня?

Решительная особа, справившись с весьма сочувственным видом о здоровье миссис Спотлтоу, выразила сожаление, что ее так трудно заметить,— природа в данном случае перестаралась, слишком уклонившись в сторону худобы.

— Миссис Спотлтоу, во всяком случае, легче заметить, чем жениха,— возразил супруг этой дамы.— То есть в том случае, если он не предпочел нам других родственников; это на них очень похоже и было бы в порядке вещей.

— Если вы намекаете на меня, сэр,— начала решительная особа.

— Пожалуйста,— вмешалась мисс Пексниф,— не допускайте, чтобы из-за Огастеса, в такую важную минуту его и моей жизни, нарушилось то согласие, которое мы с Огастесом всегда так стремились сохранить. Огастес еще не был представлен никому из моих родственников, присутствующих здесь. Он этого не пожелал.

— В таком случае, осмелюсь утверждать,— вскричал мистер Спотлтоу,— что человек, который собирается войти в эту семью и «не пожелал» быть представленным ближайшим родственникам, есть просто наглый щенок! Вот мое мнение о нем!

Решительная особа заметила самым сладким голосом, что она, пожалуй, с этим согласна. Ее три дочери вслух выразили мнение, что это «просто позор!»

— Вы не знаете Огастеса,— со слезами произнесла мисс Пексниф,— право же, вы его не знаете. Огастес — это воплощенная кротость и смирение. Подождите, пока вы увидите Огастеса, и я уверена, он заслужит вашу любовь.

— Возникает вопрос,— начал Спотлтоу, скрестив руки на груди,— долго ли нам еще ждать? Я вообще не привык ждать, вот что. И я желаю знать, долго ли нам еще дожидаться.

— Миссис Тоджерс! — взмолилась Чарити.— Мистер Джинкинс! Боюсь, не вышло ли тут какой-нибудь ошибки. Должно быть, Огастес отправился прямо в церковь.

Так как это вполне могло случиться, а церковь была

совсем рядом, мистер Джинкинс побежал справиться в сопровождении мистера Джорджа Чезлвита, кузена-холостяка, который готов был предпочесть все что угодно пытке сидеть за завтраком, ни до чего не дотрагиваясь. Но они вернулись ни с чем, если не считать бесцеремонного напоминания причетника, который поручил им передать, что если они собираются венчаться нынче утром, то пусть идут поживей, потому что священник не намерен ждать их весь день.

Теперь и невеста встревожилась, не на шутку встревожилась. Боже правый, что такое могло случиться? Огастес! Милый Огастес!

Мистер Джинкинс вызвался нанять кэб и съездить за ним в обставленный заново дом. Решительная особа преподнесла утешение мисс Пексниф: «Вот образчик того, чего ей следует ожидать. Это будет ей полезно. Все любовные бредни как рукой снимет». Красноносые дочки тоже нежно утешали ее. «Может, он еще приедет»,— говорили они. Племянник с неопределенной физиономией высказал предположение, уж не свалился ли он с моста. Гнев мистера Спотлтоу не поддавался никаким увещаниям его жены. Все говорили разом, а мисс Пексниф, стиснув руки, бросалась ко всем в поисках утешения, и не находила его нигде, когда Джинкинс, встретив почтальона у дверей, взял у него письмо и передал ей в руки.

Мисс Пексниф распечатала его, пробежала, испустила пронзительный вопль и упала в обморок, уронив письмо на пол.

Его подняли и, столпившись вокруг и заглядывая друг другу через плечо, прочли следующее сообщение со множеством тире и росчерков:

«На широте Грейвзенда,
Клипер «Купидон»,
в среду ночью.

Навеки оскорбленная мною мисс Пексниф!

Прежде чем это письмо дойдет до вас, нижеподписавшийся будет если не трупом — то на пути к Вандименовой земле *. Не посылайте за мной в погоню. Все равно живой я не дамся!

Тяжелый груз — триста регистровых тонн — простите, в своем отчаянии я путаюсь и пишу о корабле,— обременявший мою душу, был поистине ужасен. Сколько раз, когда вы пытались утешить меня, напечатлев поцелуй на моем челе, мысль о самоубийстве проносилась у меня в мозгу. Сколько раз — как это ни покажется невероятным — я отказывался от этой мысли.

Я люблю другую. Она принадлежит другому. Все на свете принадлежит кому-нибудь другому. Ничего на свете я не могу назвать своим — даже место я потерял — из-за своего необдуманного поступка убежав от вас.

Если вы когда-нибудь любили меня, выслушайте мою последнюю просьбу — последнюю просьбу несчастного, отверженного изгнанника. Отошлите приложенное — это ключ от моего стола — в контору с посыльным. Адресуйте, пожалуйста, Бобсу и Чолбери — то есть Чобсу и Болбери — рассудок мой положительно мешается. Я забыл перочинный ножичек — с ручкой из оленьего рога — в вашей рабочей шкатулке. Он вознаградит посыльного. Пусть этот ножик принесет ему больше счастья, чем принес мне!

О мисс Пексниф, почему вы не оставили меня в покое? Разве это не было жестоко, жестоко с вашей стороны? О боже мой, ведь вы были свидетельницей моих чувств — вы видели, как они струились потоком из глаз моих,— разве вы сами не упрекали меня за то, что я плакал больше обыкновенного в тот ужасный вечер, когда мы встретились в последний раз — в доме, где я когда-то знал спокойствие — хотя и отчаивался,— находя его в обществе миссис Тоджерс?

Но так было написано в талмуде — что вы будете вовлечены в орбиту моей непостижимой и мрачной судьбы, которая должна завершиться и которая тяготеет — над моей — головой. Не стану упрекать вас, ибо я нанес вам удар. Пускай мебель несколько смягчит его.

Прощайте! Станьте горделивой невестой герцогской короны и забудьте меня! Дай вам бог как можно дольше не знать той душевной муки, с которой я подписываюсь теперь — среди бурных завываний — матросов.

Неизменно, навеки не ваш,

Огастес».

Они так мало думали о мисс Пексниф, с жадностью читая это письмо, словно она была последним человеком на свете, к которому оно относилось. Но мисс Пексниф и в самом деле упала в обморок. Горько было и унижение, горько было и то, что она сама пригласила свидетелей — и каких свидетелей! — любоваться им; горько было знать, что решительная особа с ее красноносыми дочерьми торжествует победу в этот час, назначенный для ее падения,— нет, всего этого нельзя было вынести! Мисс Пексниф упала в обморок по-настоящему.

Что это за величественные звуки касаются нашего слуха? Что это за темнеющая комната?

А эта кроткая фигура за органом, кто это? Ах, Том, дорогой Том, старый друг!

Твоя голова поседела раньше времени, Том, хотя уже много лет прошло с тех пор, как мы с тобой познакомились. Но в этих звуках, которые помогают тебе коротать долгие сумерки, изливается музыка сердца и рассказывается история твоей жизни, Том.

Твоя жизнь течет мирно, спокойно и счастливо, Том. В тихой мелодии, которая, постоянно повторяясь, украдкой ласкает нам слух, быть может звучит воспоминание о твоей старой любви, но это приятное, смягченное временем, чуть слышное воспоминание, такое, какое иногда бывает у нас об умерших; оно не вызывает, слава богу, ни боли, ни тоски!

Дотронься до клавиш органа легко, Том, так легко, как только ты можешь; но никогда твоя рука не упадет так легко на клавиши инструмента. как на голову твоего старого тирана, склоненную низко, очень низко, и никогда инструмент не ответит тебе так фальшиво, как отвечает он.

Ибо вечно пьяный и грязный, сочинитель просительных писем, побирушка по фамилии Пексниф (со сварливой дочерью на шее) надоедает тебе, Том; и, являясь к тебе клянчить денег, всегда напоминает, что устроил твою судьбу лучше, чем собственную; а истратив деньги, занимает своих собутыльников в пивной рассказами о твоей неблагодарности и о своей былой щедрости к тебе; а потом



показывает дырявые локти, ставит на скамейку башмаки без подметок и просит своих слушателей полюбоваться, каково это, когда ты хорошо одет и живешь в хорошем доме. Все это тебе известно, и все это ты терпишь, Том!

Итак, с улыбкой на лице, ты переходишь к другому темпу, более живому и более веселому,— и маленькие ножки пляшут вокруг тебя под эти звуки, и ясные детские глаза смотрят в твои. И есть тут одна тоненькая девочка, Том,— *ее* дитя, не Руфи,— за ней следят твои глаза во время возни и танцев, и она, удивляясь иногда, отчего ты так задумчив, карабкается к тебе на колени и касается своей щечкой твоей щеки; она любит тебя, Том, больше, чем все остальные, если это возможно; заболев однажды, она выбрала тебя в сиделки и не капризничала, Том, когда ты сидел возле нее.

Но вот ты переходишь к более важной мелодии, к мелодии, посвященной прошлому и старым друзьям, и они возникают перед тобой из легкого прикосновения к клавишам и нарастающей волны звучных аккордов. Дух умершего старика, который с радостью предупреждал все твои желания и никогда не переставал уважать тебя, также среди них; с умиротворенным, спокойным выражением он повторяет те слова, которые он сказал тебе на смертном одре, и благословляет тебя!

А вот идет из сада твоя сестра, маленькая Руфь, и садится рядом с тобой; детские руки увенчали ее цветами, и походка ее по-старому легка, и на сердце светло, как и в былые дни. От настоящего и прошлого, с которым так тесно и так любовно сплетена она в твоих мыслях, твои мелодии уносятся в будущее. Возвышенная музыка поет в тебе и вокруг тебя, окутывая вас обоих словно облаком, и, воспаряя над гнетущими думами о расставании на земле, возносит вас к небесам!

КОММЕНТАРИИ

Стр. 7. *Частный билль.*—В английском законодательстве различают билли (законопроекты) двух родов: «общественные», затрагивающие интересы целого класса, и «частные», касающиеся привилегий отдельных лиц или корпораций. Для присвоения имени или титула необходимо проведение частного билля.

Пэлл-Мэлл — одна из самых оживленных улиц Лондона. Название ее происходит от названия старинной игры в шары.

Стр. 8. *Работный дом* — приют для бедняков в Англии. Согласно закону о бедных 1834 года, в работные дома в принудительном порядке стали помещать всех нуждавшихся в общественном призрении.

Стр. 9. *Настоящий жокей из Нью-Маркета.*— Нью Маркет— небольшой городок в 70-ти милях от Лондона. С конца XVI века в Нью-Маркете ежегодно устраиваются большие конные состязания.

Стр. 13. *...казалась надежнее Английского банка.*— Английский банк, основанный в 1694 году частными лицами, фактически находился под контролем правительства и выполнял функции государственного банка. Солидность и надежность его вошла в Англии в поговорку.

Стр. 15. *...как в известной задаче о гвоздях в конской подкове.*—Диккенс намекает на популярную детскую шуточную песенку, в которой рассказывается о том, как из-за нехватки одного гвоздя погибла целая армия: не было гвоздя— подкова пропала; не было подковы — лошадь захромала; лошадь захромала — командир убит и т. д. (На русский язык эта песенка переведена С. Я. Маршаком.)

Ломберд-стрит — улица в. Лондоне, на которой сосредоточено большое число банков. Название ее восходит к XIV—

XV векам, когда эту улицу заселяли ломбардские (родом из Северной Италии — Ломбардии) менялы и ювелиры. Считается, что денежные операции ломбардских менял заложили основу современной банковской системы.

Стр. 18. *Ч. К. М. О.* — Член Королевского медицинского общества.

Стр. 20. *Брикстон* — во времена Диккенса — один из южных пригородов Лондона; в настоящее время вошел в черту города.

Стр. 33. *...просиживал часами... у Гарравея.*—Имеется в виду известная лондонская кофейня Томаса Гарравея, находившаяся неподалеку от биржи. У Гарравея часто заключались крупные торговые сделки.

Суд лорд-канцлера — высший суд Англии, созданный в эпоху раннего феодализма как дополнение к судам «общего права». В отличие от судов «общего права», руководствовавшихся при рассмотрении дел королевскими указами или судебными прецедентами (в Англии не было и нет кодекса законов), суд лорд-канцлера (министра юстиции) должен был решать «по справедливости». На деле Канцлерский суд прославился лишь беспримерной волокитой, затягивавшей судопроизводство на десятки лет (подробнее см. комментарии к 2-му и 4-му томам наст. изд.).

Стр. 40. *Безногая мисс Биффин* — безногая и безрукая художница-миниатюристка, современница Диккенса; рисовала, держа кисть в зубах.

Стр. 43. *...со времени большого лондонского пожара.*—Имеется в виду пожар 1666 года, уничтоживший бóльшую часть Лондона.

Стр. 51. *Он своей жене больше верит, чем календарю Мура.*— Календарь Мура — популярное издание, в котором, помимо чисто календарных сведений, помещались различные предсказания. Первый календарь подобного рода был выпущен в 1700 году Фрэнсисом Муром (1657—1715?) и назывался «Голосом звезд».

...за неделю не окрестить в соборе святого Павла! — Собор св. Павла — крупнейшая из лондонских церквей. Построена на рубеже XVII—XVIII веков выдающимся английским зодчим Кристофером Ренном (1632—1723).

Стр. 53. *Испанские сапоги* — средневековое орудие пытки.

Стр. 82. *Ин-кварто* — то есть в четвертую долю листа.

Стр. 88. *Панч* — английский Петрушка, герой английского кукольного театра. Фигура английского Панча, так же как и

французского Полишинеля, восходит к итальянской «commedia dell'arte» (комедии масок).

Стр. 88. *Вся королевская конница и вся королевская рать...*— строка из популярной в Англии шуточной детской песенки. «Шалтай-Болтай сидел на стене, Шалтай-Болтай свалился во сне. Вся королевская конница, вся королевская рать не может Шалтая, не может Болтая, Шалтая-Болтая, Болтая-Шалтая, Шалтая-Болтая собрать» (перевод этой песенки на русский язык принадлежит С. Я. Маршаку).

Стр. 93. *Йомены*—свободное английское крестьянство эпохи феодализма; йомены были искусными лучниками и до широкого распространения огнестрельного оружия составляли основную часть английского войска, созываемого во время войны. Отряды йоменов сыграли решающую роль в Английской буржуазной революции, так как именно они явились главной ударной силой армии Кромвеля.

Стр. 101. *Виндзорское кресло* — деревянное кресло, широко распространенное в XVIII веке в Англии и в северо-американских колониях. Спинка, сидение и ножки обычно изготовлялись из разных пород дерева.

Стр. 107. *...что колесница Джагернаута раздавила его... что смертоносное дерево упас отравило его своим тлетворным дыханием.*— Джагернаут — одно из культовых имен бога Вишну. Прославленный храм Джагернаута (постройки XII в.) находится в Пури (Бенгалия). Дважды в год здесь устраиваются многолюдные празднества. Изваяние Джагернаута устанавливается на специальной колеснице, которую толпы верующих тащат на себе по глубокому песку в загородный дом бога. Путь в одну милю занимает при этом несколько дней. Во время процессии наиболее ярые фанатики бросаются в религиозном экстазе под колесницу и гибнут. Упас, иначе «анчар» — дерево из семейства фиговых, ядовитой смолой которого туземцы острова Явы смазывали наконечники своих стрел.

Стр. 108. *Криббедж* — популярная во времена Диккенса карточная игра, в которую может играть от двух до четырех человек.

Стр. 110. *Наказ о неуклонном выполнении долга, данный лордом Нельсоном перед Трафальгарской битвой.* — Горацио Нельсон (1758—1805) — выдающийся английский флотоводец. Под командованием Нельсона английский флот одержал серьезную победу над объединенным франко-испанским флотом при мысе

Трафальгар в 1805 году. Диккенс имеет в виду историческую фразу Нельсона: «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг», обращенную им перед началом сражения ко всем матросам и офицерам флотилии.

Стр. 121. *Здесь нет налогов на окна.*— В Англии все домовладельцы облагались налогом по числу окон, выходивших на улицу. Налог на окна был отменен лишь во второй половине XIX века.

Стр. 134. *...нашему славному четвертому июля.* — 4 июля 1776 года была принята «Декларация независимости», провозгласившая отделение северо-американских колоний от Англии.

Стр. 145. *Звездное Знамя* — государственный флаг США: голубое поле, усеянное белыми звездами (по числу штатов) и пересекаемое 13 полосами в память о первых 13 штатах, образовавшихся в результате отделения северо-американских колоний в 1776 году.

Поклонницы трансцендентальной философии. — Трансцендентальная философия — одно из направлений немецкой идеалистической философии XVIII века. Следует думать, однако, что Диккенс имеет в виду не немецких, а американских трансценденталистов, членов литературно-философского кружка, группировавшегося в 40-е годы XIX века в Бостоне вокруг философа и публициста Ральфа Уолдо Эмерсона (1803—1882). Поклонницами этого философа и были, очевидно, упомянутые «литературные дамы».

...прямо-таки последняя сцена из «Кориолана». — «Кориолан» (1608) — трагедия Шекспира. В основу сюжета трагедии положено предание о римском полководце Гнее Марции Кориолане (V в. до н. э.), который изменил родине и во главе враждебного Риму племени вольсков осадил родной город. Диккенс проводит комическую параллель с одной из последних сцен трагедии, в которой мать, жена и сестра Кориолана приходят к нему с мольбой пощадить Рим.

Стр. 171. *Фэрнивелс-Инн.* — Название старинного здания, служившего некогда помещением одного из судебных Иннов. (Судебные Инны — созданные еще в XIII веке юридические корпорации, готовившие полноправных юристов, баристеров: название Иннов распространялось и на дома, в которых жили члены корпорации). В 1818 году здание Фэрнивелс-Инна было

перестроено. В помещении его открылись меблированные комнаты, в которых одно время жил Диккенс (в пору работы над «Записками Пиквикского клуба», 1836).

Стр. 184. *Излингтон* — район в северной части Лондона. На территории его находится старинная гостиница «Ангел», популярность и веселые нравы которой стяжали всему району репутацию «Веселого Излингтона».

Стр. 187. *Поп.*— Александр Поп (1688—1744) — известный английский поэт.

Стр. 200. *Корнхилл* — улица в Лондоне недалеко от биржи.

Стр. 216. *Фома неверный* — один из двенадцати апостолов. Имя его стало нарицательным для скептиков и маловеров. Выражение «Фома неверный» основано на следующем свидетельстве евангелия от Иоанна: услышав от других учеников о воскрешении Христа, Фома сказал им, что не поверит до тех пор, «пока не вложит перста своего в раны от гвоздей и не вложит руки своей в ребра его». Христос явился ему, и Фома уверовал.

Стр. 222. *Остин Фрайерс звучит довольно мрачно.*—Остин Фрайерс — название старинного монастыря (XIII в.) братьев-отшельников ордена св. Августина. Монастырь этот находился в Сити, на Броуд-стрит. В XVI веке, в правление Генриха VIII, он начал приходить в упадок, но земли его продолжали считаться священными. Могильные памятники монастыря Остин-Фрайерс не уступали по своей красоте и исторической значимости многим памятникам Вестминстерского аббатства. Позднее на месте разрушенного монастыря была отстроена небольшая церковь. Замечание Тома Пинча связано, очевидно, с сохранившимися преданиями о суровых нравах обитателей монастыря.

Стр. 226. *Место в Тэмпле.* — Тэмпл — район Лондона, составлявший первоначально владение ордена рыцарей-темплиеров (храмовников). Позднее в Тэмпле обосновались юридические корпорации. Фразу «Место в Тэмпле» можно было поэтому легко истолковать как «Место в конторе адвоката».

У ворот Тэмпла, на Флит-стрит. — Ворота Тэмпла (иначе Тэмпл-Бар) были воздвигнуты в 1672 году в том месте, где кончается Стрэнд и начинается Флит-стрит, то есть на границе между Вестминстером и Сити. В старину они были увенчаны железными пиками, на которых выставляли головы казненных. С воротами Тэмпла связан целый ряд старинных обычаев. Так, король при посещении делового центра города, Сити,

должен был испрашивать у лорд-мэра разрешение на проезд через эти ворота. В 1878 году они были снесены, и на их месте воздвигнут монумент с гербом лондонского Сити наверху. Флит-стрит — старинная улица, начинавшаяся от ворот Тэмпла. Хроники средневекового Лондона упоминают Флит-стрит как место кровавых стычек школяров и подмастерьев. Позднее там обосновались различные увеселительные заведения. В XIX веке Флит-стрит становится центром английской печати: здесь помещаются многочисленные редакции, издательства и крупнейшие телеграфные агентства.

Стр. 238. *Ковент-Гарденский рынок* — старинный зеленной рынок (известен с конца XVII в.), возникший на территории монастыря св. Петра в Вестминстере («ковент гарден» в переводе «монастырский сад»).

Стр. 240. *Грейвзенд* — речной порт в графстве Кент на южном берегу Темзы. Его считают «воротами» лондонского порта. В XIX веке Грейвзенд являлся одним из любимых мест отдыха лондонцев.

Стр. 242. *У Ионы в чреве.*— Миссис Гэмп путает один из эпизодов библейской легенды; согласно легенде, пророк Иона по велению бога должен был отправиться проповедовать в Ниневию, но ослушался и отплыл на корабле в Тарс. Когда поднялась буря, пророк признался морякам, что навлек на себя божий гнев. Он был брошен за борт и проглочен китом. Проведя в китовом чреве трое суток, Иона раскаялся и взмолился богу, после чего кит изрыгнул его на сушу.

Стр. 259. *«Живительные силы меня как будто носят по земле, — я радостен и весел целый день».* — Шекспир, «Ромео и Джульетта» (акт V, сц. 1-я).

Стр. 291. *О прекрасная истина!.. Ты обитаешь не в колодце...* — парафраза изречения «Истина прячется на дне колодца», приписываемого древнегреческому философу-материалисту Демокриту (460—370 до н. э.).

Если, как говорит нам поэт, Англия надеется, что каждый исполнит свой долг... — Диккенс иронизирует над претензиями Пекснифа на образованность: приведенная им фраза принадлежит не поэту, а адмиралу Нельсону и была сказана им перед Трафальгарским сражением.

Стр. 316. *Ему бы надо быть лорд-мэром.*— Мэр — выборная должность главы городского самоуправления, в компетенцию которого входят административные и юридические функции. В

Англии мэров начали избирать в XII веке. Приставка «лорд» (лорд-мэр) распространяется на мэров ряда крупнейших городов Англии. Первый лорд-мэр Лондона был избран в 1540 году.

Стр. 321. *С какой свирепой, чисто церберовской непреклонностью...* — В античной мифологии Цербер — свирепый трехглавый пес, охраняющий вход в подземное царство Аида.

Стр. 352. *...той красной жижи, которой были обагрены босые ноги Каина?* — Намек на библейскую легенду о Каине, запятнавшем себя кровью убитого им брата Авеля.

Стр. 398. *Подобно легендарному сну монаха Бэкона.*— Роджер Бэкон (1214—1294) — английский философ и естествоиспытатель, монах францисканского ордена. Бэкону приписывается ряд крупных научных открытий и изобретений; он один из первых высказал мысль о необходимости научного опыта, эксперимента. За свои передовые взгляды Бэкон подвергался гонениям, был обвинен в ереси и около четырнадцати лет провел в заключении. Отдавая дань своему времени, он занимался алхимией и астрологией, за что был прозван «Чудесным Доктором». С его именем связано много легенд. Анонимная «История брата Бэкона» послужила источником для драмы известного английского драматурга елизаветинской эпохи Роберта Грина (1560—1592) «Монах Бэкон и монах Бонгэй» (1589). В пьесе есть эпизод, в котором Бэкон, сделав из меди говорящую голову, не спал 60 ночей и дней в ожидании, когда она заговорит, но в конце концов заснул, поручив слуге заменить себя. Сон его был роковым, так как голова заговорила в его отсутствие, и все планы, зависевшие от ее первых слов, рухнули.

Стр. 480. *Вандименова земля* — старое название Тасмании. острова у юго-восточного побережья Австралии.

Н. ДЕЗЕН

СОДЕРЖАНИЕ

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАРТИНА ЧЕЗЛВИТА

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собрание сочинений, т. 11

Редактор Э. Раузина. Художник Е. Семпер.
Художеств. редактор Л. Калитовская.
Технический редактор Г. Кауинна. Корректор В. Седова.

Сдано в набор 22/IX 1958 г. Подписано к печати 25/XII 1958 г.
Бумага 84 × 108 1/32. 15,5 печ. л. 25,42 усл. п. л. 25,006 уч.-изд. л.
Тираж 600 000 (150 001—300 000) экз. Зак. 246. Цена 9 р. 50 к.

Гослитиздат, Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.